

ДЕКАБРИСТЫ



ДЕКАБРИСТЫ

Избранные
сочинения
в двух томах

ТОМ 1

Москва
издательство
Правда
(1987)

84 Р 1

Д 28

*Составление и примечания
А. С. Немзера и О. А. Проскурина*

*Вступительная статья
А. С. Немзера*

Д $\frac{4702010100-1114}{080(02)-87}$ 1114-87

© Издательство «Правда», 1987.
Составление. Вступительная статья. Примечания.

ПЕРВЕНЦЫ СВОБОДЫ

«Тайное общество принадлежит Истории» — писал в 1838 году декабрист М. С. Лунин¹. Сейчас, более чем через полтора века, что отделяют нас от великих событий конца 1825—26 годов, мы снова повторяем решительную и безоговорочную формулировку Лунина.

«Принадлежать Истории» не значит только воздействовать на дальнейшие события, хотя переоценить роль «людей 14 декабря» в развитии революционного движения в России, а стало быть и во всей судьбе страны, трудно. «Тебя ж, как первую любовь, // России сердце не забудет!..» — сказал о Пушкине Тютчев. Нечто подобное есть в отношении русской культуры к декабристам: молодость этих людей, энергия их порыва, рыцарственность и высокий дух идеала, самая стремительность их судеб (тайные общества просуществовали лишь десять лет, причем многие будущие декабристы оказались вовлеченными в движение на самых последних этапах) — все это исполнено живого, непреходящего обаяния, удивительной и не перестающей удивлять потомков духовной свежести.

Перечитывая незавершенный роман А. Н. Толстого «Декабристы» или поэму Некрасова «Дедушка», мы сталкиваемся именно с этим ощущением: молодость, душевная чистота, мудрая ясность взгляда на мир — вот что увидели в стариках-декабристах Толстой и Некрасов, годившиеся им в дети. В «Декабристах» Толстого жена говорит вернувшемуся из Сибири Петру Ивановичу Лабазову: «...тебе все еще шестнадцать лет, Пьер. Сережа (сын декабриста.—А. Н.) моложе чувствами, но душой ты моложе его»². Толстовский герой как бы излучает мягкий и чистый

¹ Мемуары декабристов: Северное общество. М., 1981, с. 290.

² Толстой А. Н. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 3, М., 1961, с. 392—393.

свет, он покоряет своей естественностью и инстинктивной расположенностью к людям, кажется, что его присутствие должно делать мир чище и проще. Те же мотивы возникают и у Некрасова:

И улыбнется так чудно,
Радостью весь расцветет.
Радость его разделяя,
Прыгало сердце у всех.
То-то улыбка святая!
То-то пленительный смех!

Молодость декабристов, которую сумели пронести они через споры двадцатых годов, звездные часы Сенатской площади и восстания Черниговского полка, мучительное следствие и долгие сибирские годы,— это Отечественная война, время духовного единения нации, година великой славы. «Мы дети 1812 года» — слова Матвея Муравьева-Апостола относятся не только к нему (родился в 1793 году) или его брату Сергею (1796), Пестелю (1793) или Никите Муравьеву (1796), Рылееву (1795) или Грибоедову (1795), для которых «гроза двенадцатого года» стала боевым крещением, но и к тем, кто, как М. Ф. Орлов или С. Г. Волконский (оба родились в 1788 году), принимал участие в кампаниях 1805—1808 годов, и к тем, кто, как Кюхельбекер (1797) или А. Одоевский (1802), «опоздал родиться», но слышал гул битвы.

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...

1812 год показал будущим членам тайных обществ мощь и величие русского народа. Патриотический подъем в порабоженных Наполеоном странах Европы задавал оптимистический тон в настроениях завтрашних тираноборцев. Тем разительней был контраст по возвращении на родину. «...Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые ощутил свою силу, тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а потом и народной. Вот начало свободомыслия в России... Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в дома, первые разнесли ропот в классе народа. Мы проливали кровь, говорили они, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь тиранят господа», — писал заключенный Александр Бестужев Николаю I: за энергичным зачином следовал целый свод фактов, свидетельствующих об эко-

номическом и политическом кризисе в стране, ответом на который и стали тайные общества¹.

Политическая ситуация конца 1810 годов была сложной и постоянно меняющейся. Порой действия российского правительства выглядели взаимоотрицающими. Зыбкость правительственного курса усугублялась игрой придворных группировок и особенностями характера императора Александра I («к противочувствиям привычен», — писал о нем Пушкин). Причины лежали глубже: чудовищным был контраст между престижем России — победительницы Наполеона и Россией крепостного права, между духом просвещения и консервативным укладом государственной и хозяйственной жизни страны. Шаткое положение не устраивало никого (недаром наряду с декабризмом развивалась и «правая оппозиция» лавирующему курсу Александра I). Необходимость изменений была самоочевидной.

Многочисленные декабристские мемуары (в том числе «Записки» И. Д. Якушкина) убедительно показывают, как колебания российской внутренней и внешней политики влияли на создание и рост тайных обществ, как само время подводило молодых офицеров к проектам и планам, заговорам и конституциям, как все отчетливее открывались им главные беды России — крепостничество и самодержавие.

Декабристы в подавляющем большинстве были дворянами, то есть людьми, владеющими крепостными и служащими самодержавному государству. Время создания тайных обществ — время, когда определяющими стали два чувства: стыд за собственное положение и ответственность за судьбы страны. Соотношение этих чувств заставляло действовать, вело к решительному разрыву с правительством. Вера в народ, долг перед народом одушевляли дворянских революционеров. Но рядом с этими чувствами было и иное — страх перед новой пугачевщиной, перед русским бунтом. «Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа», — писал о декабристах В. И. Ленин². Разумеется, отношение декабристов к народу было сложным и дифференцированным: надо иметь в виду и особенности политических программ разных деятелей тайных обществ и изменения в воззрениях, обусловленные постоянными общественными переменами, и, наконец, особенности декабристского политического языка, в котором за одним словом — «народ» — могли стоять различные понятия: народ мог

¹ См.: Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения. В двух томах, т. 2. М., 1981, с. 485.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 261.

представать то страшной, разрушающей стихией мятежа, то духовной опорой революционного движения, то пассивной массой, довольствующейся вечным рабством. Порой различные трактовки, казалось бы, логически несовместимые, могли соседствовать, причудливо сталкиваясь. В незавершенной думе Рылеева «Вадим» читаем:

Несмотря на хлад убийственный
Сограждан к правам своим,
Их от бед спасти насильственно
Хочет пламенный Вадим.

Герой-избранник противостоит не только тирании, но и косной толпе, утратившей «Блаженства общего залог // Былую праотцев свободу». Но тот же Рылеев нарисовал и принципиально иную картину; уличая «изнеженное племя переродившихся славян», поэт писал:

Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги.

Народ здесь готов к мятежу, но не может найти достойных вождей, способных возглавить движение. Как и в «Вадиме», нарушена гармония: народ и герой разведены, что и обуславливает трагизм ситуации.

Проблема свободы для Рылеева неотрывна от проблемы национального единства, образчики которого поэт ищет в истории. «Думы» Рылеева — непрерывный поиск истинного героизма и патриотизма. Поэту не важна конкретно-историческая достоверность речей и деяний его героев — ему важен вечный, хотя и меняющий обличия, поединок свободолюбия и тирании.

Летим — и возвратим народу
Залог блаженства чуждых стран:
Былую праотцев свободу
И древние права граждан.

(«Димитрий Донской»)

«Так, так, — он думал, — час настанет!
Освобожденный от оков,
Забывший узник бурей грянет
На притеснителей врагов!..
Позорные разрушит цепи
И, рабства сокруша кумир,
Вновь водворит в родные степи
С святой свободой тихий мир».

(«Богдан Хмельницкий»)

Вечны и неизменны не только добродетели героев, каждый из которых может повторить за Иваном Сусаниным: «Кто русский по сердцу, тот бодро и смело // И радостно гибнет за правое дело!» Вечна ситуация утраченной свободы, которую необходимо вернуть. Рылеев ищет идеалы в прошлом — его герои тоже смотрят в глубь времен, где мерцает «былая праотцев свобода». Легендарное прошлое становится символом национального единства, которое должно возродиться в будущем. Все беды настоящего предстают поэтому «случайными» (с точки зрения смысла исторического процесса), связанными с отклонением от истинной стези русского народа. Естественно, история понимается декабристами романтически, но, пожалуй, не менее важно другое — декабристы очень остро ощущают себя в истории, видят исторический смысл своей деятельности.

Свободолюбие и патриотизм для Рылеева и его единомышленников почти синонимы, поэтому борьба с иноплеменными захватчиками (печенегами, татарами, поляками) есть всегда борьба и за национальную независимость и за политическую свободу. Уже первый русский тираноборец Вадим Новгородский противостоял иноплеменникам:

До какого нас бесславия
Довели вражды граждан —
Насылает Скандинавия
Властелинов для славян.

В примечательном сочетании патриотизма и свободолюбия можно усмотреть отзвуки конкретных обстоятельств (влияние иностранцев при дворе и в высшем свете), однако вряд ли акцент для декабристов падал на аллюзии. Важнее была романтическая идея «чистого» народа, который губят «немцы». Отсюда постоянный интерес к самобытности русской культуры, сказывающийся и в интересе к фольклору и обычаю, и в филиппиках против подражательности (вспомним монологи Чацкого), и даже в бытовом поведении («русские завтраки» на квартире Рылеева).

В том же ключе воспринималась и недавно отгремевшая война с Наполеоном: подвиг народа осмысливался как возвращение России к собственной сущности, самораскрытие народа. Особенно отчетливо такое восприятие прослеживается в плане ненаписанной драмы Грибоедова «1812 год». В сцене «Собор Архангельский» возникают тени «давно усопших исполинов» — Святослава, Владимира Мономаха, Иоанна, Петра, которые «пророчествуют о године искупления для России, если не для современников, то сии, повествуя сынам, возбуждают в них огонь неугасимый, рвение к славе и свободе отечества». В следующей сцене Наполеон раз-

мышляет «о юном, первообразном сем народе <...> Сам себе преданный,— что бы он мог произвести?»¹.

Драма Грибоедова должна была заканчиваться трагически — ее главный герой — крепостной, обозначенный в плане буквой М.,— совершив подвиги во время войны, в финале «возвращается под палку господина» и, не выдержав «прежних мерзостей», кончает жизнь самоубийством. Такой была последняя страница русской истории — похожая и непохожая на «Думы» Рылеева. Похожая — извечностью конфликта и словно бы фольклорной целостностью героя, воплощающего русский народ. Непохожая — своей придвинутостью к сегодняшнему дню, обращенностью к тому, что выходит за рамки словесности. Грибоедовский конфликт — болевая точка, сшибка истории и современности; он требует решения — и разрешения практического. Но ведь и далекая история была нужна декабристам не «сама по себе», но для сегодняшнего дня, для нынешнего общего дела. По поводу «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина Никита Муравьев писал: «...главное в истории есть дельность оной <...> можно ли любить притеснителей и заклепы? Тацита одушевляло негодование»².

Негодование одушевляло и Рылеева. Его «история» сознательно пристрастна, просвечена современностью. «Думы» завершает фигура Державина, великого поэта, что «Выше всех на свете благ // Общественное благо ставил». Державин бессмертен своей поэзией (Рылеев цитирует оды «Вельможа», «Властителям и судиям», «Памятник»), но не в меньшей мере залог его бессмертия — появление другого поэта, в котором легко угадывается автор «Дум» — наследник державинской традиции:

О пусть не буду в гимнах я,
Как наш Державин, дивен, громок,—
Лишь только б молвил про меня
Мой образованный потомок:

«Парил он мыслию в веках,
Седую вызывая древность,
И воспалая в молодых сердцах
К общественному благу ревность».

Образ поэта — важнейший в эстетической системе декабризма. Поэт олицетворяет единство минувшего и грядущего, история

¹ Грибоедов А. С. Сочинения. М., 1953, с. 320, 321.

² Избр. социально-политические и философские произведения декабристов. В трех томах, т. I. М., 1951, с. 332.

живет в его песне, которая способна преобразовывать действительность. Особые права поэта в отношении прошедшего (история может и должна быть им преображена) даны ему потому, что главное дело поэта — будущее. То будущее, которое он видит яснее других, ради которого звучит его слово. Сопричастность истории делает слово поэта пророческим, а самого его выделяет из толпы, ставит в один строй с преобразователями и защитниками отчизны. Более того, для Рылеева только истинный муж, «сын отечества» способен стать поэтом: Боян — воин, Байрон — революционер, Державин — государственный деятель. Слово становится настоящей силой, когда оно оплачено судьбой, деянием, жизнью. Отсюда парадоксальная программная формулировка Рылеева: «Я не поэт, а гражданин», ставшая одной из важнейших идей русской культуры.

Внешне отрицая поэзию, противопоставляя ее гражданственности, Рылеев, по сути дела, необыкновенно поднимал престиж словесности. Истинная поэзия и жизнь уравнивались, но это были особая поэзия и особая жизнь. Если «слово» должно перестать быть «украшением» («сочинять стихи — не значит быть стихотворцем», — замечал поэт-декабрист В. Ф. Раевский¹), то и жизнь должна перерасти повседневность, становится историческим бытием. «Живые чувства», противопоставленные Рылеевым искусству в посвящении к поэме «Войнаровский», есть нечто качественно больше, чем только личное мироощущение. Эти «живые чувства» не могут существовать вне поэтического высказывания, подобно тому, как поэзия Рылеева или Раевского не существует вне их деятельности на поле истории.

Прошлые и настоящее, слово и поступок, письменно закрепленные тексты и бытовое поведение, о котором мы узнаем из мемуаров, постоянно и напряженно взаимодействуют; личность Рылеева оказывается значительнее и его стихов, и конкретных фактов биографии, и легенд, окружающих недолгую жизнь и страшную смерть поэта-декабриста. Рылеев строит свою судьбу по высоким образцам — и это общая черта людей его поколения и мировосприятия. Идеалами были герои античной Греции и Рима, «мужи славянские» и те из современников, кто уже встал вровень с кумирами древности (при этом и Брут, и Дмитрий Донской, и библейские пророки, и вольные казаки в восприятии декабристов поразительно походили на них самих). Заветное «слово» Рылеева — «Исповедь Наливайки» Пушкин оценил сдержанно. Причину пушкинской холодности хорошо объяснил прямой на-

¹ Раевский В. Ф. Материалы о жизни и революционной деятельности. В двух томах, т. I. Иркутск, 1980, с. 103—104.

следник литературного сознания декабристов Н. П. Огарев: «Пушкин, с своей всеобъемлющей впечатлительностью, не мог понять исповеди Наливайки; публика поняла ее и откликнулась. Пушкин искал образа казацкого вождя, чтоб быть вполне удовлетворенным этим отрывком, и не находил его — и был прав; он только забыл в заглавие поставить: исповедь Рылеева, и тогда бы удовлетворился; публика поняла, что это была исповедь не только Рылеева, но каждого равнодушного человека того времени»¹. Лирическое одушевление было центральным нервом декабристской поэзии, потому и выдвигался на авансцену сам поэт, чья жизнь на глазах становилась примером, зовущим к освобождению.

Образ поэта-пророка сопровождает Кюхельбекера от первых лицейских опытов до смерти. Лейтмотив его творчества — мысль об избранничестве, высоком назначении, святости песнотворца. Поэт-пророк несет миру абсолютную правду, он вдохновлен свыше, а потому может не замечать низкую реальность, зная, что в конечном счете она преобразится его словом. Гонения и проклятия, преследования и насмешки не стоят внимания — таков удел поэта всегда. Кюхельбекер дает свой вариант «вечной коллизии»: то, что Рылеев запечатлел в национально-историческом материале, у Кюхельбекера развернуто в истории поэзии. Страдания поэтов времен минувших не отменяют парадоксального оптимизма, и понятно почему: великие поэты прошлого победили толпу и время — остались в веках, а значит:

И что ж? пусть презрит нас толпа:
Она безумна и слепа!
(«Поэты»)

Проклят, кто оскорбит поэта
Богам любезную главу;
На грозный суд его зову:
Он будет посмеяньем света!
(«Проклятие»)

Гордая независимость избранника коренилась в мощной традиции: Кюхельбекер, как и лирик Грибоедов, как и Федор Глинка, прямо ориентируется на библейские образцы. Подернутая патиной лексика священных книг, синтаксическая усложненность, резкость образов и отчетливость витийственной интонации создавали особый эффект «высокого» пророческого языка. «Темнота» поэтического стиля, требовавшая читательской активности, была не издержкой, как казалось литературным противникам Кюхельбеке-

¹ Огарев Н. П. Избр. произведения. В двух томах, т. 2, М., 1956, с. 471.

ра и, к сожалению, некоторым исследователям, но задачей — высокое косноязычие передавало энергию горящего чувства, не знающего скованности мер, ломающего сегодняшние каноны. Стих Кюхельбекера должен опьянять и завораживать читателя-сочувственника, превращать раба в гражданина и повергать в ужас «глухих» супостатов. Лирика Кюхельбекера соприкасается с проповедью и призывом, проклятьем и присягой — она требует немедленного поступка, гражданского, воинского или нового поэтического подвига. В ее эмоциональной взвинченности, экзальтичности тон воинственной песни сливается с мелодией псалма, одическое парение отрывается от традиционно государственных идеалов классической оды и оборачивается исповедью на миру.

Рылеев выразил своей жизнью и поэзией высокую легенду декабризма. Путь его отчетлив и осознан: от сокрушительной сатиры «К временщику» через однозначные предчувствия «Войнаровского» и «Наливайки» к Сенатской площади, «дыханию свободы». Если поведение Рылеева на следствии не вовсе укладывается в жесткий стереотип «рыцаря без страха и упрека», то выручают стихи, якобы написанные Рылеевым гвоздем на оловянной тарелке:

Тюрьма мне в честь — не в укоризну,
За дело правое я в ней.
И мне ль стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за отчизну?

Строго говоря, не важно, действительно ли Рылеев сочинил эти стихи. Важна логичность и необходимость их появления с именем Рылеева. «Надпись на крепостной тарелке» и проклятья, которые бросал поэт царским сановникам во время казни, отчетливый финал его судьбы — своего рода эмблемы декабризма.

Кюхельбекер выразил иное: вокруг его имени складывались не легенды, а анекдоты; его удивительная, завораживающая всякого непредубежденного читателя поэзия долго воспринималась лишь как эксцентрическое чудачество, под стать внешнему облику Кюхли. Рылеев был нормой декабристского сознания (насколько здесь вообще можно говорить о норме), Кюхельбекер — крайностью незаурядного таланта, постоянно «выламывающегося» из любых рамок. Поэтому уделом Рылеева была слава, уделом Кюхельбекера — долгое забвение. Рылеев, если воспользоваться образом из стихов Кюхельбекера, «пал, как юноша Ахилл, // Прекрасный, мощный, смелый, величавый, // В середине поприща побед и славы, // Исполненный нескрушимых сил!». Кюхельбекеру было суждено жить после 14 декабря, видеть смерть сверст-

ников, ощущать себя хранителем заветного пламени двадцатых годов.

Четырнадцатое декабря 1825 года — вершинная точка в истории декабризма. Восстание на Сенатской площади было разгромлено; дворянские революционеры, «первенцы свободы» потерпели поражение. Причины горького финала в общем известны нам со школьных лет: нехватка войск, недоверие к народной толпе, готовой поддержать восставших, нарушение слова Трубецким, Булатовым, Якубовичем, что должны были осуществлять военное руководство, нерешительность остальных, боязнь пролить кровь, которая обильно полилась, как только грянула императорская артиллерия. В день, когда решалась судьба России, обнаружилась обреченность дворянской революционности. Высокий порыв прекрасных душ встретился с грубой реальностью, поэзия подвига не смогла «воплотиться»: тираноборцы оказались слабыми политиками и военными. Речь идет не о «человеческих недостатках»: многочисленные планы, строившиеся в канун восстания, были достаточно основательны, личная храбрость его организаторов, в том числе и тех, кто не вышел на площадь, сомнению не подлежит (несостоявшийся «диктатор» князь С. П. Трубецкой был участником едва ли не всех крупных сражений Отечественной войны и заграничной кампании 1813 года). Не хватило другого: политической и военной практичности, умения идти до конца. В той же психологической тональности развивались и события на Украине — восстание Черниговского полка.

Казалось бы, поражения должны были стать вечной мукой, незаживающей болью тех, кто проиграл. Случилось иначе: декабристские мемуары повествуют о счастливом дне, о «дыхании свободы». Декабристы по-разному вели себя на следствии, по-разному смотрели на «практическую» сторону своей деятельности из сибирского далека, но верность духу свободы они сохраняли. Поэтизация восстания таилась в самом его ходе, во внешней нелогичности поступков и речей, когда рядом звучали слова о близкой победе и легендарное восклицание: «Ах, как славно мы умрем!». Поэтизировалась не провалившаяся военная операция, но духовный порыв, ясность, которой не было в сутолоке петербургского зимнего дня, но которая вела и крепила восставших. Страшный день (гибнущие солдаты и простолюдины, кровавые полыньи на Неве, визг картечи сквозь крепкий ветер, неизвестность, пришедшая вместе с ночью) стал символической вехой — это не только взгляд историка, знающего, что было потом, это не только поздние раздумья мемуаристов, это и сама «непрактичная практика» борьбы за «глоток свободы».

Следствие поставило мятежников в совершенно новую, во многом неожиданную для них ситуацию. Декабристы размышляли о России и свободе, размышляли государственно и в то же время возвышенно, порой отвлеченно. Допрашивающие требовали фактов, упирали на планы царевубийства, не желали видеть в подследственных мыслителей и свободолюбцев. Концепция Николая I, Следственного комитета, а затем и Верховного суда была однозначной: «злодеев» надо уничтожить. Речь шла не только о физическом уничтожении, венцом которого стал приговор: виселица для пятерых, «каторжные норы» для 121, ссылки, полицейский надзор для тех, кто был «мало замешан» в деле. Предвестием была тяжесть заключения во время следствия, приводившая к болезням, порой к помрачению рассудка и даже к самоубийству, как это случилось с полковником Булатовым. Не менее важно было уничтожить «декабризм» нравственно: изъять это духовное явление из истории и современности, из памяти и сегодняшней жизни общества. Николай I мог внимательно выслушивать пламенные речи, читать обстоятельные письменные показания, брать на заметку те или иные частные идеи; понимать общую логику декабризма, причины, заставившие людей действовать, самодержец не желал. Николай I и его окружение последовательно строили «свой» образ случившегося: образ бессмысленного и преступного курьеза, не имевшего истоков и почвы, чуждого России, а потому в принципе — безопасного, лишь случайно омрачившего торжественный день воцарения.

Подследственные поняли ситуацию не сразу. Они ждали диалога, контакта, «справедливого наказания», но не «сведения счетов», они верили, что люди, сидящие «по ту сторону», думают о причинах случившегося, о судьбе России, по-своему хотят добра. Этим объясняется отчасти странная «разговорчивость» некоторых декабристов, их подчас предельная откровенность¹. Формально искренность вела к очередному политическому поражению: правительство узнавало все больше, Следственный комитет делал свое дело. По сути же, с первых дней заключения, независимо от выбора тактики отдельными лицами, начинала складываться ответная коллективная версия, утверждающая место тайных обществ в истории. Версия эта, наметившаяся в ходе следствия, росла и крепла в Сибири и на Кавказе, обретала фактическую плоть и эмоциональную яркость в совместных беседах и одиноких раздумьях.

¹ Вопрос о поведении декабристов на следствии весьма сложен. Мы сталкиваемся с самыми разными вариантами: от полного доверия к царю до последовательного отказа от разговора. Подробнее см.: Эйдедьман Н. Лунин. М., 1970, с. 104—214.

ях, версия эта не давала погибнуть и дарила надежду, становилась стихами и прозой, каждодневным делом, из тех, что делаются как бы сами собой. В ответ на убогую ложь официальных заявлений, в ответ на заговор молчания, которым стремились окружить декабризм Николай I и его приближенные, шла правда о том, что было, как было, почему было.

Пафос жизни и творчества декабристов после событий 1825—26 годов был в утверждении своей правды. Это могла быть прямая декларация, как в хрестоматийных стихах Александра Одоевского:

Но, будь покоен, бард: цепями
Своей судьбы гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями...

Это мог быть обстоятельный и четкий историко-социологический анализ прошлого и настоящего России (публицистика Михаила Лунина). Это могла быть кропотливая работа памяти, восстанавливающая в подробностях хронику тайных обществ (многочисленные мемуары). Это могли быть песни о славных днях, такие, как песня о восстании Черниговского полка Михаила Бестужева или песня неизвестного автора, подаренная им Ивану Пущину и сохранившаяся в архиве потомков Ивана Якушкина:

С площади смывали кровь в ночь из поливней;
Но она не смоеся в твоей памяти;
Топором не вырубшь с скрижалей долой.
Взгляни-ка: на крепости виселицы нет;
Но пять теней грозных носятся над ней!

Даже когда осужденные декабристы были заняты делами, далекими от политических бурь, их жизнь была опровержением общественной лжи Николая I. Заточенный в одиночную камеру Кюхельбекер остался замечательным поэтом и критиком. Дневник, который он вел на протяжении многих лет, показывает, как можно существовать в литературе, будучи от нее насильственно отторгнутым. Год за годом Кюхельбекер не только пишет стихи, поэмы, драмы, прозу, но и шлифует мастерство критика, развивает эстетические концепции, продолжает старые литературные споры и заводит новые, вглядывается в движение отделенной от него литературы и умеет ее понять, порой лишь по пересказу, по журнальной статье, рецензии (так Кюхельбекер открыл и оценил Лермонтова по статьям Белинского). С точки зрения «здорового смысла» критика не лирика, что может твориться лишь для себя и далеких потомков; критическое слово публично, полемика жива лишь

при возможности ответа. «Дневник» Кюхельбекера опровергает «ходячие истины» — до сих пор читатели не знают, что больше удивляет их в этом документе: мудрость Кюхельбекера-литератора или мужество Кюхельбекера-человека.

Одно неотрывно от другого: Кюхельбекер оставался собой, а потому оставался большим поэтом. Он смог закончить мистерию «Ижорский» — русскую вариацию на тему Фауста; смог создать огромную поэму «Давид», где прежде излюбленный образ певца — пророка — воина нашел наиболее развернутое воплощение, народную трагедию «Прокопий Ляпунов», знаменующую новый этап декабристского историзма, психологическую повесть о судьбе художника «Последний Колонна», точно включающуюся в литературный контекст подекабрьской эпохи.

Скорбные мотивы тюремной и сибирской лирики Кюхельбекера наводят на мысль об усталости, духовном кризисе, одиночестве поэта. Странно было бы ждать от человека, просидевшего десять лет в одиночной камере, а затем заброшенного в сибирскую глушь, от человека, физически слабого и вовсе не приспособленного к жизненным тяготам, безоблачного оптимизма. Поэзия зрелого Кюхельбекера — поэзия скорби и боли, но логическое ударение здесь должно падать на слово поэзия. Вспомним о высоком смысле, который видел в ней Кюхельбекер: поэзия поднимает человека, очищает его боль, дарует особые свободы. Кюхельбекер ощущает себя живым, покуда с ним вдохновение, утрата поэзии представляется ему самым страшным несчастьем (тема эта звучит в его стихах чем дальше, тем настойчивей). Если нет поэзии — нет и жизни:

Пора и мне! — Давно судьба грозит
Мне казней нестерпимого удара:
Она меня того лишает дара,
С которым дух мой неразрывно слит!
Так! перенес я муки заточенья,
Изгнание, и срам, и сиротство;
Но под щитом святого вдохновенья,
Но здесь во мне пылало божество, —

воскликает поэт в «лицейской годовщине» 1837 года — поэтическом некрологе Пушкину. Знаменательно, что слова Кюхельбекера перекликаются с заведомо неизвестными ему пушкинскими строками. В отброшенном окончании стихотворения «Вновь я посетил...» Пушкин, вспоминая годы Михайловской ссылки, писал:

Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия как ангел — утешитель
Спасла меня, и я воскрес душой.

Поэзия стала «таинственным щитом» не для одного Кюхельбекера. Именно одиночное заключение сделало поэтом Г. С. Батенькова, в декабрьскую эпоху окреп талант Александра Одоевского, через стихи шел к повестям, что принесут ему всероссийскую славу, Александр Бестужев. Лирика, возводящая личный опыт до философского обобщения, соединяющая исповедь и проповедь, и мемуаристика, воссоздающая ход ушедшего времени, возрождающая далекие споры и планы, рисующая картину последних десятилетий и показывающая неразрывность истории страны, истории революционного движения, истории его участников, — два полюса «декабрьской» литературы. Полюса взаимоориентированы: поле, возникающее между ними, и было вкладом «вычеркнутых из списков» в живую культуру.

Не все голоса были слышны, не все строки доходили до читателей и, тем более, находили отклик в сердцах современников. Была в целом счастливая издательская судьба Александра Бестужева — повести за подписью А. Марлинский «глотала» вся более или менее образованная публика. Но было и духовное одиночество не осужденного по делу 14 декабря, имевшего право печататься, но оказавшегося чужим и непонятым новой эпохе Катенина. Были редкие публикации Кюхельбекера, Одоевского, Федора Глинки. Но были и вовсе никому неизвестные Батеньков или Раевский. Да и не всякое издание оказывалось «работающим»: «Ижорский» — заветное сочинение Кюхельбекера — был не понят читателями и критикой.

Трагические судьбы «людей 14 декабря» вносили дополнительные сложности в отношения с публикой, в романтическую эпоху и без того непростые. Так, громкий успех прозы Марлинского во многом был обусловлен тем, что читали ее «по верхнему слою», а писатель мог и «потрафить» той части публики, что жаждала эффектного повествования с хорошо сделанным сюжетом и душевнораздирающими страстями, закованными в блеск искрометных метафор. Романтический ореол вокруг имени кавказского изгнанника легко превращался в дешевый штамп — такова была плата за успех.

Самый «удачливый» из писателей-декабристов, Александр Бестужев оказался в весьма двусмысленном положении: с одной стороны, слышались громкие рукоплескания читателей и журналистов, с другой — было молчание Пушкина, резкие отзывы Белинского, начавшего борьбу с «марлинизмом» уже в первом своем выступлении — «Литературных мечтаниях» (1834). Правда, Александр Бестужев Пушкина 30-х годов и сам не очень жаловал, правда, молодой Белинский при жизни Марлинского еще не пользовался тем авторитетом, что пришел к нему в 40-е годы. Шум

восхищения был достаточно силен, но Бестужев все же чувствовал некую эфемерность, летучесть своей славы, ощущал ее зависимость от превходящих обстоятельств, моды, журнальной борьбы. Потому он с грустью написал в письме к духовно близкому ему человеку — издателю журнала «Московский Телеграф» Николаю Полевому: «Вы правы, что для Руси невозможны еще гении: она не выдержит их; вот вам вместе и разгадка моего успеха. Сознаюсь, что я считаю себя выше Загоскина и Булгарина; но и эта высь по плечу ребенку. Чувствую, что я не достоин достоинства человека со всеми моими слабостями, но я знаю себе цену и, как писатель, знаю и свет, который ценит меня. Сегодня в моде Подолинский (поэт, популярный на рубеже 1820—30-х годов.— А. Н.), завтра Марлинский, послезавтра какой-нибудь Небылинский, и вот почему меня мало радует ходьчество моя»¹.

Творчество Марлинского 30-х годов экстенсивно: писатель спешит охватить самые разные жизненные сферы, он пишет и исторические, и светские, и морские, и «кавказские» повести, отдает дань фантастике и этнографии, пытается снова войти в литературу как критик (в прошлом Александр Бестужев — блестящий журнальный боец; его «обозрения» в «Полярной звезде» — наиболее яркое выражение литературной теории и литературной политики радикальных декабристов). Однако тематическая и жанровая всеохватность лишь подчеркивают лирическое единство прозы Марлинского. Все, что он пишет, — исповедь; исповедь в обличин светской повести или кавказской были, исторического анекдота или журнальной статьи. Отсюда «одинаковость» главных героев — двойников автора, отсюда «сделанность» сюжетов, служащих яркой упаковкой, декорацией, на фоне которой страдает и сражается дух героя, отсюда же блестяще энергичный, пышный, поэтически украшенный слог. Марлинский обретает себя там, где лиризм его становится нескрываемым, где дистанция между автором и героем стремится сойти на нет, а сюжетные условности отодвигаются, дабы дать место спонтанному излиянию души. Таковы отрывки «Он был убит», вырастающие из романтического бытия ссыльного декабриста-кавказца и как бы предсказывающие его смерть.

Как и в случае с Рылеевым, личность Марлинского крупнее творчества, по той же причине жизнь Александра Бестужева на Кавказе легко обрастает легендами. Есть, однако, и отчетливое различие. Рылеевская легенда трагична и ясна, она готова отлиться в бронзе, стать хрестоматийной, она не терпит недомолвок и

¹ Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения. В двух томах, т. 2, с. 506.

полутонув, отмечает все несущественное: чеканная формула «поэт-декабрист» исчерпывающе схватывает ее суть. Легенда Бестужева-Марлинского многоголоса, многокрасочна, риторика в ней мешается со слухами, высокая интонация с иной, рассчитанной на мелочное любопытство уездных барынь. Слухи клубились вокруг Марлинского при жизни, гибель писателя при высадке русских войск на мысе Адлер породила новые: Марлинский убит своими в спину, Марлинский перешел на сторону горцев, Марлинский — любимец Шамиля, а то и сам Шамиль... В легендах есть двусмысленность, они в духе не самых взыскательных читателей Марлинского, они слегка раздражают... Но есть и другая сторона дела: в множащихся слухах, причудливых, годящихся в роман, продолжает жить человек, продолжает, превращаясь в поэзию (со всеми оговорками, но поэзию), а значит еще раз терпят поражение те, кому нужно было избавиться от людей и духа 14 декабря.

Громкая слава Марлинского, дерзкие «Письма из Сибири» Лунина, незаметные публикации Кюхельбекера, борьба за место в литературе Катенина и Глинки... позже активность мемуаристов, декабристские контакты Лермонтова, декабристы в изданиях Герцена и Огарева... незавершенный роман Толстого и декабристская тема в эпилоге «Войны и мира», материалы по истории тайных обществ на страницах «Русского архива» и «Русской старины», поэмы Некрасова...

Девятнадцатого октября 1826 года Дельвиг, поминая осужденных лицейских друзей Кюхельбекера и Пушкина, писал:

Нет их с нами, но в сей час
В их сердцах пылает пламень.
Верьте. Внятен им наш глас.
Он проникнет твердый камень.

Авторитетный исследователь справедливо сопоставил эти строки с пушкинским обращением к декабристам¹:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные запоры,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Дельвиг и Пушкин сделали все возможное для того, чтобы не только друзья под «гранитным небом» слышали привет с воли, но и их голос «проник» «твердый камень». Была сила слова, идущего из бездны, которую Николай I хотел сделать бездной заб-

¹ Вацуро В. Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига—Пушкина. М., 1978, с. 90.

вения; было и встречное движение: сознание, что друзья, товарищи, братья нужны России, ее культуре, ее словесности. История не могла перекраиваться по воле императора — у Лунина было право писать: «Тайное общество принадлежит Истории».

Современный исследователь нашел выразительную и емкую характеристику главного дела героев 14-го декабря: «Если поэзия декабристов была исторически в значительной мере заслонена творчеством их гениальных современников — Жуковского, Грибоедова и Пушкина, если политические концепции декабристов устарели уже для поколения Белинского и Герцена, то именно в создании совершенно нового для России типа человека вклад их в русскую культуру оказался непреходящим и своим приближением к норме, к идеалу, напоминающим вклад Пушкина в русскую поэзию»¹.

Далекие, но духовно нам близкие, человечески необходимые сегодня лица ищем мы в стихах и повестях, публицистических выступлениях и воспоминаниях декабристов. Рылеев не похож на Федора Глинку, Кюхельбекер на Николая Бестужева; патетичную речь «поэта в прозе» Марлинского не спутаешь с ориентированной на историческую достоверность, несколько тяжеловесной, обстоятельной и немного наивной повествовательной манерой Корниловича; «корчащийся», архаичный и опережающий эпоху одновременно стих Батенькова далек от созвучного лермонтовскому стиха Александра Одоевского. Разные люди, разные судьбы, разная степень таланта и известности — и неизменный свет подвига, духовной чистоты, нравственного идеала.

Свет и простор — наверное, об этом больше всего мечтали декабристы в «каторжных норах», под горскими пулями на Кавказе. Горькие стихи о жизни без выбора оставил Александр Одоевский, сложив их не в добрый час:

Пора отдать себя и смерти и забвенью!
Но тем ли после бурь нам будет смерть красна,
Что нас не Севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?
И что не мерзлый ров, не снеговой увал
Нас мирно подарят последним новосельем;

Но кровью жаркою обрызганный чакал
Гостей бездомный прах разбросит по ущельям.

(«Куда летите вы, крылатые станицы»)

¹ Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория). — В кн.: Литературное наследие декабристов. Л., 1975, с. 69.

Ответом на это пророчество стали стихи Лермонтова, посвященные памяти друга — памяти поэта. Торжественным покоем веет от лермонтовских строф. Необъятность степей, океан воздуха, громады Кавказа и бесконечная даль моря стали последним пристанищем и одновременно вечным памятником Одоевскому. Нет тоски, ужаса смерти, потеряли враждебный лик горы, они величественны и как бы заставляют поднять взор к небу, а не давят, как в стихах Одоевского. Одухотворенная природа лермонтовской эпиграфии словно пронизана лучами человеческой красоты и живого обаяния Одоевского; он как будто и не умирал, а просто превратился в волшебный пейзаж, дрему гор, песню моря.

В немногих словах Лермонтова рождается чудо — черноморский пейзаж и память о декабристе, история и вечность сливаются воедино, светлый реквием звучит и по Александру Одоевскому, и по его друзьям, и по их времени.

И вокруг твоей могилы неизвестной
Все, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно.
Немая степь синее, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит не умолкая.

А. НЕМЗЕР.

ПРОГРАММНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЕ СОЮЗА БЛАГОДЕНСТВИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КНИГА 1-я

ЦЕЛЬ СОЮЗА БЛАГОДЕНСТВИЯ

§ 1. Убедясь, что добрая нравственность есть твердый оплот благоденствия и доблести народной и что при всех об оном заботах правительства едва ли достигнет оное своей цели, ежели управляемые с своей стороны ему в сих благотворных намерениях содействовать не станут, Союз Благоденствия в святую себе вменяет обязанность распространением между соотечественниками истинных правил нравственности и просвещения споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия, к коей она самим творцом предназначена.

§ 2. Имея целью *благо отечества*, Союз не скрывает оной от благомыслящих сограждан, но для избежания нареканий злобы и зависти действия оного должны производиться втайне.

§ 3. Союз, стараясь во всех своих действиях соблюдать в полной строгости правила справедливости и добродетели, отнюдь не обнаруживает тех ран, к исцелению коих немедленно приступить не может, ибо не тщеславие или иное какое побуждение, но стремление к общему благоденствию им руководствует.

§ 4. Союз надеется на доброжелательство правительства, основываясь особенно на следующих изречениях Наказа в бозе почивающей государыни императрицы Екатерины вторыя: «Если умы их недовольно приуго-

товлены к ним (к законам), то возьмите на себя труд их приуготовить, и вы тем уже много сделаете». И в другом месте: «Весьма дурная политика та, которая исправляет законами то, что должно исправить нравами».

§ 5. В цель Союза входят следующие четыре главные отрасли: 1-я — человеколюбие, 2-я — образование, 3-я — правосудие, 4-я — общественное хозяйство.

Первая отрасль

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ

§ 6. Под надзором Союза состоят все человеколюбивые заведения в государстве, как то: больницы, сиротские дома и т. п., также и места, где страдает человечество, как то: темницы, остроги и проч. Он с приличным благотворной цели его усердием старается обозревать, по возможности улучшать и учреждать новые, подобные помянутым заведения. Доводит до сведения правительства все недостатки и злоупотребления, в сих заведениях усмотренные. Ибо в совершенном убеждении, что оно истинно о сем соболезнует и готово простерть руку помощи всем страждущим. Союз также особенно печется о помещении инвалидов к приличным местам.

Вторая отрасль

Отдел 1. Распространение правил нравственности

§ 7. Союз тщательно занимается распространением во всех сословиях народа истинных правил добродетели, напоминает и объясняет всем их обязанности относительно веры, ближнего, отечества и существующих властей. Он показывает неразрывную связь добродетели, т. е. доброй нравственности народа с его благоденствием и употребляет все усилия к искоренению пороков, в сердца наши вкравшихся, особенно предпочтения личных выгод общественным, подлости, удовлетворения гнусных страстей, лицемерия, лихоимства и жестокости с подвластными. Словом, просвещая всех насчет их обязанностей, старается примирить и согласить все сословия, чины и племена в государстве и побуждает их стремиться

единодушно к цели правительства: *благу общему*, дабы из общего народного мнения создать истинное нравственное судилище, которое благодетельным своим влиянием довершило бы образование добрых нравов и тем положило прочную и непоколебимую основу благоденствия и доблести российского народа.

Союз достигает до сего изданием повременных сочинений, сообразных степени просвещения каждого сословия, сочинением и переводом книг, касающихся особенно до обязанностей человека. Личный пример и слова должны тому содействовать. Преимущественно духовные особы, в Союзе находящиеся, обязаны просвещать прихожан своих насчет их обязанностей, не исключая из сего никакого сословия. Должно стараться побуждать к сему и тех духовных особ, кои даже и не находятся в Союзе.

Отдел 2. Воспитание юношества

§ 8. Воспитание юношества входит также в непремennую цель Союза Благоденствия. Под его надзором должны находиться все без исключения народные учебные заведения. Он обязан их обозревать, улучшать и учреждать новые. Вообще в воспитании юношества особенное прилагает старание к возбуждению в нем любви ко всему добродетельному, полезному и изящному и презрение ко всему порочному и низкому, дабы сильное влечение страстей всегда было останавливаемо строгими, но справедливыми напоминаниями образованного рассудка и совести.

Касательно частного воспитания Союз нечувствительным образом стараться должен побуждать родителей ко внушению детям своим правил добродетели, всех достойных воспитателей поддерживать; а тем, кои под таким видом вкрадываются в дома для поселения раздоров и разврата, старается не только изгонять из оных, но как растлевающих нравственность юношества лишать всякой возможности находить в сем ремесле дневное свое пропитание. В сем наблюдает он особенно за иностранцами, кои сверх поселения в домах раздоров и разврата внушают детям презрение к отечественному и привязанность к чужеземному. Союз старается также отвращать родителей от воспитания детей в чужих

краях. Образование женского пола, как источник нравственности в частном воспитании, входит также в предмет Союза.

Средства, для сего Союзом употребляемые, суть собственный пример, слово и повременные издания, в коих излагаемы должны быть, между прочим, способы воспитания, имена дознанных хороших воспитателей и полезных для сего книг.

Отдел 3. Распространение познаний

§ 9. Союз всеми силами попирает невежество и, обращая умы к полезным занятиям, особенно к познанию отечества, старается водворить истинное просвещение. Для сего занимается он сочинениями и переводом книг, как хороших учебных, так и тех, кои служат к изяществу полезных наук. Старается также распространять изучение грамоты в простом народе. Употребляет посмеяние для отвращения от книг, не токмо противных цели Союза, но и никакого влияния не имеющих. В словесности допускается только истинно изящное и отвергается все худое и посредственное.

Третья отрасль

ПРАВОСУДИЕ

§ 10. Правосудие, следствие доброй нравственности, есть, без сомнения, одна из главных отраслей народного благоденствия и посему входит в цель Союза. Он наблюдает за исполнением государственных постановлений, побуждает чиновников, как светских, так и духовных, к исполнению обязанностей; осведомляется о всех решаемых делах и старается клонить все на сторону справедливости; чиновников честных и исполняющих свой долг, но бедных состоянием, поддерживает; вознаграждает убытки, за правду понесенные; людей истинно достойных возводит; бесчестных же и порочных старается обратить на путь должного; в случае неудачи лишает, по крайней мере, возможности делать зло. Союз старается также укрощать и искоренять властолюбие и презрение прав человеческих, вместе с воспитанием в нас вкрады-

вающиеся, и убедить всякого в истине, что *общее благо народа требует непременно частного и что каждый человек, какого бы он сословия ни был, вправе оным пользоваться.*

Четвертая отрасль **ОБЩЕСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО**

§ 11. Общественное хозяйство как основание народного богатства,— связывая посредством торговли и промышленности не токмо все сословия, но и все огромные части государства; переводом же из рук в руки богатств, уравнивая состояние и тем подавая каждому надежду трудолюбием своим пользоваться той частицею благоденствия, коей он завидовал в другом,— должно необходимо войти в цель Союза. Он особенное обращает внимание на хлебопашество и на всякого рода возделывание земель для разведения полезных произрастений; покровительствует всякой полезной в государстве промышленности; имеет надзор над внутренней и внешней торговлею, стараясь оную распространить и оживить ею совершенно мертвые части отечества; отличившихся купцов в трудах для пользы общей, также и всякого рода полезных заводчиков поддерживает и представляет на вид правительству для награждения,— честных купцов отличает, бесчестных же старается обратить к обязанностям и вообще печется о введении бóльшей честности в торговле. В предмет Союза входит также составление общественной казны.

КНИГА 2-я **ОБЩИЕ ЗАКОНЫ СОЮЗА БЛАГОДЕНСТВИЯ**

Глава I

КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ, ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ

1. Качества принимаемых

§ 1. Союз Благоденствия, имея целью *общее благо*, приглашает к себе всех, кои честною своею жизнью удостоились в обществе доброго имени и кои, чувствуя все

величие цели Союза, готовы перенести все трудности, с стремлением к оной сопряженные.

§ 2. Союз не взирает на различие состояний и условий: все те из российских граждан, дворяне, духовные, купцы, мещане и вольные люди, кои соответствуют вышеозначенному, исповедуют христианскую веру и имеют не менее 18-ти лет от роду, приемлются в Союз Благоденствия.

Примеч. Российскими гражданами Союз почитает тех, кои родились в России и говорят по-русски. Иноземцы же, оставившие свою родину, дабы служить чужому государству, сим самым уже заслуживают недоверчивость и потому не могут почитаться российскими гражданами. Достойными сего наименования Союз почитает только тех иноземцев, кои оказали важные услуги нашему отечеству и пламенно ему привержены.

§ 3. Женский пол в Союз не принимается. Должно, однако ж, стараться нечувствительным образом склонять его к составлению человеколюбивых и вообще частных обществ, соответствующих цели Союза.

§ 4. Кто известен был за бесчестного человека и совершенно не оправдывается, тот не может быть принят в Союз Благоденствия. Вообще все люди развращенные, порочные и низкими чувствами управляемые от участия в Союзе отстраняются.

2. Обязанности членов

§ 5. Каждый член, вступив в Союз, обязан, судя по своим способностям, приписаться к которой-нибудь из отраслей, в цели означенных, и сколько возможно содействовать трудам ее.

§ 6. Каждый член обязан беспрекословно повиноваться всем законным повелениям властей Союза; ревностно исполнять все даваемые ими поручения и без досады подчиняться всем замечаниям, кои помянутыми властями за неисполнение обязанностей сделаны быть могут.

§ 7. Члены Союза не токмо не должны уклоняться от общественных обязанностей, но как истинные сыны отечества с удовольствием их принимать, с рачением

исполнять и как непорочным поведением, так правосудием и благородством возвышать во мнении других занимаемое ими место.

§ 8. Во всяком звании, во всяком месте член Союза обязан помогать ближнему; оказывать уважение людям добродетельным и достойным, стараться вступить с ними в связь, извещая о том Союз; злым же и порочным противиться всеми средствами, общего спокойствия не нарушающими.

§ 9. Члены союза должны и в общественной жизни вспомоществовать друг другу; члены дворянского состояния обязаны поддерживать членов купеческого, мещанского и земледельческого; а члены сих сословий должны так же поступать между собою и относительно дворян; члены гражданской службы в разговорах вступаются за военных, а военные за гражданских; все сие, однако ж, не вопреки правды и не в пользу порока или преступления. Вообще, должен всякий распространять истину: что каждое сословие и служба, государству полезные, должны быть равно уважаемы истинными сынами отечества и что презрения достойны только те люди, кои отступают от своих обязанностей и порок предпочитают добродетели.

§ 10. Всякий член под опасением взыскания обязан властям Союза доносить о всех противозаконных и постыдных деяниях своих сочленов.

§ 11. Прочие общие обязанности членов Союза естественным образом истекают из цели оного. Каждый член обязан, по мере сил своих, деятельно споспешествовать достижению сей цели — он должен личным примером и словом поощрять всякого к добродетели, распространять сообразные с целью Союза понятия, говорить правду и безбоязненно подвизаться за оную, словом сказать, он должен стараться воздвигнуть ту нравственную стену, которая как нынешние, так и будущие поколения оградила бы от всех бедствий порока, и чрез то на вечных и незыблемых основаниях утвердить величие и благоденствие российского народа.

§ 12. Всякий член обязан, вступив в Союз, вносить ежегодно в общественную казну *двадцать пятую* часть своего дохода. Союз в сем случае полагается совершенно на честность каждого вступающего, ибо добродетель, а не иное чувство, побуждает каждого содействовать общему благу.

3. Права членов

§ 13. Различие гражданских состояний и званий в Союзе уничтожается и заменяется подчиненностью властям Союза. Сие, однако ж, не должно препятствовать обыкновенному чинопочитанию: член Союза должен во всяком случае рачительнее всякого исполнять общественные обязанности.

§ 14. Всякий член не только имеет право, но обязан по порядку, в законоположении означенному, участвовать в управлении и законодательстве Союза. Он также имеет право о всяком предмете подавать письменно свое мнение как низшему, так и высшему начальству Союза.

§ 15. Никто из членов не может быть обвиняем по одному только подозрению: он подвергается взысканию не прежде, как по предъявлении достаточных против него доказательств.

§ 16. Всякий член имеет право учреждать или быть членом всякого рода правительством одобренных обществ, но извещать должен при том Союз о всем, в оных происходящем, и нечувствительным образом склонять их к цели Союза. Вступление же в такие общества, кои правительством не одобрены, членам Союза воспрещается; ибо он, действуя к благу России и, следовательно, к цели правления, не желает подвергнуться его подозрению.

§ 17. Никто без особенного поручения не может с посторонним говорить о занятиях и делах Союза; никто без особенного позволения не имеет права письменно излагать свои мысли ни против Союза, ни даже в пользу оного. Каждый член обязан, напротив того, избегать с нечленами всякого о Союзе спора; в случае же необходимости защищать его и членов, с приличною благопристойностью.

§ 18. Хотя бы и не должно случаться, чтоб люди, даже несколько добродетельные, познав совершенно цель и неизменность хода Союза, от оного отступались, однако ж малодушные, ведущие жизнь почти растительную, по слабости и нерешимости, невинные ни в добрых, ни в худых своих поступках, вступив, по мгновенному влечению к добродетели, в Союз, а потом, никем не подстрекаемые, возвратясь в природное положение совершенного нравственного бездействия, могут терзаться мгновенною своею решимостью; и посему Союз, взирая

на болезненное таковых несчастных положение, позволяет им отступить от оно́го, с тем, однако же, чтобы хранить в тайне все известное.

Глава II

ПРИНЯТИЕ ЧЛЕНОВ, НАГРАЖДЕНИЯ, ПЕНИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

§ 19. Принимается в Союз Благоденствия только тот, кто имеет качества, означенные в четырех первых статьях первой главы.

§ 20. Каждый принимаемый до вступления в Союз должен предъявить, на кого из знакомых имеет он достаточное для цели Союза влияние.

Примеч. Достаточным для цели Союза называется то влияние, которое основывается на благорасположении или почтении и которое может обратить особенное внимание благорасположенного к желанию пользующегося сим расположением.

§ 21. Люди, всем известные по истинно хорошим качествам и неоспоримому влиянию, могут обойтись без такового предъявления.

§ 22. Каждый член до принятия своего подписывает следующее объявление:

«Я, нижеподписавшийся, полагаясь на уверение, что ни в цели, ни в законах Союза Благоденствия нет ничего противного вере, отечеству и общественным обязанностям,— честным моим словом обязуюсь, если мне оные по прочтении не понравятся и я в Союз не вступаю, отнюдь не разглашать, наипаче же не порицать его».

§ 23. После сего, если по прочтении первой части законоположения Союза он пожелает вступить в Союз, то должен подписать следующее объявление:

«Я, нижеподписавшийся, находя цель и законы Союза Благоденствия совершенно сходными с моими правилами, обязуюсь деятельно участвовать в управлении и занятиях его, покоряться законам и установленным от него властям; и сверх того даю честное слово, что даже по добровольном или принужденном оставлении Союза не буду порицать его, а тем менее противодействовать оному. В противном случае добровольно подвергаюсь презрению всех благомыслящих людей».

§ 24. От обязанности дать честное слово и подписку никто освобожден быть не может.

§ 25. Имена членов, оказавших рачительным исполнением своих обязанностей важные Союзу услуги, вносятся в почетную книгу, и подвиги их объявляются по всему Союзу.

§ 26. Тому из членов, который не радит о своих обязанностях, делается сперва кроткое напоминание, а потом, если он не переменит своего поведения, то исключается из Союза.

§ 27. Тому, кто действует вопреки цели Союза, делается сперва кроткое напоминание наедине, потом при свидетелях; в третий же раз он исключается из Союза.

§ 28. Имена изгнанных из Союза членов вносятся в постыдную книгу.

КНИГА 4-я

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТИЙ

§ 1. Членам, в той или другой отрасли находящимся, поручен от Союза надзор в отечестве за всем, к их отрасли принадлежащим; они ведут все к цели учреждения оного и о состоянии всего уведомляют Союз, дабы он мог, что требует исправления, принять должные меры и довести до сведения правительства. Предмет каждой отрасли и способ действия определен ниже.

§ 2. Никакое злоупотребление в отечестве не доводится до сведения правительства частно от лица, замечившего оное члена; но сие есть особенно действие правления Союза, которое берет для того самые благоразумные меры. Члену Союза не воспрещается, однако ж, лично от себя обращать на злоупотребление внимание местного начальства.

§ 3. Никакое сочинение не издается от Союза без согласия правления оного; но члену не воспрещается издавать от своего имени те, которые не издаются Союзом, или те, которые он собственно от лица своего пожелает издать.

§ 4. Поручения членам даются от Союза, сообразные занятиям отрасли или отдела, к которым они приписались. Однако ж член волен принять на себя и такое

поручение, которое не сходствует с избранною им отраслью или отделом; ибо от воли его зависит принадлежать к одной отрасли или отделу, или к нескольким или даже и ко всем вместе.

§ 5. Как скоро основалась в каком месте управа, то члены оной, сходно с занятиями отрасли или отдела, к которому они приписались, избирают себе работу, о производстве которой сообщают совету своей управы, дабы он мог о успехах действий доставить сведения правлению Союза.

§ 6. О избрании членами отраслей или отделов, о предпринятых ими работах и о успехах действий совет управы без отлагательства доставляет подробные сведения коренному совету.

§ 7. При распределении коренным советом занятий управам, если не означено имя члена, которому исполнение поручается, то совет управы распределяет оные сам, сообразуясь со способами членов и с избранными ими отраслями или отделами.

§ 8. Совет управы уведомляет коренный совет о поручениях, кому из членов какие розданы.

Отрасль первая

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ

§ 9. Сия добродетель есть не только отличное качество истинного христианина, но даже и самых непросвещенных людей. Нет такого на свете человека, который бы совершенно был равнодушен к несчастью ближнего и в котором бы сострадание не возбудилось при виде подобного себе творения, в самых крайних потребностях нуждающегося. Когда же сея добродетели не лишены и дурных свойств люди, кольми паче должна она одушевлять Союз, целью своею поставивший трудиться к благоденствию соотечественников. Всякий при виде несчастного подаст ему помощь, нищему милостыню — но такое единовременное вспоможение может ли навсегда успокоить получающего оное; — кроме того, сколько видим и таких беспутных людей, которые для удовлетворения своей лениости скитаются по миру и снискивают нужное себе подаянием, тогда когда бы они могли трудолюбием сами в свою очередь принести пользу отечест-

ву и другим истинным несчастливцам; — но вместо того они только тяготят отечество, возбуждают в других охоту к праздности и истребляют даже до остатков доброй нравственности. Сие-то зло искоренить и заменить его всеми противными ему благами есть предмет сей отрасли и попечение членов, к оной приписавшихся, и для того Союз бдительным оком надзирает за всеми заведениями в отечестве, к сей отрасли относящимися, и старается о их усовершенствовании.

§ 10. Союз приглашает в сию отрасль общее уважение и состояние имеющих жителей городов — всех тех, кои под ведением своим имеют человеколюбивые заведения, места заточения и исправления, также членов, врачебным искусством занимающихся.

§ 11. Члены сей отрасли обращают внимание помещиков на отклонение крестьян бродить по миру: — и тех, у коих более таковых, подвергают суждению соотечественников, дабы тем заставить их взять меры к прекращению праздношатания.

§ 12. Вообще стараются склонять помещиков к хорошему с крестьянами обхождению, представляя: *что подданные такие же люди и что никаких в мире отличных прав не существует, которые дозволили бы властителям жестоко с подвластными обходиться.*

§ 13. Уговаривают соотечественников к составлению человеколюбивых обществ и заведений и вступают во все уже ныне существующие.

§ 14. Снабжают праздношатающихся людей работами, стараясь помещать их сообразно их способностям и учреждая рабочие заведения, в которых бы упражняющиеся находили верное и безнужное пропитание.

§ 15. Для таких, которые уже не в силах кормиться трудами своими, устраивают пристанища. В сем числе находятся много дряхлых и изувеченных воинов, кои, употребляя цветущие годы жизни своей на охранение отечества, лишены бывают всех способов провести остатки дней своих в спокойствии и большею частию вынуждены добывать пропитание подаением. Сим благодарное отечество обязано оказать признательность за полученные от них услуги и успокоить их старость. Союз старается помещать их к казенным и частным спокойным местам и сооружать для них общими силами спокойные убежища.

§ 16. В губернских и больших городах члены Союза заводят *приказы*, в которые приглашают являться всех желающих иметь места или упражнения свободных людей. Сии *приказы* доставляют им оные, смотря по их способностям, обращая строжайшее внимание на поведение представляющихся; и от тех, которые окажутся дурного поведения, требуют исправления и дают им способы к оказанию оного; буде же они пребывают худого поведения или правил, то им отказывают. Управляющие для сих приказов избираются согласиём советов управ, в городе находящихся, которым и отдают отчет в исполнении принятого поручения.

§ 17. Надзор за всеми человеколюбивыми заведениями и местами, где страждет человечество, поручен Союзом членам сей отрасли; описание находящихся таковых в местах жительства их присылают члены правлению Союза и доводят до сведения его все недостатки и злоупотребления, какие в них замечены будут.

§ 18. Члены сей отрасли в путешествиях своих осматривают заведения, к оной принадлежащие, и о состоянии их уведомляют Союз.

§ 19. Прививанье коровьей оспы, как важная предосторожность к сохранению жизни младенцев, распространяется членами сей отрасли.

§ 20. Они также изыскивают способы к усовершенствованию человеколюбивых заведений в отечестве.

§ 21. Обозревают по возможности или описывают таковые в чужих краях.

§ 22. Издают повременные сочинения по сей части и распространяют касательно оной существующие уже сочинения.

Отрасль вторая

ОБРАЗОВАНИЕ

Отдел I. Распространение правил нравственности

§ 23. Хотя распространение правил нравственности и добродетели есть самая цель Союза и, следственно, обязанность каждого члена оного, однако ж, поелику члены других отраслей особенно занимаются обозрением и улучшением уже существующего по части человеколюбия, правосудия и общественного хозяйства, то рас-

пространение сказанных правил особенно входит в обязанность членов отрасли образования, и важность сего достославного добровольно принятого ига с избытком может вознаградить за труды и неприятности, с оными сопряженные.

§ 24. Союз приглашает в сей отдел духовных особ и всех тех, кои по положению своему в обществе могут более действовать на нравственность.

§ 25. Распространение принятых Союзом правил производится: личным примером, словом и письмом.

Личный пример

§ 26. Всякий член Союза, а особенно член второй отрасли, должен для подавания примера сограждан:

1) Отличным образом исполнять как семейные, так и общественные обязанности.

2) Во всяком месте по силе своей унижать порочных, презирать ничтожных и возводить добродетельных людей.

3) Во всех поступках оказывать благородство и высоту души, добродетельному человеку свойственные.

4) Не расточать по-пустому время в мнимых удовольствиях большого света, но досуги от исполнения обязанностей посвящать полезным занятиям или беседам людей благомыслящих.

5) Быть особенным образом привержену ко всему отечественному и доказывать то делами своими.

6) В управлении подвластными быть добросердечным и человеколюбивым и примером честной жизни поощрять их самих к добродетели.

Словом: он должен как в помышлениях, так в важных и даже незначущих делах возвышаться над толпою беспечных, безумствующих и порочных людей.

§ 27. Дабы истинно хороший пример производил желаемое действие, каждый член, а особенно член второй отрасли, должен:

1) Стараться узнавать свойства знакомых своих и с добродетельнейшими усилить связь; заслужить их доверенность и наблюдать за их поступками, склонять их на путь добродетели.

2) Заводить новые связи с людьми, кои способны восчувствовать необходимость добродетели; заслужив

их доверенность и уважение, утверждать их также примером своим в правилах нравственности.

3) Таким образом <следует> особенно поступать с молодыми людьми, кои, не получа совершенно основательного воспитания и вступая на поприще общественной жизни, с равной алчностью готовы принять как худые, так и хорошие впечатления.

С л о в о

§ 28. Каждый член второй отрасли должен стараться во всех речах своих превозносить добродетель, унижать порок и показывать презрение к слабости.

§ 29. Он должен стараться речами своими приносить существенную пользу, а не блистать оными.

§ 30. Он должен распространять истины:

1) Что мнимые удовольствия и предметы различных человеческих страстей необходимо удаляют его счастье.

2) Что исполнение обязанностей касательно ближнего есть вернейшее и единственное средство к достижению счастья.

3) Что из обязанностей касательно ближнего главнейшие суть в рассуждении отечества и что стремление к общему благу есть дело каждого гражданина.

4) Что человек не иначе, как с помощью веры, может преодолеть свои страсти, противостоять неприязненным обстоятельствам и, таким образом, шествовать по пути добродетели.

5) Что вера наша состоит не в наружных только признаках, но в самых делах наших.

6) Что святыя поучения ее не токмо <не> отстраняют нас от общественных обязанностей, но, напротив, истинный христианин есть наилучший семьянин и вернейший сын отечества и деятельнейший слуга его.

§ 31. Он должен стараться:

1) Показать неразрывность собственного блага с общим и ничтожность так называемых личных выгод.

2) Убеждать в обманчивости и худых следствиях удовлетворения страстей.

3) Обнаруживать всю подлость лицемерия и несогласие оного с истинной верой.

4) Обращать внимание других на ужасные следствия лихоимства и необходимость противиться сему злу.

5) Доказать всем, что жестокость с подвластными есть дело бесчестное, ибо участь их и без притеснений заслуживает не только сожаление, но и всевозможное старание улучшить оную.

6) Осмеивать слишком обыкновенную теперь иска-тельность удовольствий и те предметы, в коих одного ищут.

7) Показывать всю нелепую приверженность к чужеземному и худые сего следствия, также стараться уверить, что добродетельный гражданин должен всегда предпочитать приятному полезное и чужеземному отечественное.

8) Внимание родителей обращать на воспитание детей.

9) Отвращать женский пол от суетных удовольствий и представлять ему новое поприще действий в распространении возвышенных чувствований, как то: любви к отечеству и к истинному просвещению.

§ 32. Молодых знакомых своих должен склонять к полезным занятиям, учреждать с ними или между ними общества, занимать их различными предметами, но таким образом, чтобы всех занятий, всех действий, всех помышлений последствие было — *общее благо*.

§ 33. Члены, владеющие поместьями, должны стараться иметь знающих и добродетельных священников, которые бы личным примером и поучениями старались навести прихожан своих на путь добродетели.

§ 34. Члены духовного звания, как избранные самим правительством для распространения правил добродетели, должны особенно стараться просвещать светских людей в смысле Союза. Они имеют также надзор за духовными особами, вне Союза состоящими, сообщают в Союз замечания свои насчет их поведения, дабы он мог споспешествовать трудам добродетельных и унижать козни порочных.

Письмо

§ 35. Член второй отрасли обязан с дозволения Союза вступать во все правительством одобренные, о нравственности пекущиеся общества и извещать Союз о всех их действиях, дабы сей последний мог употребить надлежащие меры к соглашению оных с своею целью.

§ 36. Все сочинения, издаваемые членом сей отрасли, должны основною мыслию иметь распространение добродетели.

§ 37. Отдел распространения правил нравственности занимается общими силами: 1) сочинением и переводом хороших, нравственных книг; 2) рассмотрением уже существующих и 3) повременным изданием, в котором предлагаемы рассуждения о нравственных предметах, о добродетелях великих мужей и т. п. и осмеиваемы ныне господствующие, по виду малозначащие, но источник в пороках имеющие предрассудки.

Отдел II. Воспитание юношества

§ 38. Члены сего отдела должны стараться получать вернейшие сведения о учебных заведениях, в государстве существующих, доставлять их в Союз и предлагать начертания к вознаграждению замеченных недостатков. О примерно хороших, также и о худых воспитателях дают сведения правлению Союза, дабы оно могло способствовать возвышению первых и унижению последних.

§ 39. Они должны стараться получать по знакомству или службе участие в управлении учебными заведениями, дабы воспитанию юношества дать надлежащее направление и дабы учебные заведения, распространяя полезные познания, наибольшее внимание обращали на нравственное образование воспитанников.

Личный пример

§ 40. Они по возможности обязаны сами заводить учебные заведения для воспитания молодых людей, и сии заведения должны быть склоняемы к цели Союза.

§ 41. Члены, имеющие поместья, должны по возможности учреждать училища в деревнях своих и наблюдать, чтоб все шло надлежащим ходом.

§ 42. Касательно частного воспитания члены, имеющие в оном участие, т. е. воспитывающие своих или чужих детей, должны стараться внушать им правила добродетели и веры; воспалить в них любовь к отечеству и ко всему истинно доброму и великому, снабдить их полезнейшими познаниями; словом, приуготовить их к

жизни добродетельных людей, усердных и полезных граждан.

§ 43. При воспитании должны они сколь возможно избегать чужестранного, дабы ни малейшее к чужому пристрастие не потемняло святого чувства любви к отечеству.

С л о в о

§ 44. В разговорах о воспитании член должен стараться убеждать:

1) Сколь сильно действие воспитания на целую жизнь человека.

2) Сколь мало теперь пекутся об истинном воспитании и как бедно заменяет его наружный блеск, коим стараются прикрыть ничтожность молодых людей.

3) Что главный предмет в воспитании должен быть нравственность и что никакое средство к возбуждению в юноше любви ко всему истинно доброму и великому не должно быть при оном отметаемо.

4) Что укрепление молодого человека в правилах веры и приверженности к оной есть сильнейшее средство к образованию его нравственности.

5) Что науки при воспитании должны ограничиваться способствованием к образованию рассудка и сердца, т. е. к приуготовлению молодого человека не к другому какому-нибудь званию, но вообще к званию гражданина и добродетельного человека.

6) Что сии науки суть: для образования рассудка — *точные науки*; для образования сердца — *бытописание*; для приуготовления молодого человека к званию гражданина и для показания ему обязанностей его — *государственные науки*.

7) Сколь необходимо каждому для собственного счастья пещись о воспитании детей своих и сколь сии родительские попечения сами по себе сладостны.

8) Что лучшее для женского пола и достойнейшее оного поприще состоит в воспитании детей сходно с правилами добродетели и веры.

П и с ь м о

§ 45. Члены сей отрасли должны в сочинениях своих распространять те же самые истины.

§ 46. Отдел воспитания юношества должен заниматься: 1) описанием учебных заведений, как отечественных, так и чужеземных, с показанием их совершенств и недостатков;

2) сочинением и переводом книг о воспитании юношества и начертанием лучшего способа общественного и частного воспитания;

3) сочинением и переводом учебных книг по разным отраслям наук и

4) повременным изданием, в коем помещались бы: а) сведения о новых учреждениях касательно воспитания в отечестве и чужих краях, в) статьи о воспитании и предметах, до него касающихся, с) разбор выходящих учебных книг.

Отдел III. Распространение познаний

§ 47. Союз, принимая в рассуждение, что из числа познаний, кои ум человеческий приобрести способен, те для него суть полезнейшие, кои по сердцу и по рассудку делают его способнейшим к споспешествованию *общему благу*, посредством сего отдела старается распространять особенно те науки, кои просвещают человека на счет его обязанностей и споспешествуют ему в исполнении оных.

Личный пример

§ 48. Члены сего отдела, избранные из людей, приверженных к занятиям, должны предпочитать полезнейшие и званию гражданина приличнейшие.

§ 49 Члены, занимающиеся словесностью, должны на произведения свои налагать печать изящного, не теряя из виду, что истинно изящное есть все то, что возбуждает в нас высокие и к добру увлекающие чувства.

§ 50. Они должны стараться знакомых своих поощрять к полезным занятиям, способствовать им в сих трудах; имеющих дар слова обращать к истинно изящному и отвращать от низкого и посредственного.

Слово

§ 51. В разговорах об учебных предметах:

1) Превозносить полезное и изящное, показывать

презрение к ничтожному и вооружаться против злонамеренного.

2) Показывать необходимость познаний для человека, всю низость невежества и различие учености от истинного просвещения.

3) Обращать внимание на состояние и ход нынешнего просвещения.

4) Объяснять потребность отечественной словесности, защищать хорошие произведения и показывать недостатки худых.

5) Доказывать, что истинное красноречие состоит не в пышном облечении незначущей мысли громкими словами, а в приличном выражении полезных, высоких, живо ощущаемых помышлений.

6) Убеждать, что сила и прелесть стихотворений не состоит ни в созвучии слов, ни в высокопарности мыслей, ни в непонятности изложения, но в живости писаний, в приличии выражений, а более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих.

7) Что описание предмета или изложение чувства, не возбуждающего, но ослабляющего высокие помышления, как бы оно прелестно ни было, всегда недостойно дара поэзии.

П и с ь м о

§ 52. Те же самые истины члены сего отдела должны распространять и в сочинениях своих.

§ 53. Члены должны стараться вступать, с ведома Союза, во все ученые общества, склонять их к цели истинного просвещения.

§ 54. Отдел распространения познаний занимается:

1) Сочинением и переводом книг по следующим отраслям наук: а) по *умозрительным* наукам, поколикую они полезны гражданину; в) по *естественным* наукам, особенно прилагая их к отечеству; с) по *государственным* наукам, извлекая из них ближайшее к отечеству; d) по *словесности*, обращая особенное внимание на обогащение и очищение языка.

2) Разбором известнейших книг по разным отраслям полезных наук и

3) Повременным изданием, в которые входят: а) рассуждения о разных учебных предметах; б) известия о

различных открытиях; с) разбор выходящих книг и d) мелкие сочинения и стихотворения.

§ 55. Он старается изыскать средства, изящным искусством дать надлежащее направление, состоящее не в изнеживании чувств, но в укреплении, благородствовании и возвышении нравственного существа нашего.

Отрасль третья

ПРАВОСУДИЕ

§ 56. Все дела по разным частям управления в отечестве состоят под надзором членов сей отрасли.

§ 57. Они не только не отказываются и не уклоняются от должностей, особенно по выборам дворянства, но, напротив, ищут таковых мест; собственным непорочным и бескорыстным прохождением службы оные возвышают и сохраняют им всю их важность и достоинство. Строгое и ревностное исполнение возложенных по службе или государственных обязанностей есть отличная черта члена Союза Благоденствия.

§ 58. Наблюдают за чиновниками, вне Союза находящимися, и понуждают их с помощью прочих членов Союза к честному служению и вообще к таковому ж обхождению во всех делах житейских, буде они от оного уклоняются.

§ 59. Вникают во все решаемые дела в присутственных местах, военных судах; клонят все на сторону справедливости.

§ 60. Соглашают различные племена, состояния, сословия и роды службы, в отечестве находящиеся,—представляя, что оные одинаково полезны, и всех их к одной цели направляют — к *благоденствию России...*

§ 61. Сия отрасль требует преимущественно пред прочими самого большого числа членов, ибо заключает более других действия, затрудняемого притеснением и недоброжелательством многих; члены оной не оставляют ни мест своих, ни должностей в службе и тшятся не ослабевать в прехождении пути своего.— Союз приглашает к сей отрасли:

1) Тех, кои за отдалением от мест, откуда просвещение в государстве изливается, как то: от столиц и больших городов, тех, кои, за неимением способов по роду

службы и занятий и непостоянному их жительству, не могут действительно участвовать в человеколюбии и просвещении.

2) Тех, кои живут в больших городах и столицах и имеют участие в различных отраслях правления.

3) Тех, кои состоят в какой-либо службе.

4) Тех, кои имеют общее уважение. И потому к сей отрасли приписываются большая часть военных чинов, многие отставные люди, в уездах живущие и служащие по выборам дворянства и вообще по другим частям.

§ 62. Члены сей отрасли:

1) Особенно нападают на дух раболепствия и властолюбия многих сограждан.

2) Обращают общее мнение против чиновников, кои, нарушив священные обязанности, истребляют то, сохранение чего поручено их попечению, и теснят и разоряют тех, которых долг повелевает им хранить и покоить.

3) Искореняют злоупотребления, в гражданскую службу вкравшиеся, особенно по выборам и в присутственных местах.

4) Выхваляют помещиков, известных своим добрым с подвластными обхождением.

5) Истребляют продажу крепостных людей в рекруты; отклоняют вообще от продажи их поодиночке, стараясь вразумить: что люди не суть товар и что только простиительно одним народам, непросвещенным светом христианства, почитать подобных себе собственностью, участию коей каждый, имеющий оную, располагать может по произволению.

6) В пример другим ставят чиновников, ревностно свои обязанности выполняющих.

7) Вообще обращают свое действие в исправление всех случающихся злоупотреблений порока; на возвышение в общем мнении людей справедливых: вознаграждение невинно притесненных и угнетенных; словом, всякий член старается, по мере сил своих, воздавать каждому должное.

§ 63. Стараются склонять дворянство в уездах к определению достаточного жалованья чиновникам, по выборам служащим, дабы тем самым отнять у бедных дворян обыкновенную ссылку на их малое состояние, отчего многие, не получившие надлежащего воспитания, не только преступлением не считают взятки, но даже вещью необходимою и должною, ибо служат не для

пользы сограждан, но для пропитания, а часто и для собственного обогащения. А как таковой почти повсеместный обычай есть ужаснейший пример безнравственности и величайший производит вред отечеству, то все члены Союза, в какой бы они отрасли ни состояли, но имеющие земли и владения, должны непременно склонять сограждан сим средством отвратить вышеозначенное зло.

§ 64. Члены правосудия о людях достойных и честных уведомляют Союз, который поощряет, одобряет или оказывает им пособие, буде они в них нужду имеют, и защищает их, если за правду гонение потерпят,— выставляя заслуги их на вид правительства. О бесчестных же уведомляют Союз для того, чтобы лишить их способ делать зло.

§ 65. Члены сии почитаются — от Союза поставленными блюстителями справедливости. Они всегда действуют, говорят и судят право, не страшатся мнения малодушных, не считают себя несчастными, когда за истину страждут. Сильны будучи правдою, более еще укрепляются тесною взаимною своею связью и особенным покровительством Союза и правительства.

§ 66. Заводят вольные общества, имеющие все целью стремление к справедливому и подавление порока и неправды. В сих обществах необходимо собираема должна быть общественная казна для вознаграждения убытков, за правду понесенных.

§ 67. Многое можно бы еще прибавить ко всем сим занятиям, достойным обратить на себя все труды и старания членов отрасли правосудия; — но мы предоставляем сие времени и успехам Союза. Лучше описывать сделанное уже для блага отечества, нежели предназначать то, что еще делать надлежит.

Отрасль четвертая

ОБЩЕСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО

§ 68. По сей отрасли Союз занимается изысканием непреложных правил общественного богатства, о которых в течение стольких веков множество было различных прений и рассуждений,— способствует усовершенствованию всякого рода полезной промышленности,— ста-

рается водворить общественную доверенность,— противится вредному единоторжеству, собирающему богатство в одни руки.

§ 69. В сию отрасль приглашаются:

1) Члены, общественным хозяйством и промышленностью занимающиеся.

2) Служащие по торговой части и по части государственного хозяйства.

§ 70. Они стараются предпочтительно ввести строгую честность в торговлю, ибо без оной всегда будет существовать недоверчивость.

§ 71. О новых и полезных открытиях извещают соотечественников посредством сочинений или помещением их в повременных изданиях.

§ 72. Потерпевшим по несчастному течению обстоятельств разорительные убытки стараются доставлять способы к вознаграждению их.

§ 73. Торгующие члены не преступают государственных постановлений, но, напротив того, стараются истребить злоупотребления, вкрадывающиеся в таможни, и доводят их до сведения Союза.

§ 74. Члены сей отрасли в местах их пребывания заводят по возможности *страховые приказы* для несчастных случаев; как то: для вознаграждения убытков, от пожаров понесенных; для сего, определяя некоторый обеспеченный денежный вклад, предлагают жителям застраховать свои дома или другое какое строение и, оценив дома, берут в приказ положенный рост и определяют цену, какая выдаваема будет в случае несчастья. Начертания о таковых приказах присылаются членами правлению Союза, дабы оно могло их сообразить, избрать в каждом лучшее и, содержа связь сих приказов, тем более извлечь из них выгоды сделавшим на то вклады и предохранить каждый из них от падения. В таковых приказах могут участвовать и не члены Союза; но правления оных зависят от него, разве только кроме тех случаев, когда они вольные.

§ 75. Члены сей отрасли заводят вольные общества для усовершенствования хлебопашества и прочих родов промышленности.

§ 76. Члены сей отрасли занимаются также описанием отечества, промышленности, торговли, состояния земледелия и проч. в местах их жительств.

§ 77. Все сии отрасли могут еще быть пополнены, и многообразные действия их описать подробно невозможно; тем более, что они часто истекают от положения и способов членов, равно как и обстоятельств; но во всяком случае, во всяком месте и во всяком звании член Союза Благоденствия должен помнить, что он обязался рачительно и неутомимо содействовать *благу отечества* и во всех действиях своих поступать сообразно сей великодушной цели. Награда его — уважение соотечественников.

Никто же возлож руку свою на рало, и зря вспять, управлен есть в царствии божии (Еванг. от Луки).

Конец первой части.

Союз объявляет ложным всякий список, не скрепленный печатью Союза и не подписанный блюстителем коренного совета. — Блюститель. —

Печать: улей, окруженный пчелами, с литерами С. Б.

**РУССКАЯ ПРАВДА, ИЛИ ЗАПОВЕДНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА ВЕЛИКОГО
НАРОДА РОССИЙСКОГО, СЛУЖАЩАЯ
ЗАВЕТОМ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ
И СОДЕРЖАЩАЯ ВЕРНЫЙ НАКАЗ КАК ДЛЯ
НАРОДА, ТАК И ДЛЯ ВРЕМЕННОГО
ВЕРХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ**

Глава I

О ЗЕМЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОСУДАРСТВА

§ 4

Россия есть государство единое и неразделимое

Государства бывают или *неразделимые*, или *федеративные*.

Неразделимыми называются те, в коих все части или области, государство составляющие, одну общую Верховную власть, один образ правления, одни законы имеют и признают и в коих ни одна область не имеет права частно для себя издавать законы и постановления.

Федеративными же называются те государства, в которых области, их составляющие, хотя и признают общую над собой Верховную власть и обязываются совокупно действовать во всех сношениях внешних, но при всем том право свое сохраняют законы делать и постановления издавать для собственного своего внутреннего гражданского и политического образования и устраивать свое правление по частному своему усмотрению.

Главная разница посему между неразделимыми и федеративными государствами состоит в том, что право издавать законы, образовывать общественные учреждения и распоряжаться государственными делами находится в неразделимом государстве в одной только Верховной власти, а в федеративном государстве разделяется между общею Верховной властью и частными областными властями. С первого взгляда может федеративное устройство государства показаться удобным и приятным: ибо каждой области возможность дает действовать по своему усмотрению и своей воле; но при внимательнейшем рассмотрении легко убедиться можно в решительном преимуществе неразделимого образования государства над федеративным, особенно применяя оное к России при обширном ее пространстве и большом количестве различных племен и народов, ее населяющих.

Общие невыгоды федеративного образования государства суть между многими прочими следующие четыре:

- 1) Верховная власть по существу дела в федеративном государстве не законы дает, но только советы: ибо не может иначе привести свои законы в исполнение, как посредством областных властей, не имея особенных других принудительных средств.

Ежели же область не захочет повиноваться, то, дабы к повиновению ее принудить, надобно междоусобную войну завести; из чего явствует, что в самом коренном устройстве находится уже семя к разрушению.

- 2) Особые законы, особый образ правления и особые

от того происходящие понятия и образ мыслей еще более ослабят связь между разными областями. На Верховную же власть будут области смотреть, как на вещь нудную и неприятную, и каждое областное правительство будет рассуждать, что оно бы гораздо лучше устроило государственные дела в отношении к своей области без участия Верховной власти. Вот новое семя к разрушению.

3) Каждая область, составляя в федеративном государстве, так сказать, маленькое отдельное государство, слабо к целому привязана будет и даже во время войны может действовать без усердия к общему составу государства, особенно если лукавый неприятель будет уметь прельстить ее обещаниями о каких-нибудь особенных для нее выгодах и преимуществах. Частное благо области, хотя и временное, однако же все-таки сильнее действовать будет на воображение ее правительства и народа, нежели общее благо всего государства, не приносящее, может быть, в то время очевидной пользы самой области.

4) Слово государство при таком образовании будет слово пустое, ибо никто нигде не будет видеть государства, но всякий везде только свою частную область; и потому любовь к отечеству будет ограничиваться любовью к одной своей области. Много есть еще других отменно важных причин, но для краткости умалчивается о них: ибо довольно уже и сих четырех для решения предложенного вопроса.

Что же в особенности касается до России, то, дабы в полной мере удостовериться, до какой степени федеративное образование государства было бы для нее пагубно, стоит только вспомнить, из каких разнородных частей сие огромное государство составлено. Области его не только различными учреждениями управляются, не только различными гражданскими законами судятся, но совсем различные языки говорят, совсем различные веры исповедуют; жители оных различные происхождения имеют, к различным державам некогда принадлежали, и потому ежели сию разнородность еще более усилить чрез федеративное образование государства, то легко предвидеть можно, что сии разнородные области скоро от коренной России тогда отложатся, и она скоро потеряет тогда не только свое могущество, величие и силу, но даже, может быть, и бытие свое между большими или

главными государствами. Она тогда снова испытает все бедствия и весь неизъяснимый вред, нанесенные древней России удельною системою, которая также не что иное была, как род федеративного устройства государства; и потому, если какое-нибудь другое государство может еще сомневаться во вреде федеративного устройства, то Россия уже никак сего сомнения разделять не может; она горькими опытами и долголетними бедствиями жестоко заплатила за сию ошибку в прежнем ее государственном образовании. А посему, соединяя все сии обстоятельства в общее соображение, постановляется коренным законом Российского государства, что всякая мысль о федеративном для него устройстве отвергается совершенно, яко пагубнейший вред и величайшее зло. Избегать надлежит всего того, что посредственно или непосредственно, прямо или косвенно, открыто или по-таенно к таковому устройству государства вести бы могло.

Вследствие всего здесь сказанного объявляется Российское государство в пределах, выше обозначенных, единым и неразделимым, отвергающим притом совершенно всякое федеративное образование, устройство и существование государства.

Глава III

О СОСЛОВИЯХ, В РОССИИ ОБРЕТАЮЩИХСЯ

§ 2

Сословия постепенности в государственных делах не образуют

Много было рассуждаемо о необходимости, чтобы постепенность в государственном устройстве существовала; т. е. чтобы политическо-отвлеченное пространство, отделяющее массу народную от Верховной власти, на разные степени было разделяемо и степени сии начинали бы от массы народной и восходили бы до Верховной власти. Мысль сия совершенно справедлива, и таковой порядок, конечно, необходим; надлежит только истинные избрать средства ко введению и установлению оно-го.— Люди, зловластие любящие, уверяли, что таковая постепенность требует разделения народа на многие со-

словия таким образом, чтобы низшее сословие мало прав и никакой власти бы не имело, а начиная от него, все прочие сословия имели бы различное количество прав, преимуществ и власти, смотря на удаленность их от народа и приближенность к Верховной власти.— Сии правила извлечены из феодальной системы и совершенно в существе дела с истиной не согласны, потому что теперешние сословия никакой постепенности не образуют, ибо постепенность в государстве должна быть устанавливаема для того, чтобы Верховная власть не была обременяема всеми делами в государстве без изъятия и дела бы сии отчасти разрешались в низших степенях, отчасти до нее восходили через посредство степеней, устанавливаемых между Верховною властью и разными местами, где дела возникать могут. Из сего явствует, что ежели бы сословия постепенность составляли, то дела должны бы поступать от крестьян на решение мещан, от сих к купечеству, от купечества к дворянству и т. д.

А поелику сие бы было слишком безрассудно, то и не существует сего нигде, а тем самым и доказывается, что сословия никакой в государстве постепенности не образуют, ибо не через их посредство дела восходят до Верховной власти. Напротив того, они разные только отделения между народом образуют, которые вечно друг на друга враждуют. Истинную постепенность в государстве образует чиновничество, состоящее из тех чиновников, которые в службе находятся, разные должности исполняют и разными занятиями друг от друга отличаются. Сие чиновничество, будучи распределено по разным степеням общего и частного государственного управления, дает всем делам законное течение и доводит оные от их начала до совершения, а ежели нужно, то и до самой Верховной власти. Кратко сказать: постепенность в государстве необходима и находится не в народных сословиях, но в государственном чиновничестве, которое всегда может состоять совершенно от сословий независимым, ибо в чиновнике нужны способности, знания и добродетели, могущие быть найдены во всех сословиях и не составляющие принадлежности которого-либо из них в особенности. Изложенное здесь понятие весьма важно и должно во всех случаях руководствовать соображениями всякого благомыслящего правительства.

Распределение народа на сословия, занимающиеся исключительно земледелием, изделиями или торговлею, совершенно отвергнуто политическою экономіею, доказавшею неоспоримым образом, что каждый человек должен иметь полную и совершенную свободу заниматься тою отраслью промышленности, от которой наиболее ожидает для себя выгоды и прибыли, лишь бы честен был и к законам исполнителен. Правительство должно, конечно, способствовать всеми мерами к усовершенствованию народного богатства, но споспешествование сие должно состоять в разных законодательных и вспомогательных мероприятиях относительно промышленности, а не в распределении народа по отраслям промышленности, которое, напротив того, мешает повсеместному преуспеванию народного богатства. Сверх того, надлежит еще при сем заметить, что все сословия, составляющиеся чрез распределение частных лиц по отраслям промышленности, самые суть безрассудные и зловерные, потому что, имея основанием своего бытия богатство, они все желания и помышления обращают единственно на деньги; другого отличия между людьми не знают, как одни деньги; богатство ставят первейшим достоинством, превышающим все прочие, и, соделывая народ ужасно падким к корыстолюбию, производят неминуемую порчу в нравах. Известно, что исключительная любовь к деньгам граничит к скупости, а сей порок более всякого другого соделывает человека жестокосердным, почему и по всей справедливости сказать можно, что таковые сословия суть самые бесчеловечные, до чрезвычайности умножают число бедных и нищих и основывают свое влияние на народ не на общем мнении, но на золоте и серебре, посредством коих подавляют общее мнение, как хотят, и приводят народ в совершенную от себя зависимость. Отличительная черта нынешнего столетия ознаменовывается явною борьбою между народами и феодальною аристокраціею, во время коей начинает возникать аристокрация богатств, гораздо вреднейшая аристокраціи феодальной, ибо сия последняя общим мнением всегда потрясена быть может и, следовательно, некоторым образом от общего мнения зависит, между тем как аристокрация богатств, владея богатствами, нахо-

дит в них орудия для своих видов, противу коих общее мнение совершенно бессильно и посредством коих она приводит весь народ, как уже сказано, в совершенную от себя зависимость. А потому обязано всякое благомыслящее правительство не только такового распределения народа не допускать, но даже и все меры принимать, дабы таковые сословия отдельным от массы народной составлением сами собою бы не устанавливались и не образовывались; а тем более обязано их уничтожать, ежели они где-либо существуют.

§ 4

Все должны быть перед законом равны

Все вышеупомянутые сословия составились в разные времена и при разных обстоятельствах и, разделив народ на разные классы, произвели большие различия и разнородности в гражданском положении людей, принадлежащих к одному и тому же государству. Различия сии целью имеют не лучшее устройство государственного порядка, коего нельзя посредством их достигнуть, и не удобнейшее доставление общественного блага всему народу, но единственно дарование некоторым людям больших преимуществ против массы народной и подавление сей последней в пользу и в корысть малейшего числа. Гражданские общества, а следовательно, и государства, составлены для возможно большего благоденствия всех и каждого, а не для блага некоторых за устранением большинства людей. Все люди в государстве имеют одинаковое право на все выгоды, государством доставляемые, и все имеют равные обязанности нести все тягости, нераздельные с государственным устройством. Из сего явствует, что все люди в государстве должны непременно быть перед законом совершенно равны и что всякое постановление, нарушающее сие равенство всех перед законом, есть нестерпимое зловластие, долженствующее непременно быть уничтоженным. Сверх того, нарушают сии различия добрую между гражданами связь, разделяя их на несколько отделений, имеющих совсем различные виды и выгоды, и следовательно, и образ мыслей. Сколь же добрая связь между гражданами важна для благоденствия государства, ясно доказано было в предыдущей главе, и точно так же нарушается разли-

чием сословий, как и разнородством племен. Сословия тем еще пагубнее, что они только одним пристрастием дышат, что некоторым членам народа выгоды дают, в коих другим отказывают без всякой причины и без всякой для государства пользы, что для пресыщения корысти нескольких людей жестокую оказывают несправедливость против наибольшей части народа и что противны цели государственного существования, состоящей не в пристрастии к малому числу, но в елико возможно большем благоденствии многочисленнейшего числа людей в государстве. А из всего вышесказанного следует, что учреждение сословий непременно должно быть уничтожено, что все люди в государстве должны составлять только одно сословие, могущее называться гражданским, и что все граждане в государстве должны иметь одни и те же права и быть перед законом все равны.

Изложив, таким образом, коренные соображения о сословиях вообще, приступить теперь можно к изложению мероприятий, коим каждое из них в особенности подвергнуться имеет...

§ 6

Дворянство

Дворянство есть то отдельное от массы народной сословие, которое свои особенные имеет преимущества, состоящие в следующих пяти предметах:

1) дворянство обладает другими людьми, как собственностью своею, называя их своими крепостными, и право имеет составлять майораты с разрешения правительства;

2) дворянство никакой подати не платит и никаких вкладов в пользу общую не вносит;

3) дворянство не подлежит телесным по суду наказаниям подобно прочим россиянам, ниже за самые ужаснейшие преступления;

4) дворянство не подлежит рекрутскому набору и всякие звания и должностные места в государстве замещает за исключением прочих россиян и

5) дворянство называется сословием благородным, имеет гербы, и присоединяет к сему различные титулы. Сии пять преимуществ составляют дворянство в отношении к коему здесь употреблено слово преимущество, а не

слово право, потому что упомянутые выгоды, коими пользуется дворянство, ни на какой предшествующей обязанности не основаны, ниже для исполнения какой-либо обязанности нужными не бывают, почему и не могут правами быть признаны на основании § 5 предисловия; тем более, что сии выгоды не только не основаны на предшествующих обязанностях, но даже, напротив того, от обязанностей избавляют и потому должны быть признаны преимуществами, а не правами. Рассмотрим теперь, должны ли таковые преимущества в благоустроенном государстве отдельному сословию быть дарованы.

Первое. Обладать другими людьми, как собственностью своею, продавать, закладывать, дарить и наследовать людей наподобие вещей, употреблять их по собственному своему произволу без предварительного с ними соглашения и единственно для собственной своей прибыли, выгоды, а иногда и прихоти есть дело постыдное, противное человечеству, противное законам естественным, противное святой вере христианской, противное, наконец, заповедной воле всевышнего, гласящего в священном писании, что люди перед ним все равны и что одни деяния их и добродетели разницу между ними поставляют. И потому не может более в России существовать позволение одному человеку иметь и называть другого своим крепостным. Рабство должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно непременно отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми. Нельзя ожидать, чтобы нашелся один злосовестный дворянин, чтобы не содействовать всеми силами к уничтожению рабства и крепостного состояния в России. Но ежели бы, паче всякого чаяния, нашелся изверг, который бы словом или делом вздумал сему действию противиться или оное осуждать, то временное Верховное правление обязывается всякого такого злодея безызытно немедленно взять под стражу и подвергнуть его строжайшему наказанию яко врага отечества и изменника противу первоначального коренного права гражданского. Сие уничтожение рабства и крепостного состояния возлагается на временное Верховное правление, яко священнейшая и неременнейшая его обязанность. Позывается оно к престолу всевышнего на вечное посрамление, если не устремится всеми силами на исполнение сего веления в скорейшем времени решительнейшими и действительнейшими меро-

приятными. Что же касается до майоратов, то должны теперешние немедленно быть уничтожены и составление новых на будущее время совершенно запрещено, ибо дети должны быть все наделены равными участками от родительского наследства, и установление майоратов есть столь же гнусная, сколь и явная несправедливость. Уничтожение теперешних майоратов предоставляется распоряжению временного Верховного правления.

Второе. Гражданское общество составлено для возможного благоденствия всех и каждого. Сие благоденствие достигается разными средствами и действиями, в числе коих находится необходимость и подати собирать. А поелику все члены имеют равное право на благоденствие, то все члены имеют точно так же равную обязанность содействовать водворению оного. Сверх того, одно только зловластие может все тягости возлагать на одних, а других всеми выгодами осыпать. Честный человек без угрызения совести не может пользоваться трудами и пожертвованиями ближних без всякого с своей стороны возмездия или соучастия. А потому и не может дворянство от податей быть освобождаемо. Оно должно со всеми прочими россиянами разделять не только все государственные выгоды, но равным образом и все государственные тягости. Временное Верховное правление обязывается при введении новой государственной финансовой системы подвергнуть дворянство податям наравне с прочими россиянами.

Третье. Род наказания должен соответствовать роду преступления, а не сословию преступника, ибо преступление есть произведение злых качеств человека, а не причисление его к тому или другому сословию, и хотя утверждают, что одинаковое наказание для человека образованного и человека без воспитания будет большее страдание для первого, нежели для второго, но одинаковое преступление, соделанное человеком образованным и человеком без воспитания, заставляет предполагать более разврата и более унижения в первом, нежели во втором, а следовательно, и должен первый быть наказан сильнее второго, чем равновесие и восстановится. К тому же цель наказаний не есть страдание преступника, но есть исправление его, а еще более удержание других посредством примера от подобных деяний. Посему и должно быть наказание соображено с действием на посторонних людей. Из чего и явствует необходимость, чтобы за одинаковые пре-

ступления налагаемы были одинаковые наказания, тем более, что нет возможности сообразить наказание со степенью чувствительности наказываемого и что люди одного и того же сословия столь же различны в отношении к сей чувствительности, сколько люди различных сословий. А посему и должно дворянство наравне со всеми прочими россиянами за одинаковые преступления одинаковым подлежать наказаниям, и ежели телесные наказания будут признаны необходимыми, то должны оным быть подвергнуты дворяне так точно, как и все прочие люди. Временное Верховное правление обязывается распорядить приведение сего в исполнение безупустительно с самого начала вступления своего в должность.

Четвертое. Набор ратников в войско есть учреждение, необходимое для государственной безопасности, а следовательно, и для государственного бытия, и потому должно оно неминуемо существовать. Но поелику польза, от военной силы происходящая, на всех членов гражданского общества распространяется одинаковым образом, то и должны все сословия одинаковым образом в составлении сей силы участвовать, руководствуясь очерредью и жребием, как то объяснено будет в главе осьмой, т. е. одинаковыми для всех правилами на сей счет. А посему и не может дворянство от сей личной повинности быть освобождено, и должно сие преимущество его быть уничтожено. Главнейшее средство к избежанию рекрутства будет состоять в выдержке положенного экзамена, по которому право приобретаться будет вступать в службу не рядовым, но уже офицером. Сие право распространено быть имеет на все сословия и на всех вообще россиян одинаковым образом. О сем будет пространнее упомянуто в главе осьмой. Само собою разумеется, что имеющий ныне какой бы то ни было офицерский чин по какому бы то ни было ведомству уже более рекрутству подлежать не может и не будет. Что же касается до исключительного права дворян замещать все должностные места, то сие право распространяется на всех россиян вообще и перестает быть исключительным преимуществом одного дворянства. Кто по своим познаниям, способностям и достоинствам окажется заслуживающим право на должностные места, тот и будет сим правом пользоваться на основании общих правил без всякого внимания на его происхождение или сословие. Временное Верховное прав-

ление обязывается привести всю статью в полное и совершенное исполнение без всякого послабления.

Пятое. Люди все рождены во благо: ибо они суть все творение всевышнего, и потому несправедливо называть благородным одно только сословие дворян. Вследствие сего должно быть уничтожено преимущество дворянства именоваться сословием благородным. Титла князь, герцог, граф, барон и т. п. происходят от тех времен, когда сии титла означали разные должности или степени владычества; но так как они ныне ни того, ни другого уже более не означают, то и суть они только пустые звуки, удовлетворяющие одному только надутому тщеславию и гордому самолюбию. А посему и не могут таковые титла существовать в государстве, коего устройство и образование основаны быть имеют на истинной справедливости, чистой нравственности, здравом смысле и рассудке. К тому же, если к сим титлам присоединяются особые какие-нибудь преимущества, то они вредны и пагубны, ибо препятствуют необходимому и неперемennomу равенству всех перед законом. Если же они ни с какими особыми преимуществами не сопряжены, то составляют одно только ребяческое пустословие и, следовательно, во всех случаях должны решительно быть уничтожены. Временное Верховное правление обязывается все сии знания и титла совершенно уничтожить, без малейшего внимания на какие бы то ни было побочные соображения. Что же касается до гербов, то могут они подлежать двум различным заключениям: или быть совершенно уничтожены и навсегда запрещены, или всем гражданам без изъятия быть дозволены. В сем последнем случае не должны гербы ничего означать иного, как только простой произвольный рисунок, который гражданин имеет право составлять, употреблять и изменять, как ему угодно, и на который правительство ни малейшего не обращает внимания, не давая оному совершенно никакого значения. Временному Верховному правлению дозволяется выбрать по своему усмотрению одно из сих средств.

Из всего, до сих пор сказанного, явствует, что все пять родов преимуществ, коими дворянское сословие поныне пользовалось, должны непременно решительнейшим образом быть уничтожены. А так как дворянское достоинство не что иное, как итог сих пяти родов преимуществ, то и следует из сего, что и само звание дво-

рянства должно быть уничтожено: члены оно́го поступают в общ́ий состав российскаго гражда́нства на основани́и общ́их правил, ниже сего́ изложенных, и должны́ поступать подобно́ всем прочим россия́нам по волостям́ быть расписаны́. Хотя́, может быть, некоторы́е люди́ и будут полагать, что, при уничтожении́ первых четы́рех родов дворя́нских преимущест́в, пяты́й род может быть сохранен в предположении́, что, льстя́ одному́ только пустому самолю́бию, не будет оный́ производить существе́нного вреда. Но мысль́ сия́ совершенно́ несправедлива́, ибо всякое́ существование́ отдельна́го от общ́ей массы́ народно́й сословия́ есть вещь пагубная́ по той́ причине́, что тако́вое сословие́ недолго́ будет удовлетво́ряться одним наслажде́нием самолю́бия. Оно́ верно́ будет скоро́ искать́ существе́ннейших вы́год и, отделившись́ раз от общ́ей массы́ народно́й, будет всегда́ жертвовать благо́м общ́им для пресыще́ния свое́й ко́рысти и для овладе́ния существе́ннейших преимущест́в, наруша́ющих равенство́ всех перед зако́ном — сие́ первейшее́, главнейшее́ и прочнейшее́ основани́е госуда́рственнаго благоденствия́. Чего́ не де́лали древни́е козни́ дворя́нские?

А посему́ временное́ Верховное́ правление́ обязывается́ все вышеобъясне́нные мероприя́тия приве́сти в непре́менное, полное́ и соверше́нное исполне́ние, имея́ всегда́ в виду́ и во внима́нии, что сии́ мероприя́тия принадле́жат к числу́ самых́ важнейших́ и необходи́мейших́ дейст́вий для утвержде́ния благоденствия́ Росси́и: ибо́ не существует́ без оных́ равенства́ перед зако́ном, а следовательно́, и не существует́ главнейшего́ основани́а прави́льного госуда́рственнаго устано́вления. Законы́ без сих́ мероприя́тий всегда́ пребудут ору́дием одного́ только́ зловла́стия некоторы́х челове́к над массо́ю народно́ю для общ́ей пагубы́ цело́го госуда́рства. Довольно́ долго́ существова́ла возможность́ для некоторы́х угнетать́ всех́ прочих; пора́ тепе́рь положить́ решите́льный ко́нцу́ сему́ гнусному́ и неистовому́ распоря́дку вещей. Добры́е дворя́не, истинны́е сыны́ отече́ства, с удовле́вствием и радосто́ю примут́ сие́ постано́вление в том убежде́нии, что́ не нужно́ им вышеупомяну́тых отдельны́х преимущест́в, дабы́ обще́ю пользо́ваться любо́вью и довере́нностью, дабы́ посредст́вом оных́ занимать́ разны́е госуда́рственны́е должностны́е места́, участво́вать в разных́ частях́ и отрасля́х правле́ния, продо́лжать́ иметь́ случа́й и возможно́сть оказывать́ отече́ству услу́ги, личны́ми досто́инствами приобре́тать при-

знательность и уважение соотчицей и, наконец, самим пользоваться всеми выгодами и частными благами, приобретаемыми средствами праведными и никому не обидными. Они будут чувствовать, что выгоды, доставляемые дворянству наравне с прочими россиянами новым государственным порядком, сею Русскою Правдою определяемым, несравненно обширнее и значительнее тех преимуществ, коих дворянство сим лишается, и что они, следовательно, меняют малое на большое, не говоря уже о том, что теряют постыдное, а приобретают похвальное и достойное. Что же касается дворян, закосневших в своих враждебных противу массы народной предрассудках и мыслящих, что вся Россия для них одних существует, то крепкую питать можно надежду, что таковых дворян окажется весьма мало. Однако же, ежели, паче чаяния, найдутся таковые недостойные сыны отечества, то противу них надлежит принять меры решительные, дабы в полной мере укротить свирепый их нрав и поставить в невозможность отечеству вредить, хотя бы к тому и нужными были действия скорой и непреклонной строгости.

§ 9

Военные поселяне

Одна мысль о военных поселениях, прежним правительством заводимых, наполняет каждую благомыслящую душу терзанием и ужасом. Сколько пало невинных жертв для пресыщения того неслыханного зловластия, которое с яростью мучило несчастные селения, для сего заведения отданные! Сколько денежных сумм, на сей предмет расточенных, все силы государства нарочито соединяют для гибели государства. И все сие для удовлетворения неистовому упрямству одного человека! Какие же предвещали государству выгоды от учреждения военных поселений? — Три главные: 1) что не будет более рекрутства существовать; 2) что воины получают оседлость и 3) что продовольствие армии провиантом и фуражем ничего казне стоить не будет. При рассмотрении сих обещанных выгод легко удостовериться можно, что сии выгоды суть или мнимые, или, даже напротив того, истинный вред, или величайшее зло

1) Военные поселения могут от рекрутства народ

освобождать единственно в мирное время, а в военное время предполагается по самым постановлениям военного поселения наполнять армию рекрутами со всего государства. Да иначе сие и быть не может, ибо, в противном случае, полк, потеряв много людей на войне и комплектующийся из одного своего поселения, расстроил бы оное совершенно и даже бы мог уничтожить. Но вместе с тем и освобождение народа от рекрутства через посредство военных поселений делается лишним, тем более что в то самое время от сей повинности не освобождает, когда она бывает самая тягостнейшая.

2) Ничто не может быть для войска вреднее, как оседлость или беспрестанное нахождение каждого воина в кругу своего семейства, ибо таковое состояние неминуемо изнежит оное и лишит воинского духа, приобретаемого единственно в сообществе начальников и товарищей, из коих составляется, так сказать, новое воинское семейство. Родителям сохранение сына всегда важнее и милее казаться будет, чем все его подвиги, и потому при объявлении войны будет поселенное войско всегда с плачем и скорбью в поход выступать и разве только надеждою на добычу утешаться. Сие тем справедливее, что при теперешнем устройстве государственного порядка и при теперешней величине государства внешние его сношения такими многосложными сделались, что войско не может в подробности знать всех обстоятельств, содействующих войну неизбежною; следовательно, и не может в самых причинах о войне черпать пламенную к оной охоту, которую по сему найти может единственно в желании отличиться и славу приобрести. Сии же чувства подавляются оседлостью войска.

3) Хотя продовольствие армии, может стать, и могло быть через военные поселения устроено без особенных на то издержек со стороны казны, но, однако же, сие не значит, чтобы оно тогда ничего не стоило, ибо при возложении на военные поселения обязанности армию продовольствовать избавляются они от всякого платежа каких бы то ни было податей. Если же сравнить выигрыш казны от продовольствия армии через военные поселения с убытком казны от избавления военных поселений от всякого платежа податей, то и полное получится удостоверение, что сия выгода есть совершенно мнимая.

Из сего явствует, что из трех представленных до-

водов в пользу военных поселений один заключает истинный вред, а два — совершенно мнимую пользу. Обращая теперь взоры на несправедливость, неудобства и худые последствия, с поселением войска сопряженные, нельзя довольно надивиться, как могла таковая мысль когда-либо прийти в ум, не лишенный совершенно всякого здравого рассудка. Не будем о сих соображениях здесь распространяться, ибо они так многочисленны, что целые стопы бумаг исписать бы должно было, дабы их исчислить; упомянем вкратце только о двух, из коих одно относится к войску поселенному, а другое — к народу и государству.

1) Никакое правительство не может никогда право иметь отделить от общей массы народа часть одного, с тем чтобы на сию часть возложить, за исключением остальных, самую тягостнейшую и жесточайшую повинность, какова есть военная. Как можно до такой степени все чувства совести и справедливости отвергнуть, чтобы навеки некоторые семейства назначить для войны со всеми их детьми, внуками и вообще потомством, на сии семейства возложить исключительно повинность военной службы и пролитие крови за народ, коего они знают только потому, что за него всегда готовыми быть должны терять всех своих детей, сих драгоценнейших предметов любви и нежности! Разве военные поселяне не такие же чувства имеют, разве они не такие же граждане нашего отечества, разве они не те же права имеют на благоденствие, как и прочие россияне, разве прочие россияне не те же имеют обязанности к отечеству, как и они, и разве защита отечества не есть священная обязанность для всех и каждого? И потому ясным образом из сего можно вывести заключение, что военные поселения суть самая жесточайшая несправедливость, какую только разъяренное зловластие выдумать могло.

2) Как военные поселения жестоки для подлежащих оным, так равно пагубны они для самого государства: образуя в оном другое, совсем особое, государство, которое имеет совсем отдельные и различные выгоды, не сохранило никакой связи с остальными частями и никого не оставило в оных залога в своей верности, имея при себе же, что ему мило и дорого, и чувствует, сверх того, что вся сила у него находится в руках, ибо оно вооружено, между тем как остальное государство против него безо всякой находится защиты. Легко можно пред-

видеть, что если бы вся армия была поселена и сей порядок был бы уже совершенно введен так, чтобы поселенные войска к оному привыкли и из памяти их бы изгладилось всякое воспоминание о прежней связи войска с гражданами, то скоро бы поселения захотели управляться собственными своими начальствами и чиновниками, выбранными из их среды, чего никакая дисциплина удержать бы не могла, и потом в скорости взглянули на государство как ближнюю добычу и, зная свою силу, овладели бы оным совершенно и разделили бы между собою, как варвары делили завоеванные земли. Они снова бы представили нашествие татар и притом гораздо опаснейшее, ибо сильнее и умнее бы их были и менее или даже никакого противоборства найти бы не могли от беззаботных и безоруженных граждан. Тогда подверглось бы государство ужаснейшим бедствиям и превращениям, которые бы кончились введением феодального зловластия и всеобщим порабощением и несчастьем. Сии неизбежные от военных поселений последствия достаточно доказывают, что одна из первейших обязанностей временного Верховного правления состоит в уничтожении военных поселений и в освобождении от ужасного сего ига всех селений, ныне к оным принадлежащих. На основании всего здесь сказанного обязывается временное Верховное правление: 1) в военных поселениях отделить войско от поселян, причислить войско к общему составу армии на общих правилах и разместить войско по разным местам сообразно общему расквартированию армии; 2) привести военные поселения в общее земледельческое состояние, составить из оного волости на основании общих правил, военных поселян признать гражданами наравне со всеми прочими россиянами, даровать им совершенно те же права и устроить в прекращающихся военных поселениях тот же образ управления, как и в прочих местах России, и 3) все меры принять, какие только нужными и возможными окажутся, для доставления военным поселянам нужных льгот и необходимых средств для поправления разоренных их имуществ. А вместе с тем и возвратить к семействам всех несчастных, находящихся ныне по разным местам в ссылке и заточении. Подробности и частности сего мероприятия предоставляются распоряжениям и соображениям временного Верховного правления, обязывающегося сим предметом заняться с любовью и старанием.

Весьма различно положение, в котором находятся различные дворянские крестьяне. У самых добрых господ они совершенным благоденствием пользуются; у самых злых — они в совершенном злополучии обретаются. Между сими двумя крайностями существует многочисленное количество разнообразных степеней злополучия и благосостояния. Различие сие происходит оттого, что участь крепостных людей в полной мере зависит единственно от мысли и воли их господ и что никакого не существует определительного постановления, взаимные их отношения, обязанности и права устанавливающего и положение крестьянского состояния ясно определяющего. Сие доказывает необходимость такового постановления, дабы дурные помещики принуждены были следовать примеру добрых помещиков и дабы положение крестьян, елико возможно, было улучшено и на твердых началах и правилах положительным образом основано.

Для составления такового постановления имеет Верховное правление возложить на вышеупомянутые грамотные дворянские собрания обязанность представить ему проекты об оном и потом из всех сих проектов выбор сделать, целое составить и оное в ход и действие привести. Все же предварительные меры, нужные для составления и введения сказанного постановления, обязывается Верховное правление по своему усмотрению неукоснительно и решительно принять, не останавливаясь никакими побочными соображениями.

Успехи общего просвещения, повсюду более и более распространяющиеся, лучшие понятия о взаимных отношениях всех членов и частей государства, дух времени, стремящийся к свободе, на законах основанной, — все сие заставляет желать, чтобы рабство было совершенно в России уничтожено и чтобы полезное сословие крестьян не было забыто, особливо в то время, когда Россия стремится к установлению прочного законного порядка и всем прочим своим сословиям и частям улучшение положения и состояния их приобретает.

Сверх того, надобно также и о том в совести своей помыслить, что право обладать другими людьми, как собственностью своею, продавать, закладывать, дарить

и наследовать людей наподобие вещей, употреблять их по своему произволу, без предварительного с ними соглашения и единственно для своей прибыли, выгоды и прихоти есть дело постыдное, противное человечеству, законам естественным, святой вере христианской и заповедной воле всевышнего творца, гласящего в священном писании, что все люди пред ним равны и что одни деяния их и добродетели разницу полагают. Но поелику таковое важное предприятие требует зрелого обдумывания и весьма большую в государстве произведет перемену, то и не может оное иначе к успешному окончанию приведено быть, как введением постепенным. О сем предмете должно Верховное правление потребовать проекты от грамотных дворянских собраний и по оным мероприятиям распорядить, руководствуясь следующими тремя главными правилами:

1) освобождение крестьян от рабства не должно лишить дворян дохода, ими от поместий своих получаемого;

2) освобождение сие не должно произвести волнений и беспорядков в государстве, для чего и обязывается Верховное правление беспощадную строгость употреблять против всяких нарушителей общего спокойствия;

3) освобождение сие должно крестьянам доставить лучшее положение противу теперешнего, а не мнимую свободу им даровать.

§ 12

Дворовые люди

Дворовые люди — самое жалкое состояние в целом пространстве Российского государства. Солдат, прослуживши 25 лет, получает, по крайней мере, по истечении сего срока свободу и избирает потом себе любые занятия. Дворянин же человек всю жизнь свою служит своему господину и ни на какую надежду права не имеет: одна воля барина всю его участь составляет до конца его жизни. Таковой порядок долее продлиться не должен, и все то, что в предыдущей статье сказано о крестьянах, относится также и до дворовых людей. Верховное правление потребует также и на сей счет проекты от грамотных дворянских собраний, извлекая из оных

средства к постепенному освобождению от рабства дворовых людей.

Здесь могут с удобностью два средства быть употреблены. Первое состоит в назначении числа годов, кои господину своему прослуживши дворовый человек делается вольным. Второе состоит в назначении суммы денег, коих своему господину заплатив дворовый человек также делается вольным. Сии два способа могут различными распоряжениями быть соединены и в подкрепление одно другому поставлены. Назначение откупных сумм должно быть сделано по соображению местных обстоятельств и по вниманию на разные ремесла, коим господа людей своих обучали. За сими распоряжениями будут все-таки еще дворовые люди крепостными оставаться, и для сих последних в особенности нужны вышеупомянутые проекты грамотных дворянских собраний.

§ 13

<...>Из всего содержания главы сей явствует: 1) что духовенство не признается более особенным сословием народа, ни особою отраслью государственного чиновначальства; 2) что дворянство обязывается под руководством Верховного правления пересмотреть свой состав и проекты об оном представить и 3) что все прочие сословия соединяются в одно и сливаются в общее сословие российских граждан, имеющих пользоваться совокупно всеми теми правами и преимуществами, коими доныне каждое сословие пользовалось отдельно. Сие общее сословие, долженствующее заменить все, доныне существовавшие, имеет называться *гражданством*.

При сем надлежит заметить: 1) что с уничтожением сословий и с введением гражданства все уже граждане одинаковым законам подлежать будут и что должны они право иметь земли и вообще всякую движимую и недвижимую собственность приобретать, но не крестьян только и 2) что люди, оказавшие отечеству большие услуги, должны быть отличены от тех, которые только о себе думали и только о частном своем благе помышляли. Таковые лица должны особенными пользоваться правами и преимуществами. Вот главное правило, основанием дворянству служащее.

Глава IV

О НАРОДЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ

§ 8

По распределении всех нынешних российских подданных по волостям надлежит их переименовать в российские граждане и тем самым их таковыми окончательно признать. Потом могут в российские граждане поступать или дети российских граждан, или иностранцы. Дети российских граждан поступают следующим образом: по достижении ими 15 лет от рождения объявляется о том волостному правлению. Волостное правление созывает ежегодно один раз всех таковых детей в приходскую церковь в нарочито для того назначенное время и слушает тут вместе с ними в присутствии родителей, родственников и всех прихожан молебн. После оного священник говорит приличную проповедь и выставляет недорослям всю важность состояния, в которое они ныне вступают, и всю святость той присяги отечеству, которую они потом и произносят. Потом дает волостной предводитель обеденный стол, и весь день посвящается празднеству и увеселениям, так чтобы для всей волости сей случай был днем радости и веселия. Сим образом вступают недоросли в число российских граждан. Правами же гражданства начинают они пользоваться не прежде, как по достижении ими 20-го года от рождения.

Иностранцы, желающие быть российскими гражданами, обязаны подать о том прошение, в которое-либо наместное волостное собрание (о котором ниже объяснено будет). Сие собрание имеет право таковую просьбу отвергнуть, после чего сохраняет иностранец право таковое же прошение подать в собрание другой волости.— Если же собрание согласно на просьбу иностранца, то предъявляет о том Верховной власти и, получив от оной разрешение, причисляет иностранца к числу российских граждан и членов своих. Таковые иностранцы присягу дают в приходской церкви в присутствии волостного правления, угощающего его в тот день. Общего же празднества не производится.

Российское гражданство теряется совершенно: 1) приговором суда, 2) вступлением в иноземное гражданство или подданство, 3) вступлением в иностранную службу без предварительного разрешения Верховной

власти, 4) подаaniem прошения об исключении из российского гражданства. Временно же оно теряется при вступлении в личное услужение. Подобное установление всего порядка сего предоставляется соображению и усмотрению Верховного правления.

§ 9

Разделение земельного пространства государства на части бывает двоякого рода: политическое и гражданское. Первое необходимо для лучшего устройства правления; второе образует частные собственности.—Первое остается в неперменном положении, всегда одно и то же; второе подвергается частным изменениям по случаю права обладания. Для введения первого было объяснено предположение о разделении России на области, уделы, округа, уезды и волости и сказано, что волости составляют единицы сего разделения. Теперь приступаем к рассмотрению гражданского разделения земель, которое там начинается, где политическое оканчивается, т. е. от волостей.

О сем гражданском разделении земель много было рассуждаемо, причем все сии рассуждения разделялись на два главные мнения. Первое мнение объясняется таким образом: человек находится на земле, только на земле может он жить, только от земли может он пропитание получать. Всевышний сотворил человеческий род на земле и землю отдал ему в достояние, дабы она его питала. Природа производит сама все то, что к пище человека служить может. Следовательно, земля есть общая собственность всего рода человеческого, а не частных лиц и посему не может она быть разделена между несколькими только людьми, за исключением прочих. Коль скоро существует хоть один человек, который никаким обладанием земли не пользуется, то воля всевышнего и закон природы совершенно нарушены и права естественные и природные человека устранены насилием и злоупастием. На сем соображении был основан известный поземельный закон римский, который устанавливал частое разделение земель между всеми гражданами. Второе мнение, напротив того, объясняет, что труды и работы суть источники собственности и что тот, который землю удобрял и оную способной сделал

к производству разных произрастаний, исключительное должен на ту землю иметь право обладания. К сему суждению прибавляется еще и то соображение, что, дабы хлебопашество могло процветать, нужно много издержек, которые тот только сделать согласится, который в полной своей собственности землю иметь будет; что неуверенность в сей собственности, сопряженная с частым переходом земли из рук в руки, никогда не допустит земледелия к усовершенствованию. Посему и должна вся земля быть собственностью нескольких людей, хотя бы сим правилом и было большинство людей от обладания землею исключено. Сии два мнения совершенно друг другу противоречат, между тем из них как каждое много истинного и справедливого содержит. Сие происходит оттого, что оба сии мнения заключения свои до крайности доводят. А дабы ясно усмотреть можно было, в каком отношении каждое из сих мнений справедливо и в каком каждое ложно, надлежит следующим правилам руководствоваться:

1) человек может только на земле жить и только от земли пропитание получать; следовательно, земля есть собственность всего рода человеческого, и никто не должен быть от сего обладания ни прямым, ни косвенным образом исключен;

2) с учреждением гражданских обществ сделались сношения между людьми многообразнее и возникло понятие о собственности. Охранение сего права собственности есть главная цель гражданского быта и связанная обязанность правительства;

3) законы политические должны утверждать и обеспечивать законы духовные и естественные, а не нарушать оных. Сии последние законы должны всегда иметь перевес перед первыми, ибо они поставлены от бога и природы и суть неизменны; между тем как политические поставлены от людей и часто переменяются;

4) наперед надобно помышлять о доставлении всем людям необходимого для жития, а потом уже о приобретении изобилия. На первое каждый человек имеет неоспоримое право, потому что он — человек, на второе имеет право только тот, который сам оное приобрести успевает;

5) установив возможность для каждого человека пользоваться необходимым для его жития, не подвергая его для приобретения оного зависимости от других,

надлежит только дать обеспечение и совершенную свободу приобретению и сохранению изобилия. Соображая сии коренные правила с вышеизъясненными двумя мнениями, можно легко приступить к изысканию средств для соглашения обоюдных их выгод и преимуществ и устранения обоюдных несправедливостей.

§ 10

Сии средства состоят в разделении земель каждой волости на две половины по угодиям, как то в предыдущей главе объяснено было в статье о казенных крестьянах. Одна половина получит наименование земли общественной, другая — земли частной. Земля общественная будет всему волостному обществу совокупно принадлежать и неприкосновенную его собственность составлять; она ни продана, ни заложена быть не может. Она будет предназначена для доставления необходимого всем гражданам без изъятия и будет подлежать обладанию всех и каждого. Земли частные будут принадлежать казне или частным лицам, обладающим оными с полною свободою и право имеющим делать из оной, что им угодно. Сии земли, будучи предназначены для образования частной собственности, служить будут к доставлению изобилия. Земля общественная будет удовлетворять справедливым заключениям первого вышеобъясненного мнения, а земли частные — второго мнения. Сим средством будут оба мнения совершенно соглашены, все пять коренные вышеописанные правила в полной мере соблюдены, каждый в необходимом обеспечен, и полная свобода к приобретению изобилия дана тем, которые в состоянии найдутся оным пользоваться. Ежели при первом взгляде покажется введение такового порядка сопряженным с большими трудностями, то надлежит только вспомнить, 1) что сие постановление может большие затруднения встретить во всяком другом государстве, но не в России, где понятия народные весьма к оному склонны и где с давних времен уже приобыкли к подобному разделению земель на две части; 2) что в предыдущей главе, в статье о казенных крестьянах, объяснено, каким образом сие постановление имеет быть введено не вдруг, но постепенно, в продолжение 15-летнего срока, в течение какового времени

все подробности и частности с удобностью и полною основательностью усмотрены и устранены быть могут и 3) что цель сего постановления, состоя в даровании государству тех основных начал государственного и гражданского бытия, которые одни ему доставить могут утверждение истинного благоденствия всех и каждого, должна быть выполнена непременно, сколько бы то ни стоило трудов и занятий.

§ 12

Когда порядок сей в полной мере введен будет и окончательное возымеет установление и действие, тогда от него для России следующие окажутся неощущенные выгоды и последствия:

1) каждый россиянин будет совершенно в необходимом обеспечен и уверен, что в своей волости всегда клочок земли найти может, который ему пропитание доставит и в коем он пропитание сие получать будет не от милосердия ближних и не оставаясь в их зависимости, но от трудов, кои приложит для обрабатывания земли, ему самому принадлежащей яко члену волостного общества наравне с прочими гражданами. Где бы ни странствовал, где бы счастья ни искал, но всегда в виду иметь будет, что ежели успехи стараниям изменят, то в волости своей, в сем политическом своем семействе, всегда пристанище и хлеб насущный найти может;

2) какое сильное и благодетельное влияние таковая уверенность и таковой порядок должны иметь на нравственность народа, легко усмотреть можно. Что более всего к преступлениям людей склоняет, как не нищета и совершенный недостаток? Устраняя ужасные сии поводы ко злу и разврату, постановление сие укрепит нравственность и добродетель. Оно большую часть случаев к подлости и подбострастию решительно отвратит и тем самым возвысит дух народный и вселит в граждан ту благородную самостоятельность, которая признана быть должна сильнейшею подпорою государства;

3) сие постановление ни в чем не препятствует стремлению к изобилию и улучшению земледелия, ибо земли, для последней сей цели предоставленные, составляют половину всех земель вообще и в полной мере для того достаточны. Оно не только не препятствует,

но даже, напротив того, еще более к тому способствует, вселяя во всех уверенность, что в необходимом никто никогда нуждаться не будет; от необходимого исходят и начинаются все занятия к достижению изобилия. Все несчастия ни к чему худшему привести не могут, как опять к необходимому. Решительнее, безопаснее, веселее будет частное действие каждого гражданина. Народная промышленность получит быстрейший ход и сильнейшие обороты, потому что всегда опираться будет на уверенности в необходимом, и, следовательно, само изобилие твердее возымеет основание;

4) разнообразность земель в отношении к плодородию и климату производит различные степени народонаселения, которые производят, в свою очередь, необходимость в переселениях из стран многонаселенных в страны мало или менее населенные. Переселения сии ныне исполняются самыми беднейшими людьми, не находящими в своей земле более средств к пропитанию, отчего происходит, что большое из них число дорогою пропадает, а кто до места достигнет, тот способов не имеет ни себя порядком водворить, ни новой своей земле пользу принести, ибо для сего нужны капиталы, коих он не имеет. Все сии пагубные неудобства совершенно отвращаются установлением общественных земель, ибо при оных переселяться будет единственно тот, которому нельзя получить столько общественных участков в своей волости, сколько бы он того желал. Желаящий же иметь несколько участков не есть человек бедный и потому может переселиться с удобностью и с выгодою как для себя, так и новой своей волости. Такие переселения будут делаться мало-помалу без всяких издержек и усилий со стороны правительства, приобретение земель в частную собственность будет поощрено, народонаселение будет само собою уравниваться, бедные будут оставаться на своих местах, и переселения будут производиться людьми имущими, т. е. людьми, могущими с удобностью сие исполнить, и правило полной свободы будет совершенно сохранено не на одних словах, но на истинном деле;

5) умножение народонаселения увеличит невозможность отдавать в одни руки много участков из общественной земли, и тем самым получит приобретение земель в частную собственность сильное поощрение. Оттого вздорожают земли, а возвышение цены оных

послужит поощрением к направлению капиталов на устройство мануфактур, фабрик, заводов и всякого рода изделий, на предприятие разных коммерческих оборотов и торговых действий. Из сего явствует, что установление общественных земель дает возможность промышленности иметь естественное свое течение и устраивать переходы и направление капиталов с полною свободою, соображаясь единственно с выгодною и пользою. Свобода сия бывает нарушаема не одними худо обдуманньми постановлениями правительства, но также и разными другими обстоятельствами, порождающимися совершенно от правительства независимо. Из числа сих обстоятельств может правительство малое число отвратить мерами защитительными; все же остальные отвращаются в полной мере установлением общественных земель, которые, обеспечивая каждого в необходимом для его житья, освобождают его от зависимости и необходимости заниматься тем, чем бы он заниматься не хотел, и тем самым водворяют свободу промышленности на истинных и точных ее началах;

6) каждый россиянин будет посредством сего постановления обладателем земли. Он будет или обладатель частный, имея землю в частной своей собственности, или обладатель общественный, имея право яко член волостного общества пользоваться общественною землею, не платя за оную найма. Вся Россия будет, следовательно, состоять из одних обладателей земли, и не будет у нее ни одного гражданина, который бы не был обладателем земли. Ежели который гражданин заниматься станет изделиями какими-нибудь или пойдет в услужение, или на какую-нибудь работу наймется, то делать сие будет только потому, что в том более удовольствия или выгоды найти надеется, нежели в обработке земли. Право же свое на общественную землю будет он при всем том сохранять неизменно, и каждый россиянин тем самым будет истинным членом Российского государства всегда пребывать. Какую осанку должно таковое положение вещей российскому народу приобщить и какое почтение вселить к нему во всех других державах и государствах;

7) каждая волость будет составлять в полном смысле политическое семейство, в котором каждый гражданин найдет не только безопасность, но и верное пристанище, не только охранение своей собственности, но

и дарование необходимого для житья. Таким образом, состоять будет политическое устройство не только в согласии с духовными и естественными законами, но даже будет их укреплять и на твердых началах утверждать. От такового порядка родится связь между членами одной и той же волости. Посредством политического своего семейства будет каждый гражданин сильнее к целому составу государства привержен и, так сказать, прикован. Каждый будет видеть, что он в государстве находится для своего блага, что государство о благоденствии каждого помышляет, каждый будет чувствовать, что он подати платит и повинности несет для цели, ему близкой, и для собственного своего блага. На таком образе мыслей будет основана любовь к отечеству, сей источник всех государственных добродетелей и сия сильнейшая подпора существования и благоденствия царств;

8) посредством общественных земель возродится сильная связь между членами одной и той же волости. Получая необходимое для своего пропитания от одного и того же источника (общественных земель) и полагая свои надежды в случае несчастья и обеднелости на тот же самый предмет (общественные земли), сделаются они близки друг к другу и в полной мере одно политическое семейство составлять будут. Связь же сия между членами волости будет то благодетельное иметь последствие, что во всех сношениях с правительством никогда не будет частный человек от ближних покинут, всякому зловластию предоставлен, оставаться один без всякой помощи в противоборстве с властью. Вся волость за каждого вступаться будет, и дела уже тогда решаться будут вышними властями по зрелому рассмотрению всех обстоятельств. Для правительства же то будет неоцененная выгода, что оно не будет затрудняться с каждым частным человеком ведаться особо. Оно будет знать только волость и волостное правление, от сего последнего требовать честное исполнение всех правительственных действий и распоряжений и с него взыскивать за всякие упущения, в личный же разбор входить только тогда, когда волостное правление содействия просить будет. Сим порядком облегчится и ускорится действие правительства и установится правильное и законное противоборство частному деспотизму, которое, по-видимому, хотя на мелочи только обращается, но, однако же, чрезвычайно тягостно для граждан.

Имея в виду все сии благодетельные последствия, с установлением волостных обществ и общественных земель сопряженные, обязывается Верховное правление непременно сие постановление ввести и перед затруднениями, с сим введением нераздельными, нимало не оставиваться. Опасаться сих затруднений значило бы высказывать непонятливость или, что еще хуже, злобность нрава, противящуюся установлению истинной в государстве свободы.

Что же касается дворянских крестьян, то об оных сказано в предыдущей главе, что дворянские грамотные собрания представляют свои проекты и Верховное правление оные в соображение примет при переводе сих крестьян из нынешнего их положения в общее состояние российского гражданства.

§ 13

Когда государства так еще были малы, что все граждане на одном месте или небольшом поле собираться могли для общих совещаний о важнейших государственных делах, тогда каждый гражданин имел голос на вече и участвовал во всех совещаниях народных. Демократия существовала тогда. Сей порядок должен был измениться с увеличением государств, когда уже нельзя было всем гражданам собираться на одном месте. Демократия тогда была уничтожена. Многоразличные государственные превращения совокупились с сею причиною и произвели, наконец, то, что одни только богатые или военные начали съезжаться для участия в государственных делах. Тогда возникла аристократия, а потом и вся феодальная система со всеми ее ужасами и злодеяниями. Много других причин содействовали к введению и укреплению феодального порядка вещей, но главная одного опора всегда состояла в невозможности всему народу собираться на одном месте и совокупным действием в государственных делах участвовать. Таким образом, аристократия и вся вообще феодальная система много веков свирепствовала над несчастною Европою, заставляя народы переходить все степени злополучия и угнетения. Время, которое всегда, наконец, памятники неправды и злосчастия пожирает, привело равным образом в упадок и сей порядок или, лучше

сказать, беспорядок вещей. Великая мысль о представительном правлении возвратила гражданам право на участие в важных государственных делах. Пользоваться же стал народ сим правом не так, как прежде оным пользовался,— непосредственным образом, поелику не могли все граждане на одном месте быть собраны, но посредством своих представителей, коих из своей среды назначал на определенное время. Из сего явствует, что представительное правление решило великую задачу государственного правления и согласило невозможность собираться всем гражданам на одно место с неоспоримым правом каждого участвовать в государственных делах. Не удивительно посему, что все народы с таким пламенным желанием стремятся к установлению представительного порядка и к избавлению себя от нестерпимого ига аристократов и богатых. Действие народов в сем случае есть действие оборонительное, ибо они не налагают ига на аристократов и богатых, но только себя от их ига избавить хотят. Таким образом, решено, что представительный порядок непременно существовать должен и что народные представители, образуя особое правительствующее место, в состав Верховной власти входить должны.

§ 14

Сей вопрос, будучи решен, возник новый вопрос: каким образом должны народные представители быть выбираемы и назначаемы? Народ не мог собираться на одно место для непосредственного участия в государственных делах, а следовательно, точно так же не может он собираться весь на одно место и для выбора своих представителей. Надобно разделить его на частные общества или на собрания избирательные, дабы каждое избирательное собрание одного, двух или более представителей народных назначало, смотря на количество своих сочленов. Ежели разделить большое государство, какова, напр., Россия, на столько избирательных собраний, сколько бы нужно было, дабы все граждане без изъятия в собрании представителей участвовали, то надобно разделить государство на такое количество избирательных собраний, что когда каждое из сих собраний своего или своих представителей назначит, то

число всех народных представителей, от всех избирательных собраний назначенных, так будет велико, что не будет возможности им всем собраться в одном месте, а тем еще менее заниматься совещанием о государственных делах, из чего и выведено весьма справедливое заключение, что все граждане без изъятия не могут участвовать в избрании и назначении народных представителей; оказывается, следовательно, здесь то же самое затруднение в отношении к непосредственному назначению представителей всеми гражданами, каковое в предыдущих параграфах описано в отношении к непосредственному участию всех граждан в самых совещаниях о делах государственных. Весьма бы естественно было одинаковые затруднения одинаковыми средствами отвращать, и как одно отвращено посредством представительного порядка, так точно и другое посредством того же представительного порядка отворить; но не так-то было. Порабощающая сила аристократов и богатых вмешалась в сие дело и превратное представила толкование, вследствие коего во многих представительных государствах предоставлено участие в избрании представителей одним только богатейшим людям, за исключением большинства граждан. Таким образом, заменяет в тех государствах аристократия богатств аристократию феодализма, и народы не только ничего не выиграли, но даже, напротив того, в некотором отношении еще в худшее приведены политическое положение, ибо в насильственную поставлены зависимость от богатых. Все не могут быть богатыми, малейшая часть граждан изобилием пользоваться может, а с тем вместе при таковом устройстве представительства породится в государстве отдельное от массы народной сословие богатых, о котором в сей же главе доказано, что оно есть самое пагубное и зловердное. Богатые всегда будут существовать, и это очень хорошо, но не надобно присоединять к богатству еще другие политические права и преимущества за исключением бедных. А посему и возлагается неперемнная обязанность на Верховное правление, описанное в сем параграфе затруднение разрешить посредством представительного порядка и в полной мере всякую даже тень аристократического порядка, хоть феодального, хоть на богатстве основанного, совершенно устранить и навсегда удалить, дабы граждане ничем не были стесняемы в своих выборах и не были принужда-

емы взирать ни на сословие, ни на имущество, а единственно на одни способности и достоинства и руководствоваться одним только доверием своим к избираемым ими гражданам...

Глава пятая

О НАРОДЕ В ГРАЖДАНСКОМ ОТНОШЕНИИ

§ 7

Право собственности или обладания есть право священное и неприкосновенное, долженствующее на самых твердых положительных и неприкосновенных основах быть утверждено и укреплено, дабы каждый гражданин в полной мере уверен был в том, что никакое самовластие не может лишить его ниже малейшей части его имущества. В сем духе определяются следующие два правила:

1) ежели кто собственности своей лишен быть должен для блага общего, то надлежит к тому приступить не иначе, как когда полномерное существует убеждение в том, что благо общее неминуемо того требует и не может иначе быть достигнуто; но и в сем случае должно всегда последовать наперед предварительное полное возмездие;

2) конфискация имущества в пользу казны никогда существовать не должна. Имущество частного человека может быть отнято у него для заплаты его долгов и для взноса законных пеней, но, однако же, не полным количеством, а единственно необходимым количеством для выручения нужной на сказанные предметы суммы. При наложении же судом политической смерти на гражданина, его имение никогда не должно быть конфисковано, но должно быть отдано его наследникам, взирая на него, как на умершего. При сем надлежит в отношении к праву собственности или обладания следующие правила постановить:

1) давность владения утверждает право собственности, дабы сим способом можно было поставить конец делам, долгое время сомнению подлежащим; но поелику давность владения бывает иногда многими обстоятельствами сопровождается, то и должны законы с большею

осторожностью и подробностью все оттенки сего права определить, стремясь к полномерному соглашению необходимости делам конец поставить с должным беспристрастием к участвующим в том деле сторонам;

2) право повинности, возникающее из естественного положения имени, не подлежит никакому разногласию и потому во всей силе утверждено быть должно. Право же повинности, постановляемое частными людьми, по добровольному между ими согласию, хотя и бывает весьма разнообразно, но, однако же, никогда не должно быть противно ни общественному порядку, ни существующим законам и постановлениям;

3) обладание служит основанием праву собственности, а посему и должно оно служить равным образом основанием и праву повинности. Вследствие сего должны права на частные повинности даруемы быть гражданами другим гражданам только на время жизни или обладания первых, или по крайней мере на известное определенное время, но никогда не быть постановляемы на всегдашнее время и притом связаны быть с именем, кто бы ни владел оным. Сие бы значило нарушать для будущих обладателей неприкосновенность и полноту права собственности;

4) заложение, или право закладное, обеспечивает заимодавца посредством залога в отчужденной им на время собственности своей. Кто иначе в займы отдавать не будет, как на основании сего права, тот никогда не может отчужденной на время собственности своей лишиться. Но поелику действия сии к частым и многообразным спорам и тяжбам случай подают, то и должны законы с большою положительностью все подробности сего права определить, дабы полное было сохранено беспристрастие к обеим сторонам и они бы обе в полной мере были обеспечены;

5) неоплатные должники должны быть разделены на невольные, неосторожные и злостные. Имение должника во всяком случае должно поступать сполна на уплату его долгов. Лицо же его не должно за его долг отвечать и свободы не должен он быть лишен до тех пор, пока долга своего не заплатит. Здесь место имеет следующее соображение: ежели должник есть невольный неоплатный должник, то вовсе не должен свободы быть лишен. Ежели же он признан будет неосторожным или злостным должником, то по мере вины должен

быть подвергнут уголовному наказанию. Ежели должник после объявления о неоплатности своей приобретает какое-нибудь имущество, то должен прежние долги непременно сполна выплатить.

§ 10

Личная свобода есть первое важнейшее право каждого гражданина и священнейшая обязанность каждого правительства. На ней основано все сооружение государственного здания, и без нее нет ни спокойствия, ни благоденствия. Вследствие сего постановляются следующие неизменные правила:

1) Никто из граждан не должен свободы быть лишен и под стражу посажен иначе, как законным образом и законным порядком. Всякое действие, сему противное, наводит строжайшую ответственность на нарушителей.

2) Одно только полицейское ведомство имеет право граждан брать под стражу. Все же прочие ведомства, равно как и частные граждане, должны обращаться к полиции с требованиями своими и объявлениями причин. Если же крайность случая их заставит не ожидать прибытия полиции, то должны немедленно взятого под стражу полиции представить и ей вручить под опасением строжайшей ответственности.

3) Военная сила может полиции содействовать, когда будет то от полиции требовано, но ежели сама кого под стражу возьмет в отсутствии полиции, то немедленно того к ней представить обязана. Что же касается до военнослужащих, то само собою разумеется, что за воинские преступления подлежат они военному суду и от военного начальства зависят.

4) Полиция имеет право всякого гражданина взять под стражу, хоть он частный человек, хоть он гражданский чиновник, хоть военный, с тем только чтобы сие было законным образом исполнено.

5) В дом гражданина никто войти не может без его согласия; в случае же обязанности взять его под стражу должна полиция предъявить ему письменное предписание от волостного правления или высшего местного начальства об отводе его под стражу с объявлением причин.

6) На улице и вообще вне частного дома может каждый гражданин под стражу быть взят и без письменного предписания; но о причинах сего с ним поступка должно быть ему письменно во всяком случае объявлено прежде истечения 24 часов, в противном случае должен он быть немедленно освобожден.

7) Никто не должен быть содержим под стражею в иных местах, как стражных домах, от правительства назначенных и всем гражданам таковыми известных, и не иначе быть в оных с ним поступаемо, как законным образом, под опасением строжайшей ответственности.

8) Содержащийся под стражею может всегда на поруки быть отдан, разве вышнее начальство иначе прикажет; но в сем случае должна быть ему засвидетельствованная копия с сего предписания выдана.

9) Содержащийся под стражею может принимать посещения, от кого пожелает, и происходить может сие или без полицейского свидетеля или при таковом, смотря на предписание начальства, которое в самых важнейших только случаях в таковых посещениях вовсе отказать может с письменным объявлением о причинах.

10) Никто не может быть судим иным порядком, как обыкновенным законным судебным, и в том именно месте, которое законом определено и назначено. Посему никогда не должны никакие чрезвычайные судебные комиссии или чрезвычайные суды быть учреждаемы, ниже в каком бы то ни было случае законный судебный порядок быть для каких бы то ни было причин нарушаем.

11) Никто не может быть судим иначе, как по точным словам закона и притом по законам, существовавшим прежде преступления, в коем он обвиняется, и не иначе быть обвинен, как когда его преступление совершенно доказано.

12) Волостное правление и наместное собрание имеют право заступаться за членов своих волостей, ежели где-нибудь сии правила в отношении к ним были нарушены, и представлять о том вышнему начальству, обязанному непременно таковое ходатайство рассмотреть и по содержанию оного полное следствие произвести и удовлетворение сделать. Устройство всех подробностей сего распорядка представляется усмотрению Верховного правления, обязанного оный таким образом учредить, чтобы всякое самоволие решительно было устранено.

Правила, утверждающие свободное книгопечатание и определяющие нравственные действия, касаются трех предметов: 1) воспитания, 2) нравственности, 3) книгопечатания.

Воспитание детей разделяется на общественное и частное. Первое устраивается правительством, второе предоставляется частным людям. Правила в отношении к воспитанию юношества суть следующие:

1) Каждый отец семейства может по своему произволу детей своих или воспитывать у себя в доме, под собственным своим надзором, или отдавать их в общественные учебные заведения, от правительства учрежденные.

2) Поелику ничто столь сильно не действует на благоденствие царств и народов, как воспитание, то и обязывается Верховное правление учебные заведения устроить таким образом, чтобы они в полной мере всевозможную пользу приносили.

3) Частные лица не должны иметь права заводить ни пансионов, ни других учебных заведений, куда бы граждане детей своих отдавали, потому что правительство обязано о воспитании юношества много заботиться и неупустительно над оным надзирать, хоть и может оное родителям предоставить и на их старание в полной мере положиться. Но коль скоро родители не имеют времени, средств или охоты оным заниматься, то должно правительство их место заступать и не дозволять, чтобы сие было предоставлено посторонним людям, ибо нельзя иметь к сим последним достаточной доверенности, дабы им поручить многотрудное исполнение священной сей обязанности, тем более что надзор правительства за таковыми частными заведениями всегда будет слаб и недостаточен.

Нравственность утверждается в народе совокупностью духовных, естественных и политических законов. Все на нее влияние имеет, и потому составляется она совокупностью правильного действия граждан по всем сим разнообразным соотношениям. Из сего явствует,

что целое содержание Русской Правды неминуемо на нее распространяется и ее укрепляет. Не менее того надлежит здесь следующие правила в особенности изложить:

1) Всякое учение, проповедывание и занятие, противные законам и правилам чистой нравственности, а тем еще более разврат и соблазн вводящие, должны быть совершенно запрещены. Но поелику таковое запрещение весьма легко может перейти в зловластие, то и обязывается Верховное правление постановить правила на сей счет таким образом, чтобы зло было отвращено и при том гражданская свобода не была бы стеснена.

2) Всякие частные общества, с постоянною целью учреждаемые, должны быть совершенно запрещены, как открытые, так и тайные, потому что первые бесполезны, а вторые вредны. Первые потому бесполезны, что они таких только предметов касаться могут, которые входят в круг действия правительства и для которых правительство уже учреждено со всеми отраслями, частями и подразделениями, особенно при существовании волостных обществ. Вторые же потому вредны, что они таких только касаться могут предметов, которые не могут быть сделаны гласными, а таковые предметы не могут быть иначе признаны, как зловредными, ибо государственный порядок, в сей Русской Правде постановляемый, не только ничего доброго и полезного не принуждает скрывать, но даже, напротив того, все средства дает на их введение и обнародование законным порядком и к объявлению таких предметов и статей дружески и благосклонно всех и каждого приглашает. Следовательно, скрывать нечего добро.

3) Увеселения и забавы дозволяются всякого рода, как частные, так и общественные, лишь бы они не были противны чистейшей нравственности и не заключали бы в себе разврата и соблазна. За сим обязано правительство бдительный и строгий иметь надзор. Весьма полезно заводить народные празднества для усиления народного духа и укрепления гражданской, дружеской связи. Сия статья предоставляется мудрому обдумыванию Верховного правления. Наконец,

4) Верховное правление обязывается все средства употребить, какие заблагорассудит избрать для прекращения поединков, хотя бы постепенными мероприятиями то было исполнено.

Коренные правила в отношении к свободе книгопечатания постановляются следующие:

1) Каждый гражданин имеет право писать и печатать все то, что он хочет, с тем только чтобы его имя было на его сочинении выставлено. От сего исключаются одни только личные ругательства, которые никогда допускаемы быть не должны.

2) Каждый гражданин пользуется правом иметь типографию с тем только, чтобы о том было предварительно правительство извещено и чтобы на каждой печатной вещи находилось имя хозяина типографии.

3) За мнения и правила, в сочинении изложенные, отвечает каждый писатель на основании вышеупомянутых правил об учении и проповедывании, противных законам и чистой нравственности, и судится общим судебным порядком.

4) Ежели в сочинении излагаются какие-нибудь происшествия или что-нибудь утверждается, то сочинитель обязан оные доказать, если к суду обиженной стороною призван будет. Если же доказать не может, то подвергается уголовному наказанию и суду присяжных, судясь обыкновенным порядком, и

5) сему распорядку подлежат все сочинения большие и малые, все переводы, все ведомости и срочные издания, все живописи, гравировки и, одним словом, все то, что какого бы ни было рода сочинение составляет. Верховному правлению разрешается все подробности по своему усмотрению постановить; срочные же сочинения должны быть издаваемы не иначе, как по предварительному извещению правительства о сем намерении.

ПРАВИЛА СОЕДИНЕННЫХ СЛАВЯН

1) Не надейся ни на кого, кроме твоих друзей и своего оружия. Друзья тебе помогут, оружие тебя защитит.

2) Не желай иметь раба, когда сам рабом быть не хочешь.

3) Каждый почтет тебя великим, когда гордости и избытку ты искать не будешь.

4) Простота, трезвость и скромность, сии блюстительницы, сохраняют твоё спокойствие.

5) Не желай более того, что имеешь, и будешь независимым.

6) Богиня просвещения пусть будет пенатом твоим и удовольствия с любовью водворятся в доме твоём.

7) Почитай науки, художества и ремесла. Возвысь даже к ним любовь до энтузиазма, и будешь иметь истинное уважение от друзей твоих.

8) Невежество с детьми своими — гордостью, суетностью и фанатизмом — да будет твоим злым духом Велзевулом.

9) Будешь терпеть все вероисповедания и обычаи других народов, пользоваться же только истинно хорошими обязан.

10) Будешь стараться разрушать все предрассудки, а наиболее до разности состояний касающиеся, и в то время станешь человеком, когда станешь узнавать в другом человека.

11) Будешь добродетельным, и добродетель целой жизни соплетет венец спокойствия для твоей совести.

12) Употребить даже свое оружие, если того нужда будет требовать на защиту невинности, и от несправедливости и мщенья не погибнешь, ибо друзья твои защищать тебя будут.

13) Будешь помогать своим рассудком и своим оружием друзьям твоим, ибо и они также помогать тебе будут.

14) Будешь таким, и гордость тирании своею суетностью падет пред тобою на колена.

15) Ты еси славянин и на земле твоей при берегах морей, ее окружающих, построшь четыре флота — Черный, Белый, Далмацкий и Ледовитый, а в середине оных воздвигнешь город и в нем богиню просвещения и своим могуществом на троне посадишь. Оттуда будешь получать для себя правосудие и ему повиноваться обязан, ибо оное с дороги, тобою начертанной, возвращаться не будет.

16) В портах твоих, славянин, будут цвести торговли и морская сила, а в городе посреди земли твоей справедливость для тебя обитать станет.

17) Желает иметь сие! — соединишь с твоими братьями, от которых невежество твоих предков отдало тебя. Желает все то иметь! — будешь жертвовать

10-ую часть твоих доходов годовых и будешь обитать в сердцах друзей твоих.

L'esprit de servitude paraît naturellement ampoulé, comme celui de la liberté est nerveux et celui de la vraie grandeur est simple, voilà que vous devez observer, т. е.— дух рабства показывается обыкновенно надменным, подобно как дух вольности — бодрым, а дух истинной великости — простым. Вот что вы должны наблюдать.

ПРИСЯГА СОЕДИНЕННЫХ СЛАВЯН

Вступая в число Соединенных Славян для избавления себя от тиранства и для возвращения свободы, столь драгоценной роду человеческому, я торжественно присягаю на сем оружии на взаимную любовь, что для меня есть божеством и от чего я ожидаю исполнения всех моих желаний. Клянусь быть всегда добродетельным, вечно быть верным нашей цели и соблюдать глубочайшее молчание. Самый ад со всеми своими ужасами не вынудит меня указать тиранам моих друзей и их намерения. Клянусь, что уста мои тогда только откроют название сего союза пред человеком, когда он докажет несомненное желание быть участником одного; клянусь до последней капли крови, до последнего вздоха вспомоществовать вам, друзья мои, от этой святой для меня минуты. Особенная деятельность будет первою моею добродетелью, а взаимная любовь и пособие — святым моим долгом. Клянусь, что ничто в мире тронуть меня не будет в состоянии. С мечом в руках достигну цели, нами назначенной. Пройду тысячи смертей, тысячи препятствий, пройду и посвящу последний вздох свободе и братскому союзу благородных славян. Если же нарушу сию клятву, то пусть угрызение совести будет первою мезью гнусного клятвopреступления, пусть сие оружие обратится острием в сердце мое и наполнит оное адскими мучениями; пусть минута жизни моей, вредная для моих друзей, будет последнею, пусть от сей гибельной минуты, когда я забуду свои обещания, существование мое превратится в цепь неслыханных бед, пусть увижу все, любезное моему сердцу, издыхающим от сего оружия в ужасных мучениях, и оружие сие, достигая меня преступного, пусть покроет меня ранами и бессла-

вием, собрав на главу мою целое бремя физического и морального зла, выдавит на челе печать юродливого сына всей природы.

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ Н. МУРАВЬЕВА

Глава I

О НАРОДЕ РУССКОМ И ПРАВЛЕНИИ

1. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства.

2. Источник *Верховной власти* есть народ, которому принадлежит исключительное право делать *основные постановления* для самого себя.

Глава II

О ГРАЖДАНАХ

3. *Гражданство* есть право определенным в сем Уставе порядком участвовать в общественном управлении: *посредственно*, т. е. выбором чиновников или избирателей; *непосредственно*, т. е. быть самому избираемым в какое-либо общественное звание по *законодательной, исполнительной или судебной власти*.

4. *Граждане* суть те жители Российской империи, которые пользуются правами, выше определенными.

5. Чтоб быть Гражданином, необходимы следующие условия:

- 1) Не менее 21 года возраста.
- 2) Известное и постоянное жительство.
- 3) Здравие ума.
- 4) Личная независимость.
- 5) Исправность платежа общественных повинностей.
- 6) Непорочность пред лицом закона.

6. Иностранец, не родившийся в России, но жительствующий 7 лет сряду в оной, имеет право просить себе *Гражданства Российского* у *судебной власти*, отказавшись наперед клятвенно от правительства, под властью которого прежде находился.

7. Иностранец, не получивший Гражданства, не может исполнять никакой общественной ни военной должности в России — не имеет права служить рядовым в войске Российском и не может приобрести земель.

8. Чрез 20 лет по приведении в исполнение сего Устава Российской империи никто, не обучившийся Русской грамоте, не может быть признан Гражданином.

9. Права Гражданства теряются *на время*:

1) Судебным объявлением о расслаблении ума.

2) Нахождением под судом.

3) Судебным определением о временном лишении прав.

4) Объявленным банкротством.

5) Общественною недоимкою.

6) Нахождением в услужении при ком-либо.

7) Неизвестностью местопребывания, занятий и средств к пропитанию.

Навсегда:

1) Вступлением в подданство иностранного государства.

2) Принятием службы или должности в чужой земле без согласия своего правительства.

3) Приговором суда к бесчестному наказанию, влекущему за собою лишение Гражданских прав.

4) Если Гражданин без согласия Веча примет подарок, пенсию, знак отличия, титул или звание почетное или приносящее прибыль от иностранного правления, государя или народа.

Глава III

О СОСТОЯНИИ, ЛИЧНЫХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ РУССКИХ

10. Все Русские равны пред Законом.

11. Русскими почитаются все коренные жители России и дети иностранцев, родившиеся в России, достигшие совершеннолетия, доколе они не объявят, что не хотят пользоваться сим преимуществом.

12. Каждый обязан носить общественные повинности, повиноваться законам и властям отечества и явиться на защиту Родины, когда востребует того Закон.

13. Крепостное состояние и рабство отменяются; раб, прикоснувшийся земли Русской, становится свободным. Разделение между благородными и простолюдинами не принимается, поелику противно вере, по которой все люди *братья*, все рождены *благо* по воле божией, все рождены *для блага* и все *просто люди*: ибо все слабы и несовершенно.

14. Всякий имеет право излагать свои мысли и чувства невозбранно и сообщать оные посредством печати своим соотечественникам. Книги, подобно всем прочим действиям, подвержены обвинению Граждан пред судом и подлежат *присяжным*.

15. Существующие ныне *гильдии* и *цехи* в купечестве, ремеслах уничтожаются.

16. Всякий имеет право заниматься тем промыслом, который ему покажется выгоднейшим: *земледелием*, *скотоводством*, *охотою*, *рыбною ловлею*, *рукоделиями*, *заводами*, *торговлею* и так далее.

17. Всякая тяжба, в которой дело идет о ценности, превышающей фунт чистого серебра (25 рублей серебр <ом>), поступает на суд присяжных.

18. Всякое уголовное дело производится с присяжными.

19. Подозреваемый в злоумышлении может быть взят под стражу постановленными Уставом властями и учрежденным порядком, но в 24 часа (под ответственностью тех, которые его задержали) должно ему объявить письменно о причине его задержания, в противном случае он немедленно освобождается.

20. Заключенный, если он не обвинен по уголовному делу, немедленно освобождается, если найдется за него *поручка*.

21. Никто не может быть наказан, как в силу закона, обнародованного *до преступления* и правильно и законным образом приведенного в исполнение.

22. Устав сей определит, каким чиновникам и в каких обстоятельствах предоставляется право давать письменные приказания *задержать* кого-либо из Граждан, *сделать домовый обыск*, *забрать его бумаги* и *распечатать письма его*. Равным образом определит оный ответственность за таковые поступки.

23. Право собственности, заключающее в себе *одни вещи*, священо и неприкосновенно.

24. Земли помещиков остаются за ними. Дома поселян с огородами оных признаются их собственностью со всеми земледельческими орудиями и скотом, им принадлежащим.

25. Крестьяне экономические и удельные будут называться *общими владельцами*, равно как и ныне называющиеся *вольными хлебопашцами*, поелику земля, на которой они живут, предоставляется им в *общественное владение* и признается их собственностью. Удельное правление уничтожается.

26. Последующие законы определяют, каким образом сии земли поступят из *общественного в частное владение* каждого из поселян и на каких правилах будет основан сей *раздел* общественной земли между ими.

27. Поселяне, живущие в арендных имениях, равно делаются *вольными*, но земли остаются за теми, кому они были даны, и по то время, по которое были даны.

28. *Военные поселения* немедленно уничтожаются. Поселенные батальоны и эскадроны с родственниками родовых вступают в звание *общих владельцев*.

29. Разделение людей на 14 классов отменяется. Гражданские чины, заимствованные у немцев и ничем не отличающиеся между собою, уничтожаются сходственно с древними постановлениями народа Русского. Названия и сословия *однодворцев, мещан, дворян, именитых граждан* заменяются все названием *Гражданина* или *Русского*.

30. Жалованье священнослужителям будет производиться и впредь. Равным образом они освобождаются от постоя и подвод.

31. Кочующие племена не имеют прав Гражданских. Право участвовать в выборе *волостного старшины* предоставляется, однако ж, и иным.

32. Граждане имеют право составить всякого рода общества и товарищества, не испрашивая о том ни у кого позволения, ни утверждения, лишь только б действия оных не были противузаконными.

33. Каждое таковое общество имеет право делать себе постановления, лишь бы оные не были противны сему Уставу и законам общественным.

34. Никакое иностранное общество не может иметь в

России подведомственных себе обществ или сотовариществ.

35. Никакое нарушение Закона не может быть оправдано повелением начальства. Сперва наказывается *нарушитель* Закона, потом подписавшие противузаконное повеление.

36. Граждане имеют право обращаться с своими жалобами и желаниями к народному Вечу, к императору и к правительствующим сословиям держав.

37. Подземелья и казематы крепостные, вообще все так называемые государственные темницы уничтожаются; никто не может быть заключен иначе, как в назначенных на сей предмет общественных темницах.

38. *Обвиненные* не должны быть заключены в одних местах с *осужденными*, заключенные за долги или за легкие проступки — с преступниками и злодеями.

39. Тюремное начальство должно быть избираемо Гражданами из людей *добросовестных* и которые были бы в состоянии отвечать за всякой противузаконный и бесчеловечный поступок с заключенными.

40. Нынешние полицейские чиновники отрешаются и заменяются по выборам жителей.

41. Всякий Гражданин, который бы насилием или подкупом нарушил свободный выбор *народных представителей*, предается суду.

42. Никто не может быть беспокоим в отправлении своего богослужения по совести и чувствам своим, лишь бы только не нарушал законов природы и нравственности.

Глава IV

О РОССИИ

43. В законодательном и исполнительном отношениях вся Россия делится на 13 держав, 2 области и 569 уездов или поветов.

Все население полагается в 22 630 000 жителей мужского пола, и по сему предположению разočтено представительство оной.

Жит. муж. пола	Державы	Столица
450 000	I. Ботническая держава	Гельсингфор
1 685 000	II. Волховская	Г. св. Петра
750 000	III. Балтийская	Рига
2 125 000	IV. Западная	Вильна
2 600 000	V. Днепровская	Смоленск
3 465 000	VI. Черноморская	Киев
750 000	VII. Кавказская	Тифлис
3 500 000	VIII. Украинская	Харьков
2 450 000	IX. Заволжская	Ярославль
2 000 000	X. Камская	Казань
1 425 000	XI. Низовская	Саратов
490 000	XII. Обийская	Тобольск
250 000	XIII. Ленская	Иркутск
	Московская область	Москва
	Донская	Черкасск

Державы делятся на уезды, уезды на волости от 500 до 1500 жителей мужеского пола.

В судебном отношении державы делятся на округа, равные нынешним губерниям.

Глава VI

О НАРОДНОМ ВЕЧЕ

59. *Народное Вече*, состоящее из *Верховной Думы и Палаты народных представителей*, облечено всею законодательною властью.

Глава X

О ВЕРХОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

I раздел — о императоре

II раздел — временный правитель

III раздел — главы Приказов

101. Император есть верховный чиновник российского правительства. Его права и преимущества суть:

1) Власть его наследственная по прямой линии от отца к сыну, но от тестя она переходит к зятю.

2) Он соединяет в особе своей всю исполнительную власть.

3) Он имеет право останавливать действие законодательной власти и принуждает ее ко вторичному рассмотрению закона.

4) Он верховный начальник сухопутной и морской силы.

5) Он верховный начальник всякого отделения земских войск, поступающего в действительную службу империи.

6) Он может требовать письменного мнения главного чиновника каждого исполнительного департамента о всяком предмете, с его обязанностию сопряженном.

7) Ведет переговоры с иностранными державами и заключает мирные трактаты с совета и согласия верховной Думы, лишь только две трети присутствующих членов Думы на то согласились. Трактат, таковым образом заключенный, поступает в число верховных Законов.

8) Он назначает посланников и министров и консулов и представляет Россию во всех ее отношениях с иностранными державами. Он назначает всех чиновников, о которых не говорено в сем Уставе.

9) Не может, однако ж, помещать в трактатах статей, нарушающих права и состояние Граждан внутри отечества. Равным образом не может включать в оных без согласий Веча Народного условий напасть на какую-либо землю, не может уступить никакого участка земель, принадлежащих России.

10) Назначает судей верховных судебных мест с совета и согласия верховной Думы.

11) Он наполняет все места, сделавшиеся свободными, когда Народное Вече распушено, и дает от себя постановленным временным чиновникам грамоты на сии места, которые имеют силу до окончания первого съезда Думы.

12) Он означает и постановляет по каждой отрасли дел или в каждом Приказе главу, как то:

1 — Главу Казначейского Приказа (М. Фин.).

2 — Главу Приказа Сухоп. сил (Мин. Военного).

3 — Главу Приказа Морск. сил (Мор. Мин.).

4 — Главу Приказа Внешних сношений.

13) Он обязан при каждом съезде обеих Палат доставлять Народному Вечу сведения о состоянии России и представлять его суждению принятие мер, которые ему покажутся необходимыми или приличными.

14) Он имеет право созывать обе Палаты, а верховную Думу — в случае переговоров или суда.

15) Не может употреблять войск во внутренности России в случае возмущения, не сделав о том предложения Народному Вечу, которое немедленно обязано удостоверитья посредством следствия в необходимости военного положения.

16) По востребованию его обе Палаты разбирают его предложение в тайном совещании, если сие покажется ему нужным.

17) Если б Палаты не согласились между собою на время отсрочки их заседаний, то он может отсрочить оные, но не более, как на три месяца.

18) Он принимает послов и уполномоченных иностранных правительств.

19) Наблюдает за строгим исполнением общественных Законов.

20) Дает грамоты назначения всем чиновникам империи.

21) Ему дается титул *его императорского величества*, никакой другой не допускается. Выражения «Именное повеление», «Высочайшее соизволение», «быть по сему» и тому подобное уничтожаются, яко неприличные и не имеющие никакого значения в земле благоустроенной.

22) Народное Вече определяет, с каким обрядом новый император принимает сие звание.

23) Император при вступлении своем в правление произносит следующую присягу посреди Народного Веча:

«Я клянусь торжественно, что буду верно исполнять обязанности императора Российского и употреблю все мои силы на сохранение и защиту сего конституционного Устава России». <...>.

Глава XI

О ВНУТРЕННИХ ВЛАСТЯХ И О ПРАВИТЕЛЬСТВАХ ДЕРЖАВ

115. Правительство каждой державы состоит из трех отдельных независимых друг от друга властей, но содействующих к одной цели, а именно правительствующей, исполнительной и судной.

МАНИФЕСТ

Спаси господи люди твоя и благослови достояние твое!

В Манифесте Сената объявляется.

1. Уничтожение бывшего Правления.
2. Учреждение временного до установления постоянного, выборными.
3. Свободное тиснение, и потому уничтожение цензуры.

4. Свободное отправление богослужения всем верам.

5. Уничтожение права собственности, распространяющейся на людей.

6. Равенство всех сословий пред Законом, и потому уничтожение военных судов и всякого рода судных комиссий, из коих все дела судные поступают в ведомство ближайших судов гражданских.

7. Объявление права всякому гражданину заниматься чем он хочет, и потому дворянин, купец, мещанин, крестьянин — все равно имеют право вступать в воинскую и гражданскую службу и в духовное звание, торговать оптом и в розницу, платя установленные повинности для торгов. Приобретать всякого рода собственность, как то: земли, дома в деревнях и городах. Заключать всякого рода условия между собою, тягаться друг с другом пред судом.

8. Сложение подушных податей и недоимок по оным.

9. Уничтожение монополий, как то: на соль, на продажу горячего вина и проч., и потому учреждение свободного винокурения и добывания соли, с уплатою за промышленность с количества добывания соли и водки.

10. Уничтожение рекрутства и военных поселений.

11. Убавление срока службы военной для нижних чинов и определение оного последует по уравниении воинской повинности между всеми сословиями.

12. Отставка всех без изъятия нижних чинов, прослуживших 15 лет.

13. Учреждение волостных, уездных, губернских и областных правлений и порядка выборов членов сих правлений, кои должны заменить всех чиновников, доселе от Гражданского правительства назначаемых.

14. Гласность судов.

15. Введение присяжных в суды уголовные и гражданские.

Учреждает Правление из 2-х или 3-х лиц, которому подчиняет все части высшего управления, то есть все министерства, Совет, Комитет министров, армии, флот. Словом, всю верховную исполнительную власть, но отнюдь не законодательную и не судную. Для сей последней остается министерство, подчиненное временному правлению, но для суждения дел, не решенных в нижних инстанциях, остается департамент сената уголовный и учреждается департамент гражданский, кои решают окончательно и члены коих останутся до учреждения постоянного правления.

Временному правлению поручается приведение в исполнение:

1. Уравнение прав всех сословий.
2. Образование местных волостных, уездных, губернских и областных Правлений.
3. Образование внутренней народной стражи.
4. Образование судной части с присяжными.
5. Уравнение рекрутской повинности между всеми сословиями.
6. Уничтожение постоянной армии.
7. Учреждение порядка избрания выборных в палату представителей народных, кои должны утверждать на будущее время имеющий существовать порядок Правления и Государственное Законоположение.



П.А. КАТЕНИН

ГРУСТЬ НА КОРАБЛЕ

Ветр нам противен, и якорь тяжелый
Ко дну морскому корабль приковал.
Грустно мне, грустно, тоскую день целый;
Знать, невеселый денек мне настал.

Скоро минуло отрадное время;
Смерть всё пресекла, наш незванный гость;
Пала на сердце кручина как бремя:
Может ли буре противиться трость?

С жизненной бурей борюсь я три года,
Три года милых не видел в глаза.
Рано с утра поднялась непогода:
Смолкни хоть к полдню, лихая гроза!

Что ж! может, счастливей буду, чем прежде,
С матерью свидясь, обнявши друзей.
Полно же, сердце, вернися к надежде;
Чур, ретивое, себя не убей.

1814

УБИЙЦА

В селе Зажитном двор широкий,
Тесовая изба,
Светлица и терём высокий,
Беленая труба.

Ни в чем не скуден дом богатый:
 Ни в хлебе, ни в вине,
Ни в мягкой рухляди камчатой,
 Ни в золотой казне.

Хозяин, староста окрѹга,
 Родился сиротой,
Без рода, племени и друга,
 С одною нищетою.

И с нею век бы жил детина,
 Но сжалился мужик:
Взял в дом, и как родного сына
 Взрастил его старик.

Большая чрез село дорога;
 Он постоялый двор
Держал, и с помощью бога
 Нажив его был скор.

Но как от злых людей спастися?
 Убогим быть — беда;
Богатым — пуще берегися
 И горшего вреда.

Купцы приехали к ночлегу
 Однажды ввечеру,
И рано в путь впрягли телегу
 Назавтра поутру.

Недолго спорили о плате,
 И со двора долой;
А сам хозяин на полате
 Удавлен той порой.

Тревога в доме; с понятыми
 Настигли, и нашли:
Они с пожитками своими
 Хозяйские свезли.

Нет слова молвить в оправданье,
 И уголовный суд
В Сибирь сослал их в наказанье,
 В работу медных руд.

А старика меж тем с молением
 Предав навек земле,
Приемыш получил с именем
 Чин старосты в селе.

Но что чины, что деньги, слава,
 Когда болит душа?
Тогда ни почесть, ни забава,
 Ни жизнь не хороша.

Так из последней бьется силы
 Почти он десять лет;
Ни дети, ни жена не милы,
 Постыл весь белый свет.

Один в лесу день целый бродит,
 От встречного бежит,
Глаз напролет всю ночь не сводит
 И всё в окно глядит.

Особенно когда день жаркий
 Потухнет в ясну ночь
И светит в небе месяц яркий,—
 Он ни на миг не прочь.

Все спят; но он один садится
 К косящету окну.
То засмеется, то смутится
 И смотрит на луну.

Жена заметила повадки,
 И страшен муж ей стал,
И не поймет она загадки,
 И просит, чтоб сказал.

«Хозяин! что не спишь ты ночи?
 Иль ночь тебе долга?
И что на месяц палишь очи,
 Как будто на врага?»

— «Молчи, жена, не бабье дело
 Все мужни тайны знать:
Скажи тебе — считай уж смело,
 Не стерпишь не сболтать».

— «Ах, нет! вот бог тебе свидетель,
Не молвлю ни словца;
Лишь всё скажи, мой благодетель,
С начала до конца».

— «Будь так — скажу во что б ни стало.
Ты помнишь старика;
Хоть на купцов сомненье пало,
Я с рук сбыл дурака».

— «Как ты!» — «Да так: то было летом,
Вот помню, как теперь.
Незадолго перед рассветом;
Стояла настежь дверь.

Вошел я в избу, на полате
Спал старый крепким сном;
Надел уж петлю, да некстати
Тронул его узлом.

Проснулся, черт, и видит: худо!
Нет в доме ни души.
«Убить меня тебе не чудо,
Пожалуй задуши.

Но помни слово: не обидит
Без казни ввек злодей;
Есть там свидетель, он увидит,
Когда здесь нет людей».

Сказал — и указал в окошко.
Со всех я дернул сил,
Сам испугавшись немножко,
Что кем он мне грозил,—

Взглянул, а месяц тут проклятый
И смотрит на меня.
И не устанет, а десятый
Уж год с того ведь дня.

Да полно, что! гляди, плешивый!
Не побоюсь тебя;
Ты, видно, сроду молчаливый:
Так знай же про себя».

Тут староста на месяц снова
С усмешкою взглянул;
Потом, не говоря ни слова,
Улегся и заснул.

Не спит жена: ей страх и совесть
Покою на дают.
Судьям доносит страшну повесть,
И за убийцей шлют.

В речах он сбился от боязни,
Его попутал бог,
И, не стерпевши тяжелой казни,
Под нею он издох.

Казнь божья вслед злодею рыщет;
Обманет пусть людей,
Но виноватого бог сыщет —
Вот песни склад моей.

1815

ОЛЬГА

Из Бюргера

Ольгу сон тревожил слезный,
Смутный ряд мечтаний злых:
«Изменил ли, друг любезный?
Или нет тебя в живых?»
Войск деля Петровых славу,
С ним ушел он под Полтаву:
И не пишет ни двух слов:
Всё ли жив он и здоров.

На сраженьи пали шведы,
Турк без брани побежден,
И, желанный плод победы,
Мир России возвращен;
И на родину с венками,
С песнями, с бубнами, с трубами
Рать, под звон колоколов,
Шла почить от всех трудов.

И везде толпа народа;
Старый, малый — все бегут
Посмотреть, как из похода
Победители идут;
Все навстречу, на дорогу;
Кличут: «Здравствуй! слава богу!»
Ах! на Ольгин лишь привет
Ниотколя ответа нет.

Ищет, спрашивает; худо:
Слух пропал о нем давно;
Жив ли, нет — не знают; чудо!
Словно канул он на дно.
Тут, залившись слезами,
В перси бьет себя руками;
Рвет, припав к сырой земле,
Черны кудри на челе.

Мать к ней кинулась поспешно:
«Что ты? что с тобой, мой свет?
Разве горе неутешно?
С нами бога разве нет?»
— «Ах! родима, всё пропало;
Свету-радости не стало.
Бог меня обидел сам:
Горе, горе бедным нам!»

— «Воля божия! Создатель —
Нам помощник ко всему;
Он утех и благ податель:
Помолись, мой свет, ему».
— «Ах! родима, всё пустое;
Бог послал мне горе злое,
Бог без жалости к мольбам:
Горе, горе бедным нам!»

— «Слушай, дочь! в Украине дальной,
Может быть, жених уж твой
Обошел налой венчальный
С красной девицей иной.
Что изменника утрата?
Рано ль, поздно ль — будет плата,
И от божьего суда
Не уйдет он никогда».

— «Ах! родима, всё пропало,
Нет надежды, нет как нет;
Свету-радости не стало;
Что одной мне белый свет?
Хуже гроба, хуже ада.
Смерть — одна, одна отрада;
Бог без жалости к слезам:
Горе, горе бедным нам!»

— «Господи! прости несчастной,
В суд с безумной не входи;
Разум, слову непричастный,
К покаянью приведи.
Не крушися, дочь, чрез меру;
Бойся муки, вспомни веру:
Сыщет чуждая греха
Неземного жениха».

— «Где ж, родима, злее мука?
Или где мученью край?
Ад мне — с суженым разлука,
Вместе с ним — мне всюду рай.
Не боюсь смертей, ни ада.
Смерть — одна, одна отрада:
С милым врозь несносен свет,
Здесь, ни там блаженства нет».

Так весь день она рыдала,
Божий промысел кляла,
Руки белые ломала,
Черны волосы рвала;
И стемнело небо ясно,
Закатилось солнце красно,
Все к покою улеглись,
Звезды яркие зажглись.

И девица горько плачет,
Слезы градом по лицу;
И вдруг поем кто-то скачет,
Кто-то, всадник, слез к крыльцу;
Чу! за дверью зашумело,
Чу! кольцо в ней зазвенело;
И знакомый голос вдруг
Кличет Ольгу: «Встань, мой друг!

Отвори скорей без шуму.
Спишь ли, милая, во тьме?
Слезну думаешь ли думу?
Смех иль горе на уме?»
— «Милый! ты! так поздно к ночи!
Я все выплакала очи
По тебе от горьких слез.
Как тебя к нам бог принес?»

— «Мы лишь ночью скачем в поле.
Я с Украйны за тобой;
Поздно выехал оттоле,
Чтобы взять тебя с собой».
— «Ах! войди, мой ненаглядный!
В поле свищет ветер холодный;
Здесь в объятиях моих
Обогрейся, мой жених!»

— «Пусть он свищет, пусть колышет;
Ветру воля, нам пора.
Ворон конь мой к бегу пышет,
Мне нельзя здесь ждать утра.
Встань, ступай, садись за мною,
Ворон конь домчит стрелою;
Нам сто верст еще: пора
В путь до брачного одра».

— «Ах! какая в ночь дорога!
И сто верст езды для нас!
Бьют часы... побойся бога:
До полночи только час».
— «Месяц светит, ехать споро;
Я как мертвый еду скоро:
Довезу и до утра
Вплоть до брачного одра».

— «Как живешь? скажи нелестно;
Что твой дом? велик? высок?»
— «Дом — землянка». — «Как в ней?» —
«Тесно».
— «А кровать нам?» — «Шесть досок».
— «В ней уляжется ль невеста?»
— «Нам двоим довольно места.
Встань, ступай, садись за мной:
Гости ждут меня с женой».

Ольга встала, вышла, села
На коня за женихом;
Обвила ему вокруг тела
Руки белые кольцом.
Мчатся всадник и девица,
Как стрела, как пращ, как птица;
Конь бежит, земля дрожит,
Искры бьют из-под копыт.

Справа, слева, сторонами,
Мимо глаз их взад летят
Сушь и воды; под ногами
Конскими мосты гремят.
«Месяц светит, ехать споро;
Я как мертвый еду скоро.
Страшно ль, светик, с мертвым спать?»
— «Нет... что мертвых поминать?»

Что за звуки? что за пенье?
Что за вранов крик во мгле?
Звон печальный! погребенье!
«Тело предаем земле».
Ближе, видят: поп с собором,
Гроб неся, поют всем хором;
Поступь медленна, тяжка,
Песнь нескладна и дика.

«Что вы воете не к месту?
Хоронить придет чреда;
Я к венцу везу невесту,
Вслед за мною все туда!
У моей кровати спальной,
Клир! пропой мне стих венчальный;
Службу, поп! и ты яви,
Нас ко сну благослови».

Смолкли, гроба как не стало,
Все послушно вдруг словам,
И поспешно побежало
Всё за ними по следам.
Мчатся всадник и девица,
Как стрела, как пращ, как птица;
Конь бежит, земля дрожит,
Искры бьют из-под копыт.

Справа, слева, сторонами,
Горы, доли и поля —
Взад летит всё; под ногами
Конскими бежит земля.
«Месяц светит, ехать споро;
Я как мертвый еду скоро.
Страшно ль, светик, с мертвым спать?»
— «Полно мертвых поминать».

Казни столп; над ним за тучей
Брезжит трепетно луна;
Чьей-то сволочи летучей
Пляска вокруг его видна.
«Кто там! сволочь! вся за мною!
Вслед бегите все толпою,
Чтоб под пляску вашу мне
Веселей прилечь к жене».

Сволочь с песнью заунывной
Понеслась за седоком,
Словно вихорь бы порывный
Зашумел в бору сыром.
Мчатся всадник и девица,
Как стрела, как пращ, как птица;
Конь бежит, земля дрожит,
Искры бьют из-под копыт.

Справа, слева, сторонами,
Взад летят луга, леса:
Всё мелькает пред глазами:
Звезды, тучи, небеса.
«Месяц светит, ехать споро;
Я как мертвый еду скоро.
Страшно ль, светик, с мертвым спать?»
— «Ах! что мертвых поминать!»

— «Конь мой! петухи пропели;
Чур! заря чтоб не взошла;
Гор вершины забелели:
Мчись как из лука стрела.
Кончен, кончен путь наш дальний,
Уготовлен одр венчальный.
Скоро съездил как мертвец,
И доехал наконец».

Наскакал в стремленьи яром
Конь на каменный забор;
С двери вдруг хлыста ударом
Спали петли и запор.
Конь в ограду; там — кладбище,
Мертвых вечное жилище;
Светят камни на гробах
В бледных месяца лучах.

Что же мигом пред собою
Видит Ольга? чудо! страх!
Латы всадника золою
Все рассыпались на прах:
Голова, взгляд, руки, тело —
Всё на милом помертвело,
И стоит уж он с косой,
Страшный остов костяной.

На дыбы конь ворон взвился,
Диким голосом заржал,
Стукнул в землю, провалился
И невесть куда пропал.
Вой на воздухе высоко;
Скрежет под землей глубоко;
Ольга в страхе без ума,
Неподвижна и нема.

Тут над мертвой заплясали
Адски духи при луне,
И протяжно припевали
Ей в воздушной вышине:
«С богом в суд нейди крамольно;
Скорбь терпи, хоть сердцу больно.
Казнена ты во плоти;
Грешну душу бог прости!»

1816, 1831

* * *

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.

Свобода! Свобода!
Ты царствуй отныне над нами!
Ах! лучше смерть, чем жить рабами,—
Вот клятва каждого из нас...
Между 1816 и 1820 (?)

МСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ

Не белые лебеди,
Стрелами охотников
Рассыпанны в стороны,
Стремглав по поднебесью
Испуганны мечутся.

Не по морю синему,
При громе и молниях,
Ладьи белокрылые
На камни подводные
Волнами наносятся.

Среди поля чистого
Бежит православная
Рать русская храбрая
От силы несчетных
Татар-победителей.

Как ток реки,
Как холмов цепь,
Врагов полки
Просекали степь.
От тучи стрел
Затмился свет;
Сквозь груды тел
Прохода нет.
Их пращи — дождь,
Мечи — огонь.
Здесь мертвый вождь,
Тут бранный конь,
Там воев ряд,
А там доспех:
Не может взгляд
Окинуть всех.

На тьмы татар
Бойцы легли,
И крови пар
Встает с земли.

В той равнине холм высокий,
На холме ракитов куст.
Отдыхает одинокий
Витязь там; стрелами пуст,
Тул отброшен бесполезный;
Конь лежит, в груди стрела;
Решетом стал щит железный,
Меч — зубчатая пила.

Вздохи тяжелые грудь воздымают;
Пот, с кровью смешанный, каплет с главы;
Жаждой и прахом уста засыхают;
На ноги сил нет подняться с травы.
Издали внемлет он ратному шуму:
Лютой млатьбе, не колосьев, а глав.
Горькую витязь наш думает думу,
Галицкий храбрый Мстиславич Мстислав.

Ах! рвется надвое
В нем сердце храброе:
Не со крестом ли в бой
Хоть одному идти
На силы темные
Татар-наездников?
Не понаведаться ль,
Здоров ли верный меч?
Уж не устал ли он
Главы поганных сечь?
Не уморился ли
Так долго кровью течь?
Коли в нем проку нет,
Так не на что беречь:
Свались на прах за ним
И голова со плеч!
Нет срама мертвому,
Кто смог костями лечь.

И три раза, вспыхнув желанием славы,
С земли он, опершись на руки кровавы,
Вставал.

И, трижды истекши рудою обильной,
Тяжелые латы подвинуть бессильный,
Упал.

Смертный омрак,
Сну подобный,
Силу князя
Оковал.

Бездыханный,
Неподвижный,
Беззащитный
Он лежит.

Что, о боже!
Боже правый,
Милосердый,
Будет с ним?

Неужели
Ты попустишь
Нечестивым
Умертвить?

Меч ли темный
Християнску
Душу с телом
Разлучит?

Не омыту
Покаяньем,
Не причастну
Тайн святых?

Или звери
Плотоядны
Кровь полижут
Честных ран?

Труп ли княжий,
Богатырский
Стадо галиц
Расклюет?

Кто из пепла
Жизнь угасшу
Новой искрой
В нем зажжет?

В поле звонком стук конских копыт.
Скачет всадник, весь пылью покрыт;
Он с преломленным в пахе копьем
Быстро мчится ретивым конем:
Молодец, веселясь на бою,
Позабыл, знать, и рану свою.
Кто сей юноша славы и сил?
Зять княжой, рати свет — Даниил.

Пусть бы встретился с ним лютый зверь,
Пусть привиделся б рогатый бес,
Не дрогнул бы князь, таков он смел;
Но чуть-чуть не застонал навзрыд,
Как увидел, что родимый тесть
На сыру землю лег замертво.

Как быть? Спасу в душе помолясь,
Подхватил его на руки князь,
Поперек перекинул седла
И помчался к реке как стрела.
Что ты, князь! ведь не поле река:
Ты удал, да вода глубока.
С небеси помоги тому бог,
Кто сам ближнему в нүжде помог!

И вышло так: усердной часть дружины
У берега с ладьею ждет князей;
Они в живых, и убыло кручины.
Но Даниил прикрикнул на детей:
«Вы, отроки! сюда бегите спешно.
Вам вечный стыд, мне горе неутешно,
Коль наш отец от тяжких ран умрет;
Моя — ничто: и после заживет».
Мстиславу все бегут помочь толпою.
Оружье сняв, омыли кровь водою
И, белый плат на язвы расщипав,
Внесли в ладью; тут вспомнился Мстислав.

Но лучше бы очей не раскрывал вовеки,
Чем битвы зреть конец: и крови русских реки
И трупов их бугры, и малое число
Спасенных от меча на вящее лишь зло,
На бегство, глад, болезнь, ужасные мученья —
Всегдашний горький плод несчастного сраженья;
И победителей необозримый стан
Чрез всю широку степь неправильно расстлан,
Где всюду тут и там огонь засвечался дымный,
Как звезды на небе в бесснежный вечер зимный.
При зрелище таком князь храбрый восстал
И слабым голосом скорбь сердца провещал:

«О горе вечное Мстиславу!
На мне вина такого дня,
И внуки поздные по праву
В нем будут укорять меня.

Весь опыт браней долголетних
Одним я разом погубил;
Напал на рать врагов несчетных,
И тем разбитье заслужил.

Не остановятся отныне
Успехом гордые враги,
Доколь Россию всю пустыне
Не уподобят их шаги.

Их орд на нас польется море,
А сила русская мала,
О горе, вечное мне горе,
Что я виновник первый зла!

Но чем бы ни решались битвы,
Моя надежда всё крепка:
Услышит наши бог молитвы,
И нас спасет его рука.

Он русским даст терпенья силу,
Они дождутся красных дней;
У нас в земле найдут могилу
Враги, гордившиеся над ней».

Так Мстислав Мстиславич храбрый Галицкий молвил.
На руки склонши главу, Даниил его слушал безмолвно.

Отроки ж, веслами быстрые волны дружно взметая,
К берегу мчали ладью; сошли и князья и дружина,
Пали наземь лицом, и в слезах благодарных молили
Бога и спаса Христа и пречистую деву Марию.

1819

СТАРАЯ БЫЛЬ

Наш славный Владимир, наш солнышко-князь,
Победой в Херсоне венчанный,
С добычею в Киев родной возвратясь,
По буре покоился бранной;
Мир с греками сладил и брачную связь
С их юной царевною Анной.

Нескудное вено прияла сестра
От щедрого Августа-брата;
Премного он звонкого дал ей сребра,
Немало и яркого злата.
Все хвалят княгиню: красна и добра,
Разумна, знатна и богата.

И подлинно Русь не видала такой:
Как пчел по весеннему лугу
За маткой летает бесчисленный рой,
Так дочери царской в услугу
И евнухи кучей, и жены толпой
Теснятся, ревнуя друг другу.

Всем хитрым искусствам учились они,
Что любит княгиня младая:
Поют, словно птицы в дубравной тени,
И пляшут, на лютиях играя.
В дому новобрачных — веселые дни,
Подобие светлого рая.

Казны не жалеет супруг молодой,
Владимир-князь, сокол наш ясный;
Сегодня был праздник, а завтра другой,
Всё в почеть для гостии прекрасной.
То тешит воинской варягов игрой,
Забавной и вместе ужасной;

То в рощах дремучих, при звуке рогов,
С ней ездит для ловли звериной;
То в лодке весёльной: под песни гребцов,
Над быстрой днепровской пучиной
Катает, любясь обильем берегов
И стольного града картиной.

«Да будет же праздник, всем прежним венец,—
Князь вымолвил слово златое,—
Высокие песни — отрада сердец,
Наитие неба благое;
Огнем разогреет всю душу певец,
И жизни прибавится вдвое.

Я выведу завтра с княгиней моей
За стены в широкое поле,
Где радостней слушать и петь веселей
Под небом открытым, на воле;
Туда же зову я всех добрых людей:
Тем лучше, чем будет их боле.

Довольно я добыл богатств на войне,
Стяжал от отца и от деда;
Добра не жалейте на завтрашнем дне,
И браги припасите и меда,
Чтоб сыты и пьяны все были вполне,
А с тощими что и беседа!

Пусть вещиные придут и станут на суд,
И спорят: чье лучшее пенье?
Достойно и щедро воздам им за труд.
Второму певцу награждение:
Цимискиев дар Святославу — сосуд,
Трапезы моей украшение.

Но первый получит не то от меня,
В бою победитель счастливый,—
Персидского дам ему под верх коня:
Весь белый он с черною гривой;
Копытом из камня бьет искры огня
И носится вихрем над нивой.

Конь будет украшен черкасским седлом
И шелковой цветной уздой;
Еще дам оружие: и щит, и шелом,

Кольчугу, внизу с бахромою
И меч из булата с дамасским клеймом
И хитрой насечкой златою.

Ступайте ж, снесите ко всем по домам
От князя приветное слово;
А зов мой и к старым и к новым певцам,
Ведь старое было же ново.
И завтра, чтоб, в поле как выведу сам,
Всё к празднеству было готово».

Вот утро настало и солнце взошло,
Открылись затворы градские;
Несметное валит народа число:
И малые тут и большие,
Все в певчее поле; всех душу зажгло,
Чтоб русских не сбили чужие.

Вот выехал князь со княгиней своей,
В венце и со скиптром в деснице;
Везет их четверка прекрасных коней
Роскошно в златой колеснице,
И громкий понесся клик добрых людей
Навстречу им с поля к столице:

«Да здравствует князь со княгиней! ура!
Господь осени их святыней!
Ущедри он дом их обильем серебра
И всякой земной благостыней!
На многая лета для русских добра
Да здравствуют князь со княгиней!»

Князь ласковый отдал народу поклон
И сел, словно пастырь у стада;
И к бою певцов стал выкликивать он:
«Боянам и честь и награда!»
И вышло их двое с двух разных сторон —
Наш русский да грек из Царьграда.

Наш среднего роста и средних годов,
И красен был в юные годы,
Но младость — не радость средь бранных трудов.
Цевницу носил он в походы
И пел у огней для друзей-молодцов
Про старые веки и роды.

Высок и прелестен, как дѣвица, грек.
Красавца в младенстве скопили;
Он плакал сначала: как слеп человек!
Ему же добро сотворили:
Спокойный, богатый устроили век
И милостью царской почтили.

И первому, гостю, наш ласковый князь
Знак подал; и с певчих дружиной
Княгине и князю до ног поклонясь,
Пред самой собранья серединой
Он сел; все замолкли, друг к другу теснясь,
И голос запел соловьиный:

«Когда б воспеть хотела ты,
Моя возлюбленная лира,
Блистающие с высоты
Светила горнего эфира,—
Средь дня в пустых бы небесах
Луны и звезд ты не искала,
Но, жизнь пия в его лучах,
Одно бы солнце воспевала.
Когда же долгом чтишь святым
Воспеть величие земное,
Прославь хоть голосом простым
Царей величие святое.
А ты, великий русский князь,
Прости, что смею пред тобою,
Отчизны славою гордясь,
Другого возносить хвалою;
Мы знаем: твой страшится слух
Тобой заслуженныя чести,
И ты для слов похвальных глух,
Один их чтя словами лести.
Дозволь же мне возвысить глас
На прославление владыки,
Щедроты льющего на нас
И на несчетные языки.
Ты делишь блеск его венца,
Причтен ты к роду Константина;
А славу кто поет отца,
Равно поет и славу сына.
Велик предмет, а глас мой слаб;
Страшусь... нет, бросим страх напрасный!

Почерпнет силу верный раб
В глазах владычицы прекрасной.

Кого же воспоет певец,
Кого, как не царей державных,
Непобедимых, православных,
Носящих скипетр и венец?
Они приняли власть от бога,
И божий образ виден в них.
Внутри священного чертога,
Слит из металлов дорогих,
Ступеньми многими украшен,
Высок, неколебим и страшен,
Поставлен Августов престол.
С него, о царь-самодержитель,
С покорством слышат твой глагол
И полководец-победитель,
И чуждые страны посол.
У ног твоих, из звонкой меди,
Твою являющие власть,
Два льва, как алчущие снеди,
Лежат, разинув страшну пасть.
Чудесная искусства сила
Безжизненных одушевила;
И если кто в пяти шагах
От неприступного престола
Ногою смел коснуться пола,—
Они встают ему на страх,
Очами гневными вращают,
Рычат и казнью угрожают;
И зрит в душе смущенный раб,
Сколь пред царем он мал и слаб.

Но милосердие царево
Изображающий символ,
Неувядающее древо.
Склоняет ветви на престол;
Не рода древ обыкновенных,
Земными соками возвращенных,
Одетых грубою корой,
Блестящих временной красой,
Чей лист зеленый, цвет душистый
На краткий миг прельщают взор,
Доколь с главы многоветвистой

Зимы рука сорвет убор.
Ввек древо царское одето
Бессмертным цветом и плодом:
Ему весь год — весна и лето.
Белейшим снега серебром
Красуясь, стебель его высоко
Возносится и, над челом
Помазанника вдруг широко
Раскинувшись, пленяет око
И равенством ветвей прямых,
И блеском листьев золотых.
На сучьях серебряных древесных
Витают стадо птиц прелестных —
Зеленых, алых, голубых
И всех цветов, очам известных,
Из камней и драгих и честных.
О диво! творческий резец
Умел создать их для забавы,
Великолепия и славы
Царя народов и сердец.

О, если бы сии пернаты
Свой жребий чувствовать могли,
Они б воспели: «Мы стократы
Счастливей прочих на земли.
К трудам их создала природа:
Что в том, что крылья их легки?
Что значит мнимая свобода,
Когда есть стрелы и силки?
Они живут в лесах и в поле,
Должны терпеть и зной, и холод;
А мы в блаженнейшей неволе
Вкушаем множество отрад».
За что ты, небо! к ним сурово
И счастье чувствовать претишь?
Что рек я? Царь! ты скажешь слово —
И мертвых жизнью даришь.
Невидимым прикосновеньем
Всеавгустейшего перста
Ты наполняешь сладким пенем
Их вдруг отверстые уста;
И львы, рыкавшие дотол,е,
Внезапно усмиряют гнев
И, кроткой покоряясь воле,

Смыкают свой насытый зев.
И подходящий в изумленьи
В царь зреть мыслит божество,
Держащее в повиновеньи
Самых бездушных вещество;
Душой, объятай страхом прежде,
Преходит к сладостной надежде,
Внимая гласу райских птиц,
И к Августа стопам священным,
В сидонский пурпур обувенным,
Главою припадает ниц».

Он кончил. Владимир в ладони плеснул.
За князем стоял воевода;
Он платом народу поспешно махнул —
И плеск раздался из народа:
Стучат и кричат, подымается гул
С земли до небесного свода.

Безмолвен и в землю потупивши взор
Наш русский певец оставался;
Он думал: что делать? идти ли на спор!
И даже бы, чай, отказался;
Но, к счастью, начал сам князь разговор,
Как будто во всем догадался:

«Я вижу, земляк, ты бы легче с мечом,
Чем с гусями, вышел на грека;
Хоть песней и много в помине твоём,
Такой ты не вспомнишь от века.
Совет мой: признайся, что первенство в нём;
Признание честит человека.

Награду, хоть, правда, не с ним наравне,
Но всё же получишь на славу;
За светлым Дунаем в Болгарской стране
Ты верой служил Святославу;
И кубок, добытый им в грозной войне,
Тебе назначаю по праву».

— «Дай бог тебе здравия, князь ты наш свет,
И с лепой княгиней твоею!
Премудр и премилостив твой мне совет
И с думой согласен моею:

Ни с эллином спорить охоты мне нет,
Ни петь я, как он, не умею.

Певал я о витязях смелых в боях —
Давно их зарыли в могилы;
Певал о любви и радостных днях —
Теперь не разбудишь Всемилы;
А петь о великих царях и князьях
Ума не достает, ни силы».

— «Творите ж, — князь молвил, — подарков
раздел».

Тут русский взял кубок почтенный,
А грек на коня богатырского сел;
Доспех же тяжелый, военный,
Домой он отнестъ и поставить велел
Опасно в кивот позлащенный.

И радостный к Киеву двинулся ход:
Владимир с супругой младою,
И много старейшин, бояр, воевод,
И эллин, блестящий красою,
И сзади весь русский крещеный народ
Усердной и шумной толпою.

Но несколько верных старинных друзей
Звал русский на хлеб-соль простую;
И княжеский кубок к веселью гостей
С вином обнесли вкруговую,
И выпили в память их юности дней,
И Храброго в память честную.

1828

А. С. ПУШКИНУ

Вот старая, мой милый, была,
А может быть, и небылица;
Сквозь мрак веков и хартий пыль
Как распознать? Дела и лица —
Всё так темно, пестро, что сам,
Сам наш исторьёграф почтенный,
Прославленный, пренагражденный,

Едва ль не сбился там и сям.
Но верно, что с большим стараньем,
Старинным убежден преданьем,
Один ученый наш искал
Подарков, что певцам в награду
Владимир щедрый раздавал;
И, вообрази его досаду,
Ведь не нашел.— Конь, верно, пал;
О славных латах слух пропал:
Французы ль, как пришли к Царьграду
(Они ведь шли в Ерусалим
За гроб Христов, святым походом,
Да сбились, и случилось им
Царьград разграбить мимоходом),
Французы ли, скажу опять,
Изволили в числе трофеев
Их у наследников отнять,
Да по обычаю злодеев
В парижский свой музей взять?
Иль время, лет трудившись двести,
Подъело ржавчиной булат,
Но только не дошло к нам вести
Об участи несчастных лат.
Лишь кубок, говорят, остался
Один в живых из всех наград;
Из рук он в руки попадался,
И даже часто невпопад.
Гуляя, бродил по белу свету;
Но к настоящему поэту
Пришел, однако, на житье.
Ты с ним, счастливец, поживаешь,
В него ты через край вливаешь,
Свое волшебное питье,
В котором Вакха лоз огнистых
Румяный, сочный, вкусный плод
Раствóрен свежестию чистых
Живительных Кастальских вод.

Когда, за скуку в утешенье,
Неугомонною судьбой
Дано мне будет позволение,
Мой друг, увидеться с тобой,—
Из кубка, сделай одолжение,
Меня питьем своим напой;

Но не облей неосторожно:
Он, я слышал, заворожен,
И смело пить тому лишь можно,
Кто сыном Фебовым рожден.
Невинным опытом сначала
Узнай — правдив ли этот слух;
Младых романтиков хоть двух
Проси отведать из бокала;
И если, капли не пролив,
Напьются милые свободно,
Тогда и слух, конечно, жив
И можно пить кому угодно;
Но если, боже сохрани,
Замочат пазуху они, —
Тогда и я желанье кину,
В урок поставлю их беду
И вслед Ринальду-паладину
Благоразумием пойду:
Надеждой ослеплен пустою,
Опасным не прельщусь питьем
И, в дело не входя с судьбою,
Останусь лучше при своем;
Налив, тебе подам я чашу,
Ты выпьешь, духом закипишь,
И тихую беседу нашу
Бейронским пеньем огласишь.

1828

ЭЛЕГИЯ

«Фив и музы! нет вам жестокостью равных
В сомне богов — небесных, земных и подземных.
Все, кроме вас, молельцам благи и щедры:
Хлеб за труды земледельцев рождает Димитра,
Гроздие — Вакх, елей — Афина-Паллада;
Мощная в битвах, она ж превозносит ироев,
Правит Тидида копьем и стрелой Одиссея;
Кинфия славной корыстью радует ловчих;
Красит их рамо кожею льва и медведя;
Странникам путь указывает Эрмий вожатый;
Внемлет пловцам Посидон и, смиряющий бурю,
Вводит утлый корабль в безмятежную пристань;
Пылкому юноше верный помощник Киприда:

Всё побеждает любовь, и, счастливей бессмертных,
Нéктар он пьет на устах обмирающей девы;
Хрона державная дщeрь, владычица Ира,
Брачным дарует детей, да спокоят их старость;
Кто же сочтет щедроты твои, о всесильный
Зевс-Эгиох, податель советов премудрых,
Скорбных и нищих отец, ко всем милосердный!
Боги любят смертных; и Аид незримый
Скипетром кротким пасет бесчисленных мертвых,
К вечному миру отшедших в луга Асфодели.
Музы и Фив! одни вы безжалостно глухи.
Горе безумцу, служащему вам! обольщенный
Призраком славы, тратит он счастье земное;
Хладной толпе в посмеянье, зависти в жертву
Предан несчастный, и в скорбях, как жил, умирает.
Повестью бедствий любимцев ваших, о музы,
Сто гремящих уст молва утомила:
Камни и рощи двигал Орфей песнопеньем,
Строгих Ерева богов подвигнул на жалость;
Люди ж не сжалились: жены певца растерзали,
Члены разметаны в поле, и хладные волны
В море мчат главу, издающую вопли.
Злый Аполлон! на то ли сам ты Омиру
На ухо сладостно пел бессмертные песни,
Дабы скиталец, слепец, без крова и пищи,
Жил он незнаем, родился и умер безвестен?
Всуе приняла ты дар красоты от Киприды,
Сафо-певица! Музы сей дар отравили:
Юноша гордый певицы чудесной не любит,
С девой простой он делит ложе Гимена;
Твой же брачный одр — пучина Левкада.
Бранный Эсхил! напрасно на камне чужбины
Мнишь упокоить главу, обнаженную Хроном:
С смертью в когтях орел над нею кружится.
Старец Софокл! умирай — иль, несчастней Эдипа,
В суд повлечешься детьми, прославлен безумным.
После великих примеров себя ли напомним?
Кроме чести, всем я жертвовал музам;
Что ж мне наградой? — зависть, хула и забвенье.
Тщетно в утеху друзья твердят о потомстве;
Люди те же всегда: срывают охотно
Лавр с недостойной главы, но редко венчают
Терном заросшую мужа благого могилу,
Музы! простите навек; соха Триптолема

Впредь да заменит мне вашу изменницу лиру.
Здесь в пустыне, нет безумцев поэтов;
Здесь безвредно висеть ей можно на дубе,
Чадам Эола служа и вторя их песни».

Сетуя, так вещал Евдор благородный,
Сын Полимаха-вождя и лэпой Дориды,
Дщери Порфирия, славного честностью старца.
Предки Евдора издревле в дальнем Епире
Жили, между Додонского вещего леса,
Града Вуфрота, и мертвых вод Ахерузы;
Двое, братья родные, под Трою ходили:
Старший умер от язвы в брани суровой,
С Неоптолемом младший домой возвратился;
Дети и внуки их все были ратные люди.
Власть когда утвердилась владык македонских,
Вождь Полимах царю-полководцу Филиппу,
Сам же Евдор служил царю Александру;
С ним от Пеллы прошел до Индейского моря.
Бился в многих боях; но, духом незлобный,
Лирой в груди заглушал военные крики;
Пел он от сердца, и часто невольные слезы
Тихо лились из очей товарищей ратных,
Молча сидящих вокруг и внемлющих песни.
Сам Александр в Дамаске на пире вечернем
Слушал его и почтил нелестной хвалою;
Верно бы, царь наградил его даром богатым,
Если б Евдор попросил; но просьб он чуждался.
После ж, как славою дел ослепясь, победитель,
Клита убив, за правду казнив Каллисфена,
Сердцем враждуя на верных своих македонян,
Юных лишь персов любя, питомцев послушных,—
Первых сподвижников прочь отдалил бесполезных,—
Бедный Евдор укрылся в наследие предков,
Меч свой и щит повесив на гвоздь для покоя;
К сельским трудам не привыкший, лирой любезной
Мнил он наполнить всю жизнь и добыть себе славу.
Льстяся надеждой, предстал он на играх Эллады;
Демон враждебный привел его! правда, с вниманьем
Слушал народ, вполголоса хвальные речи
Тут раздавались и там, и дважды и трижды
Плеск внезапный гремел; но судьи поэтов
Важно кивали главой, пожимали плечами,
Сердца досаду скрывая улыбкой насмешной.

Жестким и грубым казалось им пенье Евдора.
Новых поэтов поклонники судьбы те были,
Коими славиться начал град Птолемея.
Юноши те предтечей великих не чтили:
Наг был в глазах их Омир, Эсхил неискусен,
Слаб дарованьем Софокл и разумом — Пиндар;
Друг же друга хваля и до звезд величая,
Юноши (семь их числом) назывались Плеядой,
В них уважал Евдор одного Феокрита.
Судьи с обидой ему в венце отказали;
Он, не желая врагов печалию тешить,
Скрылся от них; но в дальном, диком Епире,
Сидя у брега реки один и прискорбен,
Жалобы вслух воссылал на муз и на Фива.

Ночь расстилала меж тем священные мраки,
Луч вечерней зари на западе меркнул,
В небе безоблачном редкие искрились звезды,
Ветр благовонный дышал из кустов, и порою
Скрытые в гуще ветвей соловьи окликались.
Боги услышали жалобный голос Евдора;
Эрмий над ним повел жезлом благотворным —
Сном отягчилась глава и склонилась на ramo.
Дщерь Мнемозины, богиня тогда Каллиопа
Легким полетом снеслась от высокого Пинда.
Образ приемлет она молодой Эгемены,
Девы прелестной, Евдором страстно любимой
В юные годы; с нею он сладость Гимена
Думал вкусить, но смерти гений суровый
Дхнул на нее — и рано дева угасла,
Скромной подобно лампаде, на ночь зажженной
В хижине честной жены — престарелой вдовицы;
С помощью дочерей она при свете лампы
Шелком и золотом спешит дошивать покрывало,
Редкий убор, заказанный царской супругой,
Коего плата зимой их прокормит семейство:
Долго трудятся они; когда ж пред рассветом
Третий петел вспоет, хозяйка опасно
Тушит огонь, и дочери ко сну с ней ложатся,
Радость семейства, юношей свет и желанье,
Так Эгемена, увы! исчезла для друга,
В сердце оставив его незабвенную память.
Часто сражений в пылу об ней он нежданно
Вдруг вспоминал, и сердце в нем билось смелее;

Часто, славя на лире богов и ироев,
Имя ее из уст излетало невольно;
Часто и в снах он видел любимую деву.
В точный образ ее богиня облекшись,
Стала пред спящим в алой, как маки, одежде;
Розы румянцем свежие рделись ланиты;
Светлые кудри вились по плечам обнаженным,
Белым как снег; и небу подобные очи
Взведши к нему, так молвила голосом сладким:

«Милый! не сетуй напрасно; жалобой строгой
Должен ли ты винить богов благодатных —
Фива и чистых сестр, пиерид темновласых?
Их ли вина, что терпишь ты многие скорби?
Властный Хронид по воле своей неиспытной
Благо и зло из урн роковых изливает.
Втайне ропщешь ли ты на скудость стяжаний?
Лавр Геликона, ты знал, бесплодное древо;
В токе Пермесском не льется золото Пактола.
Злата искать ты мог бы, как ищут другие,
Слепо служа страстям богатых и сильных...
Вижу, ты движешь уста, и гнев благородный
Вспыхнул огнем на челе... о друг, успокойся:
Я не к порочным делам убеждаю Евдора;
Я лишь желаю спросить: отколе возникнул
В сердце твоём сей жар к добродетели строгой,
Ненависть к злу и к низкой лести презренье?
Кто освятил твою душу? — чистые музы.
С детства божественных пчел питаюсь медом,
Лепетом отрока вторя высокие песни,
Очи и слух вперив к холмам Аонийским,
Горних благ ища, ты дольные презрел:
Так, если ветер утихнет, в озере светлом
Слягут на дно песок и острые камни,
В зеркале вод играет новое солнце,
Странник любитесь им и, зноем томимый,
В чистых струях утоляет палящую жажду,
Кто укреплял тебя в бедствах, в ударах судьбины,
В горькой измене друзей, в утрате любезных?
Кто врачевал твои раны? — девы Парнаса.
Кто в далеких странах во брани плачевной,
Душу мертвящей видом кровей и пожаров,
Ярые чувства кротил и к стону страдальцев
Слух умилял? — они ж, аониды благие,

Пёчной подобно кормилице, ласковой песнью
Сон наводящей и мир больному младенцу.
Кто же и ныне, о друг, в земле полудикой,
Мглою покрытой, с областью Анда смежной,
Чарой мечты являет очам восхищенным
Роскошь Темпейских лугов и величье Олимпа?
Всем обязан ты им и счастлив лишь ими.
Судьи лишили венца — утешься, любезный:
Мид-судия осудил самого Аполлона.
Иль без венцов их нет награды поэту?
Ах! в таинственный час, как гений незримый
Двигается в нем и двóбит сердца биенья,
Оком объемля вселенной красу и пространство,
Ухом в себе внимая волшебное пенье,
Жизнию полн, подобной жизни бессмертных,
Счастлив певец, счастливейший всех человек.
Если Хрон, от власов обнажающий темя,
В сердце еще не убил священных восторгов,
Пой, Евдор, и хвались щедротами Фива.
Или... страшись: беспечных музы не любят.
Горе певцу, от кого отвратятся богини!
Тщетно, раскаясь, захочет призвать их обратно:
К неблагоприятным глухи небесные девы».

Смолкла богиня и, белым завесясь покровом,
Скрылась от глаз; Евдор, встревожен виденьем,
Руки к нему простирает и, с усилием тяжким
Сон разогнав, вскочил и кругом озирается.
Робкую шумом с гнезда он спугнул голубицу:
Пóрхнула вдруг и, сквозь частые ветви спасаясь,
Краем коснулась крыла висающих лиры:
Звон по струнам пробежал, и эхо дубравы
Серебряный звук стенаньем во тьме повторило.
«Боги! — Евдор воскликнул, — сон ли я видел?
Тщетный ли призрак, ночное созданье Морфея,
Или сама явилась мне здесь Эгемона?
Образ я видел ее и запела; но тени
Могут ли вспать приходить от полей Перзефоны?
Разве одна из богинь, несчастным утешных,
В милый мне лик облеклась, харитам подобный?..
Разум колеблется мой, и решить я не смею;
Волю ж ее я должен исполнить святую».

Так он сказал и, лиру отвесив от дуба,
Путь направил в свой дом, молчалив и задумчив.

СОНЕТ

Кто принял в грудь свою язвительные стрелы
Неблагодарности, измены, клеветы,
Но не утратил сам врожденной чистоты
И образы богов сквозь пламя вынес целы;

Кто терновым путем идя в труде, как пчелы,
Сбирает воск и мед, где встретятся цветы,—
Тому лишь шаг — и он достигнул высоты,
Где добродетели положены пределы.

Как лебедь восстает белее из воды,
Как чище золото выходит из горнила,
Так честная душа из опыта беды:

Гоненьем и борьбой в ней только крепнет сила;
Чем гуще мрак кругом, тем ярче блеск звезды,
И чем прискорбней жизнь, тем радостней могила.

1835



Ф.Н. ЛИНКА

ВОЕННАЯ ПЕСНЬ, НАПИСАННАЯ ВО ВРЕМЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ НЕПРИЯТЕЛЯ К СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Раздался звук трубы военной,
Гремит сквозь бури бранный гром:
Народ, развратом воспоенный,
Грозит нам рабством и ярмом!
Текут толпы, корыстью гладны,
Ревут, как звери плотоядны,
Алкая пить в России кровь.
Идут, сердца их — жесткий камень,
В руках вращают меч и пламень
На гибель весей и градов!

В крови омоченны знамена
Багреют в трепетных полях,
Враги нам выют вериги плена,
Насилье грозно в их полках.
Идут, влекомы жаждой дани,—
О страх! срывают дерзки длани
Со храмов божьих лепоту!
Идут — и след их пепл и степи!
На старцев возлагают цепи,
Влекут на муки красоту!

Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?!
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,

Пойдем — и в ужасах войны
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу,
Иль все падем в родных полях!
Что лучше: жизнь — где узы плена,
Иль смерть — где российские знамена?
В героях быть или в рабах?

Исчезли мира дни счастливы,
Пылает зарево войны:
Простите, веси, паствы, нивы!
К оружию, дети тишины!
Теперь, сей час же мы, о други!
Скуем в мечи серпы и плуги:
На бой теперь — иль никогда!
Замедлим час — и будет поздно!
Уж близко, близко время грозно:
Для всех равно близка беда!

И всех, мне мнится, клятву внемлю:
Забав и радостей не зная,
Доколе враг святую землю
Престанет кровью обагрять!
Там друг зовет на битву друга,
Жена, рыдая, шлет супруга,
И мать в бой — своих сынов!
Жених не мыслит о невесте,
И громче труб на поле чести
Зовет к отечеству любовь!

Июль 1812

**СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЬ, СОЧИНЕННАЯ И
ПЕТАЯ ВО ВРЕМЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОЙСК
У ГОРОДА СМОЛЕНСКА В ИЮЛЕ 1812 ГОДА**

На голос: *Веселяся в чистом поле.*

Вспомним, братцы, россов славу
И пойдем врагов разить!
Защитим свою державу:
Лучше смерть — чем в рабстве жить.

Мы вперед, вперед, ребята,
С богом, верой и штыком!
Вера нам и верность свята:
Победим или умрем!

Под смоленскими стенами,
Здесь, России у дверей,
Стать и биться нам с врагами!..
Не пропустим злых зверей!

Вот рыдают наши жены,
Девы, старцы вопиют,
Что злодеи разъяренны
Меч и пламень к ним несут.

Враг строптивый мечет громы,
Храмов божьих не щадит;
Топчет нивы, палит дома,
Змеем лютым в Русь летит!

Русь святую разоряет!..
Нет уж сил владеть собой:
Бранный жар в крови пылает,
Сердце просится на бой!

Мы вперед, вперед, ребята,
С богом, верой и штыком!
Вера нам и верность свята:
Победим или умрем!

ПАРТИЗАН ДАВИДОВ

Усач. Умом, пером остер он, как француз,
Но саблю французам страшен:
Он не дает топтать врагам нежатых пашен
И, закрутив гусарский ус,
Вот потонул в густых лесах с отрядом —
И след простыл!.. То невидимкой он, то рядом,
То, вынырнув опять, следом
Идет за шумными французскими полками
И ловит их, как рыб, без невода, руками.

Его постель — земля, а лес дремучий — дом!
И часто он, с толпой башкир и с козаками,
И с кучей мужиков, и конных русских баб,
В мужицком армяке, хотя душой не раб,
Как вихорь, как пожар, на пушки, на обозы,
И в ночь, как домовой, тревожит вражий стан.
Но милым он дарит, в своих куплетах, розы.
Давыдов! Это ты, поэт и партизан!..

Между 1812—1825

ОПЫТЫ ДВУХ ТРАГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В СТИХАХ БЕЗ РИФМЫ ¹

Содержание первого явления:

Один из верных сынов покоренного тираном отечества увещевает
сограждан своих в тишине ночи к подъятию оружия против на-
сильственной власти ².

1

Друзья! Уклоняясь от злобы врагов,
К свиданью полночный назначил я час;
Теперь всё спокойно, всё предано сну;
Тиранство, на лоне утех, на цветах,
И рабство, во прахе под тяжким ярмом,—
Спят крепко!.. Не спит лишь к отчизне любовь!
Она не смыкает слезящих очей:
Скитаясь по дебрям, при бледной луне,
Рыданьем тревожит полуночный час
И будит свободу от смертного сна.
Свобода! Отчизна! Священны слова!
Иль будете вечно вы звуком пустым?
Нет, мы воскресим вас! Не слезы и стон

¹ Читано в собрании СПб. Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, 11 ч. сего октября.

² Вместо имен действующих лиц поставлены здесь номера, ибо отрывок сей (два явления) не принадлежит ни к какому целому, а написан только для опыта, чтобы узнать, могут ли стихи такой меры заменить александрийские и монотонию рифмы, которая едва ли свойственна языку страстей.

(Ничтожные средства душ робких и жен),
Но меч и отвага к свободе ведут!
Умрем иль воротим златые права,
Что кровию предки купили для нас!
Чем жизнь в униженьи, стократ лучше смерть!..
Отечества гибель нам льзя ль пережить?..
Ответ ваш, о други, читаю в очах:
Горящий в них пламень, багряность ланит
И дланей стремленье к звенящим мечам —
Всё, всё мне являет тех самых мужей,
С которыми в битвах я славу делил...
Мы те же, но край наш не тот уже стал!
Под пеплом, в оковах, под тяжким ярмом
Отечество наше кто может узнать?

2

Так в лютых напастях все зрим мы наш край!
Родных и знакомых я стран не узнал,
Когда на свиданье к местам сим спешил.
О родины милой священные поля,
Где первый раз в жизни я счастье познал,
Что сделалось с вами? — Всё умерло тут!..
Где спела надежда на нивах златых
И радости песни гремели в лугах,
Там страшен вид мрачных, ужасных пустынь,
Пустынь, где унынье от воя зверей
Сугубит звук томный влачимых оков!

3

На трупах, на пепле пожженных им стран,
На выях согбенных под гнетом рабов
Тиран наш воздвиг свой железный престол;
Но слышен уж ропот, тирана кланут...

4

Кланут лишь, и только! А руки и меч,
А предков примеры, кто отнял у них?..

<1817>

К СОЛОВЬЮ В КЛЕТКЕ

Меркнет день, лазурь темнеет,
Погасает блеск небес,
В шумном мире всё немеет,
Дремлет тихо синий лес;
Встал и месяц за горою...
Ах, бывало сей порою,
Милый сын весенних дней,
Под черемхою душистой,
Где ручей журчит серебристой,
Здесь певал ты, соловей!

Сколько раз меня, бывало,
Сколько раз друзей моих
Сладкогласье восхищало
Песней радостных твоих!
Замолкали все пернаты
Вмиг, коль ярки перекаты,
Треск, урчанье по зарям,
Песни звонкие, игривы,
Свисты, стоны, переливы
Растекались по кустам!..

Ах, давно ль прелестна Хлоя
Восхищалася тобой?
В час прохлады, в час покоя,
Перестав, на миг, рабой
Быть законов скучных света,
Без затей легко одета,
Без толпы рабынь, рабов,
Шла гостить одна — к природе,
И внимать, как на свободе
Громко славить ты любовь.

Ты гремел — почто же, милый,
Вдруг замолк? и скучен стал?
Дикий свой приют унылый
Ты на клетку променял?
Клетка пышная богата,
Будто храм или палата
Раззолочена она!
Тут хрусталь с водою чистой,
Корм, песок с травой душистой,
Свет чуть брезжит из окна.

Чем же, друг мой, недоволен?
Отчего тебе грустить?..
Ах! — кричишь ты, — я неволен,
И могу ль веселым быть?
Я в родном кусту на ветке
Ночь насквозь певал, но в клетке
С горя чуть могу дышать...
Всяк поет в счастливой доле:
Счастье — в воле, гроб — в неволе.
Нет, не петь мне, — умирать!

Так, священная природа,
Твой закон и сердца глас
Нам вещают, что свобода
Есть вторая жизнь для нас!
Скромный жребий в мирной доле
Предпочтя златой неволе,
Подружусь я с простотой, —
Пусть сердца, пусть души низки,
К пресмыканию, к рабству близки,
Обольщаются мечтой...

Пусть тираны строят ковы
И златят цепей свинец
И приемлют их оковы
Раб безгласный, низкий льстец.
Поруганье пья как воду,
Дар небес — свою свободу —
Предают за дым они!
И, лобзая тяжки длани,
Платят век покорства дани
И влачат без жизни дни!

Пусть земные полубоги,
В недрах славы и честей
Громоздя себе чертоги,
Будут в них рабы страстей!
Для чего мне дом огромный?
Дайте мне шалаш укромный
Из соломы и ветвей,
Дайте дружбу и свободу —
Стану петь, хвалить природу,
Как на воле соловей!

<1819>

ПРИЗЫВАНИЕ СНА

Заря вечерняя алеет,
Глядясь в серебряный поток;
Зефир с полян душистых веет,
И тихо плещет ручеек.
Молчат поля, замолкли селы,
И милый голос филомелы
Далеко льется в тишине...
В полях туманы улеглись;
Дрожащи звезды в вышине
За легкой дымкою зажглись...
Но мне прелестный вид небес,
Земли роскошные картины,
Ни сей цветущий свежий лес,
Ни миловидные долины
Не могут счастья принести.
Не для меня красы природы,
И вам, мои молодые годы,
Вам в тайной грусти отвести!..
Приди ж хоть ты на глас призывный,
В своих мечтах и горях дивный,
О друг несчастных, кроткий сон!
Приди — и ласковой рукою
Склони печального к покою
И утоли сердечный стон!
Меня зовут в страну мечтаний...
Не твой ли то приветный глас?
Сокрой от утомленных глаз
Картины бедствий и страданий...
Туда! к сияющим звездам,
Из сей обители порока,
Из-под руки железной рока,
Туда, к надзвездным высотам!..
Ах, покажи мне край прелестный,
Где истина, в красе чудесной,
В своих незыблема правах;
Где просвещенью нет препоны,
Где силу преогли законы
И где свобода не в цепях!..
Приди!.. Но ты не внял призыванье,
Горит досадный утра свет,
И новый день меня зовет.
Опять на новое страданье!..
<1819>

О Пушкин, Пушкин! Кто тебя
 Учил пленять в стихах чудесных?
 Какой из жителей небесных,
 Тебя младенцем полюбя,
 Лелея, баял в колыбели?
 Лишь ты завидел белый свет,
 К тебе эроты прилетели
 И с лаской грации подсели...
 И музы, слышал я, совет
 Нарочно всей семьей держали
 И, кончив долгий спор, сказали:
 «Рости, резвись — и будь поэт!»
 И вырос ты, резвился вволю,
 И взрос с тобою дар богов:
 И вот, блажа беспечну долю,
 Поешь ты радость и любовь,
 Поешь утех, наслажденья,
 И топот коней, гром сраженья,
 И чары ведьм и колдунов,
 И русских витязей забавы...
 Склонясь под дубы величавы,
 Лишь ты запел, молодой певец,
 И добрый дух седой дубравы,
 Старинных дел, старинной славы
 Певцу младому вьет венец!
 И всё былое обновилось:
 Воскресла в песни старина,
 И песнь волшебного полна!..
 И боязливая луна
 За облак дымный хоронилась
 И молча в песнь твою влюбилась...
 Всё было слух и тишина:
 В пустыне эхо замолчало,
 Вниманье волны оковало,
 И мнилось, слышат берега!
 И в них русалка молодая
 Забыла витязя Рогдая,

¹ Стихи сии написаны за год перед сим, по прочтении двух первых песней «Руслана и Людмилы».

Родные воды — и в луга
Бежит ласкать певца молодого...
Судьбы и времени седого
Не бойся, молодой певец!
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!..

1819

ШАРАДА

*Слог первый мой везде есть признак превосходства.
Вторая часть нужна для пищи, для дородства,
Нередко и для книг, а чаще для бумаг;
Для лакомых она источник лучших благ.
Что ж целое мое? — Всегда жилище власти
И благо, где на нем, смилив кичливы страсти,
Спокойно воссидит незыблемый закон:
Тогда ни звук оков, ни угнетенных стон
Не возмущают дух в странах, ему подвластных,
Полны счастливых сел и городов прекрасных,
Любуются они красой своих полей,
И солнце, кажется, сияет им светлей...
Но горе, где, поправ священные законы,
Забыв свой долг, презрев граждан права и стоны,
Воссядет равный им с страстями — а не закон:
Там вмиг преобратит стоптливой властью он
В ничто — обилья блеск, луга и нивы — в степи,
И детям от отцов наследье — грусть и цепи;
И землю окропят потоки горьких слез,
И взывает стон людей до выпретенных небес!*

<1820>

СУДЬБА НАПОЛЕОНА

Он шел — и царства трепетали,
Сливался с стоном звук оков,
И села в пепл, града пылали,
И в громе битв кипела кровь;
Земля пред сильным умолкала...

Он, дерзкий,— скиптрами играл;
Он, грозный,— троны расшибал:
Чего ж душа его алкала?

Народы стали за права;
Цари соединяли силы;
Всхолмились свежие могилы,
И, вихрем, шумная молва:
«Он пленник!» Осветились храмы!
Везде восторг и фимиамы,
Народы — длани к небесам,
И мир дивится чудесам!

Гремящих полчищ повелитель,
Перун и гибель на боях,
Один — утесов диких житель,
Как дух пустынный на холмах...
Летят в пределы отдаленны
Надеждой флоты окриленны,
Все мимо — и никто за ним;
Как страшно самому с самим!
В душе, как в море, мрак и волны...

Как кораблей бегущих тень,
Исчезли дни, величья полны,
И вечереет жизни день...
«Чья новая взнеслась могила?»
Ответ: «Тут спит Наполеон!
И буря подвигов — как сон...
И с ним мечты, и гром, и сила
В затворе тесном улеглись!» —
«Быстрой, корабль, в Европу мчись! —
Пловец друзьям: — Смелей чрез волны
Летим с великой вестью мы!»
Но там, в Европе, все умы
Иных забот и видов полны...

И все узнали: умер он,
И более о нем ни слова;
И стал он всем — как страшный сон,
Который не приснится снова;
О нем не воздохнет любовь,
Его забыли лесть и злоба...

Но Греция встает из гроба
И рвется, с силой, из оков!
Чья кровь мутит Эгейски воды?
Туда внимание, народы:
Там, в бурях, новый зиждут мир!
Там корабли ахейцев смелых,
Как строи лебедей веселых,
Летят на гибель, как на пир!
Там к небу клятвы и молитвы!
И свирепеет, слыша битвы,
В Стамбуле гордый оттоман.
Растут, с бедой, бесстрашных силы,
И крест венчает *Термопилы!*
И на *Олимпе* — ратный стан!..
Молва и слава зазвучала,
Но — не о нем... в могиле он,
И позабыт Наполеон!..
Чего ж душа его алкала?

1821

ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ

Опять вас нет, дни лета золотого,—
И темный бор, волнуясь, зашумел;
Уныл, как грусть, вид неба голубого —
И свежий луг, как я, осиротел!
Дождусь ли, друг, чтоб в тихом мае снова
И старый лес и бор помолодел?
Но грудь теснят предчувствия унылы:
Не вестники ль безвременной могилы?

Дождусь ли я дубравы обновления,
И шепота проснувшихся ручьев,
И по зарям певцов свободных пеня,
И, спутницы весенних вечеров,
Мечты, и мук ее — и наслажденья?..
Я доживу ль до тающих снегов?
Иль суждено мне с родиной проститься
И сладкою весной не насладиться!..

Между 1817—1822

НОВЫЙ ГОД

Как рыбарь в море запоздалый
Среди бушующих зыбей,
Как путник, в час ночной, усталый
В беспутной широте степей,—
Так я в наземной сей пустыне
Свершаю мой неверный ход.
Ах, лучше ль будет мне, чем ныне?
Что ты судишь мне, *новый год?*
Но ты стоишь так молчаливо,
Как тень в кладбищенной тишине,
И на вопрос нетерпеливый
Ни слова, ни улыбки мне...

<1825>

ХАТА, ПЕСНИ, ВЕЧЕРНИЦА

«Свежо! Не завернем ли в хату?» —
Сказал я потихоньку брату,
А мы с ним ехали вдвоем.
«Пожалуй,— он сказал,— зайдем!»
И сделали... Вошли; то хата
Малороссийская была:
Проста, укромна, небогата,
Но миловидна и светла...
Пуки смолистые лучины
На подбеленном очаге;
Младые паробки, дивчины,
Шутя, на дружеской ноге,
На жениханье, вместе сели
И золоченый пряник ели...
Лущат орехи и горох.
Тут вечерница!.. Песни пели...
И, с словом: «Помогай же бог!» —
Мы, москали, к ним на порог!..
Нас приняли — и посадили;
И скоморохи-козаки
На тарабанах загудели.
Нам мед и пиво подносили,
Вареники и галушкы
И чару вкусной вареницы —
Усладу сельской вечерницы;

И лобобриты старики
Роменский в люльках запалили,
Хлебая сливянки глотки.
Как вы свежи! Как белолицы!
Какой у вас веселый взгляд
И в лентах радужных наряд!
Запойте ж, дивчины-певицы,
О вашей милой старине,
О давней гетманов войне!
Запойте, девы, песню-чайку
И похвалите в песне мне
Хмельницкого и Наливайку...
Но вы забыли старину,
Тот век, ту славную войну,
То время, людям дорогое,
И то дешевое житье!..
Так напевайте про другое,
Про ваше сельское бытие.
И вот поют: «Гей, мати, мати!
(То голос девы молодой
К старушке матери седой)
Со мной жартует он у хати,
Шутливый гость, молодой москаль!»
И отвечает ей старушка:
«Ему ты, дочка, не подружка:
Не заходи в чужую даль,
Не будь глупа, не будь слугою!
Его из хаты кочергою!»
И вот поют: «Шумит, гудет,
И дождик дробненькой идет:
Что мужу я скажу седому?
И кто меня проводит к дому?..»
И ей откликнулся козак
За кружкой дедовского меда:
«Ты положиися на соседа,
Он не хмелен и не дурак,
И он тебя проводит к дому!»
Но песня есть одна у вас,
Как тошно Грицу молодому,
Как, бедный, он в тоске угас!
Запой же, гарная девица,
Мне песню молодого Грица!
«Зачем ты в поле, по зарям,
Берешь неведомые травы?»

Зачем, тайком, к ворожеям,
И с ведьмой знаешься лукавой?
И подкодных змей с приправой
Варишь украдкою в горшке? —
Ах, чернобривая колдует...»
А бедный Гриц?.. Он всё тоскует,
И он иссох, как тень, в тоске —
И умер он!.. Мне жалко Грица:
Он сроден... Поздно!.. Вечерница
Идет к концу, и нам пора!
Грязна дорога — и гора
Взвилась крутая перед нами;
И мы, с напетыми мечтами,
В повозку... Колокол гудит,
Ямщик о чем-то говорит...
Но я мечтой на вечернице
И всё грущу о бедном Грице!..

<1825>

БУРЯ

Что небо стало без лазури,
И волны ходят по Неве,
И тени облаков мелькают по траве?
Я слышу приближение бури.
Я здесь не знаю, что творится надо мной,
Но близ меня, в щели стенной,
Уныло ветер завывает,
И он как будто мне о чем-то вспоминает
И будит давнюю какую-то мечту.
О ветер, ветер! Ты свободен,—
Зачем же рвешься в тесноту?..
Ах! Если бы я мог, оставя суету
И в чувствах нов и благороден,
Летать, как ветер по полям!
И только рано по зарям,
Прокравшись близ тюрьмы сторонкой,
Несчастливым узникам тихонько
О чем-то милом напевать
И горьких в сладкое забвенье погружать!..

Между 9 марта — 31 мая 1826

ЛУНА

Луна прекрасная светила
В тиши лазоревых полей
И ярче золота златила
Главы подкрестные церквей.
А бедный узник за решеткой
Мечтал о божьих чудесах:
Он их читал, как почерк четкий,
И на земле и в небесах.
И в тайной книге прошлой жизни
Он с умилением их читал,
И с мыслью о святой отчизне
Сидел, терпел — и уповал!

Между 9 марта — 31 мая 1826

К ЛУНЕ

Среди безмолвия ночного
Луна так весело глядит,
И луч ее у часового
На ясном кивере горит!

Ах! Погляди ко мне в окошко
И дай мне весть о вышине,
Чтоб я, утешенный немножко,
Увидел счастье хоть во сне.

Между 9 марта — 31 мая 1826

ДВА СЧАСТЬЯ

Земное счастье мне давалось,
Но я его не принимал:
К иному чувство порывалось,
Иного счастья я искал!
Нашел ли? — тут уста безмолвны...
Еще в пути моя ладья,
Еще кругом туман и волны,
И будет что? — не знаю я!

Между 9 марта — 31 мая 1826

УЗНИК К МОТЫЛЬКУ

Дитя душистых роз и поля!
Зачем сюда ты залетел?
Здесь плен и скучная неволя:
Я уж терпеньем накопил,
Забыл о радостях в природе,
О тихом счастье в лесах;
А ты сгрустишься по свободе
И по родимых небесах.
Лети ж на волю — веселися!
И в золотой рассвета час
Святому богу помолися
И будь у счастья гость за нас!

1826

ПЕСНЬ УЗНИКА

Не слышно шуму городского,
В заневских башнях тишина!
И на штыке у часового
Горит полночная луна!

А бедный юноша! ровесник
Младым цветущим деревьям,
В глухой тюрьме заводит песни
И отдает тоску волнам!

«Прости, отчизна, край любезный!
Прости, мой дом, моя семья!
Здесь за решеткою железной —
Уже не свой вам больше я!

Не жди меня отец с невестой,
Снимай венчальное кольцо;
Застынь мое навеки место;
Не быть мне мужем и отцом!

Сосватал я себе неволю,
Мой жребий — слезы и тоска!

Но я молчу,— такую долю
Взяла сама моя рука. <...>

Уж ночь прошла, с рассветом в злате
Давно день новый засиял!
А бедный узник в каземате —
Всё ту же песню запевал!..

1826

СРАВНЕНИЕ

Как светел там янтарь луны,
Весь воздух палевым окрашен!
И нижутся кругом стены
Зубцы и ряд старинных башен.
Как там и вечером тепло!
Как в тех долинах ароматно!
Легко там жить, дышать приятно.
В душе, как на небе, светло;
Всё говор, отзывы и пенье.
Вот вечер, сладостный, весенний,
Страны, где жил я, как дитя,
Среди семейной, кроткой ласки,
Где так меня пленяли сказки...
Но буря жизни, ухватя
Мой челн, в безбрежное умчала;
Я слышал, подо мной урчала
И в клуб свивалася волна;
И ветры парус мой трепали...
Ах, часто чувства замирали
И стыла кровь. Скучна страна,
Куда меня замчали бури:
Увы, тут небо без лазури!
Сии бесцветные луга
Вовек не слышат пчел жужжаний,
Ни соловьиных воздыханий;
И тут, чрез мшистые брега,
Как горлик, ястребом гонимый,
Летит весна, как будто мимо,
Без ясных, теплых вечеров...
Ничто здесь чувства не лелеет,
Ничто души не отогреет,
Тут нет волшебных жизни снов;

Тут юность без живых волнений,
Без песен молодость летит;
И, как надгробие, стоит,
Прижав криле, безмолвный гений.

1826

А ВЕТЕР ВЫЛ

За полночь пир, сиял чертог,
Согласно вторились напевы;
В пылу желаний и тревог
Кружились в легких плясках девы;
Их прелесть жадный взор следил,
Вино шипело над фиялом,
А мрак густел за светлым залом,
А ветер выл!

И пир затих... последний пир!
И слава стихнула вельможи:
В дому день со днем глубже мир;
Ложится пыль на пышны ложи,
В глуши тускнеют зеркала,
В шкафах забыты знаки чести;
На барских крыльцах нет уж лести,
И мимо крадется хвала...
И всё в дому пустынно было,
Лишь сторож изредка бродил,
Стучал в металл и пел уныло,
А ветер выл!

Уж нет садов и нет чертога,
И за господ и за рабов
Молили в ближней церкви бога,
Читали надписи гробов,
Дела усопших разбирали.
Но мертвых мир живой забыл:
К ним сыч да нетопырь слетали,
А ветер выл!

1826 или 1827

ЛЕТНИЙ СЕВЕРНЫЙ ВЕЧЕР

Уж солнце клубом закатилось
За корбы¹ северных елей,
И что-то белое дымилось
На тусклом помосте полей.
С утесов, шаткою стеною,
Леса над озером висят
И, серебримые луною,
Верхи иглистые торчат
Гряды печальной бурелома²:
Сюда от беломорских стран
Ворвался наглый ураган —
И бор изломан, как солома...
Окрестность дикую пестря,
Вдали, как пятна, нивы с хлебом,
И на томпаковое небо
Взошла кровавая заря.
Питомец ласкового юга
Без чувств, без мыслей вдаль глядит
И, полный грусти, как недуга,
О ней ни с кем не говорит.

Между 1827—1829

К ЛУГУ

Зеленый луг! Зеленый луг!
Как расстилаешься ты гладко,
Как отдыхает тут мой дух,
Как тут задумываться сладко!

Ах, если б так, ах, если б так
Постлался путь наземной жизни!
Смелей бы я сквозь вихрь и мрак
Спешил к сияющей отчизне.

¹ Корбами называют здесь (в Олонецкой губернии) самые дикие места в глухих лесах, где ели, сплетая вершины свои, составляют довольно твердый свод над влажно-каменистым грунтом. В сих затишных уютках сохраняется и зимою такая степень теплоты, что чижи целыми стадами ищут там себе убежища.

² Буреломом (технический термин у лесоводов) называют валежник или гряду леса, поваленного бурей.

Но тут скалы — и всё скалы,
Стоят, как призраки, от века,
И с них летят, кипят валы:
Трудна дорога человека!..

Зеленый луг! Зеленый луг!
Пока цветешь, стелися гладко!
И успокой мой томный дух
И дай задуматься мне сладко!..

<1829>

ГРУСТЬ В ТИШИНЕ

Объято всё ночью тишиною,
Луга в алмазах, темен лес,
И город пожелтел под палевой луною,
И звездным бисером унизан свод небес;
Но влажные мои горят еще ресницы,
И не утишилась тоска моя во мне;
Отстал от песней я, отстал я от цевницы:
Мне скучно одному в безлюдной стороне.

Я живу, не живу,
И, склонивши главу,
Я брожу и без дум и без цели;
И в стране сей пустой,
Раздружившись с мечтой,
Я подобен надломленной ели:
И весна прилетит
И луга расцветит,
И калека на миг воскресает,
Зеленеет главой,
Но излом роковой
Пробужденную жизнь испаряет;
И, завидя конец,
Половинный мертвец
Понемногу совсем замирает!

Между 1826—1830

ПЕСНЬ БРОДЯГИ

От страха, от страха
Сгорела рубаха,
Как моль над огнем,
На теле моем!

И маюсь да маюсь,
Как сонный скитаюсь
И кое-где днем
Всё жмусь за углом.

А дом мне — ловушка:
Под сонным подушка
Вертится, горит.
«Идут!» — говорит...

Полиция ловит,
Хожалый становит
То сеть, то капкан:
Пропал ты, Иван!..

А было же время,
Не прыгала в темя,
Ни в пятки душа,
Хоть жил без гроша.

И песни певались...
И как любовались
Соседки гурьбой
Моей холостьбой.

Крест киевский чудный
И складень нагрудный,
Цельба от тоски,
Мне были легки.

Но в доле суровой
Что камень жерновый,
Что груз на коне
Стал крест мой на мне!..

Броди в подгороднях,
Но в храмах господних
Являться не смей:
Там много людей!..

.

Мир божий мне клетка,
Все кажется — вот
За мной уж народ...

Собаки залают,
Боюсь: «Поймают,
В сибирку запрут
И в ссылку сошлют!..»

От страха, от страха
Сгорела рубаха,
Как моль над огнем,
На теле моем!..

Между 1826—1830

К ПОЧТОВОМУ КОЛОКОЛЬЧИКУ

Ах, колокольчик, колокольчик!
Когда и над моей дугой,
Над тройкой ухарской, лихой
Ты зазвенишь? Когда дорога,
Широкой лентой раскатясь,
С своими пестрыми столбами
И с живописностью кругом,
Меня, мой колесистый дом,
Мою почтовую телегу,
К краям далеким понесет?
Когда увижу край над Волгой
И, с гор на горы мча стрелой,
Меня утешит песнью долгой
Земляк — извозчик удалой?
Когда увижу Русь святую,
Мои дубовые леса,
На девах ленту золотую
И синий русский сарафан?

Мне, сиротине на чужбине,
Мне часто грустно по родном,
И Русь я вижу, как в картине,
В воспоминании одном.

1829 или 1830

РАННЯЯ ВЕСНА НА РОДИНЕ

Прямятся ёльхи на холмах,
И соловьиные журчат и льются песни,
И скромно прячется на молодых лугах
Душистый гость, весны ровесник...
Седеют ивняки пушистым серебром;
Еще смолист и липнет лист березы,
Круглятся капельки росистые, как слезы,
И запад ласково алеет над Днепром...
Уж озимь, огустьясь, озеленила пашни;
Касатка вьется подле башни;
И вот, отлетные за дальний океан
Опять к родным гнездам летят из чуждых стран!
Весна!.. и кое-где блещут отрывки снега...
Вдали Смоленск, с своей зубчатою стеной!..
Откуда в душу мне бежит такая нега?
Какой-то *новый* мир светлеет надо мной!..
О, буду ль я всегда таким питаться чувством?
Зовет, манит меня тот смутный дальний шум,
Где издевается над сердцем колкий ум,
Где клонится глава под тучей скучных дум,—
Где всё *природное* поглощено *искусством*!..

1830

ВОСПОМИНАНИЕ

Я вспоминаю сенокосы
На свежих, ровных берегах,
Где зной дневной сменяют росы;
И крупный жемчуг на лугах
Блестит под желтою луною;
И ходит ковшик пировой
Между веселыми косцами,
Меж тем как эхо за горами

Разносит выстрел зоревой,
Вдали заботен темный город,
Но на покосах шелковых
Всяк беззаботен, бодр и молод
Под звуком песен удалых.

<1831>

СЕЛЬСКАЯ ВЕЧЕРЯ

Пора! устали кони наши,
Уж солнца в небе нет давно;
И в сельском домике мелькает сквозь окно
Свеча. Там стол накрыт: на нем простых две чаши.
Луна не вторится на пышном серебре;
Но весело кипит вся дворян на дворе:
Игра в веревку! Вот кричат: «Кузьму хватай-ка!
Куда он суется, болван!»
А между тем в толпе гудет губной варган,
Бренчит лихая балалайка,
И пляска... Но пора! Давно нас ждет хозяйка,
Здоровая, с светлеющим лицом;
Дадут ботвиньи нам с душистым огурцом,
Иль холодец, лапшу, иль с желтым маслом кашу
(В деревне лишних нет потреб),
Иль белоснежную, с сметаной, простоквашу
И черный благовонный хлеб!

<1831>

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Постлалась белая, холодная постель,
И, под стеклом, чуть живы воды!
Сугроб высокий лег у ветхой изгороди...
В лесах одна без перемены — ель!
В господский сельский дом теснится вьюга в сени,
И забелелось высокое крыльцо,
И видны ног босых по улицам ступени,
И чаще трет ящик полый себе лицо,
И колокол бренчит без звона,

Протяжно каркает обмоклая ворона,
И стая вдруг явилася сорок;
Везде огонь, везде дымятся трубы,
Уж для господ в домах готовят шубы,
И тройкою сосед катит на вечерок.
Куют коней, и ладят сани,
И говорят о будущем катаньи.
Пороша!.. и следят и зайцев и лисиц,
И хвалятся борзых удалым бегом...
И, по примете, первым снегом
Умылись девушки для освеженья лиц!

<1832>

МОСКВА

Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посадки и деревни,
И палаты и дворцы!

Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах:
Сколько храмов, сколько башен
На семи твоих холмах!..

Исполинскою рукою
Ты, как хартия, развит,
И над малою рекою
Стал велик и знаменит!

На твоих церквах старинных
Вырастают деревья;
Глаз не схватит улиц длинных...
Эта матушка Москва!

Кто, силач, возьмет в охапку
Холм Кремля-богатыря?
Кто собьет златую шапку
У Ивана-звонаря?..

Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?

Шляпы кто, гордец, не снимет
У святых в Кремле ворот?!

Ты не гнула крепкой выи
В бедовой своей судьбе:
Разве пасынки России
Не поклонятся тебе!..

Ты, как мученик, горела
Белокаменная!
И река в тебе кипела
Бурнопламенная!

И под пеплом ты лежала
Полоненною,
И из пепла ты восстала
Неизменною!..

Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град *срединный*, град *сердечный*,
Коренной России град!

<1840>

Ф. И. ТЮТЧЕВУ

Как странно видеть *зрящему*
Дела людей:
Дались мы в рабство *настоящему*
Душою всей!

Глядим, порою, на минувшее,
Но холодно!
Как обещанье обманувшее
Для нас оно!..

Глядим на грозное *грядущее*,
Прищуря глаз,
И не домыслимся, что *сущее*
Морочит нас!..

Разладив с вещею сердечностью,
Кичась умом,
Ведem с какой-то мы беспечностью
Свой ветхий дом.

А между тем под нами роются
В изгибах нор,
И за стеной у нас уж строятся:
Стучит топор!..

А мы, втеснившись в настоящее,
Все жмемся в нем,
И говорим: «Иди, грозящее,
Своим путем!..»

Но в сердце есть отломок зеркала:
В нем видим мы,
Что порча страшно исковеркала
У всех умы!

Замкнули речи все столетия
В своих шкафах;
А нам остались междометия:
«Увы!» да «Ах!»

Но принял не напрасно дикое
Лицо пророк:
Он видит — близится великое,
И близок срок!

1849

<СТИХИ О БЫВШЕМ СЕМЕНОВСКОМ ПОЛКУ>

Была прекрасная пора:
Россия в лаврах, под венками,
Неся с победными полками
В душе — покой, в устах — «ура!»,
Пришла домой и отдохнула.
Минута чудная мелькнула
Тогда для города Петра.

Окончив полевые драки,
Носили офицеры фраки,
И всякий был и бодр и свеж.
Пристрастье к форме пригасало,
О палке и вестей не стало,
Дремал парад, пустел манеж...
Зато солдат, опрятный, ловкий,
Всегда учтив и сановит,
Уж принял светские уловки
И нравов европейских вид...
Но перед всеми отличался
Семеновский прекрасный полк.
И кто ж тогда не восхищался,
Хваля и ум его, и толк,
И человеческие манеры?
И молодые офицеры,
Давая обществу примеры,
Являлись скромно в блеске зал.
Их не манил летучий бал
Бессмысленным кружебным шумом:
У них чело яснилось думой,
Из-за которой ум сиял...
Влюбившись от души в науки
И бросив шпагу спать в ножнах,
Они в их дружеских семьях
Перо и книгу брали в руки,
Сгибаясь, по служебном дне,
На поле мысли, в тишине...
Тогда гремел звучней, чем пушки,
Своим стихом лицейский Пушкин,
И много было... Все прошло!
Прошло и уж невозвратно!
Всё бурей мутною снесло,
Промчалось, прокатило мимо...
И сколько, сколько утекло
Волною пасмурной, печальной
(И здесь и по России дальней)
В реках воды, а в людях слез,
И сколько пережито гроз!..
Но пусть о них твердят потомки;
И мы, прошедшего обломки,
В уборе париков седых,
Среди кипучих молодых,
Вспомынем мы хоть про Новинки,

Где весело гостили Глинки,
Где благородный Муравьев
За нить страдальческих годов
Забыл пустынную неволю
И тихо сердцем отдыхал;
Где, у семьи благословенной,
Для дружбы и родства бесценной,
Умом и доблестью сиял
И к новой жизни расцветал
Якушкин наш в объятьях сына,
Когда прошла тоски година
И луч надежды обещал
Достойным им — иную долю.

1856

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Нет, други! Сердце расщепилось,
И опустела голова...
Оно так бойко билось, билось,
И — стало... чувства и слова
Оцепенели... Я, бескрылый,
Стою, хладею и молчу:
Летать по высям нет уж силы,
А ползать не хочу!!

<1869>

ЭЛЕГИЯ

Три юные лавра когда я сажал,
Три радуги светлых надежд мне сияли;
Я в будущем счастлив судьбою их был...
Уж лавры мои разрослись, расцветали.

Была в них и свежесть, была и краса,
Верхи их, сплетаясь, неслись в небеса.
Никто не чинил им ни в чем укоризны.
Могучи корнями и силой полны,
Им только и быть бы утехой отчизны,
Любовью и славой родимой страны!..

Но, горе мне!.. Грянул сам Зевс стрелометный
И огонь свой палящий на сад мой послал,
И тройственный лавр мой, дар Фебу заветный,
Низвергнул, разрушил, спалил и попра!..

И те, кем могла бы родная обитель
Гордиться... повержены, мертвы, во прах,
А грустный тех лавров молодых насадитель
Рыдает, полмертвый, у них на корнях!..

16 ноября 1869

ДВЕ ДОРОГИ

(Куплеты, сложенные от скуки в дороге)

Тоскуя — полосую длинной,
В туманной утренней росе,
Вверяет эху сон пустынный
Осиротелое шоссе...

А там вдали мелькает струнка,
Из-за лесов струится дым:
То горделивая чугунка
С своим пожаром подвижным.

Шоссе поет про рок свой слезный:
«Что ж это сделал человек?!
Он весь поехал по железной,
А мне грозит железный век!..

Давно ль красавицей дорогой
Считалась общей я молвой? —
И вот теперь сию убогой
И обездоленной вдовой.

Где-где по мне проходит пеший;
А там и свищет и рычит
Заклепанный в засаде леший
И без коней — обоз бежит...»

Но рок дойдет и до чугулки:
Смельчак взовьется выше гор
И на две брошенные струнки
С презреньем бросит гордый взор.

И станет человек воздушный
(Плывя в воздушной полосе)
Смеяться и чугулке душной
И каменистому шоссе.

Так помиритеcь же, дороги,—
Одна судьба обеих ждет.
А люди? — люди станут боги,
Или их громом пришибет.

Между 1836—1875



К.Ф. РЫБЕЕВ

К ВРЕМЕННОМУ

(Погражение Персией сатире «К Рубеллию»)

Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Внесенный в важный сан пронырствами злодей!
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!
Твоим вниманием не дорожу, подлец;
Из уст твоих хула — достойных хвал венец!
Смеюсь мне сделанным тобой уничиженьем!
Могу ль унизиться твоим пренебреженьем,
Коль сам с презрением я на тебя гляжу
И горд, что чувств твоих в себе не нахожу?
Что сей кимвальный звук твоей мгновенной славы?
Что власть ужасная и сан твой величавый?
Ах! лучше скрыть себя в безвестности простой,
Чем с низкими страстями и подлою душой
Себя, для строгого своих сограждан взора,
На суд их выставять, как будто для позора!
Когда во мне, когда нет доблестей прямых,
Что пользы в сани мне и в почестях моих?
Не сан, не род — одни достоинства почтенны;
Сеян! и самые цари без них — презренны,
И в Цицероне мной не консул — сам он чтим
За то, что им спасен от Катилины Рим...
О муж, достойный муж! почто не можешь, снова
Родившись, сограждан спасти от рока злого?

Тиран, вострепещи! родиться может он.
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!
О, как на лире я потщусь того прославить,
Отечество мое кто от тебя избавит!
Под лицемерием ты мыслишь, может быть,
От взора общего причины зла укрыть...
Не зная о своем ужасном положении,
Ты заблуждаешься в несчастном ослепленье,
Как ни притворствуешь и как ты ни хитришь,
Но свойства злобные души не утаишь:
Твои дела тебя изобличат народу;
Познает он — что ты стеснил его свободу,
Налогом тягостным довел до нищеты.
Селения лишил их прежней красоты...
Тогда вострепещи, о временщик надменный!
Народ тиранствами ужасен разъяренный!
Но если злобный рок, злодея полюбя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,
Всё трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!

<1820>

А. П. ЕРМОЛОВУ

Наперсник Марса и Паллады!
Надежда сограждан, России верный сын,
Ермолов! Пospеши спасать сынов Эллады,
Ты, гений северных дружин!
Узрев тебя, любимец славы,
По манию твоей руки,
С врагами лютыми, как вихрь, на бой кровавый
Помчатся грозные полки —
И, цепи сбросивши панического страха,
Как феникс молодой,
Воскреснет Греция из праха
И с древней доблестью ударит за тобой!..
Уже в отечестве потомков Фемистокла
Повсюду подняты свободы знамена,
Геройской кровию земля промокла
И трупами врагов удобрена!
Проснулись вздремавшие перуны,
Отвсюду храбрые текут!

Теки ж, теки и ты, о витязь юный,
Тебя все ратники, тебя победы ждут...

Весна 1821

К К<ОСОВСКО>МУ
В ОТВЕТ НА СТИХИ, В КОТОРЫХ ОН СОВЕТОВАЛ МНЕ
НАВСЕГДА ОСТАТЬСЯ НА УКРАИНЕ

Чтоб я молодые годы
Ленивым сном убил!
Чтоб я не поспешил
Под знамена свободы!
Нет, нет! тому вовек
Со мною не случиться;
Тот жалкий человек,
Кто славой не пленится!
Кумир молодой души —
Она меня, трубою
Будя в немой глуши,
Вслед кличет за собою
На берега Невы!

Итак простите вы:
Краса благой природы,
Цветущие сады,
И пышные плоды,
И Дона тихи воды,
И мир души моей,
И кров уединенный,
И тишина полей
Страны благословенной, —
Где, горя, и сует,
И обольщений чуждый,
Прожить бы мог поэт
Без прихотливой нужды;
Где б дни его текли
Под сенью безмятежной
В объятьях дружбы нежной
И родственной любви!

Всё это оставляя,
Пылающий поэт
Направит свой полет,

Советам не внимая,
За чародейкой вслед!
В тревожном шуме света,
Средь горя и забот,
В мои молодые лета,
Быть может, для поэта
Она венок совет.
Он мне в уединеньи,
Когда я буду сед,
Послужит в утешенье
Средь дружеских бесед.

Лето 1821

<А. А. БЕСТУЖЕВУ>

Ты разленился уж некстати,
Беглец Парнаса молодой!
Скажи, что сделалось с тобой?
В своем болотистом Кронштадте
Ты позабыл совсем о брате
И о поэте — что порой,
Сидя, как труженик, в Палате,
Чтоб свой исполнить долг святой,
Забыл и негу и покой...
Но тщетны все его порывы:
Укоренившееся зло
Свое презренное чело,
Как кедр Ливана горделивый,
Превыше правды вознесло.
Так... сделавшись жрецом Фемиды,
Я о Парнасе позабыл...
К тому ж боюсь, чтоб Аониды
За то, что я им изменил,
Певцу не сделали обиды.
Хоть я и некрасив собой,
Но музы исстари ревнивы.
А я — любовник боязливый...
И вот что, друг мой молодой,
В столице вкуса прихотливой
Молчанью моему виной.
Твое ж молчанье непонятно!..
Драгун ты хоть куда лихой,

Остришься ловко и приятно
И, приголубив нежных муз,
Их так пленить умел собою —
Что, в детстве соверша союз,
Они вертлявою толпою
Везде порхают за тобою
И не изменят никогда,
Пока ты всем им не изменишь;
Но кажется, что иногда
Ты ласковость их худо ценишь.
Так, например: прошел здесь слух,
Не знаю я, по чьей огласке,
Что будто Мейеровой глазки
Твой возмутили твердый дух,
И верность к девам песнопений
Поработил свободный гений,
Поколебал любви недуг...
А между тем как очарован
Ты юной прелестию глаз,
Пафосских шалостью проказ
К Кронштадту скучному прикован,
Забвенью предаешь Парнас,
Один пигмей литературный,
Из грязи выникнув главой,
Дерзнул взглянуть на свод лазурный
И вызывать тебя на бой.

26 апреля 1822

ГРАЖДАНСКОЕ МУЖЕСТВО

Ода

Кто этот дивный великан,
Одеян светлою броней,
Чело покойно, стройный стан,
И весь сияет красотою?
Кто сей, украшенный венком,
С мечом, весами и щитом,
Презрев врагов и горделивость,
Стоит гранитною скалой
И давит сильною пятой
Коварную несправедливость?

Не ты ль, о мужество граждан,
Неколебимых, благородных,
Не ты ли гений древних стран,
Не ты ли сила душ свободных,
О доблесть, дар благих небес,
Героев мать, вина чудес,
Не ты ль прославила Катонов,
От Катилины Рим спасла
И в наши дни всегда была
Опорой твердою законов.

Одушевленные тобой,
Презрев врагов, презрев обиды,
От бед спасали край родной,
Сияя славой, Аристиды;
В изгнании, в чужих краях
Не погасали в их сердцах
Любовь к общественному благу,
Любовь к согражданам своим:
Они благодетели им
И там, на стыд ареопагу.

Ты, ты, которая везде
Была народных благ порукой;
Которой славны на суде
И Панин наш и Долгорукой:
Один, как твердый страж добра,
Дерзал оспаривать Петра;
Другой, презревши гнев судьбины
И вопль и клевету врагов,
Совет опровергал льстецов
И был столпом Екатерины.

Велик, кто честь в боях снискал
И, страхом став для чуждых воев,
К своим знаменам приковал
Победу, спутницу героев!
Отчизны щит, гроза врагов,
Он достояние веков;
Певцов возвышенные звуки
Прославят подвиги вождя,
И, юношам об них твердя,
В восторге затрепещут внуки.

Как полная луна порой,
Покрыта облаками ночи,
Пробьет внезапно мрак густой
И путникам заблещет в очи —
Так будет вождь, сквозь мрак времен,
Сиять для будущих племен;
Но подвиг воина гигантский
И стыд сраженных им врагов
В суде ума, в суде веков —
Ничто пред доблестью гражданской.

Где славных не было вождей,
К вреду законов и свободы?
От древних лет до наших дней
Гордились ими все народы;
Под их убийственным мечом
Везде лилася кровь ручьем.
Увы, Аттил, Наполеонов
Зрел каждый век своей чредой:
Они являлись толпой...
Но много ль было Цицеронов?..

Лишь Рим, вселенной властелин,
Сей край свободы и законов,
Возмог произвести один
И Брутов двух и двух Катонов.
Но нам ли унывать душой,
Когда еще в стране родной,
Один из дивных исполинов
Екатерины славных дней,
Средь сонма избранных мужей
В совете бодрствует Мордвинов?

О, так, сограждане, не нам
В наш век роптать на провиденье —
Благодаренье небесам
За их святое снисхождение!
От них, для блага русских стран,
Муж добродетельный нам дан;
Уже полвека он Россию
Гражданским мужеством дивит;
Вотще коварство вокруг шипит —
Он наступил ему на выю.

Вотще неправый глас страстей
И с злобой зависть, козни строя,
В безумной дерзости своей
Чернят деяния героя.
Он тверд, покоен, невредим,
С презрением внимая им,
Души возвышенной свободу
Хранит в советах и суде
И гордым мужеством везде
Подпорой власти и народу.

Так в грозной красоте стоит
Седой Эльбрус в тумане мгlistом:
Вкруг буря, град, и гром гремит,
И ветер в ущельях вое с свистом,
Внизу несутся облака,
Шумят ручьи, ревет река;
Но тщетны дерзкие порывы:
Эльбрус, кавказских гор краса,
Невозмутим, под небеса
Возносит верх свой горделивый.

1823

НА СМЕРТЬ БЕЙРОНА

О чем средь ужасов войны
Тоска и траур погребальный?
Куда бегут на зов печальный
Священной Греции сыны?
Давно от слез и крови взмокла
Эллада средь святой борьбы;
Какою ж вновь бедой судьбы
Грозят отчизне Фемистокла?

Чему на шатком троне рад
Тиран роскошного Востока,
За что благодарить пророка
Спешат в Стамбуле стар и млад?
Зрю: в Миссолонге гроб средь храма
Пред алтарем святым стоит,
Весь катафалк огнем блестит
В прозрачном дыме фимнама.

Рыдая, вокруг его кипит
Толпа шумящего народа,—
Как будто в гробе том свобода
Воскресшей Греции лежит,
Как будто цепи вековые
Готовы вновь тягчить ее,
Как будто идут на нее
Султан и грозная Россия...

Царица гордая морей!
Гордись не силою гигантской,
Но прочной славой гражданской
И доблестью своих детей.
Парящий ум, светило века,
Твой сын, твой друг и твой поэт,
Увянул Бейрон в цвете лет
В святой борьбе за вольность грека.

Из океана своего
Текут лета с чудесной силой:
Нет ничего уже, что было,
Что есть, не будет ничего.
Грядой возлягут на твердыни
Почить усталые века,
Их беспощадная рука
Преобратит поля в пустыни.

Исчезнут порты в тьме времен,
Падут и запустеют грады,
Погибнут страшные армады,
Возникнет новый Карфаген...
Но сердца подвиг благородный
Пребудет для души молодой
К могиле Бейрона святой
Всегда звездою путеводной.

Британец дряхлый поздних лет
Придет, могильный холм укажет
И гордым внукам гордо скажет:
«Здесь спит возвышенный поэт!
Он жил для Англии и мира,
Был, к удивленью века, он
Умом Сократ, душой Катон
И победителем Шекспира.

Он всё под солнцем разгадал,
К гоненьям рока равнодушен,
Он гению лишь был послушен,
Властей других не признавал.
С коварным смехом обнажила
Судьба пред ним людей сердца,
Но пылкая душа певца
Презрительных не разлюбила.

Когда он кончил юный век
В стране, от родины далекой,
Убитый грустию жестокой,
О нем сказал Европе грек:
«Друзья свободы и Эллады
Везде в слезах в укор судьбы;
Одни тираны и рабы
Его внезапной смерти рады».

1824

* * *

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?
Нет, неспособен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век молодой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, своей не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенье века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Пусть с холодной душой бросают холодный взор
На бедствия своей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги.

1824

СТАНСЫ

(К. А. Б<естуже>ву)

Не сбылись, мой друг, пророчества
Пылкой юности моей:
Горький жребий одиночества
Мне сужден в кругу людей.

Слишком рано мрак таинственный
Опыт грозный разогнал,
Слишком рано, друг единственный,
Я сердца людей узнал.

Страшно дней не ведать радостных,
Быть чужим среди своих,
Но ужасней истин тягостных
Быть сосудом с дней младых.

С тяжелой грустью, с черной думою
Я с тех пор один брожу
И могилою угрюмою
Мир печальный нахожу.

Всюду встречи безотрадные!
Ищешь, суетный, людей,
А встречаешь трупы хладные
Иль бессмысленных детей...

1824

К Н. Н.

Ты посетить, мой друг, желала
Уединенный угол мой,
Когда душа изнемогала
В борьбе с болезнью роковой.

Твой милый взор, твой взор волшебный
Хотел страдальца оживить,
Хотела ты покой целебный
В взволнованную душу влить.

Твое отрадное участие,
Твое вниманье, милый друг,
Мне снова возвращают счастье
И исцеляют мой недуг.

Я не хочу любви твоей,
Я не могу её присвоить;
Я отвечать не в силах ей,
Моя душа твоей не стоит.

Полна душа твоя всегда
Одних прекрасных ощущений,
Ты бурных чувств моих чужда,
Чужда моих суровых мнений.

Прощаешь ты врагам своим —
Я не знаком с сим чувством нежным
И оскорбителям моим
Плачу отмщеньем неизбежным.

Лишь временно кажусь я слаб,
Движеньями души владею;
Не христианин и не раб,
Прощать обид я не умею.

Мне не любовь твоя нужна,
Занятья нужны мне иные:
Отрадна мне одна война,
Одни тревоги боевые.

Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет,—
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет.

1824 или 1825

ВЕРЕ НИКОЛАЕВНЕ СТОЛЫПИНОЙ

Не отравляй души тоскою,
Не убивай себя: ты мать;
Священный долг перед тобою
Прекрасных чад образовать.

Пусть их сограждане увидят
Готовых пасть за край родной,
Пускай они возненавидят
Неправду пламенной душой,
Пусть в сонме юных исполинов
На ужас гордых их узрим
И смело скажем: знайте, им
Отец Столыпин, дед Мордвинов.

Май 1825

БЕСТУЖЕВУ

Хоть Пушкин суд мне строгий произнес
И слабый дар, как недруг тайный, взвесил,
Но от того, Бестужев, еще нос
Я недругам в угоду не повесил.

Моя душа до гроба сохранит
Высоких дум кипящую отвагу;
Мой друг! Недаром в юноше горит
Любовь к общественному благу!

В чью грудь порой теснится целый свет,
Кого с земли восторг души уносит,
Назло врагам тот завсегда поэт,
Тот славы требует — не просит.

Так и ко мне, храня со мной союз,
С улыбкою и с ласковым приветом
Слетит порой толпа вертлявых муз,
И я вдруг делаюсь поэтом.

1825

А. А. БЕСТУЖЕВУ

Как странник грустный, одинокий,
В степях Аравии пустой,
Из края в край с тоской глубокой
Бродил я в мире сиротой.

Уж к людям холод ненавистный
Приметно в душу проникал,
И я в безумии дерзал
Не верить дружбе бескорыстной.
Незапно ты явился мне:
Повязка с глаз моих упала;
Я разуверился вполне,
И вновь в небесной вышине
Звезда надежды засияла.

Прими ж плоды трудов моих,
Плоды беспечного досуга;
Я знаю, друг, ты примешь их
Со всей заботливостью друга.
Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства:
Зато найдешь живые чувства,—
Я не Поэт, а Гражданин.

1823 или 1824

ИСПОВЕДЬ НАЛИВАЙКИ

«Не говори, отец святой,
Что это грех! Слова напрасны:
Пусть грех жестокий, грех ужасный...

Чтоб Малороссии родной,
Чтоб только русскому народу
Вновь возвратить его свободу,—
Грехи татар, грехи жидов,
Отступничество униатов,
Все преступления сарматов
Я на душу принять готов.
Итак, уж не старайся боле
Меня страшить. Не убеждай!
Мне ад — Украйну зреть в неволе,
Ее свободной видеть — рай!..

Еще от самой колыбели
К свободе страсть зажглась во мне;
Мне мать и сестры песни пели
О незабвенной старине.

Тогда, объятый низким страхом,
Никто не рабствовал пред ляхом;
Никто дней жалких не влачил
Под игом тяжким и бесславным:
Козак в союзе с ляхом был
Как вольный с вольным, равный с равным.
Но все исчезло, как призрак.
Уже давно узнал козак
В своих союзниках тиранов.
Жид, униат, литвин, поляк —
Как стаи кровожадных вранов,
Терзают беспощадно нас.
Давно закон в Варшаве дремлет,
Вотще народный слышен глас:

Ему никто, никто не внемлет.
К полякам ненависть с тех пор
Во мне кипит, и кровь бунтует.
Угрюм, суров и дик мой взор,
Душа без вольности тоскует.
Одна мечта и ночь и день
Меня преследует, как тень;
Она мне не дает покоя
Ни в тишине степей родных,
Ни в таборе, ни в вихре боя,
Ни в час мольбы в церквах святых.
«Пора! — мне шепчет голос тайный,—
Пора губить врагов Украины!»

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа,—
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной,—
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!»

ДУМЫ

Его высокопревосходительству
Николаю Семеновичу Мордвинову
с глубочайшим уважением
посвящает сочинитель

«Напоминать юношеству о подвигах предков, знакомить его со светлейшими эпохами народной истории, сдружить любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти — вот верный способ для привития народу сильной привязанности к родине: ничто уже тогда сих первых впечатлений, сих ранних понятий не в состоянии изгладить. Они крепнут с летами и творят храбрых для бою ратников, мужей доблестных для совета».

Так говорит Немцевич¹ о священной цели своих исторических песен (*Spiewy Historiczne*); эту самую цель имел и я, сочиняя думы. Желание славить подвиги добродетельных или славных предков для русских не ново; не новы самый вид и название думы.

Дума, старинное наследие от южных братьев наших, наше русское, родное изобретение. Поляки заняли ее от нас. Еще до сих пор украинцы поют думы о героях своих: Дорошенке, Нечае, Сагайдашном, Палее, и самому Мазепе приписывается сочинение одной из них. Сарницкий² свидетельствует, что на Руси пелись элегии в память двух храбрых братьев Струсов, павших в 1506 году в битве с валахами. Элегии сии, говорит он, у русских думами называются. Соглашая заунывный голос и телодвижения со словами, народ русский иногда сопровождает пение оных печальными звуками свирели.

В числе предлагаемых дум читатели найдут две пиесы, которые не должны бы войти в сие собрание: это «Рогнеда» и «Олег Вещий». Первая по составу своему более повесть, нежели дума; вторая есть историческая песня (*Spiew Historiczny*). Она слаба и неудачно исполнена; но я решился поместить ее в числе дум, чтобы показать состав исторических песен Немцевича, одного из лучших поэтов Польши.

Примечания, припечатанные при думах, кроме некоторых, сделаны П. М. Строевым.

ОЛЕГ ВЕЩИЙ

Рурик, основатель Российского государства, умирая (в 879 г.), оставил малолетнего сына, Игоря, под опекою своего родственника, Олега. Опекун мало-помалу сделался самовластным владете-

¹ *Spiewy Historiczne Niemcevicza*. См. Предисловие.

² *Annales Regni Pol.*, t. II, k. 1198. Слово в слово: Anno 1506 duo fratres Strusii (Felix; i Serzy, jak Swiadczy Nie-Siecki Herb. IV, 218) *adolescentes bellicosi a Valachis occubuerunt. De quibus etiam nunc elegiae, quas Dumas Russi vocant, canuntur, voce lugubri et gestu canentium se in utramque partem motantur, id quod canitur exprimentes, quin et tibiis inflatis rustica turba passim modulis lamentabilibus, haec eadem imitando exprimit.*

лем. Время его правления примечательно походом к Константинополю в 907 году. Летописцы рассказывают, что Олег, приплыв к стенам византийской столицы, велел вытащить ладьи на берег, поставил их на колеса и, развернув паруса, подступил к городу. Изумленные греки заплатили ему дань. Олег умер в 912 году. Его прозвали *Вещим* (мудрым).

1

Наскучив мирной тишиною,
Собрал полки Олег
И с ними полетел грозою
На цареградский брег.

2

Покрылся быстрый Днепр ладьями,
В берегах крутых взревел
И под отважными рулями,
Напενясь, закипел.

3

Дружина храбрая героев
На славные дела,
Сгорая пылкой жаждой боев,
С веселием текла.

4

В пути ей не были преграды
Кремнистых гор скалы.
Днепра подводные громады,
Ни ярых вод валы.

5

Седый Олег, шумящей птицей,
В Евксин через Лиман —
И пред Леоновой столицей
Раскинул грозный стан!

Мгновенно войсками покрылась
 Окрестная страна,
 И кровь повсюду заструилась,—
 Везде кипит война!

Горят, деревни, селы пышут,
 Прах вьется средь долин;
 В сердцах убийством хладным дышат
 Варяг и славянин.

Потомки Брута и Камилла
 Сокрылися в стенах;
 Уже их нега развратила,
 Нет мужества в сердцах.

Их император самовластный
 В чертогах трепетал
 И в астрологии, несчастный!
 Спасения искал.

Меж тем, замыслив приступ смелый,
 Ладьи свои Олег,
 Развив на каждой парус белый,
 Вдруг выдвинул на брег.

«Идем, друзья!» — рек князь России
 Геройским племенам —
 И шел по суше к Византии,
 Как в море по волнам.

Боязни, трепету покорный,
 Спасти желая трон,
 Послов и дань — за мир позорный
 К Олегу шлет Леон.

Объятый праведным презреньем,
 Берет князь русский дань,
 Дарит Леона примиреньем—
 И прекращает брань.

Но в трепет гордой Византии
 И в память всем векам
 Прибил свой щит с гербом России
 К царьградским воротам.

Успехом подвигов довольный
 И славой в тех краях,
 Олег помчался в град престольный
 На быстрых парусах.

Народ, узрев с крутого берега
 Возврат своих полков,
 Прославил подвиги Олега
 И восхвалял богов.

Весь Киев в пышном пированье
 Восторг свой изъявляя
 И князю Вещего прозвание
 Единогласно дал.

1821 или 1822

ОЛЬГА ПРИ МОГИЛЕ ИГОРЯ

Игорь, сын основателя Российского государства, Рурика, принял правление в 912 году. Первым его подвигом было усмирение возмущившихся древлян. Сие народное славянское племя обитало в лесах нынешней Волынской губернии. Игорь наложил дань, которую древляне платили до 945 года. В сие время ему захотелось умножить сбор, древляне возмущились снова, и корыстолюбивый

Игорь погиб: они привязали его к двум деревьям, нагнули их и таким образом разорвали надвое. По нем остался малолетний сын Святослав. Супруга его, Ольга, правила государством около десяти лет; скончалась в 969 году. Церковь причла ее к лику святых жен.

Осенний ветер бушевал,
Крутя дерев листьями,
И сосны древние качал
Над мрачными холмами.
С поляны встал седой туман
И всё сокрыл от взгляда;
Лишь Игорев синел курган,
Как грозная громада.

Слетала быстро ночь с небес;
Луна меж туч всплывала
И изредка в дремучий лес
Иль в дол лучом сверкала.
Настала полночь... Вдруг вдали
Как шелест по поляне...
То Ольга с Святославом шли
И стали при кургане.

И долго мудрая в тиши
Стояла пред могилой,
С волненьем горестной души
И с думою унылой.
О прошлом, плавая в мечтах,
Она, томясь, вздыхала;
Но огонь блеснул в ее очах,
И мудрая вещала:

«Мой сын! здесь пал родитель твой.
Вот храброго могила!
Но слез не лей: я мстью злой
Древлянам заплатила.
Ты видишь: дикою травой
Окрестность вся заглохла,
И кровь, пролитая рекой,
Тут, мнится, не обсохла!..

Так, сын мой! Игорь отомщен;
Моя спокойна совесть;
Но сам виновен в смерти он —
Внемли об оной повесть:

Уже надменный грек, смирен
Кровопролитной бранью,
Покой от северных племен
Купил позорной данью.

И Игорь, бросив меч и щит
К подножию кумира,
Молил Перуна, да хранит
Ненарушимость мира.
Из града в град везде текла
Его деяний слава,
И счастьем мирным процвела
Обширная держава.

Вдруг князя гордая душа
Покой пренебрегает
И, к золоту алчбой дыша,
Тревоги замышляет.
Дружины собралися в стан,
В доспехах яркой брани,
И полетели в край древлян
Сбирать покорства дани.

Древляне дань сполна внесли;
Но Игорь недовольный
Стал вновь налоги брать с земли
С дружиной своевольной.
«О князь! — народ ему вещал, —
Чего еще желаешь?..
От нас последнее ты взял —
И нас же угнетаешь!»

Но князь не внял молениям сим —
И угнетенных племя
Решилося сразиться с ним
И сбросить ига бремя.
«Погибель хищнику, друзья!
Пускай падет он мертвый!
Его сразит стрела моя,
Иль все мы будем жертвой!» —

Древлянский князь твердил в лесах...
Отважные восстали
И с дикой яростью в сердцах
На Игоря напали.

Дружина хищников легла
Без славы и без чести,
А твой отец, виновник зла,
Пал жертвой лютой мести!

Вот, Святослав, к чему ведет
Несправедливость власти;
И князь несчастлив и народ,
Где на престоле страсти.
Но вдвое князь — во всех местах
Внимает вопль с укором;
По смерти ждет его в веках
Потомство с приговором.

Отец будь подданным своим
И боле князь, чем воин;
Будь друг своим, гроза чужим,
И жить в веках достоин!» —
Так князю-отроку рекла
И, поклонясь кургану,
Мать с сыном тихо потекла
Ко дремлющему стану.

1821 или 1822

СВЯТОСЛАВ

Святослав, сын русского князя Игоря Руриковича, принял правление около 955 года. В истории славны походы его в Болгарию Дунайскую и битвы с греками. Перед одною из сих последних Святослав воспламенил мужество своих воинов следующей речью: «Бегство не спасет нас; волею и неволею должны мы сразиться. Не посраим отечества, но ляжем на месте битвы: мертвым не стыдно! Станем крепко. Иду пред вами, и когда положу голову, делайте что хотите!» Возвращаясь в отечество, Святослав (в 972 г.) зимовал у Днепровских порогов; на него напали печенеги, и герой погиб. Враги сделали чашу из его черепа.

И одинока и бледна,
В туманных облаках ныряя,
Текла двурога луна
Над берегом быстрого Дуная:
Ее перловые лучи
Стан усыпленный озаряли;
Сверкали копыя и мечи,
И ратников ряды дремали.

С отвагой в сердце и в очах,
Младой гусар, вдали от стана,
Закутан буркой, на часах
Стоял на высоте кургана.
Пред ним на острове реки
Шатры турецкие белели;
Как лес, вздымались бунчуки
И с ветром в воздухе шумели.

В давно минувших временах
Крылатой думою летая,
О прошлых он мечтал боях,
Гремевших на берегах Дуная.
«На сих степях,— так воин пел,—
С Цимискием в борьбе кровавой,
Не раз под тучей грозных стрел
Наш Святослав увенчан славой.

По манию его руки
Бесстрашный росс, пылая местью,
На грозные врагов полки
Летал — и возвращался с честью.
Он на равнинах дальних сих,
Для славы на беды готовый,
Дивил и чуждых и своих
Своею жизнью суровой.

Ему свод неба был шатром
И в летний зной, и в зимний холод,
Земля под войлоком — одром,
А пищею — конина в голод.
«Друзья, нас бегство не спасет!—
Гремел герой на бранном поле.—
Позор на мертвых не падет;
Нам биться волей иль неволей...

Сразимся ж, храбрые, смелей;
Не посраим отчизны милой —
И груды вражеских костей
Набросим над своей могилой!»
И горсть славян на тьмы врагов
Текла, вождя послушав голос,—
И у врага хладела кровь
И дыбом становился волос!..

С утра до вечера кипел
На ближнем поле бой кровавой;
Двенадцать раз герой хотел
Венчать победу звучной славой.
Валились горами тела,
И грек не раз бежал из боя;
Но рать врагов превозмогла
Над чудной доблестью героя!

Закинув на спину щиты,
Славяне шли, как львы с ловитвы,
Грозя с нагорной высоты
Кровопролитьем новой битвы.
Столь дивной изумлен борьбой,
Владыка гордой Византии
Свидание и мир с собой
Здесь предложил главе России.

И к славе северных племен
И цареградского престола
Желанный мир был заключен
Невдалеке от Доростола.
О князь, давно истлел твой прах,
Но жив еще твой дух геройский!
Питая к славе жар в сердцах,
Он окрыляет наши войски!

Он там, где пыл войны кипит,
Орлом ширясь перед строем,
Чудесной силою творит
Вождя и ратника героем!
Но что?.. Уж вспыхнула заря!..
Взгремела пушка вестовая —
И войска белого царя
Покрыли берега Дуная.

«Трубы призывной слышен звук!
Меня зовут на пир кровавый...
Туда, мой конь, где саблей стук,
Где можно пасть, венчавшись славой!..» —
Гусар умчался... гром взревел!
Свистя, сшибались картечи,
И смело строй на строй летел,
Ища с врагами ярой сечи...

Вдруг крови хлынула река!..
Отважный Вейсман пал, но с честью;
И рой наездников полка
На мусульман ударил местью.
Враги смешались, дали тыл —
И поле трупами покрыли,
И русский знамя водрузил,
Где греков праотцы громили.

1822

СВЯТОПОЛК

Святополк, сын Ярополка Святославича, усыновленный Владимиром Великим. Сей властолюбивый князь захватил великокняжеский престол и умертвил своих братьев: Бориса, Глеба и Святослава (в 1015 г.). Ярослав Владимирович, князь Новгородский, после продолжительных междоусобий разбил его на берегах реки Альты. Святополк бежал из пределов российских, скитался в пустынях Богемии, расслаб душою и телом и кончил жизнь в припадках ужаса (1019 г.): ему мечтались враги, непрерывно его преследующие. Проклятие современников увековечило память о Святополке. Летописи называют его *Окаянным*.

В глуши богемских диких гор,
Куда ни голос человека,
Ни любопытства дерзкий взор
Не проникал еще от века,
Где только в дебрях серый волк
С щетинистым вепрьем встречался,
Братоубийца Святополк,
От всех оставленный, скитался...

Ему был страшен взор людей:
Он видел в нем себе укору;
Страдальцу мнилось: «Ты злодей!» —
В глухих отзывах вторят горы.
«Злодей!» — казалось, вопиют
Ему лесов дремучих сени,
И всюду грозные бегут
За ним убитых братьев тени.

Из дебри в дебрь, из леса в лес
В неистовстве перебегая,
Встречал он всюду гнев небес

И кончил дни свои, страдая...
Никто слезы не уронил
На прах отверженного неба,
И всех проклятье заслужил
Убийца — брат святого Глеба.

И обитатель той земли,
Завидев, трепетом объятый,
Его могилу издали,
Бежа, крестил себя трикраты,
От современников до нас
Дошло ужасное преданье,
И сочетал народа глас
С ним Окаянного прозвание!

И в страшной повести об нем
Его ужасные злодеяства
Пересказав в кругу родном,
Твердил детям отец семейства:
«Ужасно быть рабом страстей!
Кто раз их предался стремлению,
Тот с каждым днем летит быстрее
От преступленья к преступленью».

1821

РОГНЕДА

А. А. В<оейково>й

Около 970 года варяг Рогволод, оставив отечество, поселился в Полоцке, главном городе тогдашней области Кривской. Он имел прекрасную дочь, по имени Рогнеду, или Гориславу: ее сговорили за великого князя Ярополка Святославича. Брат его, Владимир Великий, взяв Полоцк (в 980 г.), умертвил Рогволода, двух сыновей его, и насильно понял Рогнеду. От ней родился сын, Изяслав. Впоследствии Владимир разлюбил жену, высладал ее из дворца и заточил на берегу Лыбеди, в окрестностях Киева. Однажды, гуляя в сих местах, князь заснул крепко; мстительная Рогнеда, приблизившись, хотела нанести ему смертельный удар, но Владимир проснулся. В ярости он захотел казнить несчастную, велел ей надеть брачную одежду и, сидя на богатом ложе, ожидать казни. Входит Владимир; юный Изяслав, наученный Рогнедою, бросается к нему и подает меч: «Родитель! — говорит он, — ты не один: сын твой будет свидетелем твоей ярости». Изумленный Владимир простил Рогнеду и вместе с сыном отправил ее в новопостроенный город, названный им Изяславлем. Сие происшествие описано в некоторых летописях.

Потух последний солнца луч;
Луна обычный путь свершала —
То пряталась, то из-за туч,
Как стройный лебедь, выплывала;
И ярче заблистав порой,
Над берегом Лыбеди скромной,
Свет бледный проливала свой
На терем пышный и огромный.

Всё было тихо... лишь поток,
Журча, роптал между кустами
И перелетный ветерок
В дубраве шелестил ветвями.
Как месяц утренний, бледна,
Рогнеда в горести глубокой
Сидела с сыном у окна
В светлице ясной и высокой.

От вздохов под фатой у ней
Младые перси трепетали,
И из потупленных очей,
Как жемчуг, слезы упали.
Глядел невинный Изяслав
На мать умильными очами,
И, к персям матери припав,
Он обвивал ее руками.

«Родимая! — твердил он ей, —
Ты всё печальна, ты всё вянешь:
Когда же будешь веселей,
Когда грустить ты перестанешь?
О! Полно плакать и вздыхать,
Твои мне слезы видеть больно, —
Начнешь ты только горевать,
Встоскуюсь вдруг и я невольно.

Ты б лучше рассказала мне
Деянья деда Рогволода,
Как он сражался на войне,
И о любви к нему народа».
— «О ком, мой сын, напомнил ты?
Что от меня узнать желаешь?
Какие страшные мечты
Ты сим в Рогнеде пробуждаешь!..

Но так и быть; исполню я,
Мой сын, души твоей желанье:
Пусть Рогволодов дух в тебя
Вдохнет мое повествованье;
Пускай оно в груди молодой
Зажжет к делам великим рвенье,
Любовь к стране твоей родной
И к притеснителям презренье...

Родитель мой, твой славный дед,
От тех варягов происходит,
Которых дивный ряд побед
Мир в изумление приводит.
Покинув в юности своей
Дремучей Скании дубравы,
Вступил он в землю кривичей
Искать владычества и славы.

Народы мирной сей страны
На гордых пришлецов восстали
И смело грозных чад войны
В руках с оружием встречали...
Но тщетно! роковой удел
Обрек в подданство их герою —
И скоро дед твой завладел
Обширной Севера страной.

Воздвигся Полоцк. Рогволод
Приветливо и кротко правил
И, привязав к себе народ,
Власть князя полюбить заставил...
При Рогволоде кривичи
Томились жаждой дел великих;
Сверкали в дебрях их мечи,
Литовцев поражая диких.

Иноплеменные цари
Союза с Полоцком искали,
И чуждые богатыри
Ему служить за честь вменяли».
Но шум раздался у крыльца...
Рогнеда повесть прерывает
И видит: пыль и пот с лица
Гонец усталый отирает.

«Княгиня! — он вещал, войдя: —
Гоня зверей в дубраве смежной,
Владимир посетить тебя
Прибудет в терем сей прибрежный».
— «И так он вспомнил об жене...
Но не желание свиданья...
О нет! влечет его ко мне
Одна лишь близость расстоянья!» —

Вещала — и сверкнул в очах
Негодованья пламень дикий.
Меж тем уж пронеслись в полях
Совы полуночные крики...
Сгустился мрак... луна чуть-чуть
Лучом трепещущим светила;
Холодный ветер начал дуть,
И буря страшная завывала!

Лыбедь вскипела меж берегов;
С деревьев листья полетели;
Дождь проливной из облаков,
И град, и вихорь зашумели,
Скопились тучи... и с небес
Вилася молния змиею;
Гром грохотал — от молний лес
То здесь, то там пылал порою!..

Внезапно с бурей звук рогов.
В долине глухо раздается:
То вдруг замолкнет средь громов,
То снова с ветром пронесется...
Вот звуки ближе и громчей...
Замолкли... снова загрели...
Вот топот скачущих коней,
И всадники на двор взлетели.

То был Владимир. На крыльце
Его Рогнеда ожидала;
На сумрачном ее лице
Неведомая страсть пылала.
Смущенью мрачность приписав,
Герой супругу лобызает
И, сына милого обняв,
Его приветливо ласкает.

Отводят отроки коней...
С Рогнедой князь идет в палаты,
И вот, в кругу богатырей,
Садится он за пир богатый.
Под тучным вепрем стол трещит,
Покрытый скатертью браной;
От яств прозрачный пар летит
И вьется по избе брусяной.

Звездясь, янтарный мед шипит,
И ходит чаша круговая.
Все веселятся... но грустит
Одна Рогнеда молодая.
«Воспой деянья предков нам!» —
Бояну витязи вещали.
Певец ударил по струнам —
И вещи зарокотали.

Он славил Рюрика судьбу,
Пел Святославовы походы,
Его с Цимискием борьбу
И покоренные народы;
Пел удивление врагов,
Его нетрепетность средь боя,
И к славе пылкую любовь,
И смерть, достойную героя...

Бояна пламенным словам
Герои с жадностью внимали
И, праотцев чудясь делам,
В восторге пылком трепетали.
Певец умолкнул... но опять
Он пробудил живые струны
И начал князя прославлять
И грозные его перуны:

«Дружины чуждые грома,
Давно ль наполнил славой бранной
Ты дальней Нейстрии поля
И Альбиона край туманный?
Давно ли от твоих мечей
Упали Полоцка твердыни
И нивы храбрых кривичей
Преобратились в пустыни?

Сам Рогволод...» Вдруг тяжкий стон
И вопль отчаянья Рогнеды
Перерывают гуслей звон
И радость шумную беседы...
«О, успокойся, друг молодой! —
Вещал ей князь,— не слез достоин,
Но славы, кто в стране родной
И жил и кончил дни как воин.

Воскреснет храбрый Рогволод
В делах и в чадах Изяслава.
И пролетит из рода в род
Об нем, как гром гремевший, слава».
Рогнеды вид покойней стал;
В очах остановились слезы,
Но в них какой-то огонь сверкал,
И на щеках пылали розы...

При стуках чаш Боян поет,
Вновь тешит князя и дружину...
Но кончен пир — и князь идет
В великолепную одрину.
Сняв меч, висевший при бедре,
И вороненые кольчуги,
Он засыпает на одре
В объятьях молодой супруги.

Сквозь окон скважины порой
Проникнув, молния пылает
И брачный одр во тьме ночной
С четой лежащей освещает.
Бушующая, ставнями стучит
И свищет в щели ветер порывный;
По кровле град и дождь шумит,
И гром гремит бесперывный.

Князь спит покойно... Тихо встав,
Рогнеда свечечку зажигает
И в страхе, вся затрепетав,
Меч тяжкий со стены снимает...
Идет... стоит... ступила вновь...
Едва дыханье переводит...
В ней то кипит, то стынет кровь...
Но вот... к одру она подходит...

Уж поднят меч!.. вдруг грянул гром,
Потрясся терем озаренный —
И князь, объятый крепким сном,
Воспрянул, треском пробужденный,—
И пред собой Рогнеду зрит...
Ее глаза огнем пылают...
Поднятый меч и грозный вид
Преступницу изобличают...

Меч выхватив, ей князь вскричал:
«На что дерзнула в исступленье?..»
— «На то, что мне повелевал
Ужасный Чернобог,— на мщенье!»
— «Но долг супруги, но любовь?..»
— «Любовь! к кому?.. к тебе, губитель?..
Забыл, во мне чья льется кровь,
Забыл ты, кем убит родитель!..

Ты, ты, тиран, его сразил!
Горя преступною любовью,
Ты жениха меня лишил
И братнею облился кровью!
Испепелив мой край родной,
Рекой ты кровь в нем пролил всюду
И Полоцк, дивный красотой,
Преобратил развалин в груды.

Но недовольный... мстью злой
К бессильной пленнице пылая,
Ты брак свой совершил со мной
При зареве родного края!
Повлек меня в престольный град;
Тебе я сына даровала...
И что ж?.. еще презренья хлад
В очах тирана прочитала!..

Вот страшный ряд ужасных дел,
Владимира покрывших славой!
Не через них ли приобрел
Ты на любовь Рогнеды право?..
Страдала, мучилась, стена,
Вся жизнь текла моя в кручине;
Но, боги! не роптала я
На вас в злосчастиях доныне!..

Впервые днесь ропшу!.. увы!..
Почто губителя отчизны
Сразить не допустили вы
И совершить достойной тризны!
С какою б жадностию я
На брызжущую кровь глядела,
С каким восторгом бы тебя,
Тиран, угасшего узрела!..»

Супруг, слова прервав ея,
В одрину стражу призывает.
«Ждет смерть, преступница, тебя! —
Пылая гневом, восклицает.—
С зарей готова к казни будь!
Сей брачный одр пусть будет плаха!
На нем пронжу твою я грудь
Без сожаления и страха!»

Сказал — и вышел. Вдруг о том
Мгновенно слух распространился —
И терем, весь объятый сном,
От вопля женщин пробудился...
Бегут к княгине, слезы льют;
Терзаясь близостью разлуки,
Себя в молодые перси бьют
И белые ломают руки...

В тревоге все — лишь Изяслав
В объятьях сна, с улыбкой нежной,
Лежит, покровы разметав,
Покой вкушая безмятежный.
Об участи Рогнеды он
В мечтах невинности не знает;
Ни бури рев, ни плач, ни стон
От сна его не пробуждает.

Но перестал греметь уж гром,
Замолкли ветры в чаще леса,
И на востоке голубом
Редела мрачная завеса.
Вся в перлах, злате и серебре,
Ждала Рогнеда без боязни
На изукрашенном одре
Назначенной супругом казни.

И вот денница занялась,
Сверкнул сквозь окна луч багровый —
И входит с витязями князь
В одрину, гневный и суровый.
«Подайте меч!» — воскликнул он,
И раздалось везде рыданье,—
«Пусть каждого страшит закон!
Злодейство примет воздаянье!»

И, быстро в храмину вбежав:
«Вот меч! коль не отец ты ныне,
Убей! — вещает Изяслав,—
Убей, жестокий, мать при сыне!»
Как громом неба поражен,
Стоит Владимир и трепещет,
То в ужасе на сына он,
То на Рогнеду взоры мечет...

Речь замирает на устах,
Сперлось дыханье, сердце бьется;
Трепещет он; в его костях
И лютый хлад и пламень льется,
В душе кипит борьба страстей:
И милосердие и мщенье...
Но вдруг с слезами из очей —
Из сердца вырвалось: прощенье!

1821 или 1822

БОЯН

Сочинитель известного *Слова о полку Игореве* называет Бояна Соловьём старого времени. Неизвестно, когда жил сей славянский бард. Н. М. Карамзин, в *Пантеоне Росс. Авторов*, говорит о нем так: «Может быть, жил Боян во времена героя Олега; может быть, пел он славный поход сего аргонавта к Царю-граду, или несчастную смерть храброго Святослава, который с горстию своих погиб среди бесчисленных печенегов, или блестящую красоту Гостомысловой правнучки Ольги, ее невинность в сельском уединении, ее славу на троне». Не менее правдоподобно, что Боян был певцом подвигов Великого Владимира и знаменитых его сподвижников: Добрыни, Яна Усовича, Рогдая. Можно предполагать, что при блистательном дворе Северного Карломана находились и песнопевцы: их привлекали великолепные пиршества, богатырские потехи и приветливость доброго князя; а славные победы над грека-

ми, ляхами, печенегамн, ятвягамн и болгарамн могли воспламеннть
дух пнтнзма в снх днкнх сынах Севера. И грубые норманны ус-
лаждали слух свой песнями скальдов.

На брег Днепра, разбнв болгар,
Владнмир-Солнце возвратнлся
И в светлой грнднице, в кругу князей, бояр,
На шумном пнршестве с друзьямн веселнлся...

Мед, в старнках воспламеннвшн кровь,
Протекшую напомнимн младость,
Победы славные, волшебннцу-любовь
И лет утраченннх былую радость.

Беспечнее веселый круг шумел,
Звучнее гусли раздавалнсь.
Однн задумчнво Боян сндел;
В нем думы думами сменялнсь...

«Какое зрелнще мой внднт взор! —
Мечтал певец унылый: —
Бояр, князей и внтязей собор,
И государь, народу милый!

Днвятся нх бесчнслню побед
Иноплеменные державы,
И служнт, трепеща, завнстлнвый сосед
Для нх невольным отголоском славы.

Их нменамн все места
Исполнены на Севере угрюмом,
И каждый день нз уст в уста
Перелетают с шумом...

И я, днвнся нх делам,
Пел внтязей — и сонмы умолкали,
И персты вещне, по золотым струнам
Летая, славу рокоталн!

Но, может быть, времн губнтельннх полет
Всесокрушающею снлой
Деянья славные погубнт в бездне лет,
И будет Русь пространною могллой!..

И песни звучные Бояна-соловья
На пиршествах не станут раздаваться,
Забудут витязей, которых славил я,
И память их хвалой не будет оживляться.

Ах, так — предчувствую: Бояна вещий глас
Веков в пучине необъятной,
Как эхо дальное в безмолвной ночи час
Меж гор, умолкнет невозвратно...

По чувствам пламенным не оценит
Певца потомок юный;
В мрак неизвестности все песни рок умчит,
И звучные порвутся струны!

Но отлети скорей,
Моей души угрюмое мечтанье,
Не погашай последней искры в ней
Надежды — жить хоть именем в преданье».

1821

МСТИСЛАВ УДАЛЫЙ

Мстислав, сын Владимира Великого, был удельный князь Тмутараканский. Столица сего княжества, Тмутаракань (древняя Таматарха), находилась на острове Тамани, который образуют рукава реки Кубани при впадении ее в Азовское море. В соседстве жили косоги, племя горских черкесов. В 1022 году Мстислав объявил им войну. Князь Косожский, Редедя, крепкотелый великан, по обычаю богатырских времен предложил ему решить распрю единоборством. Мстислав согласился. Произошел бой: Тмутараканский князь поверг врага и умертвил его. Косоги признали себя данниками Мстислава. Он умер около 1036 года. Летописи называют его *Удалым*.

Как тучи, с гор текли косоги;
Навстречу им Мстислав летел.
Стенал поморья брег пологий,
И в поле гул глухой гремел.
Уж звук трубы на поле брани
Сзывал храбрейших из полков;
Уж храбрый князь Тмутаракани
Кипел ударить на врагов.

Вдруг, кожею покрыт медведя,
От вражьих отделясь дружин,
Явился с палицей Редедя,
Племен косожских властелин.
Он к войску шел, как в океане
Валится в бурю черный вал,
И стал, как сосна, на кургане
И громогласно провещал:

«Почто кровавых битв упорством
Губить и войско и народ?
Решим войну единоборством:
Пускай за всех один падет!
Иди, Мстислав, сразись со мною:
И кто в сей битве победит,
Тому владеть врага строною
Или отдать ее на щит!»

«Готов!» — князь русский восклицает
И, грозный, стал перед бойцом,
С коня — и на курган взлетает
Удалый ясным соколом.
Сошлись, схватились, в бой вступили...
Могущ и князь и великан!
Друг друга стиснули, сдавили;
Трещат... колеблется курган!..

Стоят — и миг счастливый ловят;
Как вихрь крутятся... прах летит...
Погибель, падая, готовят,
И каждый яростью кипит...
Хранят молчание два строя,
Но души воинов в очах:
Смотря по переменам боя,
В них блещет радость или страх.

То русский хочет славить бога,
Простерши длани к небесам;
То вдруг слышна мольба косога:
«О! помоги, всевышний, нам!»
И вот князья, напрягши силы,
Друг друга ломают, льется пот...

На них, как верви, вздулись жилы;
Колеблется и сей и тот...
Глаза, налившись кровью, блещут,
Колена крепкие дрожат,
И мышцы сильные трепещут,
И искры сыплются от лат...
Но вот Мстислав изнемогает —
Он падает!.. конец борьбе...
«Святая дева! — восклицает: —
Я храм сооружу тебе!..»

И сила дивная мгновенно
Влилася в князя... он восстал,
Рванулся бурей разъяренной,
И новый Голиаф упал!
Упал — и стал курган горою...
Мстислав широкий меч извлек
И, придавив врага пятою,
Главу огромную отсек.

1822

МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ

Несчастный Михаил, сын Тверского князя Ярослава Ярославича, по смерти Андрея Александровича (1304 г.) должен был вступить на великокняжеский престол; но племянник его, Георгий Данилович, князь Московский, начал оспаривать у него сие право. Россия находилась тогда под владычеством моголов: оба князя отправились в Орду, и хан (Тохта) утвердил Михаила. Более десяти лет протекло мирно; но злоба не угасла в сердце Георгия, он не пропускал случая вредить Михаилу. Между тем Тохта умер (1312 г.); ему наследовал сын его, Узбек. Несогласия князей возобновились, и Георгия призвали в Орду (1315 г.). Целых три года он раболепствовал перед Узбеком, дарами и происками снискал себе милостивое расположение и, в довершение всего, женился на сестре его Кончаке (1318 г.). Хан наименовал Георгия старейшим из князей русских и дал ему войско. Михаил выступил к нему навстречу, сразился и одержал победу: татарский полководец Кавгадый и супруга Георгия впали в плен; последняя умерла скоропостижно в Твери. Раздраженный Узбек призвал Михаила в Орду, жестоко истязал его и, наконец, велел лишить жизни. Церковь причла сего князя-страдальца к лику св. мучеников.

За Узбеком вслед влекомый
Кавгадыем, Михаил
В край чужой и незнакомый

С сыном юношей вступил.
Мчался Терек быстрым бегом
Меж нависших берегов;
Зрелись гор хребты под снегом
Из-за сизых облаков.

Стан Узбеков за рекою,
На степи, в глуши пестрел;
Всюду воины толпою;
Всюду гул глухой шумел.
Ветхим рубищем покрытый,
С мрачной грустию в груди,
Князь — страдалец знаменитый
Сел в цепях на площади.

Несчастливца обступили
Любопытные толпой:
«Это князь был! — говорили
И качали головой.—
Он обширными странами,
Как Узбек наш, обладал;
Он с отважными полками
Кавгадыя поражал!..»

В речи вслушавшись чужие,
Загрустил сильнее князь;
Вспомнил славу — и впервые
Слезы брызнули из глаз.
«До какого униженья,—
Он мечтал, потупя взор,—
Довели нас заблужденья
И погибельный раздор!

Те, которых трепетали
Хитрый грек и храбрый лях,
Ныне вдруг рабами стали
И пред ханом пали в прах!
Я любил страну родную
И пылал разрушить в ней
Наших бед вину прямую:
Распри злобные князей.

О Георгий! ты виною,
Ты один тому виной,

Если кровь сограждан мною
Пролита в стране родной!
Ты на дядю поднял длани;
Ты в душе был столь жесток,
Что на Русь всю лютость брани
И татар толпы навлек!

Смерть свою давно предвижу;
Для побега други есть,—
Но побегом не унижу
Незапятнанную честь!
Так, прав чести не нарушу;
Пусть мой враг, гонитель мой,
Насыщает в злобе душу
Лютым мщеньем надо мной!

Пусть вымаливает казни!
Тверд и прав в душе своей,
Смерть я встречу без боязни,
Как в боях слетался с ней.
Не хочу своим спасеньем
На родимый край привлечь
Кавгадыя с лютым мщеньем,
И Узбека грозный меч!»

Подкрепленный сею думой,
Приподнялся Михаил
И, спокойный, но угрюмый,
Тихо в свой шатер вступил.
Кавгадыем обольщенный,
Между тем младый Узбек,
В сердце трепетный, смятенный,
Смерть невинному изрек...

Уж Георгий с палачами
И коварный друг царя
Шли поспешными шагами
К жертве, злобою горя...
Пред иконою святою
Михаил псалом читал;
Вдруг с той вестью роковою
Отрок княжеский вбежал...

Вслед за ним убийцы с криком
Ворвались в густых толпах:

Блещет гнев во взоре диком,
Злоба алчная в чертах...
Ворвались — и напали...
Как гроза в глухой ночи,
Над упавшим засверкали
Ятаганы и мечи...

Кровь из язв лилась струею...
И пробил его конец:
Сердце хладною рукою
Вырвал дикий Романец.
Князь скончался жертвой мщенья!
С той поры он всюду чтим:
Михаила за мученья
Церковь празднует святым.

1821 или 1822

ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ

Подвиги великого князя Дмитрия Иоанновича Донского известны всякому русскому. Он был сын великого князя Московского Иоанна Иоанновича, родился в 1350 году, великокняжеский престол занял 1362 года. Владычествовавшая над Россиею Золотая или Сарайская Орда в его время раздиралась междоусобиями. Один из князей татарских, Мамай, властвовал там под именем Мамант-Салтана, слабого и ничтожного хана. Недовольный великим князем, Мамай отправил (в 1378 г.) мурзу Бегича со множеством татарского войска; ополчение Дмитрия встретило их на реке Воже, сразилось мужественно и одержало победу. Раздраженный Мамай, совокупив еще большие толпы иноплеменников, двинулся с ними к пределам России. Дмитрий вооружился; противники сошлись на Куликовом поле (при речке Непрядве, впадающей в Дон); бой был жестокий и борьба ужасная (8 сентября 1380 г.). На пространстве двадцати верст кровь русских мешалась с татарскою. Наконец Мамай предался бегству, и Дмитрий восторжествовал. Сия знаменитая победа доставила ему великую славу и уважение современников. Потомство наименовало его *Донским*. Дмитрий умер в 1389 году.

«Доколь нам, други, пред тираном
Склонять покорную главу
И заодно с презренным ханом
Позорить сильную Москву?
Не нам, не нам страшиться битвы
С толпами грозными врагов:
За нас и Сергия молитвы
И прах замученных отцов!

Летим — и возвратим народу
Залог блаженства чуждых стран:
Святую праотцев свободу
И древние права граждан.
Туда! за Дон!.. настало время!
Надежда наша — бог и меч!
Сразим моголов и, как бремя,
Ярмо Мамая сбросим с плеч!»

Так Дмитрий, рать обозревая,
Красуясь на коне, гремел
И, в помощь бога призывая,
Перуном грозным полетел...
«К врагам! за Дон! — вскричали войски, —
За вольность, правду и закон!» —
И, повторяя клик геройский,
За князем ринулися в Дон.

Несутся полные отваги,
Волн упреждают быстрый бег;
Летят, как соколы, — и стяги
Противный осенили брег.
Мгновенно солнце озарило
Равнину и брега реки
И взору вдалеке открыло
Татар несметные полки.

Луга, равнины, доли, горы
Толпами пестрыми кипят;
Всех сил объять не могут взоры...
Повсюду бердыши блещут.
Идут как мрачные дубравы —
И вторят степи гул глухой;
Идут... там хан, здесь чада славы —
И закипел кровавый бой!..

«Бог нам прибежище и сила! —
Рек Дмитрий на челе полков, —
Умрем, когда судьба судила!» —
И первый грянул на врагов.
Кровь хлынула — и тучи пыли,
Поднявшись вихрем к небесам,
Светило дня от глаз сокрыли,
И мрак простерся по полям.

Повсюду хлещет кровь ручьями,
Зеленый побагровел дол:
Там русский поражен врагами,
Здесь пал растоптанный могол,
Тут слышен копий треск и звуки,
Там сокрушился меч о меч.
Летят отсеченные руки,
И головы катятся с плеч.

А там, под тению кургана,
Презревший славу, сан и свет,
Лежит, низвергнув великана.
Отважный инок Пересвет
Там Белозерский князь и чада,
Достойные его любви,
И окрест их татар громада,
В своей потопшая крови.

Уж многие из храбрых пали,
Беликодушный сонм редел;
Уже враги одолевали,
Татарин дикий свирепел.
К концу клонился бой кровавый,
И черный стяг был пасть готов,—
Как вдруг орлом из-за дубравы
Волинский грянул на врагов.

Враги смешались — от кургана
Промчалось: «Силен русский бог!» —
И побежала рать тирана,
И сокрушен гордыни рог!
Помчался хан в глухие степи,
За ним шумящим враном страх;
Расторгнул русский рабства цепи
И стал на вражеских костях!..

Но кто там, бледен, близ дубравы,
Обрызган кровию лежит?
Что зрю?.. Первоначальник славы¹,
Димитрий ранен... страшный вид!..
Ужель изречено судьбою
Ему быть жертвой битвы сей?
Но вот к стелющему герою
Притек сонм воев и князей.

¹ Выражение летописца.

Вот, преклонив трофеи брани,
Гласят: «Ты победил! восстань!»
И князь, воздевши к небу длани:
«Велик нас ополчивший в брань!
Велик! — речет, — к нему молитвы!
Он Сергия услышал глас;
Ему вся слава грозной битвы;
Он, он один прославил нас!»

1822

ГЛИНСКИЙ

Князь Михаил Львович Глинский некогда знатный и богатый литовский вельможа. Род его происходил от татарского князя, выехавшего из Орды во времена вел. князя Витовта. Воспитанный в Германии, Глинский принял тамошние обычаи, долго служил императору и отличался храбростью и умом. Возвратясь в отечество, он снискал милость короля Александра и был его любимцем и другом. Когда (в 1508 г.) Сигизмунд сделался королем, завистники обнесли пред ним Глинского. Главный враг его был пан Забржезенский. Князь Глинский, обще с двумя братьями передался вел. князю Московскому Василию Иоанновичу, был принят им с уважением и сделан воеводою. Глинский сражался против своих соотечественников и оказал особенные услуги при взятии Смоленска (1514 г.). Вел. князь обещал его сделать владетелем сего княжества; но не сдержал слова. Глинский вошел в переписку с Сигизмундом и намерен был ему передаться, его схватили, привезли в Москву и заключили в темницу. Там он просидел более двенадцати лет. Вел. князь женился на его племяннице, княжне Елене, дочери брата его Василия. Через год царица выпросила своему дяде прощение (1527 г.), и кн. Глинский пришел еще в большую силу. По кончине вел. князя Елена сделалась правительницею государства. Князь Михаил был одним из сильнейших членов Думы: нескромная слабость племянницы к любимцу ее, князю Телепневу-Оболенскому, возбудила в нем справедливое негодование, он стал делать ей увещания и подпал гневу; снова его заключили в темницу, где он и умер (в 1534 г.).

Под сводом обширным темницы подземной,
Куда луч приветный отрадных светил
Страшился проникнуть, где в области темной
Лишь бледный свет лампы, мерцая, бродил, —
Гремевший в Варшаве, Литве и России
Бесславьем и славой свершенных им дел,
В тяжелой цепи по рукам и по вые,
Князь Глинский задумчив сидел.

Волос уцелевших седые остатки
На сморщенно веком и грустью чело
Спадали кудрями, вясь в беспорядке:
Страданье на Глинском бразды провело...
Сидел он, склоненный на длань головою,
Угрюмою думой в минувшем летал;
Звучал средь безмолвья цепями порою
И тяжко, стоная, вздыхал.

При нем неотступно в темнице сидела
Прелестная дева — отрада слепца;
Свободой, и счастьем, и светом презрела,
И блага все в жертву она для отца.
Блеск пышный чертога для ней заменила
Могильная мрачность темницы сырой;
Здесь девичья прелесть дочь нежная скрыла
И жизни зарю молодой.

«О, долго ли будешь, стоная, лить слезы? —
Рекла она нежно.— Печали забудь!
Быть может, расторгнешь сии ты железы:
Надежда лелеет и узников грудь!
Быть может, остаток несчастливой жизни,
Спокою волненье и бурю души,
Как гражданин верный, на лоне отчизны
Ты счастливо кончишь в тиши».

«На лоне отчизны! — воскликнул изменник.—
Не мне утешаться надеждою сей:
Страшась угрызений, стенающий пленник,
Несчастный, и вспомнить трепещет о ней.
Могу ль быть покоен хотя на мгновенье?
Червь совести тайно терзает меня;
К себе самому я питаю презренье
И мучусь, измену кляня.

Природа дала мне возможные блага,
Чтоб славным быть в мире иль грозным в войне:
Богатство, познания, порода, отвага —
Всё с щедростью было ниспослано мне.
Желал еще славы и лавров победы;
Душа трепетала, дух юный кипел...
Вдруг поднялись тучей на Польшу соседы —
И лавр мне достался в удел.

Могольские орды влетели бедою:
Литва задымилась в пылу боевом —
И старцы, и жены, и дети толпою
Влеклися в неволю свирепым врагом;
И в пепел деревни и пышные грады;
И буйный татарин в крови утопал;
Ни веку, ни полу не зрели пощады —
Меч жадный над всеми сверкал.

Встревожен невзгодой, я к хищным навстречу
С дружиною храбрых помчался грозой,
Достиг — и отважно в кровавую сечу,
И кровь полилася, напелясь, рекой.
Покрылись телами поля и равнины:
Литвин и татарин упорно стоял;
Но с яростью новой за мною дружины —
И гордый могол побежал.

Боролся с кончиной властитель державный;
Тревогой и плачем наполнен дворец —
И вдруг о победе и громкой и славной
От Глинского с вестью примчался гонец.
Чело Александра веселость покрыла:
«Когда торжествует родная страна,—
Он рек предстоящим,— тогда и могила,
Поверьте, друзья, не страшна!»

Сим подвигом славным чрез меру надменный,
Не мог укротить я волненья страстей —
И род Забржезенских, давно мне враждебный,
Внезапно средь ночи пал жертвой мечей.
Погиб он — и други мне стали врагами,
И, предан душою лишь мести одной,
Дерзнул я ввестися с чужими полками
В отчизну свирепой войной.

О мука! о совесть — тиран неотступный!..
Ни зрелище стягов родимой земли,
Ни тайный глас сердца из длани преступной
В час битвы исторгнуть меча не могли!
Среди раздраженных, пылающих мщеньем,
И ярых и грозных душой москвитян,
Увы, к преступленью влеком преступленьем,
Разил я своих сограждан!..

Бой кончен — и Глинский узрел на равнине
Растерзанных трупы и груды костей;
Душа предалася невольно кручине,
И брызнули слезы на грудь из очей.
Не в пору познал я тоску преступленья!
Вся гнусность измены представилась мне;
Молил Сигизмунда проступкам забвенья,
Мечтал о родной стороне!

Но гений враждебный о тайне душевной
Царю в злое время известие дал,
И русский властитель, смущенный и гневный,
Раскаянье сердца изменой назвал:
Лишил меня зренья убийцы руками,
Забывши и славу и старость мою,
И дядю царицы, опутав цепями,
Забросил в темницу сию.

Лет десять живу я в могиле сей холодной;
Ни звезды, ни солнце не светят ко мне;
Тоскую, угрюмый, в душе безотрадной
И думой стремлюся к родимой стране.
Приметно слабею в утраченных силах,
Чуть сердце трепещет, немеет мой глас,
И медленней льется кровь холодная в жилах,
И смерти уж близится час.

О дочь моя! скоро, над гробом рыдая,
Ты бросишь на прах мой горсть чуждой земли.
Скорее, друг юный, беги сего края:
От милой отчизны жить грустно вдали!
Свободный народ наш, деяньями славный,
Издавна известный в далеких краях,
Проступки несчастных отцов своенравно
Не будет отмщать на детях.

Край милый увидишь — и сердца утраты
И юных лет горе в душе облегчишь;
И башни, и храмы, и предков палаты,
И сердцу святыя гробницы узришь!
Отца проклиная, дочь милую нежно

И ласково примут отчизны сыны —
И ты дни окончишь в тиши безмятежной
На лоне родимой страны.

Пусть рок мой, исполнен тоской и мученьем,
Пребудет примером отчизны моей!
Да каждый, пылая преступным отмщеньем,
Идти не посмеет стезею страстей!
Да видят во мне моей родины братья,
Что рано иль поздно — измене взгремят
Ужасные сердцу сограждан проклятья
И совесть от сна пробудят!»

Несчастный умолкнул с душевной тоскою;
Вдруг стон по темнице — и Глинский упал
На дочери лоно седой головою,
И холод кончины его оковал!..
Так Глинский — муж Думы и пламенный воин —
Погиб на чужбине, как гнусный злодей;
Хвалы бы он вечной был в мире достоин,
Когда бы не буря страстей.

1822

КУРБСКИЙ

Князь Андрей Михайлович Курбский, знаменитый вожь, писатель и друг Иоанна Грозного. В Казанском походе, при отражении крымцев от Тулы (1552 г.) и в войне Ливонской (1560 г.) он оказал чудеса храбрости. В 1564 г. Курбский был воеводою в Дерпте. В сие время Грозный преследовал друзей прежнего любимца, Адашева, в числе которых был и Курбский: ему делали выговоры, оскорбляли и, наконец, угрожали. Опасаясь гибели, Курбский решился изменить отечеству и бежал в Польшу. Сигизмунд II принял его под свое покровительство и дал ему в поместье княжество Ковельское. Отсюда Курбский вел бранную и язвительную переписку с Иоанном; а потом еще далее простер свое мщенье: забыл отечество, предводительствовал поляками во время их войны с Россией и возбуждал против нее хана Крымского. Он умер в Польше. Пред смертию сердце его несколько умягчилось: он вспомнил о России и называл ее милым отечеством. Спасаясь из Дерпта, Курбский оставил там супругу и девятилетнего сына; потом, в Польше, вторично женился на княгине Дубровицкой, с которою король повелел ему развестися. Курбский известен также литературными своими трудами: он описал жестокости царя Иоанна и перевел некоторые беседы Златоустого на «Деяния св. апостолов». В конце XVII века правнуки его выехали в Россию.

На камне мшистом в час ночной,
Из милой родины изгнанник,
Сидел князь Курбский, вождь молодой,
В Литве враждебной грустный странник,
Позор и слава русских стран,
В совете мудрый, страшный в брани,
Надежда скорбных россиян,
Гроза ливонцев, бич Казани...

Сидел — и в перекатах гром
На небе мрачном раздавался,
И темный лес, шумя кругом,
От блеска молний освещался.
«Далёко от страны родной,
Далёко от подруги милой,—
Сказал он, покачав главой,—
Я должен век вести унылый.

Уж боле пылких я дружин
Не поведу к крововой брани,
И враг не побежит с равнин
От покорителя Казани.
До дряхлой старости влача
Унылу жизнь в тиши бесславной,
Не обнажу за Русь меча,
Гоним судьбою своенравной.

За то, что изнемог от ран,
Что в битвах край родной прославил,
Меня неистовый тиран
Бежать отечества заставил:
Покинуть сына и жену,
Покинуть всё, что мне священо,
И в чуждую уйти страну
С душою, грустью отягченной.

В Литве я ныне стал вождем;
Но, ах! ни почести велики
Не веселят в краю чужом,
Ни ласки чуждого владыки.
Я всё стенаю, и грущу,
И на пирах сию угрюмый,
Чего-то для души ищу,
И часто погружаюсь в думы...

И в хижине и во дворце
Меня глас внутренний тревожит,
И мрачность на моем лице
Веселость шумных пиршеств множит...
Увы! всего меня лишил
Тиран отечества драгова.
Сколь жалок, рок кому судил
Искать в стране чужой покровя».

Июнь 1821

СМЕРТЬ ЕРМАКА

П. А. Муханову

Под словом Сибирь разумеется ныне неизмеримое пространство от хребта Уральского до берегов Восточного океана. Некогда Сибирским царством называлось небольшое татарское владение, коего столица Искер, находилась на реке Иртыше, впадающей в Обь. В половине XVI века сие царство зависело от России. В 1569 году царь Кучум был принят под руку Иоанна Грозного и обязался платить дань. Между тем сибирские татары и подвластные им остяки и вогуличи вторгались иногда в пермские области. Это заставило российское правительство обратить внимание на обеспечение сих краев укрепленными местами и умножением в них народонаселения. Богатые в то время купцы Строгоновы получили во владение обширные пустыни на пределах Пермии: им дано было право заселить их и обработать. Ссылая вольницу, сии деятельные помещики обратились к казакам, кои, не признавая над собою никакой верховной власти, грабили на Волге промышленников и купеческие караваны. Летом 1579 года 540 сих удалцов пришли на берега Камы; предводителей у них было пятеро, главный назывался Ермак Тимофеев. Строгоновы присоединили к ним 300 человек разных всельников, снабдили их порохом, свинцом и другими припасами и отправили за Уральские горы (в 1581 г.). В течение следующего года казаки разбили татар во многих сражениях, взяли Искер, пленили Кучумова племянника, царевича Маметкула, и около трех лет господствовали в Сибири. Между тем число их мало-помалу уменьшалось: много погибло от оплошности. Сверженный Кучум бежал в киргизские степи и замышлял способы истребить казаков. В одну темную ночь (5 августа 1584 г.), при сильном дожде, он учинил неожиданное нападение: казаки защищались мужественно, но не могли стоять долго; они должны были уступить силе и незапности удара. Не имея средств к спасению, кроме бегства, Ермак бросился в Иртыш, в намерении переплыть на другую сторону, и погиб в волнах. Летописцы представляют сего казака героя крепкотелым, осанистым и широкоплечим; он был роста среднего, имел плоское лицо, быстрые глаза, черную бороду, темные и кудрявые волосы. Несколько лет после сего Сибирь была оставлена россиянами, потом при-

шли царские войска и снова завладели ею. В течение XVII века непрерывные завоевания разных удальцов-предводителей отнесли пределы Российского государства к берегам Восточного океана.

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии летали,
Бесперерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой.

Товарищи его трудов,
Побед и громозвучной славы,
Среди раскинутых шатров
Беспечно спали, близ дубравы.
«О, спите, спите,— мнил герой,—
Друзья, под бурю ревущей;
С рассветом глас раздастся мой,
На славу иль на смерть зовущий!

Вам нужен отдых; сладкий сон
И в бурю храбрых успокоит;
В мечтах напомним славу он
И силы ратников удвоит.
Кто жизни не щадил своей
В разбоях, злато добывая,
Тот думать будет ли о ней,
За Русь святую погибая?

Своей и вражьей кровью смыв
Все преступленья буйной жизни
И за победы заслужив
Благословения отчизны,—
Нам смерть не может быть страшна;
Свое мы дело совершили:
Сибирь царю покорена,
И мы — не праздно в мире жили!»

Но роковой его удел
Уже сидел с героем рядом
И с сожалением глядел
На жертву любопытным взглядом.
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии летали,

Бесперерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали.

Иртыш кипел в крутых брегах,
Вздымались седые волны,
И рассыпались с ревом в прах,
Бия о брег, козачьи челны.
С вождем покой в объятья сна
Дружина храбрая вкушала;
С Кучумом буря лишь одна
На их погибель не дремала!

Страшась вступить с героем в бой,
Кучум к шатрам, как тать презренный,
Прокрался тайною тропой,
Татар толпами окруженный.
Мечи сверкнули в их руках —
И окровавилась долина,
И пала грозная в боях,
Не обнажив мечей, дружина...

Ермак воспрянул ото сна
И, гибель зря, стремится в волны,
Душа отвагою полна,
Но далеко от берега челны!
Иртыш волнуется сильней —
Ермак все силы напрягает,
И мощною рукой своей
Валы седые рассекает...

Плывет... уж близко челнока —
Но сила року уступила,
И, закипев страшной, река
Героя с шумом поглотила.
Лишивши сил богатыря
Бороться с ярою волною,
Тяжелый панцирь — дар царя
Стал гибели его виною.

Ревела буря... вдруг луной
Иртыш кипящий осребрился,
И труп, извергнутый волной,
В броне медяной озарился.
Носились тучи, дождь шумел,

И молнии еще сверкали,
И гром вдали еще гремел,
И ветры в дебрях бушевали.

1821

БОРИС ГОДУНОВ

Борис Федорович Годунов является в истории с 1570 года: тогда он был царским оруженосцем. Возвышаясь постепенно, Годунов сделался боярином и конюшим: титула важные при прежнем дворе российском. Сын Иоанна Грозного, царь Феодор, сочетался браком с его сестрою, Ириной Феодоровною. Тогда Годунов пришел в неограниченную силу; он имел столь великое влияние на управление государством, что иностранные державы признавали его соправителем сего кроткого, слабодушного монарха. По кончине Феодора Иоанновича (1598 г.), духовенство, государственные чины и поверенные народа избрали Годунова царем. Правление его продолжалось около осьми лет. В сие время Годунов старался загладить неприятное впечатление, какое оставили в народе прежние честолюбивые и хитрые его виды; между прочим ему приписывали отдаление от двора родственников царской фамилии (Нагих, кн. Сицких и Романовых) и умерщвление малолетнего царевича Димитрия, брата царя Феодора, в 1591 году погибшего в Угличе. Годунов расточал награды царедворцам, благодетельствовал народу и всеми мерами старался приобрести общественную любовь и доверенность. Между тем явился ложный Димитрий, к нему пристало множество приверженцев, и государству угрожала опасность. В сие время (1605 г.) Годунов умер незапно; полагают, что он отравился. Историки несогласны в суждениях о Годунове: одни ставят его на ряду государей великих, хвалят добрые дела и забывают о честолюбивых его происках; другие — многочисленнейшие — называют его преступным, тираном.

Москва-река дремотною волной
Катилась тихо меж берегами;
В нее, гордясь, гляделся Кремль стеной
И златоверхими главами.
Умолк по улицам и вдоль берегов
Кипящего народа гул шумящий.
Всё в тихом сне: один лишь Годунов
На ложе бодрствует стелящий.

Пред образом Спасителя, в углу,
Лампада тусклая трепещет,
И бледный луч, блуждая по челу,
В очах страдальца страшно блещет.
Тут зрелся скиптр, корона там видна,

Здесь золото и серебро сияло!
Увы! лишь добродетели и сна
Великому недоставало!..

Он тщетно звал его в ночной тиши:
До сна ль, когда шептала совесть
Из глубины встревоженной души
Ему цареубийства повесть?
Пред ним прошедшее, как смутный сон,
Тревожно; оживлялось думой —
И, трепету невольно предан, он
Страдал в душе своей угрюмой.

Ему представился тот страшный час,
Когда, достичь пылая трона,
Он заглушил священный в сердце глас,
Глас совести, и веры, и закона.
«О, заблуждение! — он возопил: —
Я мнил, что глас сей сокровенный
Навек сном непробудным усыпил
В душе, злодейством омраченной!

Я мнил: взойду на трон — и реки благ
Пролью с высот его к народу;
Лишь одному злодейству буду враг;
Всем дам законную свободу.
Начну торговлею везде цвести
И грады пышные и сёла;
Полезному открою все пути
И возвеличу блеск престола.

Я мнил: народ меня благословит,
Зря благоденствие отчизны,
И общая любовь мне будет щит
От тайной сердца укоризны.
Добро творю, — но ропота души
Оно остановить не может:
Глас совести в чертогах и в глуши
Везде равно меня тревожит.

Везде, как неотступный страж, за мной
Как злой, неумолимый гений,
Влачится вслед — и шепчет мне порой

Невнятно повесть преступлений!..
Ах! удались! дай сердцу отдохнуть
От нестерпимого страданья!
Не раздирай страдальческую грудь:
Полна уж чаша наказанья!

Взываю я,— но тщетны все мольбы!
Не отгоню ужасной думы:
Повсюду зрю грозящий перст судьбы
И слышу сердца глас угрюмый.
Терзай же, тайный глас, коль суждено,
Терзай! Но я восторжествую
И смою черное с души пятно
И кровь царевича святую!

Пусть злобный рок преследует меня —
Не утомлюся от страданья,
И буду царствовать до гроба я
Для одного благодаянья.
Святою мудростью и правотой
Свое правление прославлю
И прах несчастного почтить слезой
Потомка позднего заставлю.

О так! хоть станут проклинать во мне
Убийцу открока святого,
Но не забудут же в родной стране
И дел полезных Годунова».
Страдая внутренно, так думал он;
И вдруг, на глас святой надежды,
К царю слетел давно желанный сон
И осенил страдальца вежды.

И с той поры державный Годунов,
Переноса гоненье рока,
Творил добро, был подданным покров
И враг лишь одного порока.
Скончался он — и тихо приняла
Земля несчастного в объятья —
И загремели за его дела
Благословенья и — проклятья!..

1821 или 1822

ДИМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ

Читавшим отечественную историю известен странный Лжедимитрий — Григорий Отрепьев. Повествуют, что он происходил из сословия детей боярских, несколько лет находился в Чудове монастыре иеродьяконом и был келейником у патриарха Иова. За беспорядочное поведение Отрепьев заслуживал наказание; он желал избежать сего и предался бегству. Долго скитаясь внутри России и переходя из монастыря в монастырь, наконец выехал в Польшу. Там он замыслил выдать себя царевичем Димитрием, сыном Иоанна Грозного, который умерщвлен был (в 1591 г.) в Угличе — как говорили, по проискам властолюбивого Годунова. Он начал разглашать выдуманные им обстоятельства мнимого своего спасения, привлек к себе толпу легковверных и, с помощью Сендомирского воеводы Юрия Мнишка, вторгся в отечество вооруженною рукою. Странное стечение обстоятельств благоприятствовало Отрепьеву: Годунов умер незапно, и на престоле российском воссел самозванец (1605 г.). Но торжество Отрепьева было недолговременно: явная преданность католицизму и терпимость иезуитов сделало его ненавистным в народе, а развратное поведение и дурное правление ускорили его падение. Князь Василий Шуйский (в 1606 г.) произвел заговор, возникло народное возмущение — и Лжедимитрия не стало. Явление сего самозванца, быстрые его успехи и странное стечение обстоятельств того времени составляют важную загадку в нашей истории.

Чьи так дико блещут очи?
Дыбом черный волос встал?
Он страшится мрака ночи;
Зрю — сверкнул в руке кинжал!..
Вот идет... стоит... трепещет...
Быстро бросился назад;
И, как злой преступник, мечет
Вдоль чертога робкий взгляд!

Не убийца ль сокровенный,
За Москву и за народ,
Над стезею потаенной
Самозванца стережет?..
Вот к окну оборотился;
Вдруг луны серебристый луч
На чело к нему скатился
Из-за мрачных, грозных туч.

Что я зрю? То хищник власти
Лжедимитрий там стоит;
На лице пылают страсти;
Трепеща, он говорит:

«Там в чертогах кто-то бродит —
Шорох — заскрыпела дверь!..
И вот призрак чей-то входит...
Это ты — Бориса дщерь!..

О молю! избавь от взгляда...
Укоризною горя,
Он вселяет муки ада
В грудь преступного царя!..
Но исчезла у порога;
Это кто ж мелькнул и стал,
Притаясь в углу чертога?..
Это Шуйский!.. Я пропал!..»

Так страдал злодей коварный
В час спокойствия в Кремле;
Проступал бесперестанно
Пот холодный на челе.
«Не укроюсь я от мщенья! —
Он невнятно прошептал.—
Для тирана нет спасенья:
Друг ему — один кинжал!

На престоле, иль на ложе,
Иль в толпе на площади,
Рано, поздно ли, но всё же
Быть ему в моей груди!
Прекращу свой век постылый;
Мне наскучило страдать
Во дворце, как средь могилы,
И убийцу наживать».

Сталь нанес — она сверкнула —
И преступный задрожал,
Смерть тирана ужаснула:
Выпал поднятый кинжал.
«Не настало еще время,—
Простонал он,— но придет,
И несносной жизни бремя
Тяжкой ношею спадет».

Но как будто вдруг очнувшись:
«Что свершить решился я? —

Он воскликнул, ужаснувшись. —
Нет! не погублю себя.
Завтра ж, завтра все разрушу,
Завтра хлынет кровь рекой —
И встревоженную душу
Вновь порадует покой!

Вместо праотцев закона
Я введу закон римлян;
Грозной мостью гряну с трона
В подозрительных граждан.
И твоя падет на плахе,
Буйный Шуйский, голова!
И, дымясь в крови и прахе,
Затрепещешь ты, Москва!»

Смолк. Преступные надежды
Удалили страх — и он
Лег на пышный одр, и вежды
Оковал тревожный сон.
Вдруг среди безмолвья грянул
Бой набата близ дворца,
И тиран с одра воспрянул
С смертной бледностью лица...

Побежал и зрит у входа:
Изо всех кремлевских врат
Волны шумные народа,
Ко дворцу стремясь, кипят.
Вот приблизились, напали;
Храбрый Шуйский впереди —
И сарматы побежали
С хладным ужасом в груди.

«Всё погибло! нет спасенья,
Смерть прибежище одно!» —
Рек тиран... еще мгновенье —
И бросается в окно!
Пал на камни, и, при стуках
Сабель, копий и мечей,
Жизнь окончил в страшных муках
Нераскаянный злодей.

1821 или 1822

В исходе 1612 года юный Михаил Феодорович Романов, последняя отрасль Руриковской династии, скрывался в Костромской области. В то время Москву занимали поляки: сии пришельцы хотели утвердить на российский престол царевича Владислава, сына короля их Сигизмунда III. Один отряд проникнул в костромские пределы и искал захватить Михаила. Вблизи от его убежища враги схватили Ивана Сусанина, жителя села Домнина, и требовали, чтобы он тайно провел их к жилищу будущего венценосца России. Как верный сын отечества, Сусанин захотел лучше погибнуть, нежели предательством спасти жизнь. Он повел поляков в противную сторону и известил Михаила об опасности; бывшие с ним успели увести его. Раздраженные поляки убили Сусанина. По восшествии на престол Михаила Феодоровича (в 1613) потомству Сусанина дана была жалованная грамота на участок земли при селе Домнине; ее подтверждали и последующие государи.

«Куда ты ведешь нас?.. не видно ни зги! —
Сусанину с сердцем вскричали враги: —
Мы вязнем и тонем в сугробах снега;
Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега.
Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути;
Но тем Михаила тебе не спасти!

Пусть мы заблудились, пусть вьюга бушует,
Но смерти от ляхов ваш царь не минует!..
Веди ж нас, — так будет тебе за труды;
Иль бойся: не долго у нас до беды!
Заставил всю ночь нас пробиться с метелью...
Но что там чернеет в долине за елью?»

«Деревня! — сарматам в ответ мужичок: —
Вот гумна, заборы, а вот и мосток.
За мною! в ворота! — избушечка эта
Во всякое время для гостя нагрета.
Войдите — не бойтесь!» — «Ну, то-то, москаль!..
Какая же, братцы, чертовская даль!

Такой я проклятой не видывал ночи,
Слепились от снега соколины очи..
Жупан мой — хоть выжми, нет нитки сухой! —
Вошел, проворчал так сармат молодой. —
Вина нам, хозяин! мы смокли, иззябли!
Скорей!.. не заставь нас приняться за сабли!»
Вот скатерть простая на стол постлана;
Поставлено пиво и кружка вина,

И русская каша и щи пред гостями,
И хлеб перед каждым большими ломтями.
В окончины ветер, бушуя, стучит;
Уныло и с треском лучина горит.

Давно уж за полночь!.. Сном крепким объаты,
Лежат беззаботно по лавкам сарматы.
Все в дымной избушке вкушают покой;
Один, настороже, Сусанин седой
Вполголоса молит в углу у иконы
Царю молодому святой обороны!..

Вдруг кто-то к воротам подъехал верхом.
Сусанин поднялся и в двери тайком...
«Ты ль это, родимый? А я за тобою!
Куда ты уходишь ненастной порою?
За полночь... а ветер еще не затих;
Наводишь тоску лишь на сердце родных!»

«Приводит сам бог тебя к этому дому,
Мой сын, поспешай же к царю молодому,
Скажи Михаилу, чтоб скрылся скорей,
Что гордые ляхи, по злобе своей,
Его потаенно убить замышляют
И новой бедою Москве угрожают!

Скажи, что Сусанин спасает царя,
Любовью к отчизне и вере горя.
Скажи, что спасенье в одном лишь побеге
И что уж убийцы со мной на ночлеге».
— «Ну что ты затеял? подумай, родной!
Убьют тебя ляхи... Что будет со мной?

И с юной сестрою и с матерью хилой?»
— «Творец защитит вас святой своей силой.
Не даст он погибнуть, родимые, вам:
Покров и помощник он всем сиротам.
Прощай же, о сын мой, нам дорого время;
И помни: я гибну за русское племя!»

Рыдая, на лошадь Сусанин младой
Вскочил и помчался свистящей стрелой.
Луна между тем совершила полкруга;
Свист ветра умолкнул, утихнула вьюга.

На небе восточном зарделась заря,
Проснулись сарматы — злодеи царя.

«Сусанин! — вскричали, — что молишься богу?
Теперь уж не время — пора нам в дорогу!»
Оставив деревню шумящей толпой,
В лес темный вступают окольной тропой.
Сусанин ведет их... Вот утро настало,
И солнце сквозь ветви в лесу засияло:

То скроется быстро, то ярко блеснет,
То тускло засветит, то вновь пропадет.
Стоят не шелохнясь и дуб и береза;
Лишь снег под ногами скрипит от мороза,
Лишь временно ворон, вспорхнув, прошумит,
И дятел дуплистую иву долбит.

Друг за другом идут в молчаньи сарматы;
Все дале и дале седой их вожатый.
Уж солнце высоко сияет с небес —
Все глуше и диче становится лес!
И вдруг пропадает тропинка пред ними:
И сосны и ели ветвями густыми,

Склонившись угрюмо до самой земли,
Дебристую стену из сучьев сплели.
Вотще настороже тревожное ухо:
Все в том захолустье и мертво и глухо...
«Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал.
«Туда, куда нужно! — Сусанин сказал.—

Убейте! замучьте! — моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит».

«Злодей! — закричали враги, закипев, —
Умрешь под мечами!» — «Не страшен ваш гнев!
Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело,
И радостно гибнет за правое дело!
Ни казни, ни смерти и я не боюсь:
Не дрогнув, умру за царя и за Русь!»

«Умри же! — сарматы герою вскричали,
И сабли над старцем, свистя, засверкали! —
Погибни, предатель! Конец твой настал!»
И твердый Сусанин весь в язвах упал!
Снег чистый чистейшая кровь обагрила:
Она для России спасла Михаила!

1822

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Зиновий (Богдан) Хмельницкий, сын чигиринского сотника, воспитывался в Киеве и кончил учение у иезуитов, в польском городе Ярославце. В истории он становится известен с 1620 года. В сражении при Цецоре турки взяли его в плен и держали в неволе два года. По возвращении своем Хмельницкий служил в войске польском; потом несколько лет жил в селении Субботове, в покое. Чигиринский подстароста Чаплицкий, захватив селение, похитил у него подругу и высек плетью малолетнего его сына. Хмельницкий поехал в Варшаву, жаловался, но не нашел управы. Тогда он поклялся отомстить всем полякам. В 1647 году в Малороссии вспыхнуло возмущение, — Хмельницкий принял в нем деятельное участие, поощрял недовольных и умножал толпы их. Дошло до явной войны. Хмельницкий выбран был гетманом. Он вошел в связи с крымцами, призвал их на помощь и с лишком четыре года противостоял полякам. Примечательны сражения: на Желтой Воде, под Корсуном и при Берестечке. В 1651 году прекратились раздоры. Поляки заключили с малороссиянами и запорожским войском мирный договор под Белою Церковью; но, несмотря на сие, не упустили случая оскорблять их. Сии притеснения заставили Хмельницкого просить российского государя о принятии его с войском в подданство (1654 г.). Он умер в Чигирине 15 августа 1657 года. За освобождение отчизны его прозвали *Богданом*, т. е. богом дарованным избавителем.

Средь мрачной и сырой темницы,
Куда украдкой проникал,
Скользя по сводам, луч денницы
И ужас места озарял,—
В цепях, и грозный и угрюмый,
Лежал Хмельницкий на земле;
В нем мрачные кипели думы
И выражались на челе.

Темницы мертвое молчанье
Ни стон, ни вздох не нарушал;
Надежду мести и страданье
Герой в груди своей питал.
«Так, так,— он думал,— час настанет!

Освобожденный от оков,
Забытый узник бурей грянет
На притеснителей врагов!

Отмстит холодное презренье
К священнойшим правам людей;
Отмстит убийства и хищенье,
Бесчестье жен и дочерей!
Позорные разрушит цепи
И, рабства сокруша кумир,
Вновь водворит в родные степи
С святой свободой тихий мир.

Покроет ржа врагов кольчуги,
И прах их ветер разнесет,
Застонут нежные супруги,
И мать детей не обоймет.
А ты, пришлец иноплеменный,
Тиран родной страны моей,
Мучитель мой ожесточенный,
Чаплицкий! трепещи, злодей!

За кровь пролитую, за слезы
И жен, и старцев, и сирот,
За всё — и за сии железы
Тебя мое отмщенье ждет!..
Но где о вольности мечтаю?
Увы! в темнице дни влача,
Свой век, быть может, окончаю
От рук презренных палача!

И долго, может быть, стеная
Под тяжким бременем оков,
Хмельницкого страна родная
Пребудет жертвою врагов!»
Чела страдальца вид суровый
Мрачнее стал от думы сей,
И на заржавые оковы
Упали слезы из очей.

Вдруг слышит: загремели створы,
Со скрипом дверь отворена,—
И входит, потупляя взоры,
Младая, робкая жена.

«Кто ты? — Хмельницкий изумленный
Представшей незнакомке рек: —
Оковы ль снять?.. о, час блаженный!
О, если б этот час притек!

Или, с жестокою душою,
С презреньем хладным на очах,
Ты не пришла ли надо мною
Ругаться, зря меня в цепях?»
— «О нет! — приветно произносит, —
В душе любви питая жар,
Жена Чаплицкого приносит
Тебе с рукой свободу в дар».

«Жена Чаплицкого!» — «Мученье
И вместе мужество твое
Вдохнули в душу мне почтенье
И сердце тронули мое:
Я полюбила — и пылала
Из сих оков тебя извлечь;
Я связь с тираном разорвала;
Будь мой!» — «Я твой!» — «Прими свой меч!»

«Мой меч! — Хмельницкий восклицает, —
Жив бог!.. и ты погиб, злодей!
Заря свободы засияет
От блеска мстительных мечей!»
Сребрила дол царица ноши,
В брега волною Днепр плескал,
Опенив удила, у роши
Нетерпеливый конь стоял.

Герой вскочил, веселья полный,
Летит — и зрит поля отцов,
И вокруг его, как моря волны,
Рои толпятся козаков.
«Друзья! — он к храбрым восклицает, —
За мной, чью грудь волнует месть,
Кто рабству смерть предпочитает,
Кому всего дороже честь!

Сам бог поборник угнетенным!
Вожди — решительность и я!
Навстречу ко врагам презренным,
На Воды Желтые, друзья!»

И вот сошлись два народа,
И с яростью вступили в бой
С тиранством бодрая свобода,
Кипя отвагою молодой.

Сармат, и храбрый и надменный,
Вотще упорствовать хотел;
Вотще, разбитый, побежденный,
Бежал мечей и метких стрел.
Преследуя, как ангел мщенья,
Герой везде врагов сражал,
И трупы их без погребенья
Волкам в добычу разметал!..

И воцарилась свобода
С тех пор в украинских степях,
И стала с счастьем народа
Цвезть радость в селах и градах.
И чтя послом небес желанным,
В замену всех наград и хвал,
Вождя-героя — Богом данным
Народа общий глас назвал.

1821

АРТЕМОН МАТВЕЕВ

Артемон Сергеевич Матвеев родился в 1625 году. В правление царя Алексея Михайловича он отличился доблестями на поприще военном и политическом: сражался с поляками, шведами и татарами, заключил договор о сдаче Смоленска (1656 г.), убедил запорожцев к подданству России и уничтожил невыгодный для нее Андрусовский мир (1667 г.). Начальствуя над посольским приказом, Матвеев умел вселить в других европейских дворах должное уважение к России. В его доме воспитывалась Наталия Кирилловна Нарышкина, вторая супруга царя Алексея Михайловича, от которой родился Петр Великий. Впоследствии государь возвел Матвеева в ближние бояре и оказывал ему особенную доверенность и даже дружбу. С кончиною царя Алексея Михайловича (в 1676 г.) кончилось блистательное поприще Матвеева: враги оклеветали его и удалили от двора. Матвеев получил назначение в Верхотурье воеводою; на дороге настиг его гонец и отвез в отдаленный Пустозерский острог. Целые семь лет Матвеев пробыл в заточении. Наконец ему велено было ехать в город Лух (Костромской губернии). В дороге Матвеев узнал о кончине царя Феодора Алексеевича и получил приглашение ко дворцу воцарившихся соправителей. В столице ожидало его новое бедствие на четвертый день приезда (15 мая 1682 года) взбунтовались стрельцы, и Мат-

веев пал жертвою преданности к государям. Любя добродетель, он уважал просвещение и науки; сочинил Российскую историю; имел вкус к изящным искусствам: живописи, музыке и драматическим представлениям. При нем впервые стали известны у нас театральные зрелища.

Муж знаменитый, друг добра,
Боярин Артемон Матвеев
Был сослан в ссылку от двора,
По клеветам своих злодеев.
Семь лет томился он в глуши;
Семь лет позор и стыд изгнанья
Сносил с величием души,
Без слез, без скорби и роптанья.

«Когда защитник нам закон
И совесть сердца не тревожит,
Тогда ни ссылка,— думал он,—
Ни казнь позорить нас не может.
Быв другом доброго царя,
Народа русского любимец,
Всегда в душе спокоен я
И в злополучии счастливец.

Для блага сограждан моих
Усилия мои не тщетны,
Коль всюду слышу я за них
Глас благодарности приветный.
Все козни злых клеветников
Потомству время обнаружит,
И ненависть моих врагов
К бесславию для них послужит.

Пускай перед царем меня
Чернит и клевета и злоба.
Пред ними не унижусь я:
Мне честь спутницей до гроба.
Щитом против коварства стрел,
Среди моей позорной ссылки,
Воспоминанье добрых дел
И дух, к добру, как прежде, пылкий.

Того не потемнится честь,
Кому, почтив дела благие,

Народ не пощадил принести
В дар камни предков гробовые.
Опалой царской не лишен
Я гордости той благородной,
Которой только одарен
Муж справедливый и свободный.

Пустоозерска дикий вид,
Угрюмая его природа,
Не в силах твердости лишить
Благотворителя народа.
Своей покорствуя судьбе,
Быть твердым всюду я умею;
Жалею я не о себе,
Я боле о царе жалею.

На страшной трона высоте
Необходима прозорливость.
О государь! вняв клевете,
Ты оказал несправедливость.
Меня ты в ссылку осудил
За то ль, что я служил полвека?
Но я давно тебя простил,
О царь! простил как человека.

Близ трона, притаясь, всегда
Гнездятся лезть и вероломство,
Сколь много для царей труда!
Деяний их судьей — потомство.
Увы! его склонить нельзя
Ни златом блещущим, ни страхом.
Нелицемерный сей судья
Творит свой приговор над прахом».

Так изгнанный мечтал в глуши,
Неся позорной ссылки бремя,—
И правоту его души
Пред светом оправдало время:
Друг истины и друг добра,
Горя к отечеству любовью,
Пал мертв за юного Петра,
Запечатлев невинность кровью.

ПЕТР ВЕЛИКИЙ В ОСТРОГОЖСКЕ

Петр Великий, при взятии Азова (в августе 1696 года), был в Острогожск. Тогда приехал в сей город и Мазепа, охранявший у Коломака, вместе с Шереметевым, пределы России от татар. Он поднес царю богатую турецкую саблю, оправленную золотом и осыпанную драгоценными камнями, и на золотой цепи щит с такими ж украшениями. В то время Мазепа был еще невиновен. Как бы то ни было, но уклончивый, хитрый гетман умел вкратиться в милость Петра. Монарх почтил его посещением, обладал, изъявил особенное благоволение и с честью отпустил в Украину.

В пышном гетманском уборе,
Кто сей муж, суров лицом,
С ярким пламенем во взоре,
Ниц упал перед Петром?
С бунчуком и булавою
Вкруг монарха сердюки,
Судьи, сотники толпою
И толпами козаки.

«Виден промысла святого
Над тобою дивный щит! —
Покорителю Азова
Старец бодрый говорит. —
Оглася победой славной
Моря Черного брега,
Ты смирил, монарх державный,
Непокорного врага.

Страшный в брани, мудрый в мире,
Превзошел ты всех владык,
Ты не блещущей порфирой,
Ты душой своей велик.
Чту я славою и честью
Быть врагом твоим врагам
И губительною местью
Пролететь по их полкам.

Уснежился черный волос,
И булат дрожит в руке:
Но зажжет еще мой голос
Пыл отваги в козаке.
В пылком сердце жажда славы
Не остыла в зиму дней:

Празднество мне — бой кровавый;
Мне музыка — стук мечей!»

Кончил — и к стопам Петровым
Щит и саблю положил;
Но, казалось, вождь суровый
Что-то в сердце затаил...
В пышном гетманском уборе,
Кто сей муж, суров лицом,
С ярким пламенем во взоре,
Ниц упал перед Петром?

Сей пришлец в стране пустынной
Был Мазепа, вождь седой;
Может быть, еще невинный,
Может быть, еще герой.
Где ж свидание с Мазепой
Дивный свету царь имел?
Где герою вождь свирепый
Клясться в искренности смел?

Там, где волны Острогощи
В Сосну тихую влились;
Где дубов сенистых рощи
Над потоком разрослись;
Где с отвагой молодецкой
Русский крымцев поражал;
Где напрасно Брюховецкой
Добрых граждан возмущал;

Где, плененный славы звуком,
Поседевший в битвах дед
Завещал кипящим внукам
Жажду воли и побед;
Там, где с щедростью обычной
За ничтожный, легкий труд
Плод оратаю сторичный
Нивы тучные дают;

Где в лугах необозримых,
При журчании волны,
Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны;

Где, в стране благословенной,
Потонул в глуши садов
Городок уединенный
Острогожских козаков.

1823

ВОЛЫНСКИЙ

Волинский начал поприще службы при Петре Великом. Получив чин генерал-майора, он оставил военную службу и сделался дипломатом; ездил в Персию в качестве министра, был вторым послом на Немировском конгрессе и в 1737 году пожалован в статс-секретари. Манштейн изображает его человеком обширного ума, но крайне искательным, гордым и сварливым. Неосторожность погубила Волинского. Однажды, приметя холодность императрицы Анны к герцогу Бирону, он решился подать ей меморию, в которой обвинял во многом герцога и некоторых сильных при дворе особ; ему хотелось отдалить их. Узнав о сем, жестокий Бирон излил месть на Волинского: его отдали под суд и приговорили к смертной казни (в 1739 году).

«Не тот отчизны верный сын,
Не тот в стране самодержавья
Царю полезный гражданин,
Кто раб презренного тщеславья!
Пусть будет муж совета он
И мученик позорной казни,
Стоять за правду и закон,
Как Долгорукий, без боязни.

Пусть будет он, дыша войной,
Врагам, в часы кровавой брани,
Неотразимою грозой,
Как покорители Казани.
Пусть удивляет... Но когда
Он всё творит то из тщеславья —
Беда несчастному, беда!
Он сын, не славы, а бесславья.

Глас общий цену даст делам,
Изобличатся вероломства —
И на проклятие векам
Предастся раб сей от потомства.
Не тот отчизны верный сын,

Не тот в стране самодержавья
Царю полезный гражданин,
Кто раб презренного тщеславья!

Но тот, кто с гордыми в борьбе,
Наград не ждет и их не просит,
И, забывая о себе,
Всё в жертву родине приносит,
Против тиранов лютый тверд,
Он будет и в цепях свободен,
В час казни правотою горд
И вечно в чувствах благороден.

Повсюду честный человек,
Повсюду верный сын отчины,
Он проживет и кончит век,
Как друг добра, без укоризны.
Ковать ли станет на граждан
Пришлец иноплеменный цепи:
Он на него — как хищный вран,
Как вихрь губительный из степи!

И хоть падет — но будет жив
В сердцах и памяти народной
И он и пламенный порыв
Души прекрасной и свободной.
Славна кончина за народ!
Певцы, герою в воздаянье,
Из века в век, из рода в род
Передадут его деянье.

Вражда к неправде закипит
Неукротимая в потомках —
И Русь священная узрит
Неправосудие в обломках». —
Так, сидя в крепости, в цепях,
Волынский думал справедливо;
Душою чист и прав в делах,
Свой жребий нес он горделиво.

Стран северных отважный сын,
Презрев и казнью и Бироном,
Дерзнул на пришлеца один
Всю правду высказать пред троном.

Открыл царице корень зла,
Любимца гордого пороки,
Его ужасные дела,
Коварный ум и нрав жестокий.

Свершил, исполнил долг святой,
Открыл вину народных бедствий
И ждал с бестрепетной душой
Деянью правому последствий.
Не долго, вольности лишен,
Герой влачил свои оковы;
Однажды вдруг запоров звон —
И входит страж к нему суровый.

Проник — и, осенясь крестом,
Сказал: «За истину святую
И казнь мне будет торжеством!
Я мнил спасти страну родную.
Пусть жертвой клеветы умру!
Что мне врагов коварных злоба?
Я посвящал себя добру
И верен правде был до гроба!»

В его очах при мысли сей
Сверкнула с гордостью отвага;
И бодро из тюрьмы своей
Шел друг общественного блага.
Притек... увидел палача —
И голову склонил без страха.
Сверкнуло лезвие меча —
И кровью освятилась плаха!

Сыны отечества! в слезах
Ко храму древнему Самсона!
Там за оградой, при вратах,
Почиет прах врага Бирона!
Отец семейства! приведи
К могиле мученика сына;
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина!

Любовью к родине дыша,
Да всё для ней он переносит
И, благородная душа,

Пусть личность всякую отбросит.
Пусть будет чести образцом,
За страждущих — железной грудью,
И вечно заклятым врагом
Постыдному неправосудью.

1821 или 1822

НАТАЛИЯ ДОЛГОРУКОВА

Княгиня Наталия Борисовна, дочь фельдмаршала Шереметева, знаменитого сподвижника Петра Великого. Нежная ее любовь к несчастному своему супругу и непоколебимая твердость в страданиях увековечили ее имя.

Настала осени пора;
В долинах ветры бушевали,
И волны мутного Днепра
Песчаный берег, подрывали.
На брег сей дикий и крутой,
Невольно слезы проливая,
Беседовать с своей тоской
Пришла страдалица младая.

«Свершится завтра жребий мой:
Раздастся колокол церковный —
И я навек с своей тоской
Сокроюсь в келии безмолвной!
О, лейтесь, лейтесь же из глаз
Вы, слезы, в месте сем унылом!
Сегодня я в последний раз
Могу мечтать о друге милом!

В последний раз в немой глуши
Брожу с воспоминаньем смутным
И тяжкую печаль души
Вверяю рощам бесприютным.
Была гонима всюду я
Жезлом судьбины самовластной;
Увы! вся молодость моя
Промчалась осенью ненастной!

В борьбе с враждующей судьбой
Я отцветала в заточенье;

Мне друг прекрасный и молодой
Был дан, как призрак, на мгновенье.
Забыла я родной свой град,
Богатство, почести и знатность,
Чтоб с ним делить в Сибири холод
И испытать судьбы превратность.

Всё с твердостью перенесла
И, бедствуя в стране пустынной,
Для Долгорукого спасла
Любовь души своей невинной.
Он жертвой мести лютой пал,
Кровь друга плаху оросила;
Но я, бродя меж снежных скал,
Ему в душе не изменила.

Судьба отраду мне дала
В моем изгнании унылом;
Я утешалась, я жила
Мечтой всегдашнею о милом!
В стране угрюмой и глухой
Она являлась мне как радость
И в душу, сжатую тоской,
Невольно проливала сладость.

Но завтра, завтра я должна
Навек забыть о страсти нежной;
Живая в гроб заключена,
От жизни отрекусь мятежной.
Забуду всё: людей и свет,
И, холодна к любви и злобе,
Суровый выполню обет
Мечтать до гроба лишь о гробе.

О, лейтесь, лейтесь же из глаз
Вы, слезы, в месте сем унылом:
Сегодня я в последний раз
Могу мечтать о друге милом.
В последний раз в немой глуши
Брожу с воспоминаньем смутным
И тяжкую печаль души
Вверяю рощам бесприютным».

Тут, сняв кольцо с своей руки,
Она кольцо поцеловала

И, бросив в глубину реки,
Лицо закрыла и взрыдала:
«Сокройся в шумной глубине,
Ты, перстень, перстень обручальный,
И в монастырской жизни мне
Не оживляй любви печальной!»

Река клубилась в берегах,
Поблеклый лист валился с шумом;
Порывный ветер шумел в полях
И бушевал в лесу угрюмом.
Полна унынья и тоски,
Слезами перси орошая,
Пошла обратно вдоль реки
Дочь Шереметева младая.

Обряд свершился роковой...
Прости последнее веселье!
Одна с угрюмою тоской
Страдалица сокрылась в келье.
Там, дни свои в посте влача,
Снедалась грустью безотрадной
И угасала, как свеча,
Как пред иконой огонь лампадный.

1823

ДЕРЖАВИН

Н. И. Гнедичу

Державин родился 1743 года в Казани. Он был воспитан сперва в доме своих родителей, а после в Казанской гимназии, в 1760 записан был в инженерную школу, а в следующем году за успехи в математике и за описание болгарских развалин переведен в гвардию в чине поручика, отличился в корпусе, посланном для усмирения Пугачева. В 1777 году поступил в статскую службу, а в 1802 году пожалован был в министры юстиции. Скончался июля 6 дня 1816 года в поместье своем на берегу Волхова.

«К бессмертным памятникам Екатеринина века принадлежат песнопения Державина. Громкие победы на море и сухом пути, покорение двух царств, унижение гордости Оттоманской Порты, столь страшной для европейских государей, преобразования империи, законы, гражданская свобода, великолепные торжества просвещения, тонкий вкус, все это было сокровищем для гения Державина. Он был Гораций своей государыни... Державин великий живописец... Державин хвалит, укоряет и учит... Он возвышает дух нации и каждую минуту дает почувствовать благородство своего духа...» — говорит г. Мерзляков.

С дерев валится желтый лист,
Не слышно птиц в лесу угрюмом,
В полях осенних ветров свист,
И плещут волны в берег с шумом.
Над Хутынским монастырем
Приметно солнце догорало
И на главах златым лучом,
Из туч прокравшись, трепетало.

Какой-то думой омрачен,
Младый певец бродил в ограде;
Но вдруг остановился он,
И заблистал огонь во взгляде.
«Что вижу я?.. на сих берегах,—
Он рек,— для Севера священный
Державина ль почит прах
В обители уединенной?»

И засияли, как росой,
Слезами юноши ресницы,
И он с удвоенной тоской
Сел у подножия гробницы;
И долго молча он сидел,
И, мрачную тревожим думой,
Певец задумчивый глядел
На грустный памятник угрюмо.

Но вдруг, восторженный, вещал:
«Что я напрасно здесь тоскую?
Наш дивный бард не умирал:
Он пел и славил Русь святую!
Он выше всех на свете благ
Общественное благо ставил
И в огненных своих стихах
Святую добродетель славил.

Он долг певца постиг вполне,
Он свить горел венков нетленный,
И был в родной своей стране
Органом истины священной.
Везде певец народных благ,
Везде гонимых оборона
И зла непримиримый враг,
Он так твердил любимцам трона:

«Вельможу должны составлять
Ум здравый, сердца просвещенно!
Собой пример он должен дать,
Что звание его священно;
Что он орудье власти есть,
Всех царственных подпора зданий;
Должны быть польза, слава, честь
Вся мысль его, цель слов, деяний»¹.

О, так! нет выше ничего
Предназначения поэта:
Святая правда — долг его,
Предмет — полезным быть для света.
Служитель избранный творца,
Не должен быть ничем он связан;
Святой, высокий сан певца
Он делом оправдать обязан.

Ему неведом низкий страх;
На смерть с презрением взирает
И доблесть в молодых сердцах
Стихом правдивым зажигает.
Над ним кто будет властелин? —
Он добродетель свято ценит
И ей нигде, как верный сын,
И в думах тайных не изменит.

Таков наш бард Державин был, —
Всю жизнь он вел борьбу с пороком;
Судьям ли правду говорил,
Он так гремел с святым пророком:
«Ваш долг на сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять
И свято сохранять законы.

Ваш долг несчастным дать покров,
Всегда спасать от бед невинных,
Исторгнуть бедных из оков,
От сильных защищать бессильных»².
Певцу ли ожидать стыда
В суде грядущих поколений?

¹ См. «Вельможа», соч. Державина.

² См. «Властителям и судиям», его же.

Не осквернит он никогда
Порочной мыслию творений.

Повсюду правды верный жрец,
Томяся жаждой чистой славы,
Не станет портить он сердец
И развращать народа нравы.
Поклонник пламенный добра,
Ничем себя не опорочит
И освященного пера —
В нечестьи буйном не омочит.

Творцу ли гимн святой звучит
Его восторженная лира —
Словами он, как гром, гремит,
И вторят гимн народы мира.
О, как удел певца высок!
Кто в мире с ним судьбою равен?
Откажет ли и самый рок
Тебе в бессмертии, Державин?

Ты прав, певец: ты будешь жить,
Ты памятник воздвигнул вечный, —
Его не могут сокрушить
Ни гром, ни вихорь быстротечный¹.
Певец умолк — и тихо встал;
В нем сердце билось — и в волненье,
Вздыхнув, он, отходя, вещал
В каком-то дивном исступленье:

«О, пусть не буду в гимнах я,
Как наш Державин, дивен, громок, —
Лишь только б молвил про меня
Мой образованный потомок:
«Парил он мыслию в веках,
Седую вызывая древность,
И воспалял в молодых сердцах
К общественному благу ревность!»

1822



¹ См. «Памятник», подражание Державина Горациевой оде:
«Exegi monumentum aere perennius...».

К. Ф. РЫДЕНЕВ
и А. А. БЕСТУЖЕВ

АГИТАЦИОННЫЕ ПЕСНИ

Ах, где те острова,
Где растет тринь-трава,
Братцы!

Где читают Руселле
И летят под постель
Святцы.

Где Бестужев-драгун
Не дает карачун
Смыслу.

Где наш князь-чудодей
Не бросает людей
В Вислу.

Где с зари до зари
Не играют цари
В фанты.

Где Булгарин Фаддей
Не боится когтей
Танты.

Где Магницкий молчит,
А Мордвинов кричит
Вольно.

Где не думает Греч,
Что его будут сечь
Больно.

Где Сперанский попов
Обдаёт, как клопов,
Варом.

Где Измайлов-чудак
Ходит в каждый кабак
Даром.

1822 или 1823

* * *

Царь наш — немец русский —
Носит мундир узкий.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Царствует он где же?
Всякий день в манеже.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Прижимает локти,
Прибирает в когти.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Царством управляет,
Носки выправляет.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Враг хоть просвещенья,
Любит он ученья.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Школы все — казармы,
Судьи все — жандармы.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А граф Аракчеев
Злодей из злодеев!
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Князь Волконский баба
Начальником штаба.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А другая баба
Губернатор в Або.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А Потапов дурный
Генерал дежурный.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Трусит он законов,
Трусит он масонов.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Только за парады
Раздает награды.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А за комплименты —
Голубые ленты.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А за правду-матку
Прямо шлет в Камчатку.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Ах, тошно мне
И в родной стороне:
 Всё в неволе,
 В тяжкой доле,
Видно, век вековать.

Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ,
 И людьми,
 Как скотами,
Долго ль будут торговать?

Кто же нас кабалил,
Кто им барство присудил,
 И над нами,
 Бедняками,
Будто с плетью посадил?

По две шкуры с нас дерут,
Мы посеём — они жнут,
 И свобода
 У народа
Силой бар задушена.

А что силой отнято,
Силой выручим мы то,
 И в приволье,
 На раздолье
Стариною заживем.

А теперь господа
Грабят нас без стыда,
 И обманом
 Их карманом
Стала наша мошна.

Баре с земским судом
И с приходским попом
 Нас морочат
 И волочат
По дорогам да судам.

А уж правды нигде
Не ищи, мужик, в суде,
 Без синюхи
 Судьи глухи,
Без вины ты виноват.

Чтоб в палату дойти,
Прежде сторожу плати,
 За бумагу,
 За отвагу —
Ты за всё, про всё давай!

Там же каждая душа
Покривится из гроша:
 Заседатель,
 Председатель
Заодно с секретарем.

Нас поборами царь
Иссушил, как сухарь:
 То дороги,
 То налоги,
Разорили нас вконец.

А под царским орлом
Ядом потчуют с вином,
 И народу
 Лишь за воду
Велят вчетверо платить.

Уж так худо на Руси,
Что и боже упаси!
 Всех затеев
 Аракчеев
И всему тому виной.

Он царя подстрекнет,
Царь указ подмахнет,
 Ему шутка,
 А нам жутко,
Тошно так, что ой, ой, ой!

А до бога высоко,
До царя далеко,
 Да мы сами
 Ведь с усами,
Так мотай себе на ус.
<1824>

* * *

Ты скажи, гсвори,
Как в России цари
Правят.

Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят.

Как капралы Петра
Провожали с двора
Тихо.

А жена пред дворцом
Разъезжала верхом
Лихо.

Как курносый злодей
Воцарился по ней.
Горе!

Но господь, русский бог,
Бедным людям помог
Вскоре.

Между 1822 и 1825

* * *

Подгуляла я.
Нужды нет, друзья,
Это с радости,
Это с радости.

Я, свободы дочь,
Со престолов прочь
Императоров,
Императоров.

На свободы крик
Развяжу язык
У сенаторов,
У сенаторов.

1824 или 1825 (?)

ПОДБЛЮДНЫЕ ПЕСНИ

1

Слава богу на небе, а свободе на сей земле!
Чтобы правде ее не измениваться,
Ее первым друзьям не состареться,
Их саблям, кинжалам не ржаветься,
Их добрым коням не изъезживаться.
Слава богу на небе, а свободе на сей земле!
Да и будет она православным дана. Слава!

2

Как идет мужик из Новагорода,
У того мужика обрита борода;
Он ни плут, ни вор, за спиной топор;
А к кому он придет, тому голову сорвет.
 Кому вынется, тому сбудется;
 А кому сбудется, не минуется. Слава!

3

Вдоль Фонтанки-реки квартируют полки,
Их и учат, их и мучат, ни свет ни заря!
Что ни свет ни заря, для потехи царя!
Разве нет у них рук, чтоб избавиться мук?
Разве нет штыков на князьков-голяков?
Да Семеновский полк покажет им толк.
 А кому сбудется, не минуется. Слава!

4

Сей, Маша, мучицу, пеки пироги:
К тебе будут гости, к тирану враги,
Не с иконами, не с поклонами,
А с железом да с законами.
Что мы спели, не минуется ему,
И в последний раз крикнет: «Быть по сему!»

5

Уж как на небе две радуги,
А у добрых людей две радости:
Правда в суде да свобода везде,—
Да и будут они россиянам даны. Слава!

Уж вы вейте веревки на барские головки,
 Вы готовьте ножей на сиятельных князей,
 И на место фонарей поразвешивать царей.
 Тогда будет тепло, и умно, и светло. Слава!

Как идет кузнец из кузницы, слава!
 Что несет кузнец? Да три ножика:
 Вот уж первой-то нож на злодеев вельмож,
 А другой-то нож — на судей на плутов,
 А молитву сотворя, — третий нож на царя!
 Кому вынется, тому сбудется,
 Кому сбудется, не минуется. Слава!

1824 или 1825

А.А. БЕСТУЖЕВ

ПОДРАЖАНИЕ ПЕРВОЙ САТИРЕ БУАЛО

Бегу от вас, бегу, петропольские стены,
Сокроюсь в мрак лесов, в пещеры отдаленны,
Куда бы не достиг коварства дикий взор
Или судей, писцов и сыщиков собор.
Куда бы ни хвастун, ни лжец не приближался,
Где б слух ни ябедой, ни лестью не терзался.
Бегу!.. Я вольности обрел златую нить.
Пусть здесь живет Дамон,— он здесь умеет жить.
За деньги счастья нередким став примером,
Он из-за стойки в год возникнул кавалером.
Пусть Клит живет, его коммерчески дела
Французов более нам причинили зла.
Иль Граблев, коего бесчинства всем знакомы,
Ивана Каина могли б умножить томы.
Иль доблестный одной дебелостью Нарцисс
Пускай меняет здесь сиятельных Лаис.
Пусть к пагубе людей с друзьями записными
Понт счастье пригвоздил за картами своими.
Пусть Грей, любя одни российские рубли,
Катоном рядится отеческой земли
И с четками в руках твердит: «Чтоб жить безбедно,
Нам щит — невежество, нам просвещение вредно».
Таким людям житье в продажной стороне.
Но мне здесь жить? К чему? И что здесь делать мне?
Могу ль обманывать? Могу ли притворяться?

Нет! Чтoб возвыситься — постыдно пресмыкаться!
 Свободен мыслию, хоть скованный судьбой,
 Не променяюсь я за выгоды душой.
 Не захочу, на крест иль чин имея виды,
 Смыть забвением вельможные обиды
 Иль продавать назло и вкусу, и ушам
 Тому, кто боле даст, стиховный фимиам!
 Служить любовникам не ведаю искусства
 И знатных услаждать изношенные чувства;
 Я продаю товар, каков он есть, лицом:
 Осла ослом зову, Бибриса — подлецом.
 За то гоним, презрен, забыт в несчастной доле,
 Богат лишь бедностью, скитаюсь в Петрополе.
 «Скажи, к чему теперь,— я слышу, говорят,—
 Слившей мудрости цинический наряд?»
 Сей добродетели Обуховской больницы
 Давно в помине нет у жителей столицы.
 Высокомерие здесь — титул богачам,
 А гибкость, рабство, лесть приличны беднякам.
 Сим только способом бессребренны поэты
 Исправить могут зло их мачехи-планеты».
 Так! В наш железный век Фортуна-чародей
 Творит директоров из глупых писарей.
 Злорада, например, на смех, на диво свету
 С запяток в пышную перенесла карету
 И, золотым шитьем сменивши галуны,
 Ввела и в честь, и в знать умильностью жены.
 Теперь он, пагубным гордясь законов знаньем,
 Упитан грабленным соседей достояньем,
 С сверкающих колес стихиею своей
 Из милости грязнит достойнейших людей.
 Меж тем как Персий наш пешком повсюду рыщет
 И обонянием чужих обедов ищет;
 И, рад или не рад, нуждою предведом,
 По дыму трубному спешит из дому в дом.
 Конечно, русский Тит, в наградах справедливый,
 Вплетая в лавр побед дельфийские оливы,
 Гордыню разгромив, в Европе бедных муз
 Рукою благодати освободил от уз.
 Меч превращается в Эрмиев жезл крылатый.
 Наш Август царствует,— но где же Меценаты?
 Опорой слабого кто обречется быть?
 Притом возможно ли дорогу проложить
 Сквозь тысячи певцов, искателей голодных,

Стихосплетателей похвал простонародных,
На коих без заслуг струится дождь щедрот:
Шмели у пчел всегда их расхищают сот.
Престанем же наград лелеять ожиданье,—
Без покровителей что значит дарованье?
Ужель не видим мы Боянов наших дней,
Влачащих жизнь свою без денег, без друзей,
Весной без обуви, а в зиму без шинели,
Бледнее схимников в конце страстной недели,
И получающих в награду всех трудов
Насмешки, куплены ценою их стихов,
На коих, потеряв здоровье и именье,
Лишь в смерти зрят себе от бедности спасенье?
Иль, за долги в тюрьме простершись на досках,
Без хлеба в жизни сей, бессмертья ждут в веках.
На авторов давно прошла у знатных мода,
И лучший здесь поэт, честь века и народа,
Вовек не будет чтим с шутами наравне.
«Ступай в подьячие, там счастье»,— шепчут мне.
Неужли должен я, наскучив Аполлоном,
Как прежде рифмами,— теперь играть законом
И локтем обметать чернильные столы?
Как? Чтобы я, сменив корысть на похвалы,
В дедале крюкотворств бессмысленных блуждая
И звоном золота невинность заглушая,
Для сильных стал весы Фемиды уклонять,
По правде белое — по форме черным звать?
И в справках вековых, в сношениях напрасных
Бесстыдно волочить просителей несчастных?
Скорей, чем эта мысль мне в голову придет,
В июне месяце Неву покроет лед.
Скорей луна светить в подлунную престанет,
Вралев писать стихи, злословить Клит устанет,
И Трусова скорей увидят храбрецом,
Чем я решусь сидеть в палатах за столом.
Почто же медлить здесь? Оставим град развратный,
Не добродетелью — лишь зданиями знатный,
Где дерзостный порок деяний всех вождем,
Заслуги с счастьем нейдут одним путем,
Коварство кроется в куреньях тонкой лести,
Где должно почести купить ценою чести,
Где под личиною закона изувер
В почтении, истину скрывая тьмой химер,
Где гнусные ханжи и набожны прелесты

Ниноны дух таят под покрывалом Весты,
Где роскоши одной не прегражден успех,
Науки ж, знание в презрении у всех
И где к их пагубе взнесли чело строптиво
Искусства: красть умно и угнетать учтиво,
Где незаконно все — и мне велят молчать!
Но можно ли с душой холодной ободрять
Столичных жителей испорченные нравы?
И кто в улику им, путь указуя правый,
Не изольет свой гнев в бесхитростных стихах?
Нет! Чтоб сатирую вливать в порочных страх,
Не нужно кротких муз ждать вдохновенья с неба,—
Гнев справедливости, конечно, стоит Феба.
«Потише,— вопиют,— вотще и остроты,
И град блестящих слов пред ними сыплешь ты.
Взойди на кафедру, шуми с профессорами
И стены усыплай моральными речами.
Там — худо ль, хорошо ль — все можно говорить».
Так, мня грехи свои насмешками прикрыть,
Смеются многие над правдою и мною,
И, с ложным мужеством под ранней сединою,
Чтоб в бога веровать, ждут лихорадки в дом,
Но бледны, трепетны, внимая дальний гром,
Скучают небесам безверными мольбами.
А в ясны дни, смеясь над бедными людьми,
«Терпите,— думают,— лишь было б нам легко:
Далеко до царя, до бога высоко!»
Но я, уверен быв, что для самой Фортуны
Хоть дремлют, но не спят каратели-перуны,
От развращения спешу себя спасти.
Роскошный Вавилон, в последнее: прости!

Февраль 1819

МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ

В темнице мрачной и глухой
Ночную позднюю порой
Лампада темная мелькает
И слабым светом озаряет
В углу темницы двух мужей:
Один во цвете юных дней;
Другой, окованный цепями,

Уже покрыт был сединами.
Зачем сей старец заключен
В твоих стенах, жилище страха;
Здесь век ли кончить присужден,
Или ему готова плаха?..
Не слышно вздохов на устах,
И в пламенных его очах
Божественный покой сияет.
То к небу взор он подымает,
То с нежной грустию глядит
На сына, полного печали,
И так в утеху говорит:

«В слезах довольно утопали
Твои глаза, друг добрый мой;
Пора расстаться мне с тобою
И Михайловой главою
Купить отечеству покой.
Всегда будь верен правде, чести.
И, если хочешь, чтоб венец
Имел веселью твой отец,
Оставь врагов его без мести...»
На площади народ шумит
В столице хищных, злобных ханов,
России яростных тиранов;
Он с зверской радостью глядит
На труп, весь ранами покрытый.
Над ним, отчаяньем убитый,
Младой князь слезы горьки льет.
Свои власы, одежду рвет.
Татар, узбека укоряет
И бога мести призывает...
Он внял ему, сей сильный бог,
Россіянам восстать помог
И снял с лица земли тиранов:
Их город стал жилищем вранов;
Иссохли злачные луга,
Ослабла в брани их рука,
И, пораженные слугами,
Они их сделались рабами.

1824

СААТЫРЬ

(Якутская баллада)

Не ветер вздыхает в ущелье горы,
Не камень слезится росой —
То плачет якут до полночной поры,
Склонясь над женой молодою.
Уж пятую зорю томится она,
Любви и веселья подруга,
Без капли воды, без целебного сна
На жалкой постели недуга;
С румянцем ланит луч надежды погас,
Как ворон, над нею — погибели час.

Умолкните, чар и моления вой
И бубнов плачевные звуки! ¹.
С одра Саатырь поднялась головой,
Простерла поблеклые руки;
И так, как под снегом роптанье ручья,
Как звон колокольчика дальний ²,
Струится по воздуху голос ея.
Внемлите вы речи прощальной.
Священ для живых передсмертный завет:
У гробных дверей лицемерия нет!

«О други! Уйдет ли журавль от орла?
От пуль — быстроногие козы?
Коль смертная тень мне на сердце легла,
Прильют ли дыхание слезы?
О муж мой! Не плачь: нам судьба изрекла
И в браке разлучную долю.
По воле твоей я доселе жила,
Исполни теперь мою волю:
Покой и завет нерушимо храня,
На горном холме схорони ты меня!

Не вешай мой гроб на лесной вышине ³
Духам, непогодам забавой;
В родимой земле рой могилу ты мне
И кровлей замкни величавой.
Вот слово еще, роковое оно:
Едва я дышать перестану,
Сей перстень возьми и ступи в стремяно,
Отдай его князь Буйдукану.

Разгадки ж тому не желай, не следи —
Тайна эта в моей погребется груди!..»

И смерть осенила больную крылом,
Сомкнулись тяжелые вежды;
Казалось, она забывается сном
В объятиях сладкой надежды;
С дыханием уст замирали слова,
И жизнь улетела со звуком;
Отринув стрелу, так звенит тетива,
Могучим расторгнута луком.
Родных порастил изумляющий страх...
На сердце тоска, и слеза на очах.

Убрали. Поднизки подобием струй
Текут на богатые шубы ⁴.
Но грусти печать — от родных поцелуй
Не сходит на бледные губы ⁵;
Лишь смело к одру подходил Буйдукан
Один, и стопою незыбкой;
Он обнял её, не смущен и румян,
И вышел с надменной улыбкой.
И чудилось им — Саатыри чело,
Как северным блеском, на миг рассвело!..

Наутро, где Лена меж башнями гор
Течет под завесой туманов
И ветер, будя истлевающий бор,
Качает гробами шаманов ⁶,
При клике родных Саатырь принесли
В красивой колоде кедровой ⁷.
И тихо разверстое лоно земли
Сомкнулось над жертвою новой.
И девы и жены, и старый и млад
В улус потекли, озираясь назад.

Вскипели котлы, задымилася кровь
Коней, украшения стада,
И брызжет кумыс от широких краев,
Он — счастья и горя улада;
И шумно кругом, упоенья кумир,
Аях пробегает бездонный ⁸;
Уж вянет заря. Поминательный пир
Затих. У чувала ⁹ склоненный

Круг сонных гостей возлежит недвижим,
Лишь в юрте, синяя, волнуется дым.

Осыпаны кудри цветных тальников
Росинками ночи осенней,
И вышита зелень холмов и лугов
Узором изменчивых теней;
Вот месяц над теменем сумрачных скал
Вспрянул кабаргой златорогой,
И луч одинокий по Лене упал
Виденьям блестящей дорогой:
По мхам, по тропам заповедных полян
Мелькают они сквозь прозрачный туман.

Что крикнул испуганный вран на скале,
Блюститель безмолвия ночи?
Что искрами сыплют и меркнут во мгле
Огнистые филина очи?
Не адский ли по лесу рыщет ездок
Заглохшей шаманскою тропкой?
Как бубен звуча, отражаемый скок
Гудит по окрестности робкой...
Вот кто-то примчался — он бледен лицом,
Как идол, стоит на холме гробовом.

И прынул на землю; удар топора
Раздвинул затвор над могилой,
И молвит он мертвой: «Подруга, пора!
Жених дожидается милой!
Воскресни для новых веселия дней,
Для жизни и счастья. Кони
Умчат нас далеко, и ветер степей
Завее следы от погони.
Притворной кончиною вольная вновь,
Со мной ты найдешь и покой, и любовь».

«Ты ль это? О милый! о князь Буйдукан!
Как вечно казалось мне время!
Как душно и страшно мне было! Обман
На сердце налег, будто бремя!..
Роса мне катилась слезами родных,
На ветре — их стон безотрадный!
И черви наместо перстней золотых
Вились — и так смело, так жадно!..

Вся кровь моя стынет... А близок ли путь?
О милый, согрей мне в объятиях грудь!».

И вот поцелуев таинственный звук
Под кровом могильной святыни,
И сладкие речи... Но вдруг и вокруг
Слетелися духи пустыни,
И трупы шаманов свились в хоровод,
Ударили в бубны и в чаши...¹⁰
Внимая, трепещут любовники. Вот
Им вопят: «Вы наши, вы наши!
Не выдаст могила схороненный клад;
Преступников духи карают, казнят!»

И падают звезды, и прыщет огонь...
Испуганный адскою ловлей,
Храпит и кидается бешеный конь
На кровлю — и рухнула кровля!
Вдали огласился раздавленных стон...
Погибли. Но тень Саатыри
Доныне пугает изменчивых жен
По тундрам Восточной Сибири.
И ловчий, когда разливается тьма,
В боязни бежит рокового холма...

Примечания автора

Содержание этой баллады взято из якутской сказки *Саатырь* — значит «игривая».

¹ Якуты до сих пор не кинули обычая при болезнях призывать шаманов, которые гаданья, леченья и мольбы свои сопровождают воплями и звуками бубна (*дюгюр*).

² Якутские узды нередко увешиваются позвонками.

³ В старину они вешали гробы свои на деревьях или ставили их на подрубленных пнях.

⁴ Серебряные украшения женские, сделанные довольно искусно из цепочек и пластинок, весьма широких.

⁵ Якуты боятся прикосновения к мертвым.

⁶ Шаманы более прочих пользовались правом воздушного погребения. Еще и теперь в диких местах можно видеть гробы их.

⁷ Колода, пустая в середине и расколотая пополам, — якутский гроб.

⁸ Аях — огромный деревянный кубок; в него входит ведра полтора, но я видел удалцов, которые осушали его сразу. Прожорство якутов на праздниках (исых) невероятно: в моих глазах один из них выпил 30 фунтов растопленного масла.

⁹ Чувал — камин, очаг, он стоит посредине юрты, спинкою ко входу. Якуты не знают иных печей.

¹⁰ Суеверия всех народов сходны. Якуты верят, что колдуны их покидают ночью гробы свои, пляшут, бьют в бубны, стараются вредить живым и тому подобное.

1828
Якутск

ЧЕРЕП

Was grinsest du mir, hohler Schädel, her?
Als daß dein Hirn, wie meines, einst verwirret
Den leichten Tag gesucht und in der Dämmerung
Mit Lust nach Wahrheit, jämmerlich geirret.
schwer,

*Goethe's Faust*¹.

Кончины памятник безгробной!
Скиталец-череп, возвести:
В отраду ль сердцу ты повержен на пути,
Или уму загадкой злобой?

Не ты ли — мост, не ты ли — первый след
По океану правды зыбкой?
Привет ли мне, иль горестный завет
Мерцает под твоей ужасною улыбкой?

Где утаен твой заповедный ключ,
Замок бессмертных дум и тленья?
В тебе угас ответный луч,
Окрест меня туман сомненья.

Ты жизнью кипел, как праздничный фиал,
Теперь лежишь разбитой урной;
Венок мышления увял,
И прах ума развеял вихорь бурный!

¹ Что скалишь зубы на меня, пустой череп? Не хочешь ли сказать, что некогда твой мозг, подобно моему, в смятении искал радостных дней и в тяжких сумерках, жадно стремясь к истине, печально заблуждался? «Фауст» Гете (нем.).

Здесь думы в творческой тиши
Роилися, как звезды в поднебесной.
И молния страстей сверкала из души,
И радуга фантазии прелестной.

Здесь нежный слух вкушал воздушный пир,
Восхйщен звуков стройным хором;
Здесь отражался пышный мир,
Бездонным поглощенный взором.

Где ж знак твоих божественных страстей,
И сил, и замыслов, грань мира облетевших?
Здесь только след презрительных червей,
Храм запустения презревших!

Где ж доблести? Отдай мне гроба дань,
Познаний светлых темный вестник!
Ты ль бытия таинственная грань?
Иль дух мой — вечности ровесник?

Молчишь! Но мысль, как вдохновенный сон.
Летает над своей покинутой отчизной,
И путник, в грустное мечтанье погружен,
Дарит тебя земле мирительною тризной.

1828

ИЗ ГЁТЕ

(Погражание)

Как часто, милое дитя,
Тебя чуждаюсь я невольно,
Когда, в толпе людей блестя,
Крутимся мы, хоть сердцу больно.

Но в мраке ночи и в тиши
Тебя, не видя, нахожу я
По жару девственной души,
По сладкой неге поцелуя.

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

(Из Гете)

Ключ бежит в ущелья гор,
В небе свит туманов хор;
Муза манит к воле, в поле
Трижды тридевять и боле.
Вновь напеченный бокал
Жарко новых песен просит,
Время катит шумный вал,
Но опять весну приносит.

1828 (?)

ФИНЛЯНДИЯ

(А. А. З<акревско>му)

Я видел вас, граниты вековые,
Финляндии угрюмое чело,
Где юное творение впервые
Нетленною развалиной взошло.
Страхнув с рамен балтийские воды,
Возникли вы, как остовы природы!

Там рыщет волк, от глада свирепея,
На черепе там коршун точит клёв,
Печальный мох мерцает следом змея,
Трепещет ель пролетом облаков;
Туманы там — утесов неизменной
И дышат век прохлагою осенней.

Не смущены долины жизни шумом;
Истлением седеет дальний бор;
Уснула тень в величии угрюмом
На зеркале незыблемых озер;
И с крутизны в пустынные заливы,
Как радуги, бегут ключи игривы.

Там силой вод пробитые громады
Задвинули порогом пенный ад,
И в бездну их крутятся водопады,
Гремучие, как воющий набат;

Им вторит гул, жилец пещеры дальней,
Как тяжкий млат по адской наковальне.

Я видел вас! Бушующее море
Вздыхалося в губительный потоп
И, мощное в неодолимом споре,
Дробилось о крепость ваших стоп;
Вам жаркие и влажные перуны
Нарезали чуть видимые руны.

Я понял их: на западе сияло
Светило дня, златя ступени скал,
И океан, как вечности зеркало,
Его огнем живительным пылал,
И древних гор заветные скрижали
Мне дивные пророчества роптали!

16 января 1829

ТОСТ

Вам, семейство милых братий,
Вам, созвездие друзей,
Жар приветственных объятий
И цветы моих речей!
Вы со мной — и лед сомненья
Растопил отрадный луч,
И невольно песнопенья
Из души пробился ключ!
В благовонном дыме трубок,
Как звезда, несется кубок,
Влажной искрою горя
Жемчуга и янтаря;
В нем, играя и светлея,
Дышит пламень Прометея,
Как бессмертия заря!
Раздавайся ж, клик заздравный,
Благоденствие, живи
На Руси перводержавной,
В лоне правды и любви!
И слезами винограда
Из чистейшего сребра
Да прольется ей улада

Просвещения и добра!
Гряньте в чашу звонкой чашей.
Небу взор и другу длань,
Вознесем беседы нашей
Умилительную дань!
Да не будет чужестранцем
Между нами бог ланит,
И улыбкой, и румянцем
Нас здоровье озарит;
И предмет всемирной ловли,
Счастье резвое, тайком
Да слетит на наши кровли
Сизокрылым голубком!
Чтоб мы грозные печали
Незаметно промечтали,
Возбуждаемы порой,
На веселье и покой!
Да из нас пылает каждый,
Упитав наукой ум,
Вдохновительною жаждой
Правых дел и светлых дум,
Вечно страху неприступен,
Вечно златом неподкупен,
Безответно горделив
На прельстительный призыв!
Да украсят наши сабли,
Эту молнию побед,
Крови пламенные капли
И боев зубчатый след!
Но, подобно чаше пирной
В свежих розанах венца,
Будут искренностью мирной
Наши повиты сердца!
И в сердцах — восторга искры,
Умиления слеза,
И на доблесть чувства быстры,
И порочному — гроза!
Пусть любви могучий гений
Даст нам радости цветы
И перуны вдохновений
В поцелуе красоты!
Пусть он будет вестник рая,
Нашей молодости брат,
В пламень жизни подливая

Свой бесценный аромат,
Чтобы с нектаром забвенья
В тихий час отдохновенья
Позабыть у милых ног
Меч, и кубок, и венок.

Февраль 1829

РАЗЛУКА

О дева, дева,
Звучит труба!
Румянцем гнева
Горит судьба!
Уж сердце к бою
Замкнула сталь,
Передо мною
Разлуки даль.
Но всюду, всюду,
Вблизи, вдали,
Не позабуду
Родной земли;
Ни вечно-вечно —
Клянусь, сулю! —
Моей сердечной
Не разлюблю.
Ни день истомы,
И страх, и месть,
Ни битвы громы,
Ни славы лесть,
Ни кубок пенный,
Ни шумный хор,
Ни девы пленной
Манящий взор...

.

1829

Якутск

Е. И. Б<УЛГАРИ>НОЙ

(В альбом)

Зачем меня в тяжелом сне
Тревожат лестные вельенья?

Нет, не поминок обо мне,
Я жажду струй самозабвенья!
Мое любимое давно
Во прахе лет погребено.
Минувших дней змеиный свиток
Хранит лишь дней моих избыток
И радостей, которых нет,
Неизменимо-хладный след.
Зачем, зачем же вы желали
Мне сердце пробудить опять,
В свои летучие сжимали
Мою кручину записать?
Зачем? Вам будут непонятны
Страстей мятежных письма,
И воли грозная волна,
И прихоть думы коловратной,
Которой сила, как стрела,
Сквозь ад и небо протекла.

Но дайте года два терпенья,
И, может быть, как важный гусь,
И я по озеру смиренья
Бесстрастно плавать научусь.
Когда с порой мечтанья минет
Вся поэтическая дурь
И на душе моей застынет
Кипучий след минувших бурь,
Тогда, поэт благоразумный,
Беспечно сидя на мели,
Я налюбуюсь издали
На треволненье жизни шумной;
Тогда премилый ваш альбом
Я испещрю своим пером.
И опишу отменно точно,
Что я случайно иль нарочно
Изведal на своем веку:
Печалей терны, счастья розы,
Разлуки знойную тоску
И неги сладостные слезы,
И свод небес, и ропот струй,
И вечно первый поделуй.
Тогда, покорен вашей воле,
На арзерумского пашу

В пятнадцать песен, даже боле,
Я эпопею напишу.
Зато позвольте мне дотоле,
Скрепив измученную грудь,
От рифм и горя отдохнуть.

1829

ЧАСЫ

И дум, и дел земных цари,
Часы, ваш лик сияет страшен,
В короне пламенной зари,
На высоте могучих башен,
И взор блюстительный в меди
Горит, неотразимо верный,
И сердце времени в бесчувственной груди
Чуть зыблется приливом силы мерной.
Оживлены чугуною стрелой
На вас таинственные роки,
И оглашает вещий бой
Земле небесные уроки.
Но блеск, но голос ваш для ветреных племен
Звучит и озаряет даром
Подобно молнии неведомых писем,
Начертанных пред Валтасаром.
«Летучее мгновение лови,—
Поет любимцу голос лести —
В нем золото и ароматы чести,
Последний пир, свидания любви
И наслажденья тайной мести».
И в думе нет, что упований прах
Дыханье времени уносит,
Что каждый маятника взмах
Цветы неверной жизни косит.
Заботно времени шаги считает он
И бой, к веселию призывный;
Еще не смолк металла звон,
А где же ты, мечты поклонник дивный?
Окован ли безбрежный океан
Венцом валов — минутной пеной?
Детям ли дней дался победный сан
Над волей века неизменной?

Безумен клик «хочу — могу».
Вознес Наполеон строптивую десницу,
Сдержать мечтая на бегу
Стремимую веками колесницу...
Она промчалась! Где ж твой меч,
Где прах твой, полубог гордыни?
Твоя молва — оркан пустыни,
Твой след — поля напрасных сеч.
Возникли светлые народов поколенья
И внемлют о тебе сомнительную речь
С улыбкой хладного презренья.

1829

К ОБЛАКУ

Куда столь быстро и легко,
И гордо, и прелестно,
Ты пролетаешь, облачко,
Скиталец поднебесный?

Земли бездомное дитя,
Игралище погоды,
Напрасно, радугой блестя,
Ты, радостью природы!

Завоев вихрь, взметая прах,—
И ты из лона звездна
Дождем растаешь на степях
Бесславно, бесполезно!..

Блести, лети на ветерке
Подобно нашей доле —
И я погибну вдалеке
От родины и воли!

1829
Якутск

ДОЖДЬ

Провиденья перст незримый,
Облаков летучих вождь,

Ниве, жаждою томимой,
Посылает шумный дождь.
Звучно, благостью обильный,
Брызнул ток живой воды,
Освежая злаки пыльны
И замершие плоды.
Вот и радуга завета
Капли светлые зажгла:
То улыбка бога света —
Сень бессмертного чела.

1829

ОЖИВЛЕНИЕ

Чуть крылатая весна
Радостью повеет,
Оживает старина,
Сердце молодеет;
Присмирелые мечты
Рвут долой оковы,
Словно юные цветы
Рядятся в обновы,
И любви златые сны,
Осенняя вежды,
Вновь и вновь озарены
Радугой надежды.

1829

* * *

Еще ко гробу шаг — и, может быть, порой,
Под кровом лар родных, увидя сии строки,
Ты с мыслью обо мне вспомнишь край далекий,
Где, брошен жизни сей бушующей волной,
Ты взора не сводил с звезды своей вожатой
И средь пустынь нагих, презревши бури стон,
Любви и истины искал святой закон
И в мир гармонии парил мечтой крылатой.

1829

ШЕБУТУЙ

(Водопад Станового хребта)

Стенай, шуми, поток пустынный,
Неизмеримый Шебутуй,
Сверкай от высоты стремнинной
И кудри пенные волнуй!

Туманы, тучи и метели
На лоне тающих громад,
В гранитной зыбля колыбели,
Тебя перунами поят.

Но, пробужденный, ты, затворы
Льдяных пелен преодолев,
Играя, скачешь с гор на горы,
Как на ловитве юный лев.

Как летопад из вечной урны,
Как неба звездомлечный путь,
Ты низвергаешь волны бурны
На халцедоновую грудь;

И над тобой краса природы,
Блестя, как райской птицы хвост,
Склоняет радужные своды
Полувоздушных перлов мост.

Орел на громовой дороге
Купает в радуге крыле,
И серна, преклоняя роги,
Глядится в зеркальной скале.

А ты, клубя волною шибкой,
Потока юности быстрей,
То блещешь солнечной улыбкой,
То меркнешь грустию теней.

Катись под роковою силой,
Неукротимый Шебутуй!
Твое роптанье — голос милой;
Твой ливень — братний поцелуй

Когда громам твоим внимаю
И в кудри льется брызгов пыль —

Невольно я припоминаю
Свою таинственную быть...

Тебе подобно, гордый, шумный,
От высоты родимых скал
Влекомый страстию безумной,
Я в бездну гибели упал.

Зачем же моего паденья,
Как твоего паденья дым,
Дуга небесного прощенья
Не озарит лучом своим!

О жребий! Если в этой жизни
Не знать мне радости венца —
Хоть поздней памятью обрызжи
Могилу тихую певца.

Май 1829

ОСЕНЬ

Пал туман на море синее,
Листопада первенец,
И горит в алмазах инея
Гор безлиственный венец.

Тяжко ходят волны холодные,
Буйно ветр шумит крылом.
Только выются чайки жадные
На поморини пустом.

Только блещет за туманами,
Как созвездие морей,
Над сыпучими полянами
Стая поздних лебедей.

Только с хищностью упорною
Их медлительный отлет
Над твердынею подзорною
Дикий беркут стережет.

Всё безжизненно, безрадостно
В померкающей дали,
Но страдальцу как-то сладостно
Увядание земли.

Как осеннее дыхание
Красоту с ее чела,
Так с души моей сияние
Длань судьбины сорвала.

В полдень сумраки вечерние —
Взору томному покой,
Общей грустью тупит терние
Память родины святой!

Вей же песней усыпительной,
Перелетная метель,
Хлад забвения мирительный
Сердца тлеющего цель!

Между мною и любимого
Безнадежное «прости!»
Не призвать невозвратимого,
Дважды сердцу не цвести.

Хоть порой улыбка нежная
Озарит мои черты,
Это — радуга наснежная
На могильные цветы!

<1831>
Дагестан

* * *

Я за морем синим, за синею далью
Сердце свое схоронил.
Я тоской о былом, ледовитой печалью,
Словно двойной нерушимую сталью,
Грудь от людей заградил.

И крепок мой сон. Не разбит, не расколот
Щит мой. Но во мраке ночей
Мнится порой, расступился мой холод,
И снова я ожил, и снова я молод
Взглядом прелестных очей.

1834

ИЗМЕННИК

Повесть

...Never pray more; abandon all remorse;
On horrors head horrors accumulate:
Do deeds to make heav'n weep, all earth amaz'd
For nothing canst thou to damnation add,
Greater than that.

*Shakespeare*¹.

I

«О родина, святая родина! Какое на свете сердце не встрепенется при виде твоём? Какая ледяная душа не растает от веянья твоего воздуха?»

Так думал Владимир Ситцкий, с грустною радостью озирая с коня нивы, и пажити, и рощи переславские, свидетелей его детства, и любопытным взором, как будто желая испытать память свою, искал и предугадывал он мелькающие из-за лесу главы обителей. Правда, они не казались теперь ему, как прежде, огромными; окрестность не была уже бесконечна; но она была по-прежнему светла, все по-старому приветна. Он выехал, наконец, на озеро Плещево и стал, пораженный красотой природы, чувствами давно забытыми и новыми.

Тихо, как сон его детства, лежало перед ним озеро в изумрудных рамах своих, отражая вечернее небо, и снежные стены обителей, и сумрачный город, и чуть оперенные майскою зеленью рощи. Ладьи рыбаков, мнилось, летели в шаровидном небе, и утомленные чайки дремали на развешенных сетях или, чуть зыблемые, на влаге хрустальной. Весенние жаворонки провожали солнце с поднебесья и сверкали там последними его лучами, сливая звонкое свое пение с гремящим тысячами ручьев, низбегающих в озеро.

¹ ...Больше не молись; отбрось все угрызения совести; на голову ужасов нагроможди еще ужасы: пусть твои поступки заставят рыдать небо и изумляться всю землю, ибо ничто другое не приведет тебя скорее к проклятию, чем это. Шекспир (англ.).

Как пыль сражения улегается под дождем, смывающим кровь с лица земли, улеглись страсти в душе Владимира. Память буйной молодости, дворское честолубие, жажда битвы и славы и все, все уступило место чувству, близкому к раскаянию. Он слез с коня, припал к воде, которою часто плескался в отрочестве, в которой теперь, как в святочном зеркале, мелькало ему прошедшее, жадно пил ее,—и спокойствие вливалось в него струей вместе с прохладой! Со вздохом сказал Владимир:

— Они не терпят нечистого в своем лоне и с гневом выбрасывают его на берег ¹. Пусть же берега твои сохранят меня от гонения моих злодеев, от бури жизни и всего более от меня самого, как твои воды спасали некогда предков от ярости татар! ².

Полный надеждою взор Владимира стремился к стенам Переславля. Там уже не было его родителей; но добрая память стерегла их могилы, и сердечное добро пожаловать ждало их наследника у порогов друзей. Долго еще лежал Владимир на свежей мураве, улекаянный мечтами под крылом родимого неба, и сон рососою упал на утомленные члены путника — сон, какого давно не знала кипучая душа его.

II

Лениво подымались утренние туманы с тихого Трубежа ³, и летнее солнце невидимо вскатывалось над ними. На валу Переславля часовой ратник, опершись на копье, глядел на работу плотника, поправлявшего деревянный сруб крепостной стены.

— Это бревно никуда не годится,— сказал он плотнику,— в нем сгнила сердцевина.

— Так-то и с нашею Русью, Петрович,— отвечивал плотник, вонзая топор носком в дерево и присев на

¹ Доселе идет поверье, что Плещево при погоде выкатывает всякую брошенную в него вещь. Вероятная тому причина есть пологое и сферовидное его дно.

² Жители Переславля, большую частью рыболовы, спасались, во время неоднократного нашествия татар, на лодках, выезжая с лучшим имуществом на середину озера.

³ На реке Трубеже, впадающей в Плещево, расположен Переславль-Залесский.

венец,— Москва, сердце ее, испорчено, а мы терпим. Она кличет к себе из Польши царей, а мы подавай войско то за них, то против них драться! Поляки пируют в Москве; вор Сапега обложил Троицу, а от нее далеко ли и до нас! Прогневали мы господу неправдой; коротается наш век бедами; кто скажет, что мое добро, моя голова будут у меня завтра?.. В плохие мы живем годы, Петрович; за царя Бориса не так было.

— Нашел чем хвалиться! Нашему брату ратнику не удалось при нем разу сходить на добычу. Теперь иное дело; дай только дожждаться сюда литовцев; мы порастрясем их карманы.

— Какие у польской голытьбы карманы, когда у ней надеть нечего.

— Зато много грабленного золота. Бездельникам этим надо на нос зарубить, чтобы они не грабили божиих храмов, не обдирали бы риз со святых икон.

— Такое добро, земляк, никому впрок не пойдет.

— Кто живет день до вечера, тому какая забота, скоро ль подрастут рога у молодого месяца. Мне только душно сидеть сиднем за стенами, когда самые монахи дерутся. Я очень завидую товарищам, которые идут с нашим воеводою на подмогу к Троице¹.

— Кто же здесь останется воеводой?

— Кому быть, кроме старшего князя Ситцкогого... Ему, кажись, на роду написано повелевать,— что твой орел, когда взглянет!

— Правда, земляк, правда. Ростом, и дородством, и поступью — всем взял. Я сам нехотя хватаюсь за шапку, когда с ним встречаюсь. Одно беда: про него ходят недобрые слухи. Зачем он брался с поляками? Зачем не видали его в рядах Шуйского? Худо, коли он не хотел заступить за правое дело, а еще хуже, коли его в дело не приняли.

— Брат, не всякому слуху верь! Теперь и правда и клевета изверились пуше жидовского золота.

— Пусть оно так. Да ведь на наших-то глазах он даром живет здесь три года! Что делать удалому в глуши, когда Москва в плену, а святая Русь у погибели от самозванных царей и друзей незваных; когда измена и разбой рыщут из края в край; когда враги палят нивы и

¹ Воевода переславский Иван Васильевич Воынский был с своею дружиною для помощи Троицкой лавре в 1609 году. См. сказание об осаде Тр.-Серг. лавры, с. 221.

города, бесславят братьев и жен — навек позорят имя русское?

— Ты разве не слышал, что ему больно полюбилась Елена Ивановна, дочь воеводы?

— Да он-то пришел ли ей по нраву? Княжой дворецкий проговаривает, что барин в такую смуту не станет играть свадьбы, а уж коли быть не быть сговору, так разве с князь Михайлом, меньшим братом Ситцкого. Вот душа — можно сказать, что ангельская. Красив, как утренняя звездочка, и от брата, как небо от земли, отличен. Кроток, сердце на устах, и ко всем приветлив, зато и любим всеми, от бояр до простолюдинов. В черный год не сидел он за печкой, а бился и проливал кровь за царя, и коли призван сюда, не ластится к красавицам, а смышляет, как защитить наш родимый Переславль. Дай-то бог, чтобы князь Михайла оставили у нас засадным воеводою!

Так судили о двух Ситцких многие умные горожане; но если Михаил привлекал к себе любовь добротою души, а уважение — своими заслугами и прямизною нрава, то Владимир исторгал у всех невольное внимание. Природа отметила чем-то необыкновенным его черты и речи. Его имени не спрашивали дважды. Взоры Владимира, облеченные в какую-то вещественность, ничтожили равно и улыбку любви, и привет участия, и вопрос любопытства. Они не проникали, но пронзали душу. Он не бегал людей, но удалял их от себя. В хороводах с красавицами очи его, подобно кремню, сыпали искры и не загорались сами. Даже вино теряло над ним свою силу: ни лишнего слова, ни доверчивой ласки не вырывалось из неизменной груди Владимира. Правда, порой и его лицо разгоралось заревом душевного пожара, но это не были страсти людей; они неведомы были тем, кто замечал их, как образ заоблачной молнии, от которой виден блеск и не слышно грома.

Кто знает, любовь или гнев волновали его душу, когда лицо его то пылало кровью, то вновь тускнело, как булат? Кто знает, гордость ли воздымала так высоко его брови, презрение ли двигало уста? Высокие ль думы или тяжкое преступление провело морщины на челе? Иногда взор его сверкал огнем, но потухал столь мгновенно, что наблюдатель оставался в сомнении, видел ли он то или то ему показалось. Его жизнь, его страсти, его замыслы оставались неразрешенною загадкою.

Душная ночь налегла на холмы переславские; небо слилось в громовую тучу; смирно озеро в берегах своих. Изредка луч безмолвной зарницы вспыхивает и гаснет в темной глубине вод, обозначая в небосклоне главы церквей и башни города. При синих блестках ее видны тяжелые облака, без ветра надвигаемые. Тихо все и мертво, будто природа в тоске перед грозой.

Но кто же тот юноша, что в бурю и полночь не ищет, а бежит крова? Взоры его с яростью обращаются к Переславлю, лицо пылает гневом и злобой. От быстрого хода черные кудри путника развеваются и длинные в серебряной оправе пистолеты, за пояс заткнутые, гремят о рукоять меча. Для чего ж не спит он, когда все живое наслаждается покоем? Неужели грызения совести о прежнем злодействе или покушение на новое подняло его с ложа?.. Но вот уже он, бросив прибрежную тропинку, далеко в бору дремучем. Привычной стопой пробегает поляны — и глубже в лес, и лес от часу диче и чаще. Сухие иглы хрустят под ногами; иссохшие ветви цепляются в волосы; тлеющие пни заграждают путь; но путник с сердцем ломает и рвет упрямые сучья, смело прыгает через рогатые трупы сосен, и все уступает дерзкому, и он близок уже к заповедному холму.

Там, повествовало суеверное предание, более века тому назад убит был молниєю колдун, когда он с помощью ада вынимал заговоренный клад. Без веры изжил он век, без раскаянья сгиб, без молитвы погребли его, но земля с ужасом приняла в свои недра неотпетого грешника; с тех пор адские духи стали слетаться над могилой их любимца. Каждую полночь, по словам удалых охотников, слышны там плеск крыл, хохот и свисты. Синие огоньки летают по воздуху, мелькают ужасные привидения, и волшебник с кровавыми устами бродит кругом и манит заблудшего путника. У смельчаков навертывались холодные слезы от ужаса, на посиделках, от сих шепотных рассказов; девушки вздрагивали при малейшем скрыпе оконницы, при нечаянном треске лучины, и дети с трепетом жались к груди матерей. Давно заглохла тропа на холм могильный, и ни топор дровосека, ни стрела звероловца, ни взор, ни ветер не проникали в эту дебрь, загражденную страхом.

И вот уже проник он до поляны, венчающей холм;

уже занес ногу, чтобы ступить на нее, когда долетел до него благовест, зовущий монахов ко всеобщей. Холодный пот проступил на челе отчаянного: медь прозвучала ему совестью. Он вспомнил, как радостен был для него благовест Христовой заутрени в подобный час полуночи... Все прежнее обновилось: беспечность прежней невинности и вера отцов, теплая вера юности, теперь им забытая. Тогда душа его была как голубь — теперь стала чернее ворона... Но мимолетные благие мысли в сердцах, закаленных в буйстве и гордости, в сердцах, вечно укоряющих судьбу, а не себя — и мщение, ненависть, ревность закипели вновь сильнее прежнего.

— Нет, не мне ворочаться! — вскричал Владимир, ступая на поляну. — Тому ли страшиться ада, у кого ад в душе?

При озарении молний он видит обрушенный и мохом покрытый крест; на траве, будто истоптанной палящими стопами, лежал чей-то череп. Где-где между седых полустлевших елей трепетала робкая осина — дерево казни предателя. Пещерою склонилось небо над сею забытою поляной, и тихо в ней, как в могиле.

— Пора, — сказал Владимир и стал творить суеверные заклинания, трижды обратившись против солнца и за каждым разом повторяя призывание злого духа. — Явись мне, искуситель рода человеческого, — восклицал он, — стань передо мной лицом к лицу; я не кроюсь за кругами, начертанными мертвою рукой¹; я без боязни увижу тебя, как предаюсь тебе без завета. Приди на помощь того, кто служил аду, служа себе самому; дай, хотя на час, поторжествовать над теми, кого ненавижу, и повладеть теми, кого люблю! Будь товарищем моих замыслов, чтобы вечно, вечно быть моим властелином; явись — я поклонник твой, за страшную, за ужасную плату!.. Я отрекаюсь всего, до сих пор мне святого и драгоценного; как этот череп, попираю ногами все человеческое; как этот пояс, разрываю связь с родством... Враг всего высокого и благородного, явись! Тебя призывает человек, который бы мог быть ангелом и который хочет стать злым духом, который меняет райское спокойствие на власть ада — продает вечность за миг... Явись, явись!

¹ Все описываемые здесь обряды принадлежат еще доселе к суевериям простого народа.

Дикий отголосок вторил его кликам опять и опять, и притихший бор, казалось, с ужасом внимал голосу отступника. Подул ветерок, листья залепетали — и у грешника занялся дух. Он откинул рукою кудри с чела, чтобы прохладить его свежестью; но ветер палил его лицо, словно дыхание ада. Снова все тихо. Но вот загорелся огонек в чаще леса; он ближе и ближе с шорохом ветвей... Взор и слух призывателя настороже, и дыбом волос его, и леденеет в нем сердце; но вот двоятся огонь — и щелканье зубов уверяет его, что то светят глаза хищного волка. С каждым мигом растет нетерпение юноши, и, наконец, бешенство овладело им.

— Ты нейдешь, робкий злотворитель! Ты боишься грозы небес; тебя пугает голос бесстрашного, как пение петуха. Ты кажешься только детям и старухам, смущаешь только мирных отшельников, беседуешь с одними полоумными чародейками! Вооружен адскою злобою, ты не скинул с себя людской трусости. Или не думаешь ли, что с жертвою нет договора, что рано или поздно я твой? Нет, нет! я еще могу вырвать из когтей твоих свою душу; в ней довольно силы, чтобы, назло тебе, я мог изумить добродетелью добрых людей, как я радовал злых духов своими замыслами. Еще ли нет?.. Небо и ад меня отринули!

В отчаянии, со скрежетом зубов, повергся он на землю. Гроза выла, сквозь ливень реяли молнии, и, наконец, дикий хохот раздался над его головою.

IV

Холодный трепет проник в кости Владимира от прикосновения чьей-то руки, упавшей к нему на плечо. Сердце его от прилива крови будто хотело разорвать грудь, но он гордо приподнял голову, и, при блесках молнии, открывающих небо и землю, изумленный взор его встретился с насмешливым взором приятеля его, Ивана Хворостинина, который в венгерском доломане стоял перед ним. Щеголя, со времен самозванца еще, носили тогда польское и венгерское одеяние.

— Безумец ты, Владимир,— говорил он ему сквозь смех,— неужели в наш век, когда люди перехитрили дьявола, ты хочешь обмануть его! Поздно, приятель, поздно. Черти уже не верят кровавым распискам и душевным закладам; да и что за прибыль бесу в душах

наших теперь, коли даром проглотит нас ад пастью могилы. Я не узнаю тебя, князь,— ты ли это? Тебе ли верить в чертей, когда ты не веровал в божью правду?

— Так, Хворостинин,— я заслужил, чтобы сумасброды упрекали меня в безумии. Брани меня, смейся надо мною; я стыжусь даже тьмы, скрывающей стыд мой. Какого ада искал я вне себя, когда могу угрожать недругам своим адом! У меня есть сила в теле и месть в душе; на свете есть еще огонь и железо.

— Есть и виселицы, Владимир. Смутное время и безземельное твое княжество не спасут зажигателя и убийцу от этой качели.

— Кто противостанет мне? Что меня остановит?

— Каждая пуля. Полно, князь, мерять силы своим гневом. Будь ты сам Полкан-богатырь, но горсть пороха — и ты прах.

— Низкая выдумка! Ты равняешь храброго с трусом, сильного с слабым; тобой побеждают без чести, от тебя гибнут без славы. Но у меня есть товарищи, друзья. Они станут за меня...

— Они бы спрятались за тебя в битве, но не пойдут за тобою в ссору. Послушай, Владимир, ты, кажется, довольно презираешь людей, чтобы разгадать, для чего к тебе вешались на шею многие земляки наши. Они думали видеть в тебе будущего воеводу и зятя богатого Волынского; обманулись,— и когда я выходил из Переяславля, то уже слышал, как честили тебя горожане, как шумели брату твоему их заздравные клики. Думаешь, это не правда?

— Какая клевета черней этой правды? Да, я брошен в снедь бессильной злобе своей. Для чего мое негодование не дышит бурей! Для чего проклятия мои не могут летать и сжигать молниею; для чего этой рукой не могу я разорвать свод неба и обрушить его на головы врагов моих!..

— Славно, славно, князь! Ты беснуешься, будто кликуша¹ перед Херувимскою. Однако же мне, право, смешны вы, горячие головы. Вообразили себе, что целый свет должен глядеть вам в глаза и что природа для вас вертится на курьей ножке! К чему служат все эти заклинания и проклинания? Как ты ни горячись, а это не высушит наши платья; поедем-ка лучше поискать ночлега.

¹ Так называют в просторечии одержимых бесом.

Одна приязнь к тебе выманила меня следом за тобою в эту ночь, когда добрый хозяин не выгонит собаки за ворота, когда волки рады погреться на псарне. Ух! холод, и дождь, и гром, и ветер, будто светопреставленье. Едем, Владимир, кони за лесом...

— Нет, я хочу умереть здесь...

— Умереть, чтобы дать другим жить на просторе? Не лучше ль уморить кой-кого, чтобы самому пожить вволю?

Владимир не слышал его.

— Князь, я темный человек, но могу тебе пригодиться в некоторое времечко, и это время теперь: вотчины твои промотаны, твоя слава двулична. В Москве ты имеешь врагов, а здесь друзей не нашёл. Прекрасная Елена твоя полюбила другого, и с ее рукой воеводская булава отдана младшему твоему брату... Чего ж тебе ждать здесь? Каких еще обид доискиваться? Ситцкий, я тянул с тобой одну лямку и чарку; я знаю, я ценю тебя; я вижу, как высоко стоишь ты над другими умом и как низко брошен судьбою. Я грыз зубы, когда князь Иван поверил неопытному юноше город и засаду. Вот хвалёное беспристрастие! Да и где нынче найдешь правду на Руси? Сердце разрывается с досады за всех, а за тебя всех более. Родина отвергла, презрела тебя,— чего ж медлить? Волынский уже не воротится, а литовцы в пятидесяти верстах, под начальством удалого Лисовского, который с русскими и казаками идет к Сапеге. Нам не первоучинка дружить с *panami dobrodziejami*, и Лисовский примет тебя — чуб до земли... и через два дни Переславль наш, и Елена твоя, и пошла потеха! Опять удалая жизнь, наезды, добыча. Опять звон сабель и кубков; снова гром и дым, пепел, кровь — и песни красных девушек. Князь, решайся!

С содроганием, расширив глаза, слушал Владимир слова предателя. Сомнительно прикоснулся он к груди его, чтобы увериться, человек ли говорил такие речи.

— Злодей! — наконец вскричал он, — ты, ты-то и есть нечистый дух... Русский ли предлагал русскому изменить отчизне, предать свою родину!

— Не сегодня, так завтра она и без нас погибнет, а мы, не спасши ее, потеряем себя даром. Да и одни ли мы предадимся полякам? А ведь на людях и смерть красна.

— Но презрение добрых людей! но проклятия потомства!

— Потомки если не оправдают, то извинят нас обстоятельствами; а из людского мнения не шубу шить; да и где эти добрые люди? Кто ныне прав, кто виноват? Одни бьются за Шуйского, другие целуют крест Владиславу; кто же и нам не велит кричать громче всякого: «За матушку за Россию, за царя за Димитрия!»

— Нет, нет!

— Нет?.. Так оставайся же в пыли, хвастливое дитя,— я не хочу долее терять слов с человеком, который мечтает перевернуть свет и не может переломить вздорного предрассудка; который дышит братоубийством и страшится измены; который все хочет и ничего не смеет!.. Поди, кланяйся тем, которые за счастье должны бы считать поддержать твое стремя; грызи украдкою, как мышь, каблуки презиравших тебя врагов; ступай на вести к своему меньшому брату, жди подачки с его стола... добивайся в дружки к той, которой ты можешь быть мужем; осыпай молодых приветливо хмелем, когда бы ты хотел задавить их под проклятиями; считай чужие поцелуи, нянчи будущих детей братниных...

— Этого я не стерплю никогда!..

— Ты не стерпишь? И, брат Владимир,— терпение славная вещь... с ним и с покровительством брата ты можешь под старость выслужить даже угол в богадельне. Прощай, Ситцкий, спасибо за урок. Ты показал мне, что пустые сердца звучат громко, что есть заячьи сердца в грудях орлиных...

Бешенство, ревность, месть пылали в Ситцком; они одолевали совесть. Взошло солнце, и, по сказкам ранних косцов, они видели двух незнакомых всадников, закутанных в охабни, которые торопливо ехали по Владимирской дороге.

V

Зарево от пылающего монастыря Даниила Столпника бросало кровавый отблеск на озеро, и берега его вторили кликам военным. Лисовский облегал уже Переславль, уже отбил вылазку Михайла Ситцкого. Стычка только что кончилась, выстрелы смолкли; но облако дыма и пыли несло еще над стенами города, где мелькали огни и оружия, слышались приказы, стук топоров и плач жен. Другая картина представлялась под стенами: ниспадающая ночь мешала видеть объем стана осаждающих; но

как они не слишком боялись недалёкострельных орудий города, то очень близко притиснули свои передовые отводы к тенистому рву. Со стен сквозь мрак видно было, что всадники расседлывают коней, иные вываживают их, напевая песни; другие, насвистывая, поят их у озера. Пешие оттирают брони и строят шалаши из ветвей. Там делят корм, там — добычу. Треща, разгораются огоньки и здесь, и тут, и повсюду; котлы бьют пеной, и вот собираются воины в артели; вот пошли шутки и хохот, крик и пенье. Никто не жалеет о павшем, никто не думает о себе — все беззаботно веселятся после и перед битвой. Они пируют на свадьбе смерти, как на именинах у друга.

Чудна и пестра была смесь народов, составлявших хоругвь Лисовского. Польская шляхта, своевольно наехавшая на Русь, служить себе, без воли сейма и против воли короля. Они гордо похаживают, крутя усы и отбрасывая назад рукава своих контушей, клянясь и хвастая ежеминутно. Казаки косо поглядывают на союзников, лениво дымя трубками, и часто сабли их крестятся с польскими, хотя к их знаменам, для добычи и славы, привязали они переметную дружбу свою. Полудикие литовцы, приведенные панами на разбой и на убой, бесстрашно сидят или спят вокруг огней. Наконец изменники русские; иные из привычки к мятежу и бездомью, другие алкая корысти, третьи из надежды воротить грабежом у них отнятое передались к гультаям польским. Роскошь и бедность вместе разительно виделись в стане. Инде ходил часовой с заржавленным бердышом, в рубище, но в золоченом шишаке; другой в бархатном кафтане, но полубос; здесь поят коня серебряным ковшом, а там на дорогом скакуне лежит вместо седла циновка. Штофный занавес, вздетый на копье, завешивает из бурки сделанную ставку какого-нибудь хорунжего, который нежится на медвежьей полости, склоня голову на седло. Здесь бобровое одеяло кинуто на грязной соломе. Все это было странно и дико, но все кипело жизнью и силою. Везде говор и ржание коней, звук и блеск оружий во мраке.

Перед ставкою у огня лежал на ковре Лисовский и с ним двое изменников, Хворостинин и Ситцкий. Крепкий склад и суровое, загорелое лицо показывали в Лисовском обстрелянного воина, а быстрые глаза и думные на челе морщины — опытного вождя. Беззаботная голова

Хворостинин уже спал беспробудно, утомленный сечью и вином, как это видно было по окровавленной сабле его и опрокинутому в головах кубку.

— Пей, товарищ, пей,— говорил Владимиру наездник Лисовский, напенивая стопы.— Смой усталость битвы, освежи твое грустное сердце радостными слезами винограда! Посмотри, как кипит и в жемчужистой пене скрывает румянец свой это некупленное вино. Оно дышит какою-то благовонною прохладой; оно недаром таило свой жар в ледниках дворцовских, чтобы отводить тоску царей... Товарищ! пей, оно и твою утолит!

— Нет, Лисовский, нет. Злодейка тоска всплывает наверх, и вино подливает пламень в кровь, и без того кипучую. Я видел, как это вино лилось морем на столах Годунова и Димитрия. Я видел вблизи их обоих,— и верь: оно не смывало кручины с чела, стиснутого венцом и... есть неизлечимые раны, есть неусыпающие мысли, которых никто, ничто в свете не в силах вырвать из размученной ими души!

Так говорил Владимир в тоске глубокой и непритворной. Уста его, еще покрытые пылью, трепетали, и на лицо, обрызганное кровью, проступало мучение души.

Тронутый Лисовский задумчиво пил из стопы своей; соучастие отозвалось в жестоком его сердце. Так-то и в самых неприступных башнях есть тайники сокровенные, но проходимые. Правда, не вдруг сошлись эти два характера: властолюбие вождя взрывало Ситцкого; вождю не нравилась в Ситцком непокорность. Но в первом страсти сердца, умеренные войною и честолюбием, любили припоминать в другом свою когда-то неукротимую волю; а Ситцкого пленяла откровенность поляка. В верности русских изменников уверился Лисовский на деле; они русскою кровью смыли с себя имя русских, а Владимиру нужно было высказать свои чувства тому, кто мог бы их почувствовать. Притом оба они были пламенные; наречие обоих, как восточная ткань, пестрело какими-то чудными цветами,— и вот Лисовский, гроза России, славный потом в Германии наездничеством за веру, сдружился с изменником, который навел его на свою родину. Не знаю, искренна или корыстна была дружба сия, но они стали неразлучны. Так два нагорных потока, встретясь, кипят и спорят, и с ревом, неодоленные оба, сливают волны свои, и несутся одною дорогой.

Молча подал Лисовский руку Владимиру и крепко, выразительно сжал ее.

— Лисовский,— сказал тогда Владимир,— вижу, что вопрос, внушенный дружбою, летает на устах твоих,— я предупрежу его. Да и для чего не облегчить мне сердца, раздавленного тайною скорбью! Наружность винит меня более, чем обвинит признание, и ты можешь понять меня! Слушай!

Здесь повела меня жизнь, но путевое седло было моей колыбелью, и я как сквозь сон помню себя в стане военном, и гром, и кровь, и пламя кругом меня. Это, как узнал я после, было при взятии шведами городка Падиса в Чудской земле. Там сидел бесстрашный старец Данило Чихачев¹ и, отвергнув переговоры, пал последний на трупах своих ратников, на вверенной ему стене. Отец мой, бывший там подвоеводчиком, раненый, избежав побоища, спас меня и мать мою. Это кровавое зрелище потрясло мою трехлетнюю душу и впечатлело в ней буйные, неуголимые страсти. Отца я не помню,— он умер вскоре после похода, а мать забыла меня для меньшого брата. Как буря по степи пронеслась моя молодость, и даже в детстве я не знал иной радости, кроме покоя. Я чуждался своих сверстников, мне казались жалкими их игрушки; моею забавою было то, что и самых юношей пугало: бешеные кони, звериная ловля, и мрак ночей, и непогодное озеро. Я наслаждался опасностями и мое первое презренье было к тем, кто их боялся. Скоро порода и красота призвали меня в рынды к двору Феодора, и я равнодушно оставил за собой эту родину: тогда райская птичка — надежда летела перед мной и манила вперед своими блестящими крыльями. Сначала сияние двора ослепило меня,— но тем черней показалась чернота его после. Я увидел во всех обман и во всех подозренье, зеркальные лица и ничем не подвижные сердца, лесть, которой никто не верил и каждый требовал, умничанье безумия и чванство ничтожества! Я чувствовал, как уменьшалась душа моя в кругу людей, которых греет улыбка любимцев более, чем заемная шуба², которые не могут жить без низостей, ни к чему не

¹ Это точно случилось в 1580 году. Спасся только один Михаил Ситцкий. См. «Ист. гос. Росс.», т. IX, с. 315.

² Тогда при дворе для праздников и приемов выдавались боярам дворцовские богатые шубы и кафтаны.

нужных! С каждым днем опостывал мне двор... Я вырывался из душных палат кремлевских, чтобы подышать отзывным мне ветром и бурею, чтобы выместить на зверях свою ненависть к людям. Однако ж, по какой-то пагубной привычке, я не мог жить вовсе без людей, с которыми не мог ужиться. Такова-то цепь общества: снять ее мы не в силах, а разорвать не решимся. Наступил на престол и Годунов, годы влеклись, и только изредка моя душа порывалась к чему-то сильному, к чему-то грозному,— и, наконец, труба мятежа пробудила ее. Как ворон, вострепнулся я, слышав кровь, и радостно полетел к Новгороду-Северскому¹. С кем и за что сражаться — не было мне нужды; лишь бы губить и разрушать. Эта забава стала мне целью, эта цель — моею наградой. Душа освежалась в пылу битвы; я оживал той жизнью, что отнимал у других,— но кто лучше Лисовского может оценить наслаждение отваги и упоенье победы.

Ты знаешь, это длилось недолго; наши московские сидни признали Дмитрия, и я со вздохом опустил меч и, увлеченный всеми, въехал в свите нового царя в столицу. Нечего было делать — пришлось нанять царских соколов, чтобы заполевать, при случае, воеводство. Я сошел в круг людей, презираемых мною, но необходимых мне, чтобы из него возвыситься. Лишняя горсть золотой пыли в глаза, лишняя дюжина блесток на платье, венгерское вино и арабские лошади — и легкомысленные твои соотечественники стали моими приятелями. Вместе рыскали мы по улицам Москвы, топтали народ и увозили красавиц. Это напоминало мне жизнь наездническую; в буйстве я дышал веселее; я уже был накануне исполнения моих желаний,— но кто бывал в будущем! На одной пирушке молодой Оссолинский обидел меня, и вельможная голова слетела в прах. Я бежал, бежал не смерти, а позора, и родина приняла меня под кров свой,— но как? Подобно дереву, которое манит в сень свою путника на отдохновение и наводит на него громовую стрелу!

Въезжая сюда, я как будто вновь родился. Воспоминанием прежней невинности усыпилось мое мятеж-

¹ Под Новгородом-Северским встретил самозванец неожиданный и сильный отпор, откуда воевода Басманов, сей отважный изменник, не передался на его сторону (1604, в ноябре).

ное сердце, как дитя колыбельною песнею. Здесь все было так тихо и приветливо!.. Родителей моих уже не было на свете, но я нашел в воеводе Волынском, опекуне моем, второго отца; у него-то познакомился я с прелестною его дочерью Еленой и. признаюсь тебе, Лисовский, полюбил ее душой; неведомое мне чувство какого-то небесного покоя пролилось в грудь ее взорами. Сердце мое стало как переполненная сладким напитком чаша, любовь к ней проливалась на все меня окружающее. Я узнал тогда радость доброты и потребность дружества; весь божий свет стал для меня красен впервые. Как сладко потекли мои дни, как тихи и чисты были сны мои! Теперь я только помню, что это было; но понять, но почувствовать это снова я уже не могу. Чего бы не сделал, чего бы не отдал я, чтоб воротить себе эту внимательную рассеянность при милой, эту нетерпеливую тоску без нее, эту безжелчную досаду за безделицы, этот восторг за ласки! Три года протекли как одно майское утро; она росла и развивалась в глазах моих, и я забыл для нее битву и славу, и поляков и русских. Дмитрия свергли вслед за моим бегством. Его замыслы, власть и жизнь рассеяны были вместе с его прахом пушечным выстрелом... И это было настоящее изображение его царствования: гром и дым — и прах на ветре!.. Прочие московские дела ты знаешь. Но я не хотел тогда знать — и желал бы позабыть; я сидел здесь, очарованный ею, и как прелестна тогда была она! Как искренна была со мною! С какою нежною заботливостию спешила рассеять грусть мою, с какою детскою резвостию веселилась, когда я был весел. Лисовский! трудно поверить и тяжело, стыдно вспомнить, как я, гордый и неуклонный, был тогда искателен перед нею; сколько похвал и угодничества расточал ей; как по целым часам, не сводя с нее взоров, впивал ими обаяние красоты; только о ней думал наяву, только об ней грезил во сне... Да... я не знаю середины и границ в страстях моих: ненавижу до неистовства, люблю до упоенья! Но не всем на счастье создана любовь. Смотри, как павшая роса оживляет былье, но она снедает ржавчиною булат моей сабли, — и, как эта персидская сабля, долженствовала моя любовь рассечь все препоны или разбиться вдребезги. Моя душа, полная страсти, подобилась громовой туче, блистающей лучами солнца; но одно противное облако, одна искра — и кто осмелится играть с перуном!.. Это мгновение настало.

Меньшой брат мой, Михаил, приехал, за полгода, сюда, и скоро я не мог не возненавидеть того, которого должен был любить. Я молчал... он тайлся, но уже взаимная их любовь перестала быть тайною, и я узнал муки ревности, я спознался с адом злобы. Свежие щеки, томные глаза, красные речи Михаила полонили ее сердце, — да и какое женское сердце не выбирает друга по себе?.. Оно бессильно отвечать, их ум не может понять сильной любви нашей. Они охотно внимают странным речам страсти, как иноземной песне, ласкающей слух и не понятной душе! Только лепетаньем, только детскими игрушками привлечено их внимание.

Но не одну любовь Елены похитил у меня Михаил, любовь, с которой слит был покой души, стало быть счастье жизни! Нет! Он вонзил мне в грудь двойное острие. Волинский удалялся; мне по старшинству и по опыту следовало принять воеводство. Лучшие граждане обещали избрать меня, если б даже и Волинский воспротивился. Все было готово... Я решился пересилить силу, думал несомненно получить если не взаимность, то руку Елены; сватаюсь... и что ж? Я вдруг узнаю, что происками брата ему достается моя суженая, и ей в приданое — воеводство... И в целом городе ни один голос за меня не послышался. Как лютый зверь, тогда вспрыгало мое сердце; не знаю, как не сошел я с ума от бешенства. Остальное тебе известно. Люди, ад, все изменило мне — и я твой товарищ. И ты видел, каково мстил я коварным! Одной мести жажду я... У меня нет другого чувства; я уже сорвал с сердца терновый венок любви. Но клянусь всем, что было для меня свято, что теперь для меня дорого: Елена, живая или мертвая, будет в моих объятиях. Хочу насмеяться ее мучениями, когда она презрела мои, хочу, чтобы она век не смыла своими слезами кровь своего возлюбленного. Называй это ребячеством, прихотью, раздражением мелкого самолюбия и честолюбия; смейся над этим как хочешь — но она будет моя. В том моя цель, в том мое желание... да и не лучше ли слушаться своей воли, чем век повиноваться чужой! А брата... злодея брата... Слышал ли ты ответ мой на его письмо, недавно ко мне на стреле перекинутое! «Источу из тебя кровь, — отвечал я ему, — чтобы разорвать последние узы, которые нас соединяют, а меня гнетут; пеплом пожара посыплю главу Переславля, который ме-

ня отвергнул,— и если суждено мне погибнуть, то и врагов повлеку с собой в бездну!..»

Скоро сон сомкнул очи Лисовского и уста Владимира. Но страшными сновидениями перерывалась его тяжелая дремота. Тише и тише кипела кровь, воспаленная гневом... Волнение уходило, и предрассветный ветерок обвеял свежестью его чувства. И вот чудится Владимиру шелест шагов; кто-то, наклонившись над ним, шепчет в ухо: «Владимир!..» — и он, трепеща, полусонный, хватается за пистолет и, поднявшись на руку, стремит изумленные взоры на пришельца; перед ним молодой казак стоит в сиянии месяца... нерешительно снимат он шапку свою, и длинные волосы распадаются по плечам, замирающий знакомый голос повторяет: «Владимир!» Это — Елена!

— Не дивись, Владимир,— говорила она,— что, откинув девичью робость и стыдливость, я пришла к тебе сквозь все опасности. Долго любя тебя как брата и теперь любя брата твоего более себя, я была поражена твоей неожиданною переменой; меня измучила мысль, что я тому виною; я решилась за то дерзнуть на все, пожертвовать собою для спасения родины, для спасения твоей славы, твоей души. Так, Владимир!.. Я буду твоею, я постараюсь сделать тебя счастливым, я научусь любить тебя,— но будь же достоин моей любви и уважения всех — покинь это гнездо отступников; твоя храбрость спасет Переславль, твоё раскаяние загладит мгновенную измену. Сам бог прощает кающегося грешнику, и благословение на земле и спасение в небе — ждут тебя. Брат отдает тебе все, что ты хочешь; я — все, что могу... Как награды, как милости прошу: возвратись! Сжалься над моими слезами... умилились моими мольбами!

— Нет! ангельская душа! — вскричал тронутый Владимир,— я не продаю ни добрых, ни злых дел моих; ты останешься невестою Михаила — и я снова слуга родине! Елена, ты победила меня, — идем!..

И вдруг сердце пронзающий звук трубы загремел в стане — и Владимир проснулся!.. Лисовский уже в броне стоял перед ним и будил его.

— Пора, Ситцкий, пора! — говорил он. — Заря занимается, и все готово: ты поведешь казаков на приступ от озера, я с лодками нагряну от Трубежа... Огонь в стены — и город наш!

— Неужели это был сон?! — вскричал, озираясь, обманутый мечтою Владимир. — Сон, злобный сон! Так-то все доброе, все прекрасное в свете — один рассказ, одно пустое сновидение; только во сне готовы люди на великое и благородное. Пусть же судьба влечет меня к злодейству — я опережу ее, и чем невозвратнее мне дорога, тем беспощаднее буду! На коней, вперед! Горе осажденным!

Свет чуть брезжил. Толпы двинулись молча и не стреляя; но роковое *пали!* с вала было смертным приговором для многих. Как чугунные змеи, таясь в траве, пушки вдруг разинули пасть свою, небо вспыхнуло, и град смерти, свистя, запрыгал между рядами. «Скорей, скорей, — раздалось отовсюду, — сходи ко рву, бросай вязни, рви и руби частоколы!» Поляки устремились вперед по набросанной в ров гребле; но стенные дробовики не умолкали, ядра пронизывали ряды наступающих, и вода поглощала скользящих и раненых. Толпа остановилась.

— Вперед, за мной! — воскликнул Владимир и, нагнув на брови шлем, кинулся к другому берегу. С гиком и воплем посыпали за ним казаки, и он уже впереди всех, с саблею в зубах, с пистолетом в руке, уже на лестнице... Отряхав с себя камни и стрелы, уже схватясь за зубец, ступил он на стену.

— Стой! — загремело ему в слух. Пушечный выстрел осветил ратника, с которым столкнулся он грудью к груди, — и что ж? Над ним сверкала сабля Михайлова. Ужасное мгновение! Бледным от ярости, мелькнули им взоры друг друга, и смеркло все... Невольный трепет проник обоих. «Он изменник» — была первая мысль; но «он твой брат» — было первое чувство Михаила, и сабля замерла в руке. «Это враг мой», — мелькнуло в голове Владимира, — и пистолетный выстрел предупредил ниспадающую саблю. Проколотый сам двумя копьями, упал он на труп умерщвленного им брата.

«Измена! Победа!» — раздалось от Трубежа, и затем клики грабежа и насилия огласили воздух.

Ночью двое поляков бродили по стене, ища на трупах добычи; они остановились над одним, чтобы снять с него дорогую испанскую кольчугу. Между тем целый

день мук истощил силы Ситцкого; время катилось через него колесом пытки. Огнем палило солнце его раны и жаждою уста; слепни пили кровь его, а он не мог ни звуком, ни движением облегчить своих страданий. Исхлынувшая сквозь раны кровь уступила место совести в сердце. «Злодей,— говорила она,— ты пожертвовал всем своей прихоти,— и что ты теперь? Терзайся! Это еще легкий задаток вечных мук на том свете... Слышишь ли эти вопли? Это тебя отпевают проклятиями, и многие столетия распадутся в прах, покуда не сгинет память предателя, заклеянная позором». Между тем пламя болезни спорило с смертным холодом о добыче,— и ужасная минута, которой жаждал и страшился желать Владимир, приблизилась. Чувства смешались и прекратились... Тяжелый вздох как будто хотел разорвать сердце...

— Это он,— сказал поляк своему товарищу, вглядываясь при свете луны в лицо умирающего,— это Ситцкий. Не зарыть ли нам его честно, Казимир? Он был отважный молодец; наш Лисовский уважал его.

— Уважал! Можно ли уважать изменника! Если почитать людей за одну отвагу, так поэтому все равно умирать на виселице с разбойником! Нет, брось его на расщипку воронам. Земля не примет того, кто ее предал!

— Стащим с него долой контуш,— он позорит польское платье!

— Нет, Ян, я ни за что не дотронусь до платья, обрызганного братнею кровью.

— О, не припоминай! Этот злодей в моих глазах застрелил брата... А тело его невесты нашли теперь в реке. От страха ли, от горя ль утопилась она или ее утопили — это неизвестно; но она хоть счастлива тем, что не видит бед своей отчизны... Да вот, гляди, лежит и брат его. Помоги мне, Казимир, вытащить из-под этого Каина его тело. Завидна смерть за родину, и честно будет погребенье храброму от храбрых!

Как голос трубы Страшного суда, пробудил сей разговор полумертвого Владимира. С содроганием открыл он глаза, затекшие кровью,— и первое, что представилось его взору, было бледное, укоряющее лицо убитого им брата, на груди которого лежал он... С этим взором выкатился свет из очей изменника.

ИСПЫТАНИЕ

*Посвящается
Аргалиону Михайловичу Андрееву*

I

...В благовонном дыме трубок,
Как звезда несется кубок,
Влажной искрою горя
Жемчуга и янтаря;
В нем, играя и светлея,
Дышит пламень Прометея,
Как бессмертная заря!

Невдалеке от Киева, в день зимнего Николаы, многие офицеры *ского гусарского полка праздновали на именинах у одного из любимых эскадронных командиров своих, князя Николая Петровича Гремينا. Шумный обед уже кончился, но шампанское не уставало литься и питься. Однако же, как ни веселы были гости, как ни искрення их беседа, разговор начинал томиться, и смех, эта Клеопатрина жемчужина, растаял в бокалах. Запас уездных новостей истощился; лестные мечты о будущих вакансиях к производству, любопытные споры о построениях, похвальба конями и даже всевозможные тосты, в изобретении коих воображение гусара, конечно, может спорить с любым калейдоскопом,— все наскучило своей чередой. Остряки досадовали, что их не слушают, а весельчаки, что их не смешат. Язык, на который, право не знаю почему, скорее всего действует закон тяготения, заметно упорствовал подниматься к небу; восклицания и вздохи и табачные пuffs становились реже и реже, по мере того как величественные зевки, подобно электрической искре, перелетали с уст на уста...

Я мог бы при сей верной оказии, подражая милым писателям русских новостей, описать все подробности офицерской квартиры до синего пороха, как будто к сдаче аренды; но зная, что такие микроскопические красоты не по всем глазам, я разрешаю моих читателей от волнования табачного дыма, от бряканья стаканов и шпор, от гомеровского описания дверей, истрелянных пистолетными пулями, и стен, исчерченных заветными стихами и вензелями, от висящих на стене мундштуков и ташки, от нагорелых свеч и длинной тени усов. Когда же я говорю про усы, то разумею под этим обыкновен-

ные человеческие, а не китовые усы, о которых, если вам угодно знать пообстоятельнее, вы можете прочесть славного китолова Скорезби. Впрочем, да не помыслят поклонники усов, будто я бросаю их из неуважения; сохрани меня Аввакум! Я сам считаю усы благороднейшим украшением всех теплокровных и хладнокровных животных, начиная от трехбунчужного паши до осетра.

Но вспомните, что мы оставили гостей не простясь, а это не слишком учтиво. Без нас уже половина из них, не подстрекаемая великим двигателем сердец — банком, склонила головы свои на край стола, между тем как остальные, более крепкие или более воздержные, спорили еще сидя: что красивее, троерядный или пятирядный ментик? Вдруг звон колокольчика и топот злой тройки заглушил их прения. Сани шаркнули под окном, и майор Стрелинский уже стоял перед ними.

— Здравствуй, здравствуй! — летело к нему со всех сторон.

— Прощайте, друзья мои! — отвечал он. — Отпуск у меня в кармане, кони у крыльца, и ретивое на берегах невских; я заехал сюда на минуту: поздравить милого именинника и выпить прощальную чашу. Сто лет счастья! — воскликнул он, обращаясь к князю, с бокалом шампанского, и дружески сжимая его руку. — Сто лет!

— Милости просим на погребенье, — отвечал, усмехаясь, Гремин, — и я уверен, что ты заключишь старинную дружбу нашу похвальным словом над моею могилою!

— Похвальным словом? Нет! это слишком обыкновенно. Да и зачем хвалить того, кого не за что бранить? Впрочем, как ни упорен язык мой на панегирики, твое желание одушевляет меня казарменным красноречием. Не хочу, однако ж, проникать в будущее — нет, я произнесу только надгробное слово этим живым и чуть живым покойникам, за столом и под столом уснувшим. Начинаю с тебя, милый корнет Посвистов! Ибо в царстве мертвых и последние могут быть первыми. Да покоится твое романтическое воображение, которое, будучи орошено ромом, пылало как плум-пудинг! Тебе недоставало только рифм, чтобы сделаться поэтом, которого бы никто не понял, и грамматики, чтоб быть прозаиком, которого бы никто не читал. Сам Зевес ниспослал на тебя сон в отраду ушей всех ближних!.. Мир и тебе, храбрый ротмистр Ольстредин: ты никогда не опаздывал на

звон сабель и стаканов. Ты, который так затягиваешься, что не можешь сесть, и, натянувшись, не в силах встать! Да покоится же твое туловище, откуда звук трубы не призовет тебя к страшному расчету: «справа по три и по три направо кругом!» Мир и твоим усам, наш доморощенный Жомини, у которого армии летали, как журавли, и крепости лопали, как бутылки с кислыми щами! Системы не спасли твою операционную линию... ты пал, ты страшно пал, как Люцифер или Наполеон, с верного конца в преисподнюю подстоля!.. Долгий покой и тебе, кларнетист бемольной памяти Бренчинский, который даже собаку свою выучил лаять по нотам. Бывало, ты одним духом отдувал любой акт из «Фрейшица»; а теперь одна аппликатура V.C.P. со звездочкой низвергла тебя, как прорванную волынку. И тебе, лорд Байрон мазурки Стрепетов, круживший головы дам неугомонностию ног своих в вальсе, так что ни одна не покидала тебя без сердечного биения — от усталости; ты вечно был в разладе с музыкою, — зато вечно доволен сам собою. Мир сердцу твоему, честолубец Пятачков! хотя ты и во сне хочешь перехрапеть своих товарищей, и тебе, друг Сусликов! Что глядишь на меня, будто собираешься рассуждать? И, наконец, все вы, о которых так же трудно что-нибудь сказать, как вам что-нибудь выдумать, покойтесь на лаврах своих до радостного утра, — да будет крепок ваш сон и легко пробуждение!

— Аминь! — сказал Гремин, смеючись. — Тебе, однако ж, пришлось бы, в награду за речь эту, променять не одну пару пуль или иззубрить не одну саблю, если б господа могли все слышать.

— Тогда я не считал бы их мертвецами и не сказывал бы надгробной проповеди. Впрочем, с теми, кто не принимает шутку за шутку, я готов расплатиться и свинцовою монетою.

— Полно, полно, любезный мой Дон-Кишот; мы между друзьями. Не спеши прощаться: мне нужно дать тебе поручения в Петербург, немного поважнее покупки ветишкетов и помады. Через четверть часа колокольчик будет уже звенеть в ушах твоих вместо голоса друга.

Они вышли в другую комнату.

— Послушай, Валериан! — сказал ему Гремин. — Ты, я думаю, помнишь ту черноглазую даму, с золотыми колосьями на голове, которая свела с ума всю моло-

дежь на бале у французского посланника, три года тому назад, когда мы оба служили еще в гвардии?

— Я скорее забуду, с которой стороны садиться на лошадь,— вспыхнув, отвечал Стрелинский,— она целые две ночи снилась мне, и я в честь ее проиграл кучу денег на трефовой даме, которая сроду мне не рутировала. Однако ж страсть моя, как прилично благородному гусару, выкипела в неделю, и с тех пор... но далее: ты был влюблен в нее?

— Был и есмь. Подвиги мои наяву простирались далее твоих сновидений. Мне отвечали взаимностию, меня ввели в дом ее мужа...

— Так она замужем?

— По несчастию, да. Расчетливость родных приковала ее к живому трупу, к ветхому надгробию человеческого и графского достоинства. Надо было покориться судьбе и питаться искрами взглядов и дымом надежды. Но между тем как мы вздыхали, семидесятилетний супруг кашлял да кашлял,— и, наконец, врачи присоветовали ему ехать за границу, надеясь, вероятно, минеральными водами выцедить из его кошелька побольше золота.

— Да здравствуют воды! Я готов почти помириться за это с водой, хотя календарский знак Водолея на столе вечно кидает меня в лихорадку. Поздравляю, поздравляю, *mon cher Nicolas*¹, разумеется, дела твои пошли как нельзя лучше!..

— Вложи в ножны свои поздравления. Старик взял ее с собою.

— С собой? Ах он чудо-юдо! Таскать по кислым ключам молодую жену, чтобы золотить ему пилюли, вместо того чтобы, оставя ее в столице, украсить свое родословное дерево золотыми яблоками, Это умертвительное неумение жить в свете!

— Скажи лучше, упрямство умереть кстати. Он воображал, постепенно разрушаясь, что обновит себя переменою места. При разлуке мы были неутешны и поминались, как водится, кольцами и обетами неизменной верности. С первой станции она писала ко мне дважды; с третьего ночлега еще одно письмо; с границы поручила одному встречному знакомцу мне кланяться, и с тех пор ни от ней, ни об ней никакого известия; словно в воду канула!

¹ Дорогой Николай (фр.).

— Ужели ж ты не писал к ней? Любовь без глупостей на письме и на деле — все равно что развод без музыки. Бумага все терпит.

— Да я-то не терплю бумаги. Притом, куда бы мне адресовать свои брандсгугельные послания! Ветер — плохой проводник для нежности, а животный магнетизм не открыл мне места ее процветания. Потом иные заботы по службе и своим делам не давали мне досугу заняться сердцем. Признаюсь тебе, я уж стал было позабывать мою прекрасную Алину. Время залечивает даже ядовитые раны ненависти; мудрено ли ж ему выдымить фосфорное пламя любви? Но вчерашняя почта освежила вдруг мою страсть и надежды. Репетилов, в числе столичных новостей, пишет мне, что Алина возвратилась из-за границы в Петербург — мила, как сердце, и умна, как свет; что она сверкает звездой на модном горизонте, что уже дамы, несмотря на соперничество, переняли у ней какой-то чудесный манер ридикюля, а мужчины выучились пришепetyвать страх как приятно; одним словом, что, начиная от нижнего этажа модных магазинов до ветреного чердака стихокропателей, она привела у них в движение все иглы, языки и перья.

— Тем хуже для тебя, любезный Николай! Память прежней привязанности никогда не бывала в числе карманных добродетелей у баловниц большого света.

— В этом-то все и дело, любезнейший! Отлучка полкового командира привязала меня к службе; а между тем как я здесь сижу сиднем, она, может, изменяет мне. Сомнение для меня тяжелее самой неблагоприятной известности, хуже висельной отсрочки. Послушай, Валериан! я тебя знаю давно и люблю так же давно, как знаю. Коротко и просто: испытай верность Алины. Ты молод и богат, ты мил и ловок, — одним словом, никто лучше тебя не умеет проиграть деньги по расчету и выиграть сердце безумною пылкостью. Дай слово — и с богом.

— Возьми назад свое и убирайся к черту! Подумал ли ты, что этим неуместным любопытством ты ставишь силком другу и подруге, с опасностью потерять обоих? Ты знаешь, для меня довольно аршина лент и пары золотых серег, чтоб влюбиться по уши, и поручаешь исследовать прекрасную женщину, как будто б она была соляной обломок Лотовой жены, а я профессор Стокгольмского университета!

— По этому-то самому, милый Валериан, я больше полагаюсь на твою возгораемость и сгораемость, чем на хладнокровие другого. Три дня ты будешь от ней без ума, а через три дня или она станет от тебя без памяти, или своей верностью приведет тебя самого в память. В первом случае я раскланяюсь с своими надеждами — не без сожаления, но без гнева. Ведь не один я бывал в сладком заблуждении, не один останусь и в любезных дураках. Но в другом — тем сладостнее, тем вернее будет обладание любимым сердцем. Мила неопытная любовь, Валериан, но любовь испытанная — бесценна!

— Видно, нет на свете такой глупости, которую умные люди не освятили своим примером. Любовь есть дар, а не долг, и тот, кто испытывает ее, ее не стоит. Ради бога, Николай, не делай дружбы моей оселком!

— Я именем дружбы нашей прошу тебя исполнить эту просьбу. Если Алина предпочтет тебя, очень рад за тебя, а за себя вдвое; но если ж она непоколебимо ко мне привязана, я уверен, что ты, и полюбив ее, не разлюбишь друга.

— Можешь ли ты в этом сомневаться? Но подумай...

— Все обдуманно и передумано; я неотменно хочу этого, а ты, несомненно, это можешь. В подобных делах друг твой — настоящий новгородец: прям и упрям. Да или нет, Стрелинский?

— Да! Слово это очень коротко, но мне так же трудно было выпустить его из сердца, как последний рубль из кармана в полудороге. Впрочем, я утешаю себя тем, что ты и я, как очень легко статься может, опоздали и найдем одуванчик вместо цветка. Тут еще есть бездельное обстоятельство; уверен ли ты, что супруг ее убрался в Елисейские?

— Ничего не знаю. Репетилов ни полслова об этом. Однако ж, хотя бы жизнь его была застрахована самим Арендтом, природа должна взять свое, и последний песок его часов не замедлит высыпаться!

— Браво, браво, мой Альнаскар! Это несравненно, это неподражаемо! Мы запродали шубу, не спросясь медведя. Опыт наш начинает привлекать меня, — за него надо взяться из одной чудесности. Я твой.

— Постой, постой, ветреник! Ты еще не спросил у меня фамилии нашей героини. Графиня Алина Александровна Звездич! Помни же!

— А если забуду, то, наверно, по рассказам твоим, могу о ней осведомиться в первом журнале или в первой модной лавке. Что еще?

— Ничего, кроме моего почтения твоей тетушке и сестрице. Она, говорят, вышла из монастыря?

— И мила как ангел, пишут мне родственники. Друзья расстались.

Между тем гостей развели и развезли. Все утихло, и тем грустнее стало Гремину одиночество после шумного праздника. Платон уверял, что человек есть двуногое животное без перьев; другие физиологи отличали его тем, что он может пить и любить когда вздумается; но ошипанный петух мог ли бы стать человеком или человек в перьях перестал ли бы быть им? Конечно, нет. Получил ли бы медведь патент на человеческое достоинство за то, что любит напиваться во всякое время? Конечно, нет. В наш дымный век я определил бы человека гораздо отличительнее, сказав, что он есть «животное курящее, animal fumens». И в самом деле, кто ныне не курит? Где не процветает табачная торговля, начиная от мыса Доброй Надежды до залива Отчаяния, от Китайской стены до Нового моста в Париже и от моего до Чукотского носа? Пустясь в определения, я не останавлиюсь на одном: у меня страсть к философии, как у Санхо Пансы к пословицам. «Мысль — следственно, существую», — сказал Декарт. «Курю — следственно, думаю», — говорю я. Гремин курил и думал. Мысли его невольно кружились над камнем преткновения для рода человеческого — над супружеством. Есть возраст, в который какая-то усталость овладевает душою. Волокитства наскучивают, кочевая, бездомовная жизнь становится тяжка, пустые знакомства — несносны; взор ищет отдохновения, а сердце — подруги, и как сладостно оно бьется, когда мечтает, что ее нашло!.. Воображение рисует новые картины семейственного счастья; тени скрадены, шероховатости скрыты — *c'est un bonheur à perte de vue!*¹ Мечты — это животное-растение, избегающее в сердце и цветущее в голове, — летали вместе с дымом около Гремина и, как он, вились, разнообразились и ис-

¹ Это счастье необозримое! (фр.)

чезали! За ними и холодное сомнение, за ними и желчная ревность проникли в душу. «Доверить испытание двадцатилетней светской женщины пылкому другу,— думал он, нахмураясь,— есть великая неосторожность, самая странная самонадеянность, высочайшее безумие!»

— Какой я глупец! — вскричал он, вскочив с кушетки, так громко, что легавая собака его залаяла, спросонков. — Эй, пошлите ко мне писаря Васильева!

Писарь Васильев явился.

— Приготовь просьбу в отпуск.

— Слушаю, ваше высокоблагородие, — отвечал писарь и уже отставил было ногу, чтоб повернуться налево кругом, когда весьма естественный вопрос для кого? перевернул его обратно.

— На чье имя прикажете писать, ваше высокоблагородие?

— Разумеется, на мое! Что ж ты вытаращил глаза, как мерзлая щука! Напиши в просьбе самые уважительные пункты: раздел наследства или смерть какого-нибудь родственника, хоть свадьбу, хоть еще что-нибудь глупее этого. Мне непременно надо быть в Петербурге. Командование полком можно сдать старшему по мне. Скажи ординарцу, чтоб был готов везти пакеты в штаб-квартиру, а сам чуть свет принеси их ко мне для подписки. Ступай.

Кто разгадает сердце человеческое? Кто изучит его воздушные перемены? Гремин, тот самый Гремин, который за час перед этим был бы огорчен как нельзя более отказом Стрелинского на чудный вызов свой, теперь едва не в отчаянии оттого, что друг согласился на его просьбу. Придавая возможность и существенность воздушным своим замкам, он как будто забыл, что есть на свете другие люди, кроме их троих, и что судьба очень мало заботится, согласны ли ее приговоры с нашими замыслами.

«Стрелинский проведет недели две в Москве, — думал он, — и я скорее его прикачу в Петербург. Статься может, я уж встречу его счастливым, и свадебный билет разрешит друга от излишней обязанности... Как мила, как богата графиня!!» В этих утешительных мыслях заснул наш подполковник, и зимнее солнце осветило ординарца его уже на полдороге к бригадному командир с просьбою об увольнении в отпуск.

If I have any fault, it is digression.

*Byron*¹.

Святки больше всех других праздников сохранили на себе печать старины, даже и в финской Пальмире нашей в Петербурге. Один из друзей наших въезжал в него сквозь Московскую заставу в самый рождественский сочельник, и когда ему представилась пестрая, живая панорама столичной деятельности, в его памяти обновились все радостные и забавные воспоминания детства. Между тем как дымящаяся тройка шагом пробиралась между тысячами возов и пешеходов, а ухарский извозчик, заломив шапку набекрень, стоя возглашал: «Пади, пади!» на обе стороны, он с улыбкою перебирал все степени различных возрастов, сословий и образованности, по мере того как они развивались перед его глазами. Вещественные образы пробуждали в душе его давно забытые обычаи, давно простывшие знакомства и множество приключений буйной своей молодости в разных кругах общества.

В самом деле, какое разнообразие забот в различных этажах домов, в отдельных частях города, во всех классах народа! Сенная площадь, думал Стрелинский, проезжая через нее, в этот день наиболее достойна внимания наблюдательной кисти Гогарта, заключаая в себе все съестные припасы, долженствующие исчезнуть завтра, и на камчатных скатертях вельможи и на обнаженном столе простолюдина — покупателей их. Воздух, земля и вода сносят сюда несчетные жертвы праздничной плотоядности человека. Огромные замороженные стерляди, белуги и осетры, растянувшись на розвальнях, кажется, зевают от скуки в чуждой им стихии и в непривычном обществе. Ошипанные гуси, забыв капитольскую гордость, словно выглядывают из возов, ожидая покупателя, чтобы у него погреться на вертеле. Рябчики и тетерева с зеленеющими елками в носиках тысячами слетелись из олонейских и новгородских лесов, чтобы отведать столичного гостеприимства, и уже указательный перст гастронома назначает им почетное место на столе своем. Целые племена свиней всех поколений, на всех четырех ногах и с загнутыми хвостиками, впервые по-

¹ Если я в чем-нибудь виноват, то только в отступлении.
Байрон (англ.).

слушные дисциплине, стройными рядами ждут ключниц и дворецких, чтобы у них, на запятках, совершить смиренный визит на поварню, и, кажется, с гордостью любуясь своею белизною, говорят нам: «Я разительный пример усовершенствования природы; быв до смерти упреком неопрятности, становлюсь теперь эмблемою вкуса и чистоты, заслуживаю лавры на свои окороки, сохраняю платье вашим модникам и зубы вашим красавицам!»

Угол, где продают живность, сильнее манит взоры обедал, но это на счет ушей всех прохожих. Здесь простосердечный баран — эта четвероногая идиаллия — выражает жалобным блеяньем тоску по родине. Там визжит угнетенная невинность, или поросенок в мешке. Далее эгоисты телята, помня только пословицу, что своя кожа к телу ближе, не внимают голосу общей пользы и мычат, оплакивая скорую разлуку с пестрою своею одеждою, которая достанется или на солдатские ранцы, или, что еще горше, на переплеты глупых книг. Вблизи беспечные курицы разных наций: и хохлатые цесарки, и пегие турчаночки, и раскормленные землячки наши, точь-в-точь словоохотные кумушки, кудахтают, не предвидя беды над головою, критикуют свет, который видят они сквозь щелочки своей корзины, и, кажется, подтрунивают над соседом, индейским петухом, который, поджимая лапки от холода, громко ропщет на хозяина, что он вывез его в публику без теплых сапогов.

Словом, какое обширное поле для благонамеренного писателя басен! сколько предметов для самой басни, где поросенок нередко учит нравственности, курица домоводству, лисица политике, или какой-нибудь крот читает диссертацию о добре и зле не хуже доктора философии! Да и одному ли писателю апологов легко подбирать здесь перья? Проницательный взор какого-нибудь пустынного Галерной гавани, или Коломны, или Прядильной улицы мог бы собрать здесь сотни портретов для замысловатых статей под заглавием «Нравы» как нельзя лучше. Он бы сейчас угадал в толпе покупателей и приказного с собольим воротником, покупающего на взяточный рубль гусиные потроха, и безместного бедняка в шинели, подбитой воздухом и надеждой, когда он, со вздохом лаская правой рукою утку, сжимает в кармане левою последнюю пятирублевую ассигнацию, словно боясь, чтоб она не выпорхнула как воробей; и дворецкого знатного барина, торгующего небрежно целый воз

дичины; и содержателя стола какого-то казенного заведения, который ведет безграмотных продавцов в лавочку расписываться в его книгу в двойной цене за припасы; и артиста французской кухни, раздувающего перья каплуна с важным видом знатока; и русского набожного повара, который с умиленным сердцем, но с красным носом поглядывает на небо, ожидая звезды для обеда; и расчетливую немку в китайчатом капоте, которая ластится к четверти телятины; и поварику-чухонку, покупающую картофель у земляков своих; и, наконец, подле толстого купца, уговаривающего простяка крестьянина «знать совесть», сухощавую жительницу иного мира — Петербургской стороны, которая заложила свои янтари, чтоб купить цикорию, сахарцу, кофейку и воложских орехов, выглядывающих из узелка в небольших свертках.

Площадь кипит. Слитный говор слышится издалека, сквозь который только порой можно отличить слова: «Барин! барин! ко мне! У меня лучше, у меня дешевле, для почину! для вас!» и тому подобное. В улицах толкотня, на тротуарах возня по разбитому в песок снегу; сани снуют взад и вперед, — это праздник смурых извозчиков, так характеристически названных Ваньками, на которых везут, тащат и волокут тогда все съестное. Все трубы дымятся и окрашивают мраком туманы, висящие над Петрополем. Отовсюду на вас пылят и брызжут. Парикмахерские ученики бегают как угорелые со щипцами и ножницами. На голоса разносчиков являются и исчезают в форточках головы немочек в папильотках. Ремесленники спешат дошивать заказное, между тем как их мастера сводят счеты, из коих едва ли двадцатый будет уплачен. Купцы в лавочках и в гостинином дворе брякают счетами, выкладывая годовые барыши. Невский проспект словно горит. Кареты и сани мчатся на перегонку, встречаются, путаются, ломают, давят. Гвардейские офицеры скачут покупать новомодные эполеты, шляпы, аксельбанты, примеривать мундиры и заказывать к Новому гзду визитные карточки — эти печатные свидетельства, что посетитель радехонек, не застав вас дома. Фрачные, которых военная каста называет обыкновенно «рябчиками», покупают галстухи, модные кольца, часовые цепочки и духи, любуются своими ножками в чулках *à jour*¹ и повторяют прыжки французских кадрилией.

¹ ажурные (фр.).

У дам свои заботы, и заботы важнейшие, которым, кажется, посвящено бытие их. Портные, швеи, золотошвейники, модные лавки, английские магазины — все заняты, ко всем надобно заехать. Там шьется платье для бала; там вышивается золотом другое для представления ко двору; там заказана прелестная гирлянда с цветами из «Потерянного рая»; там, говорят, привезли новые перчатки с застежками; там надо купить модные серьги или браслеты, переделать фермуар или диадему, выбрать к лицу парижских лент и перепробовать все восточные духи.

У немцев, составляющих едва ли не треть петербургского населения, канун рождества есть детский праздник. На столе, в углу залы, возвышается деревцо, покрытое покрывалом Изиды. Дети с любопытством заглядывают туда, и уже сердце их приучается биться надеждой и опасением. Наконец наступает вожделенный час вечера. Все семейство собирается вместе. Глава оного торжественно срывает покрывало, и глазам восхищенных детей предстает Weihnachtsbaum¹ в полном величии, увенчано лентами, увешано игрушками, красивыми безделками и нравоучительными билетиками для резвых и ленивых, — каждая вещь с надписью кому, и каждому по заслугам. Этот Pour le mérite² радует больше и невиннее, чем все награды честолюбия в позднейших возрастах. Вечно люди осуждены гоняться за игрушками; одно детство счастливо ими без раскаяния.

Наконец день рождества Христова светает в тумане, и вы волею и неволею пробуждены крикливым пением школьников, которые, как волхвы, путешествуют с огромною звездою из картона, с разноцветною фольгою, прорезью, подвесками и свечами. Колокола звонят, и после обедни священники со всем причетом объезжают приход ля христославства. Обед сего дня есть семейное собрание, и горе тому племяннику, который осмелится не приехать поцеловать ручку у тетушки и отведать гуся на ее столе. Со второго дня начинаются настоящие святки, то есть колядованья, гаданья, литье воску и олова в воду — где красавицы мнят видеть или венец, или гроб, то сани, то цветы с серебряными листьями, — наконец подблюдные песни, беганье за ворота и все старинные обряды язычества. Но увь! — подблюдные песни остались у одних только купцов, расспросы прохо-

¹ Рождественская елка (нем.).

² За заслуги (фр.).

жих об имени и слушанье под окнами — у одних мещан. Средний круг дворянства в столице оставил у себя только фанты — заведение не вовсе русское, но весьма приятное, — но хорошее, лучшее общество ограничилось одними балами, как будто человек создан только для башмаков. Оно отказалось даже от *jeux d'esprit*¹, — быть веселым и умным кажется нам слишком обыкновенно, слишком простонародно.

«Помилуйте, господин сочинитель! — слышу я восклицания многих моих читателей. — Вы написали целую главу о Сытном рынке, которая скорее возбудить может аппетит к еде, чем любопытство к чтению».

«В обоих случаях вы не в проигрыше, милостивые государи!»

«Но скажите, по крайней мере, кто из двух наших гусарских друзей, Гремин или Стрелинский, приехал в столицу?»

«Это вы не иначе узнаете, как прочитав две или три главы, милостивые государи».

«Признаюсь, странный способ заставить читать себя».

«У каждого барона своя фантазия, у каждого писателя свой рассказ. Впрочем, если вас так мучит любопытство, пошлите кого-нибудь в комендантскую канцелярию заглянуть в список приезжающих».

III

Вы клятву дали? Эта клятва —
Лишь перелетным ветрам жатва.

В числе самых блистательных балов того года был данный князем О*** три дня после рождества. Кареты, сверкая гранеными фонарями как метеоры, влекомые четверками, неслись к освещенному подъезду, на котором несчастный швейцар, в павлиньем своем уборе, попрыгивал с ноги на ногу от русского мороза. Дамы выпархивали из карет, и, сбросив перед зеркалом аванзалы черные обертки свои, являлись подобны майским бабочкам, блистая цветами радуги и блестками золота. Скользя, будто воздушные явления, по зеркальному паркету вслед за разряженными своими матушками и

¹ остроумные игры (фр.).

тетушками, как мило отвечали девицы легким склонением головы на вежливые поклоны знакомых кавалеров и улыбкою — на значительные взоры своих приятельниц, между тем как на них наведены все лорнеты, все уста заняты их анализом, но, может быть, ни одно сердце не бьется истинною к ним привязанностию.

Все действия и явления, на которые обыкновенно делится классический бал высшего общества, приходили и проходили своей чередою. Строгие взоры матушек, выученная любезность дочерей, самоуверенное пустословие щеголей во фраках и в мундирах. Теснота в зале танцев — и не от танцующих, не от зрителей, — безмолвие в комнате шахматов, ропот за столами виста и экарте, за коими прошедшее столетие в лицах проигрывало важность свою, а нынешнее — свою веселость; ловля выгодных женихов и невест везде — вот что занимало три четверти общества, между тем как остальные были жертвою тайной зевоты, «не утолимой никаким сном», как говорит Байрон. Забавнее всего было созерцать и следить охотников за браками (*mariage-hunters*) обоих полов. Рассеянню, небрежно, будто из милости подавая руку молодому офицеру, княжна NN прогуливалась в польском, едва слушая краем уха комплименты новичка; зато как быстро расцветало улыбкою лицо ее, когда подходил к ней адъютант с магическою буквою на эполетах, как приветливо протягивала она ему руку свою, будто говоря: «Она ваша», поправляя другой длинные свои локоны и длинные свои перчатки, и доселе безмолвные уста ее изливали поток любезностей, подобно Самсонову фонтану в Петергофе, который брызжет только для важных посетителей. Вот и заботливая физиономия Полины У***, она, кажется, только что покинула грифель, но не бросила своей выкладки вероятностей о производстве в чин того и того-то, ни оценки знатности родства и силы протекции того и того-то, ибо протекция в нашем веке стоит наследства. Взор ее не замечает ничего, кроме густых эполетов, кроме звезд, которые блещут ей созвездием брака, и дипломатических бакенбард, в которых фортуна свила себе гнездышко. У мужчин, имеющих за собою породу, или богатство, или чины, или перед собой виды и надежды, — те же затей, подобные же выборы. По виду их скорее заключить можно, что они в биржевой, а не в бальной зале. «Эта девушка прелестна, — думает один, — но отец ее молод, бог знает, сколь-

ко проживет он лет и денег. Эта умна и образованна, дядя ее на важном месте, но, говорят, он колеблется, — тут надобно подумать, то есть подождать. Вот эта, правда, не очень красива и очень недалеко, зато как одушевлена! чертовски одушевлена тремя тысячами душ, из которых ни одна не тает в ломбарде или двадцатилетнем банке, как большая часть наших приданых. Я невольник ее!» И вот наш искатель, подсев сперва к матушке ее, со вниманием слушает вздоры, — старая, но всегда удачная дипломатика, — потом рассыпается в приветствиях дочери, танцуя, делает влюбленные глазки и облизывает, считая в мыслях ее червонцы.

Бал уже склонялся к концу, и многие из корифеев моды, зевая в гостиной на просторе, клялись, что он чрезвычайно весел, как вдруг шум и восклицания: «Маски, маски!» привлек всех беглецов в залу танцев. В самом деле, два блестящих кадрили, один в испанском, другой в венгерском костюмах, заслуживали внимание, равно по богатству, по вкусу уборов и по стройности замаскированных. Обежав кругом залу, каждый из них бросил по загадке знакомым и незнакомым, возбуждая следом спор уверяющих, что это он или не он. Хозяин, радуясь, что случай дал разнообразие его балу, пригласил замаскированных к танцам. Мазурка загремела, и венгерцы, попросив четырех дам сделать им честь украсить кадрили их, выиграли одобрение ото всех окружающих ловкостью и развязностью движения, новостью и благородством фигур. Наконец послышалась одушевленная живая музыка французского кадрили, и одна из масок, принадлежавшая, казалось, к толпе тех, которые воображают, что они все сделали для общества, если надели на себя пышный костюм, маска, безмолвно доселе стоявшая у стены, гордо завернувшись в бархатную, расшитую золотом епанчу, вдруг сбросила с себя ее на пол и легкою стопой приблизилась к графине Звездич, окруженной вздыхателями.

— Дозволит ли графиня незнакомцу иметь счастье танцевать с нею? — произнес испанец почтительно, прижав к груди берет свой, украшенный перьями и бриллиантами.

— Очень охотно, прекрасная маска, — вставая, отвечала графиня. — Новые знакомства нередко избавляют нас от скуки старых, и в этом отношении я уже вам обязана, — прибавила она, лукаво поглядывая на остав-

ленную группу.— Впрочем, быть может, мы не совсем незнакомы друг другу?

— Я здесь чужестранец, графиня. Да если бы и не был им, все нашелся бы в большом замешательстве, боясь попасть в категорию старого знакомства и не имея дарований оправдать нового.

Алина вздрогнула от звука голоса и какого-то нежно-укорительного тона испанца.

— Вы обвиняете меня слишком поспешно, распространяя на всех слова, сказанные шутя,— отвечала она,— но полноте скрытничать: мне кажется, я могу подсказать вам имя ваше,— продолжала она, стараясь заглянуть под полумаску.

— Я не знал, что графиня в тысяче прелестей и добрых качеств имеет дар ясновидения... Я очень сомневаюсь, чтобы мое имя могло быть напечатано на золотом листе месяца: но во всяком случае позвольте избавить вас от усталости произносить его,— я называюсь дон Алонзо де Гверера е Молина е Фуэнтес е Риго е Калибрадос...

— Довольно, слишком довольно имен в наказание за мое любопытство, но слишком мало к его удовлетворению. Итак, дон Алонзо, вы меня знаете?

— Какой смертный может похвалиться, что он знает женщину!

Танцы разлучили их, и им во все время не удалось сказать друг другу ничего, кроме самых обыкновенных вещей. Кадриль восхитил всех; игроки бросили карты, домино и шахматы; все стеснилось в любопытный круг около танцующих, и отовсюду слышалось: «Ah, qu'ils sont charmants! Ah, comme c'est beau, ça!»¹ Особенно графиня и кавалер ее казались созданными, чтобы возвысить искусство и красоту один другого. Победа осталась за ними,—они пересияли все сопернические звезды, и любопытство узнать испанца возросло во всех до высшей степени, но более всех в прелестной графине. Провожая ее на место, посреди ропота зависти, одобрения и приветов, испанец снова просил «осчастливить» его на попури — и снова получил согласие. Попури и котильон (которые сливаются ныне воедино) — роковые танцы для незнакомых между собою. Я всегда называл их двухчасовою женитьбою, потому что каждая пара испытывает в них все выгоды и невыгоды брачного со-

¹ Ах, как они милы! Ах, как это красиво! (фр.)

стояния. Счастлива дама, которой достанется в удел не угрюмый мечтатель, разбирающий в то время последнепрочитанную фразу Окена, и не безумолкный попугай, который на трех языках говорит вам нелепости. Счастлив и кавалер, которому фортуна дарует даму, отражающую все ваше остроумие не одним веером, не одними оледеняющими: «oui, Monsieur, certainement, Monsieur»¹. Зато как осторожны дамы в выборе кавалеров на котильон! Все пружины миниатюрной их политики пущены в игру заране, чтобы заставить себя «ангажировать» тем, кого любят они слушать или хотят заставить слушаться. Слепое счастье, однако же, послужило испанцу: никто за неделю не звал графиню на попури, а толпа окружающих не смела на попытку, боясь отказа перед глазами соперников и воображая, что она давно уже избрала или избрана. Теперь под громом музыки, под говор соседей, уединен с нею в амбразуре окна, дон Алонзо мог говорить все, что допускает светская любезность, возвышенная правом маски. Разговор перелетал то мотыльком, то пчелой от цветка к цветку, от предмета к предмету. Ум неистощим, когда нас понимают; он сыплет искры, ударяясь о другой. Пара наша довольна была друг другом как нельзя более. Графине порой казалось, что с нею беседовал знакомый и когда-то милый голос. «Это Гремин,— думала она сама с собою,— тут нет никакого сомнения! Что мудреного приехать ему в отпуск». Но вдруг этот голос изменялся, и одна учтивая приветливость следовала, как холодная тень, за выражениями ласки. Со всем тем какая-то невольная доверенность овладела графинею, и разговор неприметно переходил в тон более и более сердечный, как вдруг испанец отвел от Алины доселе вперенные на нее взоры и, небрежно бродя ими по зале, с видом модного злословия, спросил:

— Скажите, графиня, неужели это прыгающее *temto mori*² — князь Пронский? Он так часто меняет свои покровы, прически и мнения, что не мудрено ошибиться! Боже мой, как он прыгает! Он чуть-чуть не запутался в люстре.

— Не дивитесь этому, дон Алонзо: разве не видим мы, что и ржавые флюгера скрипят, но вертятся?

¹ «да, сударь, конечно, сударь» (фр.).

² помни о смерти (лат.).

— Совершенная правда, графиня. Но флюгера кончают тем, что от ржавчины делаются постоянны, а князь, кажется, с каждым годом легче и легче, так что в сотый день своего рождения, можно надеяться, он, как шампанская пробка, вспрыгнет до потолка. Эта дама в перьях, *pendant* князя Пронского, летающая воланом со стороны на сторону, вдова генерала Кретьева, графиня?

Наклонение головы уверило испанца, что он не ошибся.

— Посмотрите ж, пожалуйста, как нежно глядит она на кавалера своего, гвардейского прапорщика, между тем как он будто ждет от нее благословения, а не любви. Позвольте еще испытать ваше терпение, графиня: кто этот человек с прагматическими пуговицами и пергаменным лицом, стоящий в рисовальной позиции?

— Это представитель всех предрассудков века Людовика Четырнадцатого, кавалер посольства Сен-Плюше. Как истинный эмигрант, он ничему не выучился и ничего не забыл,— но вечно доволен сам собою, а это чего-нибудь да стоит. Но как вам нравится сосед его, наш любезный соотечественник? Он так влюблен в себя, что беспрестанно смотрится в свои пуговицы, где нет зеркал.

— Он бесценен, графиня. Если б доктора согласились общею подпискою воздвигнуть монумент болезням, он мог бы служить идеалом для статуи бога насморка. Но через пару далее его, я почти готов парировать, длинная фигура в белом кирасирском вицмундире — ротмистр фон Даль. Как похож он на статую командора, который в первый раз слез с лошади, чтобы звать Дон Жуана на ужин! Дама его, если не ошибаюсь, Елена Раисова? Но она напрасно раздувает опахалом своим внимание в неподвижном рыцаре... Конгревские ракеты ее остроумия лопают в пустыне.

— Вы, дон Алонзо е Фуэнтес е Калибрадос, не более щадите наш пол, как и своих собратий. Должно полагать, вы многое претерпели от женщин?

— И кажется, срок моего испытания не кончился, прекрасная графиня,— отвечал с чувством испанец, устремля на нее сверкающие глаза. Графиня, чтобы избежать сего тона, обратила разговор в прежнюю струю.

— Вы сказываетесь новичком, дон Алонзо, в Петербурге и на бале, и потому я дивлюсь, что до сих пор

не спросили меня о двух героях наших увеселений, о Касторе и Поллуксе каждой мазурки, каждого кадрили. Я разумею о графе Вейсенберге, племяннике австрийского фельдмаршала, и маркизе Фиэри, его друге. Они путешествуют, смотрят свет и показывают себя... Неужели вы до сих пор не видали графа Вейсенберга?

— Я ничего не видел, кроме вас!

— Так должны заметить его неотменно. С какими глазами покажетесь вы в свое отечество, не узнав великого человека, научившего нас галопировать! Вот он проходит мимо... молодой человек с усиками в венском фраке... Но вы не туда смотрите, дон Алонзо!

— Ах, тысячу раз прошу прощения, графиня!.. Так это-то милый крокодил, который за каждым *déjeuner dansant*¹ глотает по полудюжине сердец и увлекает за собой остальные манежным галопом? *Mais il n'est pas mal, vraiment*². Жаль только, что он так будто накрахмален с головы до ног или боится измять косточки своего корсета.

— Вслед за ним вертится маркиз Фиэри.

— Прекрасные бакенбарды! Выразительные глаза! И он смотрит или так уверительно, как будто говорит: «Любите меня — или смерть!»

— Многие находят его весьма остроумным.

— О, бесконечно остроумным! Все маркизы имеют патент на остроумие до двенадцатого колена. Я уверен, что с запасом модных галстуков и жилетов он не забыл привезти для здешних дам итальянского чичисбеизма и венской любезности!

— И вы не ошиблись, Алонзо! Он очень занимателен в дамском обществе и не считает пол наш какою-нибудь варварийскою республикою!

— Кажется, эта стрела летит в Испанию, графиня?

— Конечно, дон Алонзо! В ваше отечество, в отечество истинного рыцарства, между тем как вы, вместо того чтоб защищать прекрасных, объявляете им войну злословия.

— Если б все женщины были подобны вам, графиня, я не имел бы причины стать их неприятелем.

— Вы, кажется, хотите лестию выкупить наперед какую-нибудь злость против целого нашего пола. Но я

¹ завтрак с танцами (фр.).

² Но он, право, недурен (фр.).

на часах против вас, дон Алонзо. Compliments врага — опасные переметчики.

— Они выдуманы не для вас, графиня; самые за-тейливые вымыслы, касаясь вас, становятся обыкновенными истинами.

— Я не предполагала, что земля ваша так же легко произращает лесть, как апельсины и лимоны!

— На родине моей, в этом саду прекрасных произрастений, я не научился, однако же, прозябать душою, как большая часть людей холодного здешнего климата. Сердце мое на устах, графиня, и потому мудрено ль, что, пораженный достоинствами или красотою, я не могу таить чувства? Вы можете обвинить мои выражения, но искренность — никогда.

— Вашу искренность, дон Алонзо? Я не имею на нее никакого права, да и можно ли узнать душу, не видав лица, ее зеркала. Человек, который так упорно скрывается под маскою, может сбросить с нею и маскарадные свои качества.

— Признаюсь, графиня, я бы желал, если б мог, с этим костюмом сбросить с сердца воспоминание... более чем воспоминание настоящего. Но позвольте мне хранить маску... может быть, для обета своим товарищам, может быть, в подражание дамам, которые носят вуаль, чтобы возбуждать любопытство, не могши изумлять красотою... может быть, для удаления от вас неприятного сюрприза видеть лицо мое.

— Чем более хотите вы таиться, тем вернее узнаю я вас. Но погодите; я женщина, и вы мне дорого заплатите за свое упрямство.

— Верьте, графиня, я уже плачу за него и... Вихорь вальса умчал графиню на средину, где законы пошурри заставили ее протанцевать соло в *pastourelle*¹, одной из фигур французских кадрилией.

— Вы мечтаете? — сказала графиня, возвращаясь на место.

— И мечтой моей наяву были — вы. Я любовался вами, прекрасная графиня, когда, склонив очи к земле, будто озаряя порхающие стопы свои, вы, казалось, готовы были улететь в свою родину — в небо!

— О нет, нет, дон Алонзо, я бы не хотела так неожиданно покинуть землю; мне бы жаль было оставить

¹ пастушка (фр.).

родных и добрых моих знакомых. Нет, благодарю покорно!.. Взрыв вашего воображения закинул меня слишком высоко. Вы поэт, дон Алонзо!

— Не более как историк, графиня... беспристрастный историк...— возразил испанец, скидывая перчатку с левой руки, потому что в это время танец уже кончился. Невольное ах! вырвалось у графини, когда в глаза ей сверкнул перстень испанца. По нем она узнала Гремину. С сильным волнением сжимая руку маски, она произнесла:

— Историк должен помнить, где и от кого получил он перстень с небольшим изумрудом; он должен помнить, как виноват он перед...

Графиня не успела кончить слова, как отъезжающие маски почти увлекли с собою испанца. Он едва мог у ней попросить позволения явиться на другой день для объяснения загадки.

— Я этого требую,— отвечала графиня, и незнакомец исчез, как сон. Котильон и ужин показались ей двумя вечностями. Она была задумчива, рассеянна,— отвечала нет, где надобно было говорить да, и мне очень жаль — вместо я очень рада. «Она хочет нас мистифицировать»,— говорили между собой модники. «Она, верно, гадает о суженом!» — подумала горничная Параша, когда графиня, приехав домой, опустила тафтяные цветы свои в серебряный умывальник, а бриллиантовые серьги заперла в огромный картон.

Если б кто-нибудь догадался сказать: «Она влюблена», тот бы, я думаю, ближе всех был к истине.

IV

Для нас, от нас, а, право, жаль,—
— Ребра Адамова потомки,
Как светло-радужный хрусталь,
Равно пленительны и ломки.

Лучи холодного солнца давно уже играли по алмазным цветам цельных стекол графини Звездич, но в спальне ее, за тройными завесами, лежал еще таинственный мрак, и бог сна веял тихим крылом своим. Ничего нет сладостнее мечтаний утренних. Первая дань усталости заплачена сначала, и душа постепенно берет верх над внушениями тела, по мере того как сон стано-

вится тоньше и тоньше. Очи, обращенные внутрь, будто проясняются, видения светлеют, и сцепление идей, образов, приключений сонных становится явственнее, порядочнее, вероятнее. Память не может вполне схватить сих созданий, не оставляющих по себе ни праха, ни тени; но это жизнь сердца... оно еще бьется, оно еще горячо их дыханием, оно свидетель их мгновенного бытия.

Такие мечты лелеяли сон Алины, и хотя в них не было ничего определенного, ничего такого, из чего бы можно было выкроить сновидение для романтической поэмы или исторического романа, зато в них было все, чем любит наслаждаться юное воображение. Начальные грезы ее были, однако, менее цветисты, хотя очень забавны. То около нее кружился чудесный вальс, составленный из эполетов, аксельбантов, султанов, шпор и орденов... вся лавка Петелина танцевала казачка. То, казалось, она подавала пилюли покойнику мужу; то снова погружалась в Баденские воды, будто в поток забвения... и вдруг стены третьей станции вставали около нее с лубочными своими портретами, на которые глядит она, переписывая давно нам знакомое послание, и вот, кажется ей, один портрет мигает ей очами, улыбается, усы шевелятся; он готов выпрыгнуть из рамок, но она сама кидается к нему навстречу... «Это вы, Греммин!..— вскрикивает графиня.— Нет, это Блюхер». И снова гремит и мчится котильон, и снова слышатся ноты французского кадрили... Какой-то незнакомец, в испанской мантии на гусарском доломане, приближается к ней и... Но перечесать все вздоры, которые мы видим во сне, значило бы бредить наяву, и потому я скажу только, что часы добивали десять, когда колокольчик графини слился с последним их ударом. Параша распахнула внутренние ставни, отдернула занавесы и уже несколько минут стояла у ног кровати с раскинутою шалью, но Алина Александровна изволила еще почитать с открытыми глазами, еще на кругу ее полога мечты проходили, подобно фантазмагорическим теням.

— Он придет,— наконец весело произнесла она, сбрасывая одеяло,— он скоро придет!

— Кто, ваше сиятельство? — простодушно спросила служанка, помогая ей одеваться.

— Кто?..— Графиня задумалась. Она чувствовала, что на простой этот вопрос не могла отвечать утверди-

тельно.— Увидим! — отвечала она со вздохом.— Накажи только швейцару, что если придет молодой гусарский офицер, которого он до сих пор не видал, то просить его наверх без всяких докладов. Всем другим отказывать. Слышишь ли, Параша?

— Слышу, ваше сиятельство; только не понимаю,— прибавила Параша потихоньку.

И сама графиня худо понимала, что с нею случилось. За чашкой чаю и за туалетом она имела довольно времени обдумать о минувшем и настоящем. Она была в большой нерешимости, как встретить человека, который был так близок ей во дни неопытности, когда всякий прыжок сердца кажется любовью, каждый конфетный девиз — изъяснением, и первое милое личико — любезным предметом; человека, забытого ею так скоро в рассеянии забав и путешествий, и к которому вдруг, в один вечер, привязалось сердце ее вновь, со всем пылом новой страсти, со всею свежестью мечты, доселе ею не изведанными! Странность ли его появления, таинственность ли его поступков, воспоминание ли прежнего или *беспричинная* прихоть, только графиня чувствовала, что это похоже на любовь. Но всего страннее было — колебание ее между известностью и сомнением о замаскированном испанце. Она звала его Гремин, а думала о ком-то другом; ей нравилось именно то, чего никогда не замечала она в Гремине: ее пленили новость и разнообразие разговоров и познаний маски, так что она едва не желала знать испанца всегда испанцем, чем увидеть в нем Гремина. Она кончила, однако ж, заключением, что свет и опыт удивительно как разворачивают молодых людей и что любезность Гремина достигла теперь полного цвету... «Но я должна со всем тем наказать его, как беспечного поклонника и как недоверчивого хитреца. Вы испытаете, князь, что и я недаром прожила три года на белом свете, с тех пор как и мы жили в Аркадии: я буду с вами холодна — и холодна как мрамор».

— Однако ж который час, Параша?

— Три четверти первого, ваше сиятельство!

— Эти часы ужасно отстают, Параша. На моих уже пятьдесят минут первого.

«Ваши часы идут заодно с сердцем, подле которого лежат они; любовь — прилипчивая болезнь, ваше сиятельство», — сказал бы я графине, если б я был ее слу-

жанкою, но судьба создала меня только покорным слугою прекрасных, и я должен часто молчать, когда мог бы вернуть слово очень кстати.

Между тем Параша, окончив свою должность при туалете, вышла; но графиня все вертелась еще перед трюмо в прелестном утреннем платье и, подобно поэту, который точит и гладит стихи свои, чтобы они по легкости казались прямо упавшими с пера,— разбрасывала каштановые кудри по высокому челу с утонченною небрежностью. Крепко забилося сердце ее, послышав скрип колес по морозному снегу и тройное падение подножки у крыльца. В ту же минуту Параша, запыхавшись, вбежала в комнату.

— Приехал, ваше сиятельство! — сказала она.

— Чему же ты обрадовалась? — возразила графиня с притворным равнодушием. — Дай мне платок и скляночку с духами.

Параша безмолвно повиновалась, и графиня принуждена была сама спросить ее, хотя ей очень того не хотелось.

— Разве ты его видела, Параша? — сказала она ласковее, набрасывая шаль на локти.

— Мельком, сударыня; а не нагладелась бы на него; уж можно сказать — молодец. Строен, высок и лицом будто красная девушка. Голубые его глаза больше ваших браслетных яхонтов, ваше сиятельство, а светлые кудри и белокурые усы его вьются колечками.

— Светлые кудри, Параша? Ты, верно, ошиблась: у него волосы чернее моих!

— Может статься, и ошиблась, ваше сиятельство; он был тогда в шляпе, и я загляделась на прекрасный султан, — так и зыблется до самого воротника!

— А воротник его коричневый, не правда ли, Параша?

— Коричневый, ваше сиятельство... Я не видала гвардейских офицеров с такими воротниками, — однако ж он, верно, гвардеец... у него такая прекрасная карета...

— Это он, — произнесла графиня, не слушая ученых замечаний своей горничной, и решительно протекла все комнаты до гостиной. Но когда должно было ступить туда, бодрость ее оставила, и она долго держалась за позолоченную ручку дверей, припоминая, какое лицо должно ей принять и что говорить. Наконец дверь рас-

пахнулась, и графиня, опустя очи, вошла в гостиную, краснея подняла их,— и что же? Перед нею стоял белокурый гусарский офицер, но вовсе не князь Гремин. Быстро сменялись розы и лилии на щеках графини,— она неподвижно глядела на незнакомца... но он, вероятно более приготовленный к подобной встрече, после обычных поклонов первый прервал молчание:

— Я должен просить у вас прощения, графиня, и за вчерашнюю мистификацию и за странность настоящего визита. Дон Алонзо осмеливается представить вам гусарского майора Валериана Стрелинского, а Валериан Стрелинский дерзает ходатайствовать за испанского гидальго, хотя с большим сомнением насчет действительности обоих и взаимных порук!

Смушение светской женщины — минута. С любезно-шутливым тоном отвечала она:

— Напрасное сомнение, господин майор! Я очарована случаем познакомиться с вами без маски и, конечно, ничего не теряю в вашем превращении.

— Ваши слова для меня оракул, графиня, и, позвольте сказать, на этот раз так же двусмысленны. Ничего не теряете, сказали вы,— но из чего? из хорошего или дурного обо мне мнения?

Есть люди, умеющие так естественно говорить самые необыкновенные вещи, предлагать самые нескромные вопросы в мире, что в их устах они нисколько не кажутся странными и с первой минуты знакомства располагают всякого к подобной же откровенности. Стрелинский принадлежал к их числу.

— Вы слишком требовательны, майор,— отвечала графиня, улыбаясь.— Теперь вы бы могли усомниться в истине моего ответа, потому только, что он сказан при первом вашем посещении; я храню это удовольствие для позднейшего знакомства.

— Но как осмелюсь я скучать вам повторением визитов, не уверенный в прощении за первый? Вы желали видеть меня без маски, графиня; будьте же снисходительны к моим самородным странностям. Руку на сердце, и скажите искренно: вы не меня ожидали увидеть в дон Алонзе?

— Я не ожидала увидеть вас, Стрелинский! Но вы знаете, что не всегда желают, кого ждут...

— И, позвольте закончить речь вашу,— иногда терпят, кого не ждут,— не так ли, графиня?

— Совершенно не так, Стрелинский. Вы злой переводчик добрых мыслей. Я думала, что утро излечит вас от вчерашней неприязни к женщинам, но теперь вижу, что вы неисправимы!

— Неисправим, — что до искренности, графиня. Я солдат, и вечный, неизменный отзыв мой — истина, во всех случаях жизни, в уединении и в шуме света, при последнем, как и при первом свидании, и я, не обвиняясь, скажу вам: я так высоко ценю ваше доброе расположение, что и часовая неизвестность о нем мне будет тягостна.

— Я думаю, Стрелинский, удовольствие, с которым провела я время, танцуя с вами, может служить тому лучшим поручительством.

— Вы так добры, так снисходительны, графиня! Со всем тем я не осмеливаюсь завладеть вполне этим комплиментом за минувший вечер.

— Не вполне, майор? — отвечала графиня шутя и как будто не угадывая, на что метил Стрелинский. — Неужели же вы уделяете из него часть своему испанскому платью? Я уверена, что вчерашний дон Алонзо и в гусарском мундире будет так же весел и любезен, как прежде, и постарается вновь перенести роскошные цветы Гренады под холодное небо нашего отечества.

— Небо везде небо, графиня, хотя не каждый может, не каждый хочет, не каждый умеет наслаждаться им! И не все цветы орошены благотворною росой...

Он замялся, не зная, какой родительный падеж прибавить сюда, но глаза договорили его мысль лучше слов, и, как казалось, прекрасная графиня вовсе не сердилась на это. Даже если верить достоверным историкам (вы знаете, что и Наполеон не казался героем своему камердинеру и Клеопатра была не более как женщина в глазах ее наперсницы), то при слове *небо*, которому влюбленный майор дал нежное значение звуком голоса, что-то похожее на вздох вырвалось из груди ее.

Потом разговор склонился на летучие новости, которыми испещрена всегда столичная атмосфера. Потом графиня рассказывала маленькие приключения своих путешествий так мило, Валериан слушал так внимательно! А это великое искусство, особенно с женщинами: они требуют, чтобы вы внимали им не только слухом, но и глазами, и скорее простят всякую глупость, когда

вы им говорите, нежели рассеянность, когда вы их слушаете. Одним словом, между новыми знакомцами царствовала такая гармония, что можно было закладывать сто против одного: амур был настройщиком этого лада. Они шутили, смеялись, спорили, как будто век жили вместе. И между тем очи обоих вели столь сильный перекрестный огонь, что он не только им, но и сторонним мог казаться потешным. Один мой приятель говаривал, что сердце юноши — лядунка с порохом, сердце женщины — склянка с духами; но как бы то ни было, и то и другое — вещи легковозгораемые, а потому казалось весьма сомнительным, чтобы они могли уцелеть от пламени. Но женщины и в самом пылу не забывают ни приличий, ни безделиц, лежащих на сердце. Приданое Евы — любопытство и оскорбленное самолюбие — подстрекало графиню узнать, каким образом могло кольцо, подаренное Гремину, перейти в руки Стрелинского. Она не скрывала от себя, как ни досадно то было, что майор по вчерашним словам угадал ее тайну, если тайной что-нибудь ему было прежде, ибо встречу с собой она не считала случайною, и потому, возвратив улитку разговора на маску его, она слегка похвалила его умение превратить себя из блондина в черноволосого и искусство менять голос по произволу — и пошла прямо к цели.

— Откровенно скажу вам, Стрелинский,--- примолвила она,--- вы бросили меня в туман загадок и недоумений. Особенно эмалевое кольцо ваше с изумрудом ввело меня в ребяческое заблуждение... Мне показалось, оно не вовсе мне незнакомо.

— Кольцо это,--- отвечал Стрелинский, как будто пробуждаясь от сна и подавая его графине,--- кольцо это сделано было года два тому назад в подражание кольцу одного из друзей моих, только что приехавшего из Петербурга. Я счел его модным; вкус в отделке и форма мне понравились, и услужливые киевские жида тотчас сработали что-то подобное. Все это было делом случая, но теперь кольцо мое получило для меня новую цену, как заветное звено лестного вашего знакомства, графиня.

Между тем лицо графини прояснилось... Рассмотрев кольцо, она уверилась, что оно только издали похоже на подаренное ею некогда и не носило на себе знака давно стертой с ее сердца привязанности. Самолюбие ее

было утешено, и она, отдавая кольцо Стрелинскому, очень благосклонно возразила ему:

— Вы напрасно приписываете магнитную силу этой безделке. Не она, а любезность ваша причиной знакомства. Посещая почтенную вашу тетюшку, мы и без этого случая, конечно бы, узнали друг друга. Кроме того, живучи в одном кругу, вероятно ль, чтоб мы где-нибудь не встретились? Кстати, о балах, Стрелинский, — где вы будете встречать Новый год? Что до меня касается, я уже отозвана за месяц, на ежегодный и единственный бал к княгине Борис. Вы, кажется, родня им?

— Впервые благодарю богов, — я ей племянник. По крайней мере я должен веровать в это по самым чувствительным доказательствам. Она не упускает ни одного случая пожуричь меня, сажает за детский стол, когда за большим тесно, и, по-московски, нередко потчует шипучим медком вместо шампанского. Но погода прекрасна, графиня, и, конечно, вы оживите Невский бульвар своим присутствием? — прибавил Стрелинский, вставая.

— Я только в надежде скорого возврата лишаю себя удовольствия вашей беседы, Стрелинский! Я всегда вам рада.. Прошу не принять этого за пустой звук и жаловать ко мне попросту, без чинов. Каждый вторник добрые приятели и подруги посещают меня, и если вам не будет скучно с нами убить время...

— Скажите лучше, оживить время, графиня... Верьте, что если б мне должно было покупать минуты вашей беседы целыми годами жизни, я и тогда счел бы себя счастливым, наслаждаясь, как бабочка, одной весною. Мицкевич говорит, что в мае одно мгновение прелестнее целой недели в осень.

— Не забудьте, что у нас зима! — сказала графиня, улыбаясь, и Стрелинский раскланялся со вздохом.

«Славно сыграно, Валериан!» — могут воскликнуть читатели сходящему с лестницы Стрелинскому; но сам он, ступив в полярный круг отсутствия от милого предмета, совсем не думал расточать себе подобные похвалы; он чувствовал, что испытание за друга становилось ему постороннею вещью; что теперь влюбленному и, может быть, любимому тяжка была бы холодность графини, мучительна разлука с ней и несносна ее перемена; одним словом, что собственное его благополучие зависело от ее взаимности. «Все это пройдет, все это

минет,—говорил он сам себе,—я слишком ветрен для постоянной любви». Но это не проходило. «Стоит только избегать случаев видеть ее дня три, и сердце мое погаснет, как лампада без масла!» — думал он и, чтобы оправдать такую благоразумную решимость, поскакал с повинною головою к княгине Борис, чтобы не пропустить бала, где будет прелестная и, разумеется, божественная Алина. Любовь щедра на эпитеты и обоготворения; но пройдет время, и, отступники своих идолов, мы первые готовы сокрушить их и громить прежние наши святилища.

В театре, на балах, на музыкальных вечерах, на танцевальных завтраках, на званых обедах, на прогулках и катаньях, без всякого намерения, бог знает как, Алина встречалась с Валерианом; тут нет еще дива, но странно было то, что они почти все время проводили вместе. Из одной учтивости подходил он к ней сначала; но потом — слово за слово, взор за взором — мечтатель забывал свет и время, и только зловеющий крик лакея: «Графини Звездич карета!» разрушал его упоение и с превыспренных сводил в прохладные сени. Графиня любила театр,—Валериан хорошо знал и мастерски судил его. Графиня в совершенстве владела арфою,—Стрелинский уверял, что он страстный охотник до музыки, что он *dilettanto*¹ от султана до шпор,—и потому странно ли, что он так часто являлся в ее ложе или сиделся подле нее в концертах? Все это было из любви к искусствам, не более.

Немного труднее найти было отговорку слишком частой случайности, благодаря которой ему удавалось подавать руку графине, при переходе из гостиной в столовую, и тонкий наблюдатель мог бы похвалить его глазомер, когда он, будто вовсе не замечая, так расчетливо становился в ряд кавалеров, что ему всегда выпадала на долю рука Алины и, стало быть, место подле нее за столом... Нежная улыбка, ласковое слово и порой легкое давление милой руки бывали наградою его хитрости.

«*L'amour est l'égoïsme à deux*²,—сказала мадам Сталь, и весьма справедливо. Стрелинскому лестно было получить от графини преимущество над толпою вздыхателей многоречивых и без речей, когда свивались

¹ любитель (ит.).

² Любовь — это эгоизм вдвоем (фр.).

круги мазурки или французских кадрили; а графине, с своей стороны, казалось приятно иметь кавалером такого отличного танцора, как Стрелинский. В кругу общества и в тиши уединения они нравились друг другу остроумием и оригинальностью; и, наконец, когда оба они заглядывали в будущее, то, конечно, не могли найти друг для друга лучшей партии. Та и другой с хорошим родством, тот и другая независимы и богаты — случай, удаляющий всякую мысль о корысти; все благоприятствовало обоюдной склонности.

Графиня подружилась с сестрою Стрелинского, Ольгою, дивясь, как до сих пор она не умела оценить всех любезных ее качеств. Валериан удивлялся, с своей стороны, тонкости вкуса графини в выборе знакомых и, подобно блуждающей доселе комете, начал обращаться в кругу их. Нужно ли сказывать, какое солнце покорило его центровлекущей силе своей?

V

Она расцветала, как девственная мечта юности; была чиста и прелестна, как земля в первый день творения.

Старинная эпитафия

В домашней жизни Валериан был едва ли не счастливее, чем в свете. Подле сестры своей Ольги отдыхал он сердцем от остроумия модных умниц и от безумия собственной страсти. Подле нее утихало волнение сомнений, и ревность свивала коршуновы крылья свои. В самом деле, трудно было и самому мизогину не полюбить это невинно-милое существо. Воспитанная в Смольном монастыре, она, подобно всем подругам своим, купила неведением безделиц общежития спасительное неведение ранних впечатлений порока и безвременного мятежа страстей. Она прелестна была в свете, как образец высокой простоты и детской откровенности. Отрадно было успокоить взор на светлом лице ее, на котором еще ни игра страстей, ни лицемерие приличий не впечатлели следов, не бросили теней. Отрадно было согреть сердце ее веселостию, ибо веселость — цвет невинности. В мутном море светских предрассудков, позолоченной испорченности суетного ничтожества — она возвышалась, как зеленеющий свежий островок, где усталый пловец мог

найти покой и доверие. Она не могла понять, для чего бы ей стыдиться слез умиления при рассказе о великодушном поступке или румянца негодования, слыша о низостях людских. Не понимала, почему неучтиво сказать человеку в глаза: «ах! как вы добры!» или «ах! как вы злы!» — если он то заслуживал; не понимала, почему ей неприлично сесть подле умного молодого человека, с которым приятно разговаривать, и почему она обязана слушать нелепости пожилого потому только, что он со звездою. Она нередко смешила вас самыми странными вопросами, но чаще приводила в смущение самыми пронзительными. То забавляла незнанием самых обыкновенных вещей, то изумляла новостью мыслей, глубиною чувств и непоколебимостию воли на все прекрасное. Не говорю о прелестях, коими одарила ее природа, не говорю о совершенствах, данных образованием. Она горячо и нежно любила брата, который остался ей единственным другом, единственным покровителем на земле. Веселить, радовать, предупреждать малейшее его желание было сладчайшей заботою Ольги. Она играла для него на пьяно, пела его любимые песни, порхала перед ним, как ласточка, и рассказывала анекдоты своей монастырской жизни, как, например, однажды целый класс перепадал в обморок от того, что одной показалось, будто она увидела ужасного зверя — мышь! Как они целые три ночи не спали от страха от какой-то птицы, которая «половину была кошка, а половину не знаю чего», укула и сверкала глазами под окошком. Валериан смеялся от чистого сердца, между тем как сестра не вовсе понимала, что так смешного было в ее рассказах.

— Впрочем, — прибавляла она, извиняясь, — я была тогда такая кофейная.

Чтобы вполне понять эту фразу, надобно знать, что в Смольном монастыре три возраста воспитанниц отличаются тремя цветами платья: кофейным, голубым и белым, из коих первый присвоен самому младшему, и потому между двумя старшими возрастами название кофейной служит как бы упреком в простоте.

— Дай бог, — возражал тогда Валериан, лаская ее, — чтобы ты всегда осталась кофейною сердцем.

Однажды вечером Ольга фантазировала на фортепиано, между тем как брат, задумавшись, слушал ее, облокотясь о ручку кресел, и вдруг она вспрыгнула ве-

село, схватила Валериана за руку и, быстро глядя ему в глаза, сказала:

— Не правда ли, братец, ты женишься на графине Звездич?

Полуизумлен, полусмущен словами сестры, в которых заключались и неожиданный вопрос и вместе нежная просьба, он долго-долго смотрел на нее, может быть разгадывая ее мысли, может быть собирая свои, и, наконец, отвечал с улыбкою:

— Какой ветер наваял тебе, милая, такую странную мысль?

— Странную мысль, братец? Напротив, мне кажется, самую естественную. Если бог не судил вам родиться братом и сестрою, чтобы делить горе и веселье, то думаю, к этому нет другого пути, кроме женитьбы. Как могли бы иначе соединиться два сердца, которые любят друг друга?

— Но кто тебе сказал, что мы любим друг друга?

— Ах, какой ты лицемер, братец! И перед кем же? Перед сестрою своею! Разве я не люблю тебя? Разве родные не друзья, дарованные небом? Да и почему тебе скрывать свою привязанность к особе, достойной любви?

— Мир, мир, моя проникательная сестрица! Положим, в угоду тебе, что я влюблен в Алину. Но теперь вопрос: любим ли я взаимно?

— В этом я порукой, *mon frère*¹, графиня любит тебя, как я сама.

— Я не думаю, чтобы она избрала сестру мою наперсницей своих тайн.

— О нет, братец! Прямо она не говорила мне о том ни слова; но она так часто говорит о тебе, так охотно встречается с тобою, что склонность ее только тебе может казаться тайною. Я мало знаю свет, людей еще менее; но есть вещи, которые угадываю я собственными чувствами.

— Ты просвещеннее, нежели я думал, любезная Ольга.

— Просвещеннее! Это похоже на упрек, братец; вот каковы мужчины! Вы преследуете нас за наше неведение и еще больше гневаетесь за наше познание. Ты не-

¹ брат (фр.).

справедлив оттого, что тебе досадно, как могла неопытная монастырка проникнуть в тайнства своего скрытного брата. В самом деле, как уметь и как сметь отличить любовь от ненависти!! Нет, mon frère, я скорей имею право сердиться за твою недоверчивость и за то, что ты воображал меня такую простенькою.

— Я точно виноват, я в самом деле несправедлив против тебя, моя милая, добрая Ольга! — сказал с нежностью Валериан, поцеловав ее в чело. — С этих пор между нами нет тайн.

— Это напрасно, Валериан. Я не хочу того знать, что мне знать бесполезно; но может ли быть чуждо душе моей все, что касается до твоего счастья? Признаюсь тебе в моем ребячестве: я уже не раз строила воздушные замки, соединяя тебя в мечтах с графинею. Как весело, как радостно тогда будет нам!.. Мы поедем жить в деревню, по которой я так давно вздыхаю во сне и наяву. Мы будем всегда вместе, счастливы тем, что мы вместе, вдалеке от докучливых гостей. Невидимо полетит для нас время, летом с природой, зимой с дружеством, всегда с любовью. Мы будем гулять, кататься в лодке, ездить верхом, — я надеюсь, ты мне позволишь это, братец? Ты купишь для меня хорошенькую лошадь, — не правда ли? Вечеру мы за чайным столиком шутим, смеемся, потом поем, танцуем. Читаем Вальтер Скотта; иногда и рассуждаем очень серьезно, — ведь нельзя век толковать о безделицах. Иногда к нам будут приезжать соседи-антики и добрые наши знакомые, — верно, и князь Гремин не забудет прежних друзей своих.

— А тебе нравится князь Гремин, Ольга? — спросил Валериан более для избежания решительного ответа, нежели для удовлетворения любопытства.

— Я очень люблю его, братец, и от самого малолетства. Ты так часто ездил с ним в монастырь, он называл меня та *cousine* и так охотно слушал мое болтанье, что я только перед ним и тобою не краснела говорить. Бывало, я нетерпеливо жду, когда вы приедете: а бывало, и праздник не в праздник, когда вас нету. Я крепко плакала по вас обоих по переводе вашем из Петербурга; признаюсь тебе, братец, в моем ребячестве: и еще до сих пор берегу на память прекрасное куриное перо, выроненное из султана князя.

— Султаны, душенька, делаются из петушьих перьев.

— Как будто это не все равно, mon frère? Разве петух не брат курицы?

— Так, но не совсем так. Например: ты мне сестра, а не смешно ли б было, если б кто-нибудь, принимая одну за другого, сказал, что у Ольги прекрасные усы? Однако что далее?

— Чем далее, тем ближе к моему ребячеству. Ты, я думаю, помнишь, братец, с какой снисходительностью расспрашивал князь о моих уроках, о моих занятиях; как ясно поправлял мои заблуждения и, шутя, развивал мои мысли, учил доброму, и так просто, так понятно! Я боялась ошибиться перед ним больше, чем перед своими учителями,— зато мне было так весело, когда он хвалил меня! Больше всего я любила слушать исторические его анекдоты,— он очень мило их рассказывал. Я плакала, слушая о бедствиях Марии Стюарт! Я привыкла ненавидеть коварную Елисавету, хоть ее и называют доброю и премудрою. Я научилась любить Генриха Четвертого, отца и друга своих подданных, за то, что, будучи добрым царем, он не разучился быть добрым человеком. Князь заставил меня восхищаться гением нашего великого Петра, скромного в счастии, неколебимого в беде — и всего более под Прутом, когда он пишет указ сенату не слушать его впредь, если он, принужденный турками, повелит что-нибудь недостойное себя или России. Где найдем мы пример чистейшего самоотвержения, высшей любви к отечеству!! Ах, братец, я очень люблю князя!

— В самом деле, Ольга? — сказал Стрелинский и погрузился в думы, равно об Ольгином, как и своем будущем. «Не будь этого проклятого письма от Репетилова к Гремину,— думал он,— и мы оба могли быть счастливы; я с Алиной, он с Ольгою. Ни мне нельзя желать лучшего зятя, ни ему лучшей жены. Одна только кротость Ольги может умерить вспыльчивость его характера; только с нею нашел бы он покой, о котором напрасно мечтает; светская женщина вечно будет ему виной сомнений и ревности. Теперь совсем иное дело. Я не опасаясь прежней привязанности Гремина, но его всегдашнего упрямства. Он готов уверить меня и уверить себя, что влюблен до безумия; вот уже два раза я писал к нему,— и нет ответа; это что-нибудь да значит! Но как бы то ни было, я не уступаю Алины другому, даже другу, ни за какие блага, ни от каких бед в мире!

Любит или притворяется она, что любит меня, но должна быть моею, несмотря ни на что минувшее, ни на что будущее. Я решил».

VI

Так! я мечтатель, я дитя,
Мой замок карты,— но не вы ли
Его построили, шутя,
И, насмехаясь, разорили!

В книге любви всего милей страница ошибок; по всему своя пора. Теперь Алина была уже не та шестнадцатилетняя, неопытная женщина, увлеченная потоком примеров и обольстительною логикою обожателей, которая, обрадована первой связью, как новой игрушкой, и, воображая себя героинею романа, писала страстные письма к князю Гремину. С тех пор, однако ж, только в этом могла она упрекать себя, только над этим мог подшучивать Стрелинский, хотя он, движимый ревностью, исшарил землю и воздух, желая узнать что-нибудь похожее на любовь в целой жизни графини. Строгость настоящего ее поведения была примерна в отношении ко всей молодежи, которая вилась около нее. Едва кто-нибудь из них переступал границу шутки, едва произносил одну влюбленную ноту, не только слово,—мыльный дождь нравоучения и град насмешек раздражались над головой селадона. Привыкнув за границею обходиться непринужденно с мужчинами, она никогда не позволяла их вольности превращаться в своеволие, и между тем как ее красота и любезность привлекали всех, ее осторожность держала всех в почтительном отдалении. Стрелинский, правда, составлял исключение, но и он уже не раз испытал на себе, что природа и светская любовь не делают скачков, а потому, как ни уверен был, что его любят взаимно, но роковое слово «люблю!» двадцать раз замирало на устах, прежде чем он его выговорил, как будто с ним он должен был рассыпаться, как клад от аминя. И графиня тоже, как и всякая женщина, казалось, испугана этим словом — «люблю вас», как выстрелом,— как будто каждая в нем буква составлена из гремучего серебра! И как ни приготовлена была она к объяснению, как ни уверена была, что это должно случиться, рано или поздно, но вся кровь ее сердца вспыхнула в лице, когда Стрелинский, улучив гибкую минуту, с

трепетом открыл любовь свою... Оставляю читателям дорисовать и угадать продолжение этой сцены. Я думаю, каждый со вздохом или с улыбкою может припомнить и поместить в нее отрывки из подобных сцен своей юности и каждый ошибется не много.

Прелестны первые волнения и восторги страсти, когда неизвестность воздвигает частые бури сердца, но еще сладостней покой и доверенность открытой взаимности. Тогда в любви находим мы все радости, все утешения дружбы, самой нежнейшей, самой предупредительной, и если первый месяц брака называют *медовым*, то первый месяц открытой любви, по всем правам, именовать можно *нектарным*,— это небосклон после грозы светлый, но без зноя, прохладный без облаков.

Слившись сердцами, графиня и Стрелинский вкушали негу сего лучшего возраста любви, не отнимая уст от чаши. Прямой, откровенный, благородный характер майора только по наружности казался противоречием с утонченным, светским обращением графини. Как скоро взаимное уважение и сердечная теплота растопили оковы приличий, или, лучше сказать, принужденностей, нежная искренность и беззаветное доверие заступили в ней место недоступности и тонкого злословия. Даже робость, несомненный признак истинной любви, заменила самоуверенность. Совет Валериана сделался ей необходим для самых безделок в выборе нарядов, его одобрение — на каждый шаг в обществе, его добрые мнения — для всех протекших и настоящих случаев жизни. В един-то из подобных часов излиятий душевных Алина рука с рукой подле Стрелинского, любуясь выразительными его очами, говорила:

— Валериан! свет может осуждать меня за легкомыслие первых лет моего замужества, но твое сердце меня оправдает. В пятнадцать лет меня посадили за столом подле какого-то старика, которого я запомнила только по чудесной табакерке из какой-то раковины. Вечеру мне очень важно сказали: «Он твой жених; он будет твоим супругом»; но что такое жених, что такое супруг, мне и не подумали объяснить, и я мало заботилась расспрашивать. Мне очень понравилось быть невестою; как дитя, я радовалась конфетам и нарядам и всем безделкам, которые мне дарили, я готова была расцеловать старого графа, когда он подарил мне прелестные золотые часы, потому что в недавно брошенных мною

игрушках были только оловянные. Наконец я стала женою, не перестав быть ребенком, не понимая, что такое обязанности супружества, и, признаюсь, потому только заметила перемену состояния, что меня стали величать «вашим сиятельством». Долго не замечала я, что муж мой мне не пара ни по летам, ни по чувствам. Для визитов мне было все равно, с кем ни сидеть в карете, дома же он слишком занят был своими недугами, а я — своими забавами и гостями. Однако же в семнадцать лет заговорило и сердце... оно стеснилось неведомою грустью, желало чего-то непонятного; это была потребность любить, и я полюбила во всей невинности души. Ты знаешь, кто был предметом этой склонности, и я благодарю провидение, что оно судило мне встретиться с человеком благородным, который не думал, не только не желал употребить во зло мою неопытность. Скорая разлука показала, однако ж, мне, как ошиблась я в своих чувствах. Я приняла за любовь желание нравиться, желание предпочтения от человека, предпочитаемого другими. Тщеславие и охота быть как *другие* довершили кружение головы; я уверила себя, что страстно люблю князя Гремина потому, что он казался мне достойным такой любви. Может статься, если бы он поддержал такое расположение перепискою, я бы привыкла к этой мечте, будто к чувству, и верность, которую обожала я, как достойная поклонница сентиментализма, могла бы вовсе переменить судьбу мою. Но он, едва мы расстались, оказался весьма невнимателен; я была от того вне себя, называла это холодною, укоряла в неблагодарности, в измене и забыла его скорее, чем надеялась. За границею, чаще сама с собою, чаще с людьми образованными, я почувствовала необходимость чтения и жажду познаний. Хорошие книги и еще лучшие примеры и советы женщин, умевших сочетать светские качества с высокими правилами, убедили меня, что, и не любя мужа, должно любить долг супружества и что величайшее из несчастий есть потеря собственного уважения. Кочевая жизнь не давала мне даже случая к постоянным знакомствам, и сердце мое только во сне видело счастье; в вихре забав, в кругу искателей я осталась свободна. Муж мой умер, и я целый год траура провела в уединении, с немногими подругами, читая в собственном сердце помощью книг и разгадывая книги по сердцу; это возродило меня. Я постигла тогда умом, что до тех пор за-

ключалось в чувстве; уверилась, что благополучие есть невинность и находится в нас самих. Я не разлюбила ни удовольствий, ни выгод света; по крайней мере я могла бы теперь лишиться их, если не без сожаления, то без ропота. Возвратясь в Россию, обязанности к родным и обществу не дали мне времени образумиться... Меня засыпали приветствиями и приглашениями, лестью и любезностию, но я уже предохранена была от этого чада; я знала, что всякая парижская новинка хоть на миг, но всегда увлекает внимание публики, а поклонники в несколько вечеров успели наскучить своими переслащенными фразами, так что я больше чем когда-нибудь почувствовала пустоту сердца. Совершенная бесхарактерность молодых людей наших, «эти образы без лиц» навели на меня неизъяснимую тоску. Я ужаснулась, не найдя русских в России. Простительно еще быть легкомысленным во Франции, где на каждом шагу находишь пищу любопытству, рассеянию, самой лени, где каждая безделка носит на себе печать образованности и даже глупость не лишена остроумия. Но можно представить себе, как несны слепки парижского мира в России, где можно толковать только о том, чего у нас нет, и где половина общества не понимает, что сама говорит, а другая, что ей говорят; одна — поторопившись выучить привозное, как попугай, другая — опоздав учиться от застарелых предрассудков. В это время я встретила с тобою, и до сих пор не умею себе объяснить, какой судьбой я так быстро увлеклась сердцем? Признаюсь, обманутая ростом и голосом, я сначала приняла тебя за Гремина; я сгорала любопытством, желая увериться в своей догадке, но скоро к нему примешались чувства нежнейшие. Я верила и не верила, что ты Гремин; не столько воспоминание прошлого, как прелесть новости заманивала меня далее и далее. Я должна была сердиться на князя, но вместо того была благосклонна к новому знакомцу. Я должна была быть осторожнее с незнакомым, и доверялась как старому другу; одним словом, я не знала, что говорила и делала!.. Остальное тебе известно, милый Валериан... И бог тебе судья, если когда-нибудь заставишь меня раскаяться в любви моей!

Валериан был восторжен; ему казалось, гармоническая музыка сфер гремела *туш* его благополучию, и он, с пылкостью юноши целуя оставленную ему руку, хотел, по гусарской привычке, клясться всем, что есть и чего

нет на свете, в неизменности любви своей, но Алина установила этот порыв достоверности.

— Не клянись, Валериан,— сказала она с нежностью,— клятва почти всегда неразлучна с изменой,— я знаю это на опыте. Я больше верю благородству твоих чувств, нежели поруке звуков, волнуемых и уносимых ветром; мы уже не дети.

С обеих сторон делались приготовления к браку, хотя о нем еще не было прямых условий. Валериану, однако же, они были необходимы: он начертал план для будущей жизни, которая вовсе могла не понравиться графине и который колебался он открыть ей. Между тем как товарищи и приятели считали его только ветреником, заботливым, как прожить свои доходы, он тайне делал все пожертвования для улучшения участи крестьян своих, которые, как большая часть господских, достались ему полуразоренными и полуиспорченными в нравственности. Он скоро убедился, что нельзя чужими руками и наемною головою устроить, просветить, обогатить крестьян своих, и решился уехать в деревню, чтобы упрочить благосостояние нескольких тысяч себе подобных, разоренных барским нерадением, хищностью управителей и собственным невежеством. У него не было недостатка ни в деньгах для обзаведений, ни в доброй воле к исполнению, ни в познаниях сельского хозяйства, приобретению коих посвятил он все досуги свои; недоставало только опытности, но она приходит сама собою; притом, первую песенку не стыдно спеть и зардевшись, говорит пословица. Мысль облегчить, усладить свои будущие заботы любовью милой подруги и согласить долг гражданина с семейственным счастьем ласкала Валериана; однако же, несмотря на силу страсти, намерения его были тверды; в важных обстоятельствах жизни он умел владеть собою; но чем непреклоннее была воля его, тем нерешительнее становился он открыть ее Алине. Он чувствовал, какой жертвы требовал, знал, как трудно для молодой, прекрасной и богатой женщины отказаться от света. «Но это будет испытанием ее привязанности,— думал он.— Если ж нет? Нет! Женщина, которая предпочтет мне светскую жизнь, не знает и не стоит истинной любви». Скоро представился и случай к объяснению.

Это было на масленице, после катанья с английских гор. Ледяные горы, милостивые государи, есть выдумка,

достойная адской политики, назло всем старым родственницам и ревнивым мужьям, которые ворчат и ахают, но терпят все, покорствуя тиранке моде. В самом деле, кто бы не подивился, что те же самые недоступные девицы, которые не смеют перейти чрез балльную залу без покровительницы, те же самые дамы, которые отказывают овереться на руку учтивого кавалера, когда садятся они в карету, весьма вольно прыгают на колени к молодым людям, долженствующим править на полету аршинными их санками вниз горы и по льду раската. Между тем, чтобы сохранить равновесие, надобно порой поддержать свою прекрасную спутницу — то за стройный стан, то за нежную ручку. Санки летят влево и вправо, воздух свищет... ухаб... сердце замерло, и рука невольно сжимает крепче руку; и матушки дуются, и мужья грызут ногти, и молодежь смеется; но все, отъезжая домой, говорят: «Ah! que c'est amusant»¹, хотя едва ли половина это думает.

Валериан и графиня, конечно, были в сей половине, потому что возвратились с катанья очень довольны прогулкой и друг другом, и холод, казалось, только возбуждал обоих любовников к особенной нежности. Стрелинский избрал этот час к решительному откровению и, предупредив Алину, что так как дело идет о благополучии их обоих на всю жизнь, то он не хочет прибегать ни к каким околичностям, ни к каким сетям лстивой логики или цветам красноречия, дабы убедить или увлечь ее, но просто изложит свои намерения и просит только одного, чтоб она беспристрастно обсудила их и откровенно сказала на то ответ свой.

— Во-первых, милая Алина,— сказал он,— я решил-ся оставить службу, для исполнения других обязанностей отечеству, которые надеюсь выполнить лучше, прямее и полезнее, нежели обязанности воина в мирное время.

Алина вздохнула и покинула кисточку темляка, которым играла она.

— Но разве ты, друг мой, не можешь служить отечеству по части гражданской или дипломатической? — произнесла она почти просительным голосом.

— Я не довольно приготовлен, чтобы стать полезным как судья; службу в департаментах считаю механи-

¹ Ah! как это забавно (фр.).

ческой, а быть дипломатом несовместно ни с моими склонностями, ни с моими правилами. Во-вторых, мы оставим столицу.

Алина молчала.

— В-третьих,— тут Валериан развил пред нею подробный чертеж своих замыслов, для устройства имения, для усовершенствования земледелия и заводов, для образования крестьян своих; показал, как благодетелем будет пример его для всего человечества и для окружающих помещиков в особенности. Но когда объявил, что все это требует неусыпного и безотлучного надзора, светлое чело Алины подернулось думою и она опустила руку Валериана.

— И это решительно? — спросила она печально.

— Решительно. Подробности будут зависеть от воли Алины Александровны, но целое остается нерушимым. На краткое время мы будем приезжать в которую-нибудь из столиц, но только на краткое время.

— Мои советы и мнения, следовательно, теперь бесполезны,— сказала Алина, несколько тронутая.

— Но твое согласие необходимо к моему счастью, обожаемая Алина! С тобой каждая минута ознаменована будет для меня новым блаженством, как для всех окружающих нас добрыми делами. Ты будешь ангелом красоты и доброты для меня и для всего, чем я владею. О! не разрушь рая, мною созданного, которым я так долго ласкал свое сердце... Милая, бесценная Алина! я жду приговора. В искреннем ответе твоим моя судьба: могу или нет назвать тебя моею?

— Через три дня ты узнаешь мой решительный ответ, Валериан; только дай мне слово не говорить со мною, не писать ко мне, не искать случаев со мною встретиться во все это время. Я хочу обдумать все на свободе, удаленная от влияния страстей.

— Жестокая женщина! Три дня — век для влюбленного!

— Жестокий человек! Деревня — вечность для женщины!

С этим словом Алина исчезла.

— Понимаю! — сказал Стрелинский с горькою усмешкою, между тем как холодный пот проступал на его сердце, и тихими стопами вышел из комнаты графини.

Burleigh

Jher wart es doch, der hinter meinem Rücken
Die Königin nach Fotherinaschloß
Zu locken wußte?

Leicester

...Hinter Eurem Rücken?
Wann scheuten meine Teaten Eure Stirn?

Schiller ¹

— Подполковник князь Гремин! — провозгласил слуга, возвещая гостя тетке Стрелинского, которая, сидя одна в гостиной, раскладывала *grande-patience*². — Прикажете принять-с?

— Милости просим, — отвечала она, снимая очки и расправляя шаль свою. — Видно, князь недавно в Петербурге? — прибавила она.

— Только вчера с дороги-с. Они хотели видеть Валериана Михайловича; однако ж когда узнали, что вы не выехавши, просили доложиться. — Сказав это, слуга поспешил пригласить приезжего.

Князь Гремин, которого долг службы удержал во фронте, вопреки всех его надежд, и просьб, и желаний, должен был вести полк на другие квартиры, на границу Литвы, и он тем скорее помирился с судьбою, что обязанности по делам хозяйства и занятий строя и новые знакомства в кругу польских дворян давали ему тысячу развлечений и забав. Он бы, вероятно, и вовсе отдумал ехать в отпуск, если бы внезапная смерть одного из дедов в Петербурге не призвала его туда для получения наследства и всех хлопот, с наследствами неразлучных. Пылкий только на день в преследовании замыслов, внутренних прихотью, он не слишком дивился молчанию Стрелинского и очень покоен сердцем приехал в столицу. Но когда на него полились новости о близком браке Валериана с графиней Звездич, он был оглушен и раз-

¹ Бэрлей
Не вы ли за спиной моей сумели
Направить королеву в Фотрингей?
Лестер
За вашею спиною? Да когда же,
Когда в своих делах я укрывался
От вашего лица?

Шиллер (нем.).

² большой пасьянс (фр.).

дражен этим водоворотом. Ревность его пробудилась. Мысль, что он в этой связи играл смешную роль Криспина, привела его в бешенство; удача Стрелинского, которую он величал изменою и коварством, вызвала его на месть. В этих враждебных мыслях поскакал он в дом прежнего друга, чтобы излить на него всю желчь своего негодования; так-то злонаправленные страсти и худо понятые правила чести превращают самые благородные существа в кровожадных зверей! Не застав дома Валериана, князь, однако же, почел неприличным не засвидетельствовать почтения его тетке, и вот, скрыв досаду свою, как благовоспитанный офицер, пробирался он в гостиную, не брякнув ни саблей, ни шпорами, но в зале он невольно остановился, увидев и услышав Ольгу, которая, ничего не зная о госте и ничему не внимая вокруг себя, пела следующее, аккомпанируя чистый, выразительный голос свой звуками фортепиано:

Скажите мне, зачем пылают розы
Эфирною душою, по весне,
И мотылька на утренние слезы
Манят, зовут приветливо оне?
Скажите мне!
Скажите мне, не звуки ль поцелуя
Дают свою гармонию волне?
И соловей, пленительно тоскуя,
О чем поет во мгле и тишине?
Скажите мне!
Скажите мне, зачем так сердце бьется
И чудное мне видится во сне,
То грусть по мне холодная прольется,
То я горю в томительном огне?
Скажите мне!

Ольга умолкла; но князь еще слушал, и между тем как персты ее перебегали, фантазируя, по клавишам, его взоры точно так же странствовали по всем чертам певички. Он едва верил глазам своим, чтобы это была та самая Ольга, которую он так любил, как дитя, которую покинул, когда она едва становилась девушкою, и которая теперь предстала ему во всем блеске, в полном цвете очаровательных прелестей! Он любовался и стройным станом ее, и аттическою формою рук, и высоким челом, на коем колебались гроздия русских кудрей, и яхонтовыми ее очами, в коих сквозь дымку мечтательности сверкали искры души, вместе гордой и нежной; ее лицом, на коем разлит был тонкий румянец, как юное утро мая, и невинная беспечность с глубокою чувствительностию;

брови ее так выразительно подняты были думою, уста ее так мило сомкнуты улыбкой; казалось, она усмехалась девственным мечтам своим, созданиям пробуждающейся любви; казалось, она ловила взорами отдаленное в очарованный круг фантазии, которая, подобно часовой стрелке, пробегает время и пространство, не удаляясь от средоточия своего сердца... И все было прелестно в ней... и волшебство звуков, проникающих душу, и красноречие безмолвия, пленяющее взор. Это не было уже земное существо для Гремينا; это был идеал совершенства. Он тогда только прервал свое созерцательное молчание, когда Ольга, повторяя в задумчивости припев песни, вполголоса произнесла: «Скажите мне!»

— Я могу только то сказать вам, сударыня, — сказал Гремин с чувством, — что вы поете как ангел.

Ольга вспрыгнула с криком радостного изумления...

— Ах! Боже мой, это вы, князь Николай! Вообразите себе: я сейчас о вас думала, и вы передо мной, как будто мысль моя перенесла вас в столицу! — Яркий румянец вспыхнул розами на щеках Ольги.

— Вот доказательство, что вы можете творить чудеса, Ольга Михайловна! И вы еще не забыли меня?

— Я не так ветрена, князь Николай, чтобы позабыть своего кузена и наставника.

— Считаю себя счастливым, удостоясь внимания особы, столь полной совершенств!

— Скажите, князь: неужели правда есть игрушка, пригодная только малолетним? Вы сами учили меня всегда говорить истину, а теперь, когда я в состоянии ценить ее, говорите мне комплименты. По крайней мере я искренно скажу вам, что мне приятно бывало думать о вас, потому что мысль эта неразлучна с воспоминанием самой счастливой поры моей — жизни в монастыре.

— Мне кажется, сударыня, вы бы скорее могли обвинить обманчивый свет, вселивший вам недоверчивость, скорее скромность свою, чем мою правдивость.

— Полноте ссориться, князь Николай, — и еще в первый раз после долгой разлуки. Я рада вам тем более, что вы приехали как нарочно, помочь нам развеселить брата: он два дня сам не свой; печален, и сердит, и прихотлив, как никогда в жизни. Но тетушка, верно, ждет вас, пойдемте!

Князь был принят как родной. Доброта почтенной тетки Стрелинского и чистосердечная веселость, непри-

нужденное остроумие Ольги очаровали его. Час мелькнул как минута, и негодование его вовсе было утихло, как вдруг голос усатого слуги: «Валериан Михайлович приехал и просит к себе на половину»,— бросил всю кровь в голову князя; он раскланялся и поспешил к Валериану.

Валериан с распростертыми объятиями встретил Гремина.

— Только тебя недоставало, милый князь,— вскричал он,— чтобы посмеяться удаче наших предприятий и поздравить меня с роковым успехом!

— Я приехал не поздравлять вас, господин Стрелинский,— отвечал Гремин насмешливо-холодно, отступая, чтобы уклониться от объятий.— Я приехал только поблагодарить вас за ревностное участие в моем деле.

— Вы? Господин Стрелинский? Право, я не понимаю тебя, Гремин!

— Зато я очень хорошо вас понял, слишком хорошо вас узнал, господин майор!

Во всякое другое время Стрелинский никак бы не рассердился на обидную вспыльчивость друга и, вероятно, шутками укротил и пересилил бы гнев его; но теперь огорченный сам холодностию графини, колеблем сомнениями, поджигаем ревностию, пошел навстречу неприятностей, решась платить насмешкой за насмешку и дерзостью за дерзость.

— От этого-то вы ошиблись: все, что слишком — обманчиво. Не угодно ли присесть, ваше сиятельство! Начало вашего привета похоже на нравоучение, а я не умею спать стоя!

— Я постараюсь сказать вам такие вещи, господин майор, которые лишат вас надолго охоты ко сну.

— Очень любопытен знать, что бы такое помешало моему сну, когда меня убаюкивает чистая совесть!

— О! вы невинны, как шестинедельный младенец, как церковная ласточка! Напрасно было бы и осуждать человека, у которого совесть или нема, или принуждена молчать.

— Я не беру на свой счет этих речей, князь; мой язык не имеет причин разногласить с совестью именно потому, что она светлее клинка моей сабли. Скажите лучше по-дружески и без обиняков: чем заслужил я такой гнев ваш?

— По-дружески? Мне, право, странно, что вы, разрывая все узы, все обязанности дружества, опираясь на него, требуете доверия? Впрочем, вы живете ныне в большом свете, где любят давать векселя на имение, которого давно нет.

— Князь! вы огорчаете меня своим неправым обвинением более, чем обидными выражениями. Но будьте хладнокровны и рассмотрите пристальнее, чем виноват я против вас? Вспомните, кто предложил мне испытание, кто неотступно требовал моего согласия, кто принудил взяться за эту роковую порученность? Это были вы, князь, вы сами. Я убеждал вас отказаться от подобного предприятия, я вам предсказывал все, что могло случиться и случилось волею судьбы. Сердцем нельзя владеть по произволу.

— Но должно владеть своими поступками. Так, милостивый государь! Я просил, я убеждал, я заставил вас взяться за это дело; но в качестве друга вы бы могли сами рассудить несообразность такой просьбы и поправить мою ошибку, вместо того чтоб ее увеличивать, ловить на нее свои выгоды и употреблять во зло мое доверие; мы всегда худые судьи в собственных делах, но бесстрастный и беспристрастный взор дружбы долженствовал бы соблюдать мою пользу, а не прихоти.

— Странно, право, что вы делаете для себя монополию из своих правил. Мы худые судьи в своем деле — это чистая правда, и я сам мог увлечься любовью, которую хотел только испытать.

— Вы бы должны были предупредить это или по крайней мере удалиться, заметив опасность для самого себя, но нет, вам угодно было оседлать судьбу для извинения своей двуличности и утешать меня, как злоеющая птица, старинною песнею светских друзей: «Я говорил тебе: быть худу! Я тебе предсказывал! Я предупреждал тебя».

— Не забудьте, князь Гремин, что я взялся быть вашим испытателем, но не стряпчим и не строил себе дороги из развалин вавилонского вашего столба к небу.

— Поздравляю вас, господин Стрелинский, с этим небом, но, признаюсь, ему не завидую. Я уже излечился от охоты искать своего счастья в женщине, которой привязанность изменчива, как цвет хамелеона; и в доказательство — вот как ценю я подарки и поминки ее!

С этим словом он бросил в пыл камина письма и перстенъ графини.

— Нельзя не похвалить вас за такую решимость, князь; немного ранее она была бы еще больше кстати. Графиня забыла вас так же, как и вы ее, очень скоро после разлуки. Все это было — детская прихоть.

— Прошу избавить меня, господин майор, равно от ваших похвал и откровений. Мы не Дафнис и Меналк, чтобы вести словесную войну за вопрос, кого она любит или не любит. Только не радуйтесь и вы своим торжеством... Женщине, изменившей одному, легко изменить и другому и третьему.

— Будьте скромнее на счет графини, Гремин! Я сносил многое за самого себя, но когда вы дерзаете нападать на доброе имя дамы, это выходит и выводит из границ самого уступчивого терпения... Я не ангел.

— Очень верю, господин Стрелинский. Я так же далек от этой мысли, как вы от этого достоинства... Но угрозы ваши мне забавны, господин майор.

— А мне жалок ваш характер, господин подполковник!

— Нельзя ли узнать, почему вы достаиваете меня своим сожалением?

— Потому, что вы, ослепленный пустым тщеславием, оскорбленным самолюбием, бесстрастною ревностью, а быть может, и самую мелочною завистью, скачете за тысячу верст для того, чтоб огорчить, обидеть, уязвить человека, который до сих пор любил и уважал вас.

— Вы мне доказываете любовь свою даже и этими речами, господин Стрелинский, что же касается до вашего уважения, я только раскаиваюсь, что прежде ценил его, и теперь оно столько ж для меня занимательно, как ветер в Барабинской степи... Прекрасное дружество! Почти женится, и не написать мне ни строчки, оставить меня в таком неведении, что я узнал о свадьбе вашей от трактирных маркеров!

— Я писал к вам два раза, но, вероятно, переход полка замедлил доставку писем; а что до свадьбы моей, городские слухи опередили правду. Статься может, она никогда не состоится. Я до сих пор не заверен словом в совершенном согласии графини.

— Вы писали! Вы не уверены! Я, право, не ожидал, чтобы вы так скоро выучились прибавлять ложь к лицемерию!

— Ложь! — вскричал Стрелинский, задыхаясь от гнева. — Ложь! Одна кровь может смыть это слово!

— Почему же и не так! — отвечал князь презрительно, качаясь на стуле. — *Любовь и кровь старинная рифма.*

— Это решено... это кончено. Однако ж не испытывайте меня далее, Гремин; не заставляйте насказывать вам таких вещей, которые не должны быть произносимы между благородными людьми. Когда мы встретимся?

— И встретимся, конечно, впоследствии — завтра. Кто бы из нас ни лег, я всегда буду в выигрыше не дышать одним воздухом с тем, кто заплатил мне за всю дружбу такую...

— Удержитесь, князь! Есть слова, за которые не спасут вас ни память прежней приязни, ни кровля гостеприимства.

— Вам очень пристало говорить о приязни, когда вы превратили в желчь о ней воспоминание. А что до прав гостеприимства, я не вымаливаю у них покровительства; моя сабля мне лучший защитник.

— Бросьте пустое хвастовство, князь Гремин; завтра так завтра. Выстрел — самый остроумный ответ на дерзости.

— А пуля — самая лучшая награда коварству. Завтра вы уверитесь, что я не из той ткани, из которой делаются свадебные подножки, и не бубновый туз, чтобы в меня целить хладнокровно. Мой секундант не замедлит посетить вас сегодня же.

— Очень рад.

Друзья-недрузи расстались, пылая гневом.

VIII

Я был отважно хладнокровен;
Но признаюсь, на утре лет
Не весело покинуть свет
И сердца бой не очень ровен,
Когда вопросом: «Быть нль нет?»
Вам заряжают пистолет.

Ольга не могла сомкнуть глаз в течение целой зимней ночи. Как ни мало изведала она свет, но частые рассказы о поединках уже познакомили ее с этим кровавым предрассудком, а необычайная угрюмость и принужденная шутиливость брата, весть, что он очень крупно

говорил с князем Греминым наедине, и позднее посещение незнакомого офицера возбудили в душе ее все опасения и страхи. Не понимая причины, она видела возможность ссоры между братом и Греминым. Далеко до зари она была уже одета и бродила как тень по тихим и пустым комнатам. Ужасное сомнение волновало грудь ее; она желала и страшилась узнать роковую истину, прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку. Несколько раз на цыпочках прокрадывалась она к братней половине, но там было все мертво и темно. Вдруг конский топот у крыльца привлек все ее внимание; белый султан мелькнул у братней маленькой лестницы, и вешее сердце ее замерло... тяжелое предчувствие оледенило кровь. Она слышала говор в ближней комнате и не смела слушать, — она хотела удалить безнадежную известность, но братская любовь преодолела все. Притаив дыхание, взглянула Ольга в замочную скважину: против самых дверей топилась печка и озаряла комнату багровым полусветом своим. Старый слуга Валериана плавил свинец в железном ковше, стоя перед огнем на коленях, и лил пули — дело, которое прерывал он частыми молитвами и крестами. У стола какой-то артиллерийский офицер обрезаывал, гладил и примерял пули к пистолетам. В это время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, кавалерист-гвардеец, вошел и прервал на минуту их занятия.

— *Bonjour, capitaine*¹, — сказал артиллерист входящему. — Все ли у вас готово?

— Я привез с собой две пары: одна Кухенрейтера, другая Лепажа; мы вместе осмотрим их.

— Это наш долг, ротмистр. Пригоняли ли вы пули?

— Пули деланы в Париже и, верно, с особенною точностью.

— О, не надейтесь на это, ротмистр! Мне уж случилось однажды попасть впросак от подобной доверчивости. Вторые пули — я и теперь краснею от воспоминания — не дошли до полстола, и как мы ни бились догнать их до места, — все напрасно. Противники принуждены были стреляться седельными пистолетами — величиной едва не с горный единорог, и хорошо, что один попал другому прямо в лоб, где всякая пуля — и меней горошинки и более вишни — производит одинаковое действие. Но посудите, какому нареканию подверглись

¹ Здравствуйте, капитан (фр.).

бы мы, если б эта картечь разбила вдребезги руку или ногу?

— Классическая истина! — отвечал кавалерист, улыбаясь.

— У вас полированный порох?

— И самый мелкозернистый.

— Тем хуже; оставьте его дома. Во-первых, для единообразия мы возьмем обыкновенного винтовочного пороха; во-вторых, полированный не всегда быстро вспыхивает, а бывает, что искра и вовсе скользит по нем.

— Как мы сделаемся со шнеллерами?

— Да, да! эти проклятые шнеллеры вечно сбивают мой ум с прицела и не одного доброго человека уложили в долгий ящик. Бедняга Л***ой погиб от шнеллера в глазах моих: у него пистолет выстрелил в землю, и соперник положил его, как рябчика, на барьер. Видел я, как и другой нехотя выстрелил на воздух, когда он мог достать дулом в грудь противника. Не позволить взводить шнеллеров — почти невозможно и всегда бесполезно, потому что неприметное, даже невольное движение пальца может взвести его, и тогда хладнокровный стрелок имеет все выгоды. Позволить же — долго ли потерять выстрел? Шельмы эти оружейники; они, кажется, воображают, что пистолеты выдуманы только для стрелцкого клоба!

— Однако ж не лучше ли запретить взвод шнеллеров? Можно предупредить господ, как обращаться с пружиной, а в остальном положиться на честь. Как вы думаете, почтеннейший?

— Я согласен на все, что может облегчить дуэль; будет ли у нас лекарь, г. ротмистр?

— Я вчера посетил двоих и был взбешен их корыстолюбием... Они начинали предисловием об ответственности и кончали требованием задатка; я не решился вверять участь поединка подобным торгашам.

— В таком случае я берусь привести с собою доктора, величайшего оригинала, но благороднейшего человека в мире. Мне случалось прямо с постели увозить его на поле, и он решался не колеблясь. «Я очень знаю, господа, — говорил он, навивая бинты на инструмент, — что не могу ни запретить, ни воспрепятствовать вашему безрассудству, и приемлю охотно ваше приглашение. Я рад купить, хотя и собственным риском, облегчение страждущего человечества!» Но что удивительнее все-

го — он отказался за поездку и лечение от богатого подарка.

— Это делает честь человечеству в медицине. Вале-риан Михайлович спит еще?

— Он долго писал письма и не более трех часов как уснул. Посоветуйте, сделайте милость, вашему товарищу, чтобы он ничего не ел до поединка. При несчастье пуля может скользнуть и вылететь насквозь, не повредив внутренних, если они сохранят свою упругость; кроме того, и рука натошак вернее. Позаботились ли вы о четвероместной карете? В двухместной ни помочь раненому, ни положить убитого.

— Я велел нанять карету в дальней части города и выбрать попростее извозчика, чтобы он не догадался и не дал бы знать.

— Вы сделали как нельзя лучше, ротмистр; а то полиция не хуже ворона чует кровь. Теперь об условиях: барьер по-прежнему — на шести шагах.

— На шести. Князь и слышать не хочет о большем расстоянии. Рана только на четном выстреле кончает дуэль, — вспышка и осечка не в число.

— Какие упрямы! Пускай бы за дело дрались, так и не жаль пороху, а то за женскую прихоть и за свои причуды.

— Много ли мы видели поединков за правое дело? А то все за актрис, за карты, за коней или за порцию мороженого.

— Признаться сказать, все эти дуэли, которых причину трудно или стыдно рассказывать, немного делают нам чести. Итак, ровно в полдень и за Выборгскою заставой?

— В полдень и там. Невдалеке от трактира, на второй версте, где мы съедемся, влево от дороги, есть пустой и довольно светлый ток; в нем мы будем защищены от ветра и сверкания солнца. Я надеюсь, однако, что мы, прежде чем сведем их, испытаем все средства к примирению? Смертной обиды между ними не было, и, может, нам удастся кончить дело извинением.

— Я бы готов был целый год принимать заряды вместо того, чтоб жечь их, если б удалось нам это; но, признаюсь, мало имею надежды на успех. Говорить соперникам о мире, когда они приехали на поле, все равно что давать лекарство мертвецу. Пули твои никуда не годятся! — вскричал нетерпеливо старику слуге артил-

лерист, бросив пару их на пол.— Они шероховаты и с пузырьками.

— Это от слез, Сергей Петрович! — отвечал слуга, отирая заплаканные глаза.— Я никак не могу удержать их; так и бегут и порой попадают в форму. Да и руки мои дрожат, словно у предателя Иуды. Что скажут добрые люди, когда узнают, что я отлил смертную пулю моему доброму барину,— какой грех ляжет на душу! С каким сердцем встречу барышню Ольгу Михайловну, если бог попустит мне видеть смерть барина! Он один ей вместо отца родного! Ваше высокоблагородие! заставьте за себя молить бога, отведите барина от греха или от беды своей, уговорите, упросите его; мы... все...

Старик не мог продолжать от рыданий... Артиллерист, тронутый сим, старался утешить его.

— Полно, полно, старик! Как не стыдно тебе расплакаться как теленку. Ты сам в четырнадцатом году был в делах с барином, ты знаешь, что не все пули бьют и не все раненые умирают, притом мы постараемся и уладить полюбовно.

Ольга не могла слушать долее; голова ее кружилась, колена изменяли. Ужасные подробности поединка рисовали пред нею кровавыми чертами картину братней кончины...

— Раненого или убитого,— повторила она, упавая в кресла,— убитого!

Мысли ее помутились... Страх ледяною рукою своей сдавил сердце.

Есть минуты, есть часы тоски тяжелой, неизъяснимой... Разум тогда, будто пораженный параличом, вдруг прерывает ход свой, но чувство, отравленное полным понятием о величии беды, подобно лавине, рушится на сердце и погребает его в хладе отчаяния, немного, но глубокого, бесчувственно-мучительного! Тогда очи не находят слез, уста — выражений, и тем ужаснее тоска, сосредоточенная в груди, тем едче слезы, каменеющие на сердце, которое, как подземная жила, переполненная пылающею серой, рвется сбросить с себя громаду и, готовое расторгнуться, не может сдвинуть груза, его удушающего, не может отрезать палящего вздоха.

Ольга не плакала, ибо не могла плакать, ничего не слышала, ничему не внимала она. На все приглашения, на все вопросы тетки отвечала она отрицательным движением головы и не трогалась с места. Наконец, когда

ясный уже луч солнца, проникнув туманы, упал на чело ее, она как будто очнулась от болезненного забвения, подобно Мемноновой статуе в пустынях Пальмиры.

— Где братец? — спросила она, вставая.

— Уехал! — было ответом, и она снова погрузилась в мрачное онемение, вперив неподвижные очи в окно. По лицу ее то мелькало нетерпение ожидания, то улыбающие надежды умоливать брата, но всего чаще, всего мрачнее ложилась тень отчаяния, ибо разум уверял ее, что никакие доводы, никакие чувства не могли совратить Валериана с пути, однажды избранного; притом же она очень хорошо постигала, что судьба поединка зависела всего более от обидчика, то есть князя Гремина. «И он, которого я считала благоразумнейшим существом, он, которого любила, которого воображала братом — брату, жаждет теперь крови и смерти. Ах! как злы люди», — думала она. А между тем часы текли за часами, было одиннадцать, и вся душа Ольги перешла в зрение; как на перст судьбы, глядела она на тихо переступающую стрелку... Еще четверть, еще... И она воскликнула:

— Все погибло! Он не хочет даже проститься с сестрою, он боится быть тронутым моею горестию... Боже великий, подкрепи меня!

Ольга поверглась ниц перед образом, и решимость осенила свыше теплую мольбу ее.

На второй версте по дороге к Парголову, направо, на холме виден простой русский трактир, выкрашенный желтою краскою, — свидетель многих несчастных сцен или веселых примирений зимою. Летом никто из порядочных людей не посещает его, равно за неопрятность, как и потому, что окрестные дачи в это время кипят народом и, следственно, не могут быть поприщем поединков. Вся трактирная челядь высыпала на крыльцо, завидя две кареты и парные сани, пробивающиеся к ним сквозь сугробы снега, блестящего миллионами звезд на солнышке. Это, как можно было угадать, был поезд вовсе не свадебный, поезд наших дуэлистов. Противников развели по разным комнатам. Артиллерист вызвался ехать вперед приготовить место и утоптать смертную тропу. Доктор пригласил другого секунданта сыграть партию в бильярд, и вот соперники наши оставлены были сами себе на раздумье...

Валериан был угрюм, но с каким-то удовольствием

смотрел на безжизненный снег, покрывающий саваном долину, на траурную зелень елей. Он пламенно и нежно полюбил графиню, и ее холодность, ее легкомыслие сокрушили все его надежды. Он улыбкою встретил мысль о смерти, потому что смерть никому не кажется так утешительна, как обманутой или неудачной любви. «Три дня — и нет ответа... — думал он. — Это самый понятный ответ! Ей жаль лучей своего сиятельства; ей приятнее переживать светскую скуку в кругу модных обезьян, чем наслаждение жизнью с мужем-человеком; ей лестнее вселять мечты и желания в других, чем мыслить и чувствовать наедине с другом или с собою. Да будет! Благодарю судьбу, что она заранее спасла меня от легкомысленной женщины. В сладком чаду заблуждений, в очаровании страсти мне бы тяжело было вырваться из объятий счастья. Но теперь я равнодушен к жизни; я презираю свет, в котором любовь — тщеславие, а дружба — прихоть. Но ты, Алина, ты виновна более всех! Необыкновенная смертная, ты увлеклась стадом обыкновенных женщин... Ты одна могла создать мое счастье, ты одна могла ценить мою любовь, и я, не утешен взаимностью, сойду в могилу — и за тебя! Алина! Алина! ты оценишь меня, когда меня потеряешь!» Слезы направились на глазах Валериана. Но, право, не знаю, почему ни одна из них не посвящена была сожалению о сестре; таковы все влюбленные; во время своей горячки у них нет ни думы, ни слова, кроме о милой, и, даже умирая, они больше думают о том, как понравятся в гробу своей возлюбленной, нежели о том, как станут плакать о них родные.

Зато, если в одной комнате Ольга была забыта для любви, в другой, по той же самой причине, она была предметом восклицаний и вздохов. Князь Гремин сидел там мрачнее сентябрьского вечера и очень заунывно барабанил пальцами по столу; но или сосновая эта гармоника не могла вполне выразить печальных его мыслей, или сам он был непривычный виртуоз на этом инструменте, только фантазия его походила на погребальный марш, достойный похорон кота мышами. Как ни забавно-жалобна была, однако ж, его музыка, его думы были вовсе не забавны. Когда погас первый пыл негодования, он горько расканивал в своей дерзкой вспыльчивости; совесть громко укоряла его в обиде старого друга, — и для чего, для кого? Для той, которую уже давно не лю-

бил он, для той, которая сама его забыла; не имея другой цели, кроме препятствия в счастье сопернику, из пустого тщеславия! Но всего убедительнее действовала на него логика любезности и красоты Ольги; все силлогизмы его оканчивались и начинались укорительным вопросом: «что скажет на это сестра Валериана?» Ненависть в жизни, если он убьет противника, или презрение после смерти — за вражду непременно должныствовали быть уделом его, а Гремин глубоко чувствовал, как благородный человек и как пламенный мужчина, сколь тяжело было бы ему сносить не только ненависть или презрение, но даже равнодушие Ольги, достойной всякого уважения «и любви», приговаривало сердце, «и, может быть, равнодушной к тебе», шептало самолюбие. Но голос предрассудков звучал как труба и заглушал все кроткие, все добрые ощущения.

— Теперь уже поздно раздумывать, — сказал он со вздохом, разрывающим сердце. — Нельзя возвратить сделанного, стыдно переменять решение. Я не хочу быть сказкою города и полка, согласясь мириться под пистолетом. Люди охотнее верят трусости, чем благородным внушениям, и хотя бы еще лестнейшие надежды, еще драгоценнейшее бытие лежали в душе моем, я и тогда послал бы выстрел Стрелинскому.

— Все готово, князь! — сказал секундант его, распахивая дверь. — Остается только зарядить пистолеты, и, как водится, мы просим вас при том присутствовать.

Противники вошли с разных сторон, холодно и безмолвно поклонились друг другу, и, между тем как Гремин остановился у стола, на котором готовилась роковая трапеза, Стрелинский подошел к доктору, который без милосердия один-одинехонек гонял шары по бильярду. Больно душе видеть людей перед поединком, еще больнее быть посредником в оном. Невольно желаешь зла другому, потому что желаешь сохранения своему товарищу, и это чувство проливает на все церемонную принужденность, между тем как все стараются быть необыкновенно веселыми — соперники, чтобы показать свою смелость, а секунданты, чтоб поддержать ее.

Валериан, познакомясь на переезде с доктором-оригиналом, шутя спросил его, обращаясь к прерванному в карете разговору:

— Не отступаете ли вы, любезный доктор, от чудесной гипотезы своей, что когда-нибудь люди научат-

ся прививать детям хорошие качества, как коровью оспу, и лечить от страстей, как от прилипчивых болезней?

— Для чего мне быть отступником от своих рассуждений, когда вы не хотите покинуть свои предрассуждения? — отвечал доктор и положил красный в лузу.

— Жаль, право, что я не родился позже веками пядью: очень бы любопытно посмотреть, как станут вылечивать от любви шпанскими мушками или от злости припарками и лигатурами!

— От злости и теперь в простом народе лечат припарками и перевязками, так, как в старину от сумасшествия чахоткою, — только едва ли с успехом. Но почему не предположить, что, при всеобщем усовершенствовании наук, нужнейшая из них не выйдет из настоящего дряхлого своего младенчества? Тогда, Валериан Михайлович, мне бы гораздо приятнее было предупредить вашу раздражительность какими-нибудь сладкими пилюлями, нежели вытаскивать свинцовые из ваших костей.

— То-то будет золотой век для медиков!

— Золотой для медицины, а бессребренный для медиков, которые до сих пор, наравне с крапивным семенем судей, живут на счет глупостей, или пороков, или бедствий человеческих!

— Почтенный доктор... — прервал речь его артиллерист, заряжая вторую пару, — решите спор наш: я говорю, что лучше уменьшить заряд по малости расстояния и для верности выстрела, а господин ротмистр желает усилить его, уверяя, что сквозные раны легче к исцелению, — это статья по вашему департаменту.

— Дайте руку, господин пушкарь в превосходной степени. Мы должны быть друзьями и соседями, не только потому, что ваше училище, где научают убивать по правилам, рядом с нашею клинкою, где учат исцелять людей, но и потому, что природа всегда подле яду помещает противоядие. Вы смеетесь, вы говорите, что это два зла вместе, — пусть так. Только увеличьте заряд, если нельзя вовсе его уничтожить. На шести шагах самый слабый выстрел пробьет ребра; и так как трудно, а часто и невозможно вынуть пули, то она и впоследствии может повредить благородные части.

— Высокоблагородные части, — сказал, улыбаясь, Гремин, — мы оба штаб-офицеры; но шутки в сторону, доктор: откуда почитаете вы всего безопаснее вынимать пулю?

— Из дула,— отвечал доктор очень важно. Все засмеялись.

— Не угодно ли будет, князь, снять эполеты? — сказал один из секундантов, укладывая пистолеты в ящик.— Золото — слишком видная цель для противника.

— Вы так строги, любезный посредник мой, что я того и жду приглашения оставить здесь и голову, потому что она еще виднейшая цель...

В это время послышался стук у двери.

— Боже мой! — воскликнул артиллерист, закрывая плащом оружие...— Не дадут и подраться покойно! Кто там?

— Ездовой графини Звездич спрашивает майора Стрелинского,— произнес за порогом маркер, точно таким же голосом, как возвещает он «двадцать три и ничего!».

Стрелинский одним прыжком был уже в сенях.

— Вас просит видеть какая-то дама,— сказал Гремину трактирный мальчик, вбегая с другой стороны. Князь вышел, пожимая плечами. Но вообразите его изумление, когда стройная незнакомка отбросила вуаль с лица своего и в ней он узнал Ольгу со всеми прелестями юности, в полном вооружении невинности и собственного достоинства.

— Ольга! — воскликнул он, пораженный еще более, чем удивленный.— Ольга, вы, вы здесь?

— И вы причиной тому, князь Гремин,— отвечала Ольга с гордою твердостью.— Если б я и не знала опасностей моего поступка, то одно изумление ваше открыло бы мне все... Но я все знаю и на все решилась. Пускай свет назовет меня безрассудною искательницею приключений, пускай стану я сказкою столицы, пусть эта минута бросит вечную тень на остаток моей жизни,— но не должна ли я презреть всем для спасения брата, которого хотите вы погубить! Но я не упрекать вас пришла, князь Гремин, но просить, но убеждать, умолять вас: забудьте кроважадную ссору вашу, открытую мне случаем. Заклинаю вас именем бога, которого забываете, именем человечества и разума, которые попираете вы ногами, именем прежней дружбы и вечной любви ко всему, что драгоценно для вас в этой жизни и лестно за могилой! Вы искали поединка, и от вас зависит прекратить его. Князь! Примиритесь с Валерианом! Спасите

меня от горького чувства видеть убийцу в брате или от неутолимого плача по нем. Что станется тогда со мной в этом враждебном свете, без друга, без советника и покровителя? Как мало жила я и как несчастна, что дожила до ужасной поры, в которую два существа, уважаемые мной больше всего в мире, готовы растерзать друг друга!

Сначала голос Ольги был тверд и выразителен, но когда речь коснулась до братской привязанности, он стал тише и нежнее, дыхание прерывалось, замирало; тоска высоко вздымала грудь; очи ее, отягченные слезами, наконец пролили их в три ручья, и она, рыдая, опустилась на стул. Князь Гремин, энтузиаст всего высокого и благородного, тронутый до глубины души прекрасным самоотвержением Ольги, стоял в восторге, нем и неподвижен. Он поглощал взорами великодушную примирительницу. Сладостное чувство умиления проникло все его существо; одна искра чистой любви осветила всю его душу. Как молния превращает полюсы компаса, так всемогущие слезы невинности превратили в доброту все семена зла и злобы, в груди таящиеся. Он был уже счастлив, ибо высочайшее счастье есть сознание чужих совершенств, сознание высокого и прекрасного.

Ольга, однако ж, почитая безмолвие князя колебанием или отказом, гордо встала и произнесла, сверкая взором:

— Но знайте, князь Гремин, если речь правды и природы недоступна душам, воспитанным кровавыми предрассудками, то вы не иначе достигнете до брата моего, как сквозь это сердце. Не пожалев славы, я не пожалею жизни.

— Нет, нет! Существо неземное! — воскликнул Гремин, — свою жизнь, хотя бы тысячу раз обновленную, готов теперь пожертвовать я за вас, за Валериана! Ольга! ваше великодушное победило меня!

С этим словом он вошел в залу и громко сказал Валериану:

— Господин майор! я прошу у вас извинения в своей горячности; очень сожалею о том, что вчера произошло между нами, и если вы довольны этим объяснением, то сочту большою честью возврат вашей дружбы.

Стрелинский, вовсе не ожидая такой развязки, перечитывал весело какое-то письмо, — очень вежливо, однако ж очень охотно протянул руку Гремину.

— Тому легко примирение,— сказал он,— кто сам имеет нужду в прощении,— и друзья обнялись снова друзьями.

— Господа секунднты! скажите по совести, не имеем ли мы в чем-нибудь укорять себя, как благородные люди и офицеры? — сказал Гремин.

— Никогда и никто не усомнится в вашей храбрости,— отвечал гвардеец, обнимая князя.

— Признаваться в своих ошибках есть высшее мужество,— возразил артиллерист, сжимая руку майору.

— Сделав все для света, я прошу у тебя, любезный Стрелинский, для самого себя пяти минут особенного разговора.

Рука об руку с князем вошел Валериан в другую комнату весело и беззаботно, но чело его подернулось, как заревом, когда он увидел там сестру свою!

— Что это значит?! — вскричал он грозно. Но когда сестра с радостным приветом:

— Вы не будете врагами, вы не будете стреляться! — упала к нему на грудь бесчувственна, голос его смягчился...

— Ольга! Ольга! что ты сделала? — произнес он печально.— Невинная, неопытная душа! ты погубила себя!

Тихо опустил он на софу драгоценное бремя, и невольный взор упрека пронзил сердце Гремина; между тем призванный доктор суетился около Ольги.

— Друг! друг! — сказал глубоко тронутый князь,— не уничтожай меня; я сам чувствую, сколько бед наклало мое безрассудство; подумаем лучше, как исправить ошибку. Поездка сестрицы твоей едва ли утаится от клеветы, и бог весть, какими баснями украсит ее свет! Чувствую, что я не стою этого ангела, но чувствую, что без нее нет для меня счастья на земле... И если сердце ее не занято... если... я, как старый друг твой, спрашиваю тебя, Валериан... хочешь ли ты иметь меня зятем?

Стрелинский мрачно взглянул на него...

— Князь! я откровенно скажу тебе, что прежде не желал бы лучшего мужа Ольге, но вчерашняя твоя горячность за графиню заставляет меня сомневаться вчастии сестры!

— Валериан! не разрывай могил минувшего... Кто не был молод! От сего дня я новый человек; прежняя

привязанность к сестрице твоей обратилась в страсть неодолимую и неизменную.

— Верю,— сказал Валериан, пожимая руку друга, и указал на сестру, которая начинала приходить в себя.— Милая, добрая Ольга! здесь ты видишь людей, тобой примиренных и благодарных; но, кроме благодарности, здесь есть некто желающий получить награду, заслужив наказание; он уверяет, что любит тебя, клянется в верности... Доканчивайте, князь Гремин!

Гремин с пылкостью и страхом вступил в трудное объяснение.

— Я буду краток,— сказал он, приближаясь к Ольге,— как ни вредно виноватому быть им. Так, Ольга, я дерзаю искать руки вашей, хотя в глубине души сознаюсь, как недостойн я такого блаженства. Не говорю теперь о взаимности, я буду счастлив и тем, если вы меня не ненавидите, и терпеливо стану ждать чувств нежнейших, как награды.

— Теперь я не имею никакой причины ненавидеть вас; я, напротив, обязана вам благодарностию! — возразила Ольга едва внятно.

— Это лишь слабый образчик моей беспредельной покорности; имея образцом такого ангела, какое доброе качество мне недоступно? Ольга! жизнь без вас для меня пустыня, с вами — рай; решите участь мою!

Ответ Ольги можно было прочесть в каждой черте лица, в трепетании каждой жилки; слезы наслаждения стояли в ресницах, румянец счастья пылал на щеках ее... Все сны, все мечты ее разгадались; она была так невинно счастлива, но ей было так ново и страшно это положение; наконец она преклонила милое лицо свое к плечу Валериана и тихо, тихо сказала:

— Братец, отвечай за меня!

— Князь Николай! вручаю тебе лучшую жемчужину моего бытия. Есть бог в небе и совесть в сердце, если ты не сделаешь мою Ольгу счастливою!

Тут положил Валериан руку сестры в руку Гремина, и седьмое небо распахнулось для влюбленного.

— Я сегодня так счастлив, что боюсь, не во сне ли вижу все это; друзья мои! вот письмо от Алины,— примолвил Валериан, отдавая для прочтения письмо Гремину. Гремин читал:

— «За свою недоверчивость, милый Валериан, ты заслужил наказание и получил его, но чего эта шутка

стоила моему сердцу! Как можно было сомневаться, что, куда б ни забросила тебя судьба, куда бы ни увлекла воля, в горе и счастья я всегда с тобой неразлучна. Впрочем, эти три дня я посвятила на убеждение моих нравственных и политических опекунов; теперь все в порядке, и я могу ехать за тобой к полюсу, не только в прекрасную деревню. Сегодня ожидаю неверующего на мир и через два месяца — о сладкая мысль! — я буду уже иметь священное право называться *твоею Алиною!*».

Поздравления и объятия полетели к счастливцу... Сам доктор, со слезами умиления на глазах, смотрел на небо, скинув ошибкою парик вместо колпака.

— Еще пара таких женщин, — бормотал он, — и я выброшу всех редких букашек за окно! Жаль только, что Ольга заставит меня переправить целую главу о женщинах!

Стрелинский, посадив сестру свою в карету, остановился у двери.

— Господа! — сказал он, — милости просим ко мне откусать и запить прошедшие безрассудства. Господ же секундантов, благодаря, сверх того, за их участие, прошу сделать нам честь переменить роли секундантов на должность шаферов у меня и жениха сестры моей, князя Гремина!

Он умчался при радостных приветях.

Восхищенный князь, обнимая с радости всех и каждого, сказал доктору, приглашая его сестру с собою в карету:

— Я надеюсь, и для вас, почтеннейший друг наш, приятнее видеть свадьбу, чем похороны.

— Я не бываю на свадьбах, чтобы не заставить краснеть других, ни на похоронах, чтобы не краснеть самому, — отвечал доктор, садясь в сани.

— Теперь, однако ж, дело идет не о проводах невест или мертвецов в новый для них мир, а только о проводах масленицы. Валериан ждет вас к дружескому обеду.

— Непременно буду, охотно буду, но теперь еще рано, я заеду к себе приписать кое-что к моей диссертации.

— Конечно, о страстях устрицы! — сказал Гремин, улыбаясь.

— Напротив, об удачных глупостях человека, — возразил доктор.

1830. Дагестан

СТРАШНОЕ ГАДАНИЕ

Рассказ

Посвящается
Петру Степановичу Лутковскому

Давно уже строптивые умы
Отринули возможность духа тьмы;
Но к чудному всегда наклонным
сердцем,
Друзья мои, кто не был
духоверцем?..

...Я был тогда влюблен, влюблен до безумия. О, как обманывались те, которые, глядя на мою насмешливую улыбку, на мои рассеянные взоры, на мою небрежность речей в кругу красавиц, считали меня равнодушным и хладнокровным. Не ведали они, что глубокие чувства редко проявляются именно потому, что они глубоки; но если б они могли заглянуть в мою душу и, увидя, понять ее,—они бы ужаснулись! Все, о чем так любят болтать поэты, чем так легкомысленно играют женщины, в чем так стараются притворяться любовники, во мне кипело, как растопленная медь, над которою и самые пары, не находя истока, зажигались пламенем. Но мне всегда были смешны до жалости приторные вздыхатели со своими пряничными сердцами; мне были жалки до презрения записные волокиты со своим зимним восторгом, своими заученными изъяснениями, и попасть в число их для меня казалось страшнее всего на свете.

Нет, не таков был я; в любви моей бывало много странного, чудесного, даже дикого; я мог быть непонятен, но смешон — никогда. Пылкая, могучая страсть катится как лава; она увлекает и жжет все встречное; разрушаясь сама, разрушает в пепел препоны и хоть на миг, но превращает в кипучий котел даже холодное море.

Так любил я... назовем ее хоть Полиною. Все, что женщина может внушить, все, что мужчина может почувствовать, было внушено и почувствовано. Она принадлежала другому, но это лишь возвысило цену ее взаимности, лишь более раздражило слепую страсть мою, взлеянную надеждой. Сердце мое должно было расторгнуться, если б я замкнул его молчанием: я опрокинул его, как переполненный сосуд, перед любимую женщину; я говорил пламенем, и моя речь нашла отзыв в ее сердце. До сих пор, когда я вспомню об уверении, что

я любим, каждая жилка во мне трепещет, как струна, и если наслаждения земного блаженства могут быть выражены звуками, то, конечно, звуками подобными! Когда я прильнул в первый раз своими устами к руке ее,—душа моя исчезла в этом прикосновении! Мне чудилось, будто я претворился в молнию: так быстро, так воздушно, так пылко было чувство это, если это можно назвать чувством.

Но коротко было мое блаженство: Полина была столько же строга, как прелестна. Она любила меня, как никогда еще я не был любим дотол, как никогда не буду любим вперед: нежно, страстно и безупречно... То, что было заветно мне, для нее стоило более слез, чем мне самому страданий. Она так доверчиво предалась защите моего великодушия, так благородно умоляла спасти самое себя от укора, что бесчестно было бы изменить доверию.

— Милый! мы далеки от порока,—говорила она,—но всегда ли далеки от слабости? Кто пытается часто силу, тот готовит себе падение; нам должно как можно реже видаться!

Скрепя сердце я дал слово избегать всяких встреч с нею.

И вот протекло уже три недели, как я не видал Полины. Надобно вам сказать, что я служил еще в Северском конноегерском полку, и мы стояли тогда в Орловской губернии... позвольте умолчать об уезде. Эскадрон мой расположен был квартирами вблизи помещьев мужа Полины. О самых святках полк наш получил приказание выступить в Тульскую губернию, и я имел довольно твердости духа уйти не простясь. Признаюсь, что боязнь изменить тайне в присутствии других более, чем скромность, удержала меня. Чтоб заслужить ее уважение, надобно было отказаться от любви, и я выдержал опыт. Напрасно приглашали меня окрестные помещики на прощальные праздники; напрасно товарищи, у которых тоже, едва ль не у каждого, была сердечная связь, уговаривали возвратиться с перехода на бал,—я стоял крепко.

Накануне Нового года мы совершили третий переход и расположились на дневку. Один-одинехонек, в курной хате, лежал я на походной постеле своей, с черной думой на уме, с тяжелой кручиной в сердце. Давно уже не улыбался я от души, даже в кругу друзей: их беседа стала

мне несносна, их веселость возбуждала во мне желчь, их внимательность — досаду за безотвязность; стало быть, тем раздольнее было мне хмуриться наедине, потому что все товарищи разъехались по гостям; тем мрачнее было в душе моей: в нее не могла запасть тогда ни одна блестящая наружная веселости, никакое случайное развлечение.

И вот прискакал ко мне ездовой от приятеля, с приглашением на вечер к прежнему его хозяину, князю Львинскому. Просят непременно: у них пир горой; красавиц — звезда при звезде, молодцов рой, и шампанского разлитое море. В приписке, будто мимоходом, извещал он, что там будет и Полина. Я вспыхнул... Ноги мои дрожали, сердце кипело. Долго ходил я по хате, долго лежал, словно в забытии горячки; но быстрина крови не утихала, щеки пылали багровым заревом, отблеском душевного пожара; звучно билось ретивое в груди. Ехать или не ехать мне на этот вечер? Еще однажды увидеть ее, дыхнуть одним с нею воздухом, наслушаться ее голоса, молвить последнее *прости!* Кто бы устоял против таких искушений? Я кинулся в обшивни и поскакал назад, к селу князя Львинского. Было два часа за полдень, когда я поехал с места. Проскакав двадцать верст на своих, я взял потом со станции почтовую тройку и еще промчался двадцать две версты благополучно. С этой станции мне уже следовало своротить с большой дороги. Статный молодец на лихих конях взялся меня доставить в час за восемнадцать верст, в село княжое.

Я сел, — катать!

Уже было темно, когда мы выехали со двора, однако ж улица кипела народом. Молодые парни, в бархатных шапках, в синих кафтанах, расхаживали, взявшись за кушаки товарищей; девки в заячьих шубах, крытых яркою китайкою, ходили хороводами; везде слышались праздничные песни, огни мелькали во всех окнах, и зажженные лучины пылали у многих ворот. Молодец, извозчик мой, стоя в заголовке саней, гордо покрикивал: «пади!» и, охорашиваясь, кланялся тем, которые узнавали его, очень доволен, слыша за собою: «Вон наш Алеха катит! Куда, сокол, собрался?» и тому подобное. Выбравшись из толпы, он обернулся ко мне с предупреждением:

— Ну, барин, держись! — Заложил правую рукавицу под левую мышку, повел обнаженной рукой над трой-

кою, гаркнул — и кони взвились как вихорь! Дух занялся у меня от быстроты их поскока: они понесли нас.

Как верткий челнок на валах, кувыркались, валялись и прыгали сани в обе стороны; извозчик мой, упершись в валец ногою и мощно передергивая вожжами, долго боролся с запальчивою силою застоявшихся коней; но удила только подстрекали их ярость. Мотая головами, взбросив дымные ноздри на ветер, неслись они вперед, взвивая метель над санями. Подобные случаи столь обыкновенны для каждого из нас, что я, схватясь за облучок, преспокойно лежал внутри и, так сказать, любовался этой быстротой путешествия. Никто из иностранцев не может постичь дикого наслаждения — мчаться на бешеной тройке, подобно мысли, и в вихре полета вкушать новую негу самозабвения. Мечта уж переносила меня на бал. Боже мой, как испугаю и обрадую я Полину своим неожиданным появлением! Меня бранят, меня ласкают; мировая заключена, и я уж несусь с нею в танцах... И между тем свист воздуха казался мне музыкою, а мелькающие изгороди, леса — пестрыми толпами гостей в бешеном вальсе... Крик извозчика, просящего помощи, вызвал меня из очарования. Схватив две вожжи, я так скрутил голову коренной, что, упершись вдруг, она едва не выскочила из хомута. Топча и фыркая, остановились, наконец, измученные бегуны, и когда опало облако инея и ветерок разнес пар, клубящийся над конями:

— Где мы? — спросил я ямщика, между тем как он перетягивал порванный чересседельник и оправлял сбрую.

Ямщик робко оглянулся кругом.

— Дай бог памяти, барин! — отвечал он. — Мы уж давно своротили с большой дороги, чтобы упарить по сугробам гнедышей, и я что-то не признаюсь к этой околице. Не ведь это Прошкино Репище, не ведь Андропова Пережога?

Я не подвигался вперед ни на полвершка от его топографических догадок; нетерпение приехать меня одолевало, и я с досадою бил нога об ногу, между тем как мой парень бегал отыскивать дорогу.

— Ну, что?

— Плохо, барин! — отвечал он. — В добрый час молвить, в худой помолчать, мы никак заехали к Черному озерку!

— Тем лучше, братец! Коли есть примета, выехать не долга песня; садись и дуй в хвост и в гриву!

— Какое лучше, барин; эта примета заведет невесть куда,— возразил ямщик.— Здесь мой дядя видел русалку: слышь ты, сидит на суку, да и покачивается, а сама волосы чешет, косица такая, что страсть; а собой такая смазливая — загляденье, да и только. И вся нагая, как моя ладонь.

— Что ж, поцеловал ли он красавицу? — спросил я.

— Христос с тобой, барин, что ты это шутишь? Подслушает она, так даст поминку, что до новых веников не забудешь. Дядя с перепугу не то чтобы зааминить или зачурать ее, даже ахнуть не успел, как она, завидя его, захохотала, ударила в ладоши, да и бульк в воду. С этого сглазу, барин, он бродил целый день вокруг да около, и когда воротился домой, едва языка допытался: мычит по-звериному, да и только! А кум Тимоша Кулак донес повстречал тут оборотня; слышишь ты, скинулся он свиньей, да то и знай мечется под ноги! Хорошо, что Тимоша и сам в чертовщине силу знает: как поехал на ней чехардой, да ухватил за уши, она и пошла его мыкать, а сама визжит благим матом; до самых петухов таскала, и уж на рассвете нашли его под съездом у Гаврюшки, у того, что дочь красовита. Да то ли здесь чудится!.. Серега косой как порасскажет...

— Побереги свои побасенки до другого случая,— возразил я,— мне, право, нет времени да нет и охоты пугаться!.. Если ты не хочешь, чтоб русалка защекотала тебя до смерти или не хочешь ночевать с карасями под ледяным одеялом, то ищи скорей дороги.

Мы брели целиком, в сугробах выше колена. На беду нашу небо задернуто было пеленою, сквозь которую тихо сеялся пушистый иней; не видя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. Обманчивый отблеск, между перелесками, заманивал нас то вправо, то влево... Вот-вот, думаешь, видна дорога... Доходишь — это склон оврага или тень какого-нибудь дерева! Одни птичьи и заячьи следы плелись таинственными узлами по снегу. Уныло звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяжелый шаг, кони ступали, повесив головы; извозчик, бледный как полотно, бормотал молитвы, приговаривая, что нас обошел леший, что нам надобно выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку — все до креста. Я тонул в снегу и громко роптал на все и на

всех, выходя из себя с досады, а время утекало,— и где конец этому проклятому пути?! Надобно быть в подобном положении, надобно быть влюбленну и спешить на бал, чтобы вообразить весь гнев мой в то время... Это было бы очень смешно, если б не было очень опасно.

Однако ж досада не вывела нас на старую дорогу и не проторила новой; образ Полины, который танцевал передо мною, и чувство ревности, что она вертится теперь с каким-нибудь счастливецем, слушает его ласкательства, может быть, отвечает на них, николю не помогали мне в поисках. Одетый тяжелою медвежьей шубою, я не иначе мог идти, как нараспашку, и потому ветер пронизал меня насквозь, оледеняя на теле капли пота. Ноги мои, обутые в легкие танцевальные сапоги, были промочены и заморожены до колен, и дело уж дошло до того, что надобно было позаботиться не о бале, а о жизни, чтоб не кончить ее в пустынном поле. Напрасно прислушивались мы: нигде отрадного огонька, нигде голоса человеческого, даже ни полета птицы, ни шелеста зверя. Только храпение наших коней, или бой копыта от нетерпения, или, изредка, бряканье колокольца, потрясаемого уздою, нарушали окрестное безмолвие. Угрюмо стояли кругом купы елей, как мертвецы, закутанные в снежные саваны, будто простирая к нам оледенелые руки; кусты, опушенные клоками инея, сплетали на бледной поверхности поля тени свои; утлые, обгорелые пни, вея седыми космами, принимали мечтательные образы; но все это не носило на себе следа ноги или руки человеческой... Тишь и пустыня окрест!

Молодой извозчик мой одет был вовсе не по-дорожному и, пронизаемый не на шутку холодом, заплакал.

— Знать, согрешил я перед богом,— сказал он,— что наказан такой смертью; умрешь, как татарин, без исповеди! Тяжело расставаться с белым светом, только раздувши пену с медовой чаши; да и куда бы ни шло в посту, а то на праздниках. То-то звоеет белугой моя старуха! То-то наплачется моя Таня!

Я был тронут простыми жалобами доброго юноши; дорого бы я дал, чтобы так же заманчива, так же мила была мне жизнь, чтобы так же горячо веровал я в любовь и верность. Однако ж, чтоб разгулять одолевающий его сон, я велел ему снова пуститься в ход наудачу, сохраняя движением теплоту. Так шли мы еще полчаса, как вдруг парень мой вскрикнул с радостью:

— Вот он, вот он!

— Кто он? — спросил я, прыгая по глубокому снегу ближе.

Ямщик не отвечал мне; упав на колени, он с восторгом что-то рассматривал; это был след конский. Я уверен, что ни один бедняк не был столь рад находке мешка с золотом, как мой парень этому верному признаку и обету жизни. В самом деле, скоро мы выбрались на бойкую дровозвозную дорогу; кони, будто чуя ночлег, радостно наострили уши и заржали; мы стремглав полетели по ней куда глаза глядят. Через четверть часа были уже в деревне, и как мой извозчик узнал ее, то привез прямо к избе зажиточного знакомого его крестьянина.

Уверенность возвратила бодрость и силы иззябшему парню, и он не вошел в избу, покуда не размял беганьем на улице окоченевших членов, не оттер снегом рук и щек, даже покуда не выводил коней. У меня зашлись одни ноги, и потому, вытерши их в сенях докрасна суконкою, я через пять минут сидел уже под святыми, за набранным столом, усердно потчемый радужным хозяином и попав вместо бала на сельские посиделки.

Сначала все встали; но, отдав мне чинный поклон, усадились по-прежнему и только порой, перемигиваясь и перешептываясь между собою, кажется, вели слово о неожиданном госте. Ряды молодежи в низанных киках, в кокошниках и красных девушек в повязках разноцветных, с длинными косами, в которые вплетены были треугольные подкосники с подвесками или златошвейные ленты, сидели по лавкам очень тесно, чтоб не дать между собою места лукавому — разумеется, духу, а не человеку, потому что многие парни нашли средство втереться между. Молодцы в пестрядинных или ситцевых рубашках с косыми галунными воротками и в суконных кафтанах увивались около или, собравшись в кучки, пересмехались, щелкали орешки, и один из самых любезных, сдвинув набекрень шапку, бренчал на балалайке «Из-под дубу, из-под вяза». Седобородый отец хозяина лежал на печи, обратясь лицом к нам, и, качая головой, глядел на игры молодежи; для рам картины, с полатей выглядывали две или три живописные детские головки, которые, склонясь на руки и зевая, посматривали вниз. Гаданья на Новый год пошли обыч-

ной своей чередою. Петух, пущенный в круг, по обводу которого насыпаны были именны кучки овса и ячменя с зарытыми в них кольцами, удостоив из которой-нибудь клюнуть, возвещал неминуемую свадьбу для гада-теля или загадчицы... Накрыв блюдом чашу, в которой лежали кусочки с наговорным хлебом, уголья, значения коих я никак не мог добиться, и перстни да кольца де-вушек, все принялись за подблюдные песни, эту лоте-рею судьбы и ее приговоров. Я грустно слушал звуча-ные напевы, коим вторили в лад потрясаемые жеребьи в чаше.

Слава богу на небе,
Государю на сей земле!
Чтобы правда была
Краше солнца светла;
Золотая ж казна
Век полным полна!
Чтобы коням его не изъезживаться,
Его платьям цветным не изнашиваться,
Его верным вельможам не стареться!

Уж мы хлебу поем,
Хлебу честь воздаем!
Большим-то рекам слава до моря,
Мелким речкам — до мельницы!
Старым людям на потешенье,
Добрым молодцам на услышанье,
Расцвели в небе две радуги,
У красной девицы две радости,
С милым другом совет,
И растворен подклет!
Щука шла из Новагорода,
Хвост несла на Бела озера;
У щучки головка серебряная,
У щучки спина жемчугом плетена,
А наместо глаз — дорогой алмаз!
Золотая парча развеивается —
Кто-то в путь в дорогу собирается.

Всякому сулили они добро и славу, но, отогревшись, я не думал дослушивать бесконечных и неминуемых за-ветов подблюдных; сердце мое было далеко, и я сам бы летом полетел вслед за ним. Я стал подговаривать мо-лодцов свезти меня к князю. К чести их, хотя к досаде своей, должно сказать, что никакая плата не выманила их от забав сердечных. Все говорили, что у них лоша-денки плохие или измученные. У того не было санок, у другого подковы без шипов, у третьего болит рука.

Хозяин уверял, что он послал бы сына и без про-

гонов, да у него пара добрых коней повезла в город заседателя... Чарки частые, голова одна, и вот уж третий день, верно, праздничают в околице.

— Да изволишь знать, твоя милость,— примолвил один краснойбай, встряхнув кудрями,— теперь уж ночь, а дело-то святочное. Уж на што у нас храбрый народ девки: погадать ли о суженом — не боятся бегать за овины, в поле слушать колокольного свадебного звону, либо в старую баню, чтоб погладил домовый мохнатой лапою на богатство, да и то сегодня хвостики прижали... Ведь канун-то Нового года чертям сенокос.

— Полно тебе, Ванька, страхи-то рассказывать! — вскричало несколько тоненьких голосков.

— Чего полно? — продолжал Ванька. — Спроси-ка у Оришки: хорош ли чертов свадебный поезд, какой она вчера видела, глядясь за овинами на месяц в зеркало? Едут, свищут, гаркают... словно живьем воочью совершаются. Она говорит, один бесенок оборотился горенским старостиным сыном Афонькой да одно знай пристаёт: сядь да сядь в сани. Из круга, знать, выманивает. Хорошо, что у ней ум чуть не с ко-су, так отнекалась.

— Нет, барин,— примолвил другой,— хоть рассыпь серебра, вряд ли кто возьмется свезти тебя! Кругом озера колесить верст двадцать будет, а через лед ехать без беды беда; трещин и полыней тьма; пошутит лукавый, так пойдешь карманами ловить раков.

— И ведомо,— сказал третий.— Теперь чертям скоро заговенье: из когтей друг у друга добычу рвут.

— Полно брехать,— возразил краснойбай.— Нашел заговенье. Черный ангел, или, по-книжному, так сказать, Ефиоп, завсегда у каждого человека за левым плечом стоит да не смигнувши сторожит, как бы натолкнуть на грех. Не слыхали вы разве, что было у Пятницы на Пустыне о прошлых святках?

— А что такое? — вскричали многие любопытные.— Расскажи, пожалуста, Ванюша; только не умори с ужаси.

Рассказчик оглянулся на двери, на окно, на лица слушателей, крикнул протяжно, оправил правой рукою кудри и начал:

— Дело было, как у нас, на посиделках. Молодцы окручались в личины, и такие хари, что и днем глядеть — за печку спрячешься, не то чтобы ночью плясать

с ними. Шубы навыворот, носищи семи пядей, рога словно у сидоровой козы, а в зубах по углю, так и зияют. Умудрились, что петух приехал верхом на раке, а смерть с косою на коне. Петрушка-чеботарь спину представлял, так он мне все и рассказывал.

Вот как разыгрались они, словно ласточки перед погодою; одному парню лукавый, знать, и шепнул в ухо: «Сем-ка, я украду с покойника, что в часовне лежит, саван да венец, окручусь в них, набелюся известью, да и приду мертвецом на поседки». На худое мы не ленивы: скорей, чем сгадал, он в часовню слетал,— ведь откуда, скажите на милость, отвага взялась. Чуть не до смерти перепугал он всех: старый за малого прячется... Однако ж когда он расхохотался своим голосом да стал креститься и божиться, что он живой человек, пошел смех пуще прежнего страху. Тары да бары да сладкие разговоры, ан и полночь на дворе, надо молодцу нести назад гробовые обновки; зовет не дозвется никого в товарищи; как опала у него хмелина в голове, опустились и крылья соколиные; одному идти — страх одолевает, а приятели отпираются. Покойник давно слыл колуном, и никто не хотел, чтобы черти свернули голову на затылок, свои следы считать. Ты, дескать, брал на прокат саван, ты и отдавай его; нам что за стать в чужом пиру похмелье нести.

И вот, не прошло двух мигов... слышали, кто-то идет по скрипучему снегу... прямо к окну: стук, стук...

— С нами крестная сила! — вскричала хозяйка, устремив на окно испуганные очи.— Наше место свято! — повторила она, не могши отвести взглядов от поразившего ее предмета.— Вон, вон, кто-то страшный глядит сюда!

Девки с криком прижались одна к другой; парни кинулись к окну, между тем как те из них, которые были поробче, с выпученными глазами и открытым ртом поглядывали в обе стороны, не зная, что делать. В самом деле, за морозными стеклами как будто мелькнуло чье-то лицо... но когда рама была отперта — на улице никого не было. Туман, врываясь в теплую избу, ходил коромыслом, затемняя на время блеск лучины. Все понемногу успокоились.

— Это вам почудилось,— сказал рассказчик, оправляясь сам от испуга; его голос был прерывен и неровен.— Да вот, дослушайте бывальщину: она уж и вся-

то недолга. Когда переполошенные в избе люди осмелились да спросили: «Кто стучит?» — пришлец отвечал: «Мертвец пришел за саваном». Услышав это, молодец, окруженный в него, снял с себя гробовую пелену да венец и выкинул их за окошко. «Не принимаю! — закричал колдун, скрипя зубами. — Пускай где взял, там и отдает мне». И саван опять очутился посреди избы. «Ты, насмехаючись, звал меня на посиделки, — сказал мертвец страшным голосом, — я здесь! Чествуй же гостя и провожай его до дому, до последнего твоего и моего дому». Все, дрожа, молились всем святым, а бедняга виноватый ни жив ни мертв сидел, дожидаясь злой гибели. Мертвец между тем ходил кругом, вопя: «Отдайте мне его, не то и всем несдобровать». Сунулся было в окошко, да, на счастье, косяки были святой водой окроплены, так его словно огнем обдало; взвыл да назад кинулся. Вот глянул он в ворота, и дубовый запор, как соль, рассыпался... Начал всходить по съезду... Тяжко скрипели бревна под ногою оборотня; собака с визгом залезла в сених под корыто, и все слышали, как упала рука его на щеколду. Напрасно читали ему навстречу молитву от наваждения, от призора; однако ничто не забрало... Дверь со стоном повернулась на петлах, и мертвец шасть в избу!

Дверь избы нашей, точно, растворилась при этом слове, будто кто-нибудь подслушивал, чтобы войти в это мгновение. Нельзя описать, с каким ужасом вскрикнули гости, поскакав с лавок и столпясь под образами. Многие девушки, закрыв лицо руками, упали за спины соседок, как будто избежали опасности, когда ее не видно. Глаза всех, устремленные к порогу, ждали встретить там по крайней мере остов, закутанный саваном, если не самого нечистого с рогами; и в самом деле, клубящийся в дверях морозный пар мог показаться адским серным дымом. Наконец пар расступился, и все увидели, что вошедший имел вид совершенно человеческого. Он приветливо поклонился всей беседе, хотя и не перекрестился перед иконами. То был стройный мужчина в распахной сибирке, под которою надет был бархатный камзол; такие же шаровары спускались на лаковые сапоги; цветной персидский платок два раза обвивал шею, и в руках его была бобровая шапка с козырьком, особого вида. Одним словом, костюм его доказывал, что он или приказчик, или поверенный по откупам

Лицо его было правильно, но бледно как полотно, и черные потухшие глаза стояли неподвижно.

— Бог помочь! — сказал он, кланяясь. — Прошу беседу для меня не чиниться и тебя, хозяин, обо мне не заботиться. Я завернул в вашу деревню на минуту: надо покормить иноходца на перепутье; у меня вблизи дельце есть.

Увидев меня в мундире, он раскланялся очень развязно, даже слишком развязно для своего состояния, и скромно спросил, не может ли чем послужить мне? Потом, с позволения, подсев ко мне ближе, завел речь о том и о сем, пятом и десятом. Рассказы его были очень забавны, замечания резки, шутки ядовиты; заметно было, что он терся долго между светскими людьми как посредник запрещенных забав или как их преследователь, — кто знает, может быть, как блудный купеческий сын, купивший своим именем жалкую опытность, проживший с золотом здоровье и добрые нравы. Слова его отзывались какою-то насмешливостью надо всем, что люди привыкли уважать, по крайней мере наружно. Не из ложного хвастовства и не из лицемерного смирения рассказывал он про свои порочные склонности и поступки; нет, это уже был закоснелый, холодный разврат. Злая усмешка презрения ко всему окружающему беспрестанно бродила у него на лице, и когда он наводил свои пронзающие очи на меня, невольный холод пробегал по коже.

— Не правда ли, сударь, — сказал он мне после некоторого молчания, — вы любуетесь невинностью и веселостью этих простяков, сравнивая скуку городских балов с крестьянскими посиделками? И, право, напрасно. Невинности давно уж нету в помине нигде. Горожане говорят, что она полевой цветок, крестьяне указывают на зеркальные стекла, будто она сидит за ними, в позолоченной клетке; между тем как она схоронена в староверских книгах, которым для того только верят, чтоб побранить наше время. А веселость, сударь? Я, пожалуй, оживлю вам для потехи эту обезьяну, называемую вами веселостью. Штоф сладкой водки парням, дюжину пряников молодыцам и пары три аршин тесемок девушкам — вот мужицкий рай; надолго ли?

Он вышел и, возвратясь, принес все, о чем говорил, из санок. Как человек привычный к этому делу, он под-

сел в кружок и совершенно сельским наречием, с разными прибаутками, потчевал пряничными петушками, раздавал самым пригоженьким ленты, пуговицы на сарафаны, сережки со стеклами и тому подобные безделки, наливал парням водку и даже уговорил некоторых молодцов прихлебнуть сладкой наливки. Беседа зашумела как улей, глаза засверкали у молодцов, вольные выражения срывались с губ, и, слушая рассказы незнакомца, нашептываемые им на ухо, красные девушки смеялись и уж гораздо ласковее, хотя исподлобья поглядывали на своих соседей. Чтобы довершить суматоху, он подошел к светцу, в котором воткнутая лучина роняла огарки свои в старую сковороду, стал поправлять ее и потушил, будто не нарочно. Минут десять возился он в темноте, вздувая огонь, и в это время звуки многих нескромных поцелуев раздавались кругом между всеобщим смехом. Когда вспыхнула опять лучина, все уже скромно сидели по местам; но незнакомец лукаво показал мне на румяные щеки красавиц. Скоро оказались тлетворные следствия его присутствия. Охмелевшие крестьяне стали спорить и ссориться между собою; крестьянки завистливым глазом смотрели на подруг, которым достались лучшие безделки. Многие парни, в порыве ревности, упрекали своих любезных, что они чересчур ласково обходились с незнакомым гостем; некоторые мужья грозили уже своим половинам, что они докажут кулаком любовь свою за их перемиги с другими; даже ребятишки на полатах дрались за орехи.

Сложив руки на груди, стоял чудный незнакомец у стенки и с довольною, но ироническою улыбкою смотрел на следы своих проказ.

— Вот люди! — сказал он мне тихо... но в двух этих словах было многое. Я понял, что он хотел выразить: как в городах и селах, во всех состояниях и возрастах подобны пороки людские; они равняют бедных и богатых глупостию; различны погремушки, за которыми кидаются они, но ребячество одинаково. То по крайней мере высказывал насмешливый взор и тон речей; так по крайней мере мне казалось.

Но мне скоро наскучил разговор этого безнравственного существа, и песни, и сельские игры; мысли пошли опять привычною стезею. Опершись рукою об стол, хмурен и рассеян, отвечал я на вопросы, глядел на окружающее, и невольный ропот вырывался из сердца,

будто пресыщенного полыню. Незнакомец, взглянув на свои часы, сказал мне:

— Уж скоро десять часов.

Я был очень рад тому; я жаждал тишины и уединения.

В это время один из молодых, с рыжими усами и открытого лица, вероятно осмеленный даровым ерофенчем, подошел ко мне с поклоном.

— Что я тебя спрашаю, барин,— сказал он,— есть ли в тебе молодецкая отвага?

Я улыбнулся, взглянув на него: такой вопрос удивил меня очень.

— Когда бы кто-нибудь поумнее тебя сделал мне подобный спрос,— отвечал я,— он бы унес ответ на боках своих.

— И, батюшка сударь,— возразил он,— будто я сомневаюсь, что ты с широкими своими плечами на дюжину пойдешь, не засуча рукавов; такая удаль в каждом русском молодце не диковинка. Дело не об людях, барин; я хотел бы знать, не боишься ли ты колдунов и чертовщины?

Смешно бы было разуверять его; напрасно уверять в моем неверии ко всему этому.

— Чертей я боюсь еще менее, чем людей! — был мой ответ.

— Честь и хвала тебе, барин! — сказал молодец. — Насилу нашел я товарища. И ты бы не ужастился увидеть нечистого носом к носу?

— Даже схватить его за нос, друг мой, если б ты мог вызвать его из этого рукомошника...

— Ну, барин,— промолвил он, понизив голос и склонясь над моим ухом,— если ты хочешь погадать о чем-нибудь житейском, если у тебя есть, как у меня, какая разлапушка, так, пожалуй, катнем; мы увидим тогда все, что случится с ними и с нами вперед. Чур, барин, только не робеть: на это гаданье надо сердце-тройчатку. Что ж, приказ или отказ?

Я было хотел отвечать этому долгополому гадателю, что он или дурак, или хвастун и что я, для его забавы или его простоты, вовсе не хочу сам делать глупостей; но в это мгновение повстречал насмешливый взгляд незнакомца, который будто говорил: «Ты хочешь, друг, прикрыть благоразумными словами глупую робость! Знаем мы вашу братью, вольномыслящих дворянчи-

ков!» К этому взору он присоединил и увещание, хотя никак не мог слышать, что меня звали на гаданье.

— Вы, верно, не пойдете,— сказал он сомнительно.— Чему быть путному, даже забавному от таких людей!

— Напротив, пойду!..— возразил я сухо. Мне хотелось поступить наперекор этому незнакомцу.— Мне давно хочется раскусить, как орех, свою будущую судьбу и познакомиться покороче с лукавым,— сказал я гадалю.— Какой же ворожкой вызовем мы его из ада?

— Теперь он рыщет по земле,— отвечал тот, и ближе к нам, нежели кто думает; надо заставить его сделать по нашему велению.

— Смотрите, чтобы он не заставил вас делать по своему хотенью,— произнес незнакомец важно.

— Мы будем гадать страшным гаданьем,— сказал мне на ухо парень,— зажав нечистого на воловьей коже. Меня уж раз носил он на ней по воздуху, и что видел я там, что слышал,— примолвил он, бледнея,— того... Да ты сам, барин, попытаешь все.

Я вспомнил, что в примечаниях к «Красавице озера» («Lady of the lake») Вальтер Скотт приводит письмо одного шотландского офицера, который гадал точно таким образом, и говорит с ужасом, что человеческий язык не может выразить тех страхов, которыми он был обуян. Мне любопытно стало узнать, так ли же выполняются у нас обряды этого гаданья, остатка язычества на разных концах Европы.

— Идем же сейчас,— сказал я, опоясывая саблю свою и надевая просушенные сапоги.— Видно, мне сегодня судьба мыкаться конями и чертями! Посмотрим, кто из них довезет меня до цели!

Я переступил за порог, когда незнакомец, будто с видом участия, сказал мне:

— Напрасно, сударь, изволите идти: воображение — самый злой волшебник, и вам бог весть что может почудиться!

Я поблагодарил его за совет, примолвив, что я иду для одной забавы, имею довольно ума, чтоб заметить обман, и слишком трезвую голову и слишком твердое сердце, чтоб ему поддаться.

— Пускай же сбудется чему должно! — произнес вслед мой незнакомец.

Проводник зашел в соседний дом.

— Вечор у нас приняли черного как смоль быка, без малейшей отметки,— сказал он, вытаскивая оттуда свежую шкуру,— и она-то будет нашим ковром-самолетом.— Под мышкой нес он красного петуха, три ножа сверкали за поясом, а из-за пазухи выглядывала головка полуштофа, по его словам какого-то зелья, собранного на Иванову ночь. Молодой месяц протек уже полнеба. Мы шли скоро по улице, и провожатый заметил мне, что ни одна собака на нас не взлаяла; даже встречные кидались опрометью в подворотни и только, ворча, выглядывали оттуда. Мы прошли версты полторы; деревня от нас скрылась за холмом, и мы поворотили на кладбище.

Ветхая, подавленная снегом, бревенчатая церковь возникала посреди полурухнувшей ограды, и тень ее тянулась вдаль, словно путь за мир могильный. Ряды крестов, тленных памятников тлеющих под ними поселян, смиренно склонялись над пригорками, и несколько елей, скрипя, качали черные ветви свои, колеблемые ветром.

— Здесь! — сказал проводник мой, бросив шкуру вверх шерстью. Лицо его совсем изменилось: смертная бледность проступила на нем вместо жаркого румянца; место прежней говорливости заступила важная таинственность.— Здесь! — повторил он.— Это место дорого для того, кого станем вызывать мы: здесь, в разные времена, схоронены трое любимцев ада. В последний раз напоминаю, барин: если хочешь, можешь воротиться, а уж начавши коляду, не оглядывайся, что бы тебе ни казалось, как бы тебя ни кликали, и не твори креста, не читай молитвы... Нет ли у тебя ладанки на вороту?

Я отвечал, что у меня на груди есть маленький образ и крестик, родительское благословение.

— Сними его, барин, и повесь хоть на этой могилке: своя храбрость теперь нам оборона.

Я послушался почти нехотя. Странная вещь: мне стало будто страшнее, когда я удалил от себя моих пенатов от самого младенчества; мне показалось, что я остался вовсе один, без оружия и защиты. Между тем гадатель мой, произнося невнятные звуки, начал обводить круг около кожи. Начертив ножом дорожку, он окропил ее влагою из стеклянки и потом, задушив петуха, чтобы он не крикнул, отрубил его голову и по-

лил кровью в третий раз очарованный круг. Глядя на это, я спросил:

— Не будем ли варить в котле черную кошку, чтобы ведьмы, родня ее, дали выкуп?

— Нет! — сказал заклинатель, вонзая треугольником ножи, — черную кошку варят для привороту к себе красавиц. Штука в том, чтобы выбрать из косточек одну, которую если тронешь, на кого задумаешь, так по тебе с ума сойдет.

«Дорого бы заплатили за такую косточку в столицах, — подумал я, — тогда и ум, и любезность, и красота, самое счастье дураков спустили бы перед нею флаги».

— Да все равно, — продолжал он, — можно эту же силу достать в Иванов день. Посадить лягушку в дыравый бурак, наговорить, да и бросить в муравейник, так она человеческим голосом закричит; наутро, когда она будет съедена, останется в бураке только вилочка да крючок: этот крючок — неизменная уда на сердца; а коли больно наскучит, тронь вилочкой — как рукавицу долой, всю прежнюю любовь снимет.

«Что касается до забвения, — думал я, — для этого не нужно с нашими дамами чародейства».

— Пора! — произнес гадатель. — Смотри, барин: коли мила тебе душа, не оглядывайся. Любуйся на месяц и жди, что сбудется.

Завернувшись в медвежью шубу, я лег на роковой воловьей шкуре, оставив товарища чародействовать, сколько ему угодно. Невольно, однако ж, колесо мыслей опять и опять приносило мне вопрос: откуда в этом человеке такая уверенность? Он мог ясно видеть, что я вовсе не легковерен, следовательно, если думает морочить меня, то через час, много два, открою вполне его обманы... Притом, какую выгоду найдет он в обмане? Ни ограбить, ни украсть у меня никто не посмеет... Впрочем, случается, что сокровенные силы природы даются иногда людям самым невежественным. Сколько есть целебных трав, магнетических средств в руках у простолюдинов... Неужели?.. Мне стало стыдно самого себя, что зерно сомнения запало в мою голову. Но когда человек допустит себе вопрос о каком-либо предмете, значит, верование его поколеблено, и кто знает, как далеки будут размахи этого маятника?.. Чтобы отвлечь себя от думы о мире духов, которые, может

статься, окружают нас незримо и действуют на нас неощутимо, я прильнул очами к месяцу.

«Тихая сторона мечтаний! — думал я. — Неужели ты населена одними мечтаниями нашими? Для чего так любовно летят к тебе взоры и думы человеческие? Для чего так мило сердцу твое мерцанье, как дружеский привет или ласка матери? Не родное ли ты светило земле? Не подруга ли ты судьбы ее обитателей, как ее спутница в странничестве эфирном? Прелестна ты, звезда покоя, но земля наша, обиталище бурь, еще прелестнее, и потому не верю я мысли поэтов, что туда суждено умчаться теням нашим, что оттого влечешь ты сердца и думы! Нет, ты могла быть колыбелью, отчиною нашего духа; там, может быть, расцвело его младенчество, и он любит летать из новой обители в знакомый, но забытый мир твой; но не тебе, тихая сторона, быть приютом буйной молодости души человеческой! В полете к усовершенствованию ей доля — еще прекраснейшие миры и еще тяжчайшие испытания, потому что дорогою ценой покупаются светлые мысли и тонкие чувствования!»

Душа моя зажглась прикосновением этой искры; образ Полины, облеченный всеми прелестями, приданными воображением, несся передо мною...

«О! зачем мы живем не в век волшебств, — подумал я, — чтобы хоть ценой крови, ценою души купить временное всевластие, — ты была бы моя, Полина... моя!..»

Между тем товарищ мой, стоя сзади меня на коленях, произносил непонятные заклинания; но голос его затихал постепенно; он роптал уже подобно ручью, катящемуся под снежною глыбою...

— Идет, идет!.. — воскликнул он, упав ниц. Его голосу отвечал вдали шум и топот, как будто вихорь гнал метель по насту, как будто удары молота гремели по камню... Заклинатель смолк, но шум, постепенно возраста, налетел ближе... Невольным образом у меня занялся дух от боязненного ожидания, и холод пробежал по членам... Земля звучала и дрожала — я не вытерпел и оглянулся...

И что ж? Полштоф стоял пустой, и рядом с ним храпел мой пьяный духовидец, упав ничком! Я захохотал, и тем охотнее, что предо мной сдержал коня своего незнакомец, проезжая в санках мимо. Он охотно помог мне посмеяться такой встрече.

— Не говорил ли я вам, сударь, что напрасно изволите верить этому глупцу. Хорошо, что он недолго скучал вам, поторопившись нахрабрить себя сначала; мудрено ли, что таким гадалеям с перепою видятся чудеса!

И между тем злые очи его пронизали морозом сердце, и между тем коварная усмешка доказывала его радость, видя мое замешательство, застав, как оробелого ребенка, впотьмах и врасплох.

— Каким образом ты очутился здесь, друг мой? — спросил я неизбежного незнакомца, не очень довольный его уроком.

— Стоит обо мне вздумать, сударь, и я как лист перед травой... — отвечал он лукаво. — Я узнал от хозяйна, что вам угодно было ехать на бал князя Львинского; узнал, что деревенские неучи отказались везти вас, и очень рад служить вам: я сам туда еду повидаться под шумок с одною барскою барынею. Мой иноходец, могу похвалиться, бежит как черт от ладану, и через озеро не далее восьми верст!

Такое предложение не могло быть принято мною худо; я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать незнакомца. Приехать хоть в полночь, хоть на миг... это прелесть, это занимательно!

— Ты разодолжил меня, друг мой! Я готов отдать тебе все наличные деньги! — вскричал я, садясь в санички.

— Поберегите их у себя, — отвечал незнакомец, садясь со мною рядом. — Если вы употребите их лучше, нежели я, безрассудно было бы отдавать их, а если так же дурно, как я, то напрасно!

Вожжи натянулись, и как стрела, стальным луком ринутая, полетел иноходец по льду озера. Только звучали подрезы, только свистел воздух, раздираемый быстрою иноходью. У меня занялся дух и замирало сердце, видя, как прыгали наши казанки через трещины, как вились и крутились они по закраинам полыней. Между тем он рассказывал мне все тайные похождения окружного дворянства: тот волочит за предводительшей; та была у нашего майора в гостях под маскою; тот вместо волка наехал с собаками на след соседа и чуть не затравил зверька в спальне у жены своей. Полковник наш поделился сколькими-то тысячами с губернатором, чтоб очистить квитанцию за постой... Про-

курор получил недавно пирог с золотою начинкою, за то, чтоб замять дело помещика Ремницына, который засек своего человека, и проч., и проч.

— Удивляюсь, как много здесь сплетней,— сказал я,— дивлюсь еще более, как они могут быть тебе известны.

— Неужели вы думаете, сударь, что серебро здесь ходит в другом курсе или совесть судейская дороже, нежели в столицах? Неужели вы думаете, что огонь здесь не жжет, женщины не ветреничают и мужья не носят рогов? Слава богу, эта мода, я надеюсь, не устареет до конца света! Это правда, теперь больше говорят о честности в судах и больше выказывают скромности в обществах, но это для того только, чтоб набить цены. В больших городах легче скрыть все проказы; здесь, напротив, сударь, здесь нет ни модных магазинов, ни лож с решетками, ни наемных карет, ни посещений к бедным; кругом несметная, но сметливая дворня и ребятишки на каждом шагу. Вышло из моды ходить за грибами, и еще не введены прогулки верхом, так бедняжкам нежным сердцам, чтобы свидеться, надо ждать отъезжего поля, или престольного праздника у соседей, или бурной ночи, чтобы дождь и ветер смели следы отважного обожателя, который не боится ни зубов собак, ни языков соседок. Впрочем, сударь, вы это знаете не хуже моего. На бале будет звезда здешних красавиц, Полина Павловна.

— Мне все равно,— отвечал я хладнокровно.

— В самом деле? — произнес незнакомец, взглянув на меня насмешливо-пристально.— А я бы прозакладывал свою бровную шапку и, к ней в придачу, свою голову, что вы для нее туда едете... В самом деле, вам бы давно пора осушить поцелуями ее слезы, как это было три недели тому назад, в пятом часу после обеда, когда вы стояли перед ней на коленях!

— Бес ты или человек?! — яростно вскричал я, схватив незнакомца за ворот.— Я заставляю тебя высказать, от кого научился ты этой клевете, заставляю век молчать о том, что знаешь.

Я был поражен и раздражен словами незнакомца. От кого мог он сведать подробности моей тайны? Никому и никогда не открывал я ее; никогда вино не исторгало у меня нескромности; даже подушка моя никогда не слыхала звука изменнического; и вдруг вещь, ко-

торая происходила в четырех стенах, между четырьмя глазами, во втором этаже и в комнате, в которой, конечно, никто не мог подсмотреть нас,— вещь эта стала известною такому бездельнику! Гнев мой не имел границ. Я был силен, я был рассержен, и незнакомец дрогнул, как трость в руке моей; я приподнял его с места. Но он оторвал прочь руку мою, будто маковку репейника, и оттолкнул, как семилетнего ребенка.

— Вы проиграете со мной в эту игру,— сказал он хладнокровно, однако ж решительно.— Угрозы для меня монета, которой я не знаю цены; да и к чему все это? Скрипучую дверь не заставишь молчать молотом, а маслом; притом же моя собственная выгода в скромности. Вот уж мы и у ворот княжего дома; помните, несмотря на свою недоверчивость, что я вам на всякую удалую службу неизменное копье. Я жду вас для врата за этим углом; желаю удачи!

Я не успел еще образумиться, как санки наши шаркнули к подъезду и незнакомец, высадив меня, пропал из виду. Вхожу,— все шумит и блещет: сельский бал, что называется, в самом развале; плясуны вертелись, как по обещанию, дамы, несмотря на полночь, были очень бодры. Любопытные облепили меня, чуть завед, и полились вопросы и восклицания ливмья. Рассказываю вкратце свое похождение, извиняюсь перед хозяевами, прикладываюсь к перчаткам почетных старух, пожимаю руки друзьям, бросаю мимоходом по лестному словцу дамам и быстро пробегаю комнаты одну за другою, ища Полины. Я нашел ее вдали от толпы, одинокую, бледную, с поникшею головою, будто цветочный венок подавлял ее как свинец. Она радостно вскрикнула, увидев меня, огневой румянец вспыхнул на лице; хотела встать, но силы ее оставили, и она снова опустилась в кресла, закрыв опахалом очи, будто ослепленная внезапным блеском.

Укротив, сколько мог, волнение, я сел подле нее. Я прямо и откровенно просил у ней прощенья в том, что не мог выдержать тяжкого испытания, и, разлучаясь, может быть навек, прежде чем брошусь в глущую, холодную пустыню света, хотел еще однажды согреть душу ее взором,— или нет: не для любви — для науки разлюбить ее приехал я, из желания найти в ней какой-нибудь недостаток, из жажды поссориться с нею, быть огорченным ее упреками, раздраженным ее холод-

ностию, для того, чтобы дать ей самой повод хотя в чем-нибудь обвинять меня, чтобы нам легче было расстаться, если она имеет жестокость называть виною неодолимое влечение любви, помня заветы самолюбца-рассудка и не внимая внушениям сердца!.. Она прервала меня.

— Я бы должна была упрекать тебя,— сказала она,— но я так рада, так счастлива, тебя увидев, что готова благодарить за неисполненное обещание. Я оправдываюсь, я утешаюсь тем, что и ты, твердый мужчина, доступен слабости; и неужели ты думаешь, что если б даже я была довольно благоразумна и могла бы на тебя сердиться, я стала бы отравлять укоризнами последние минуты свидания?.. Друг мой, ты все еще веришь менее моей любви, чем благоразумию, в котором я имею столько нужды; пусть эти радостные слезы разуберяют тебя в противном!

Если б было возможно, я бы упал к ногам ее, целовал бы следы ее, я бы... я был вне себя от восхищения!.. Не помню, что я говорил и что слышал, но я был так весел, так счастлив!.. Рука об руку мы вместились в круг танцующих.

Не умею описать, что со мною случилось, когда, обвиняя тонкий стан ее рукою, трепетною от наслаждения, я пожимал другой ее прелестную ручку; казалось, кожа перчаток приняла жизнь, передавая биение каждой фибры... казалось, весь состав Полины брызжет искрами! Когда помчались мы в бешеном вальсе, ее летающие, душистые локоны касались иногда губ моих; я вдыхал ароматный пламень ее дыхания; мои блуждающие взгляды проникали сквозь дымку,— я видел, как бурно вздымались и опадали белоснежные полушары, волнуемые моими вздохами, видел, как пылали щеки ее моим жаром, видел — нет, я ничего не видал... пол исчезал под ногами; казалось, я лечу, лечу, лечу по воздуху, с сладостным замиранием сердца! Впервые забыл я приличия света и самого себя. Сидя подле Полины в кругу котильона, я мечтал, что нас только двое в пространстве; все прочее представлялось мне слитно, как облака, раздуваемые ветром; ум мой крутился в пламенном вихре.

Язык, этот высокий дар небес, был последним средством между нами для размена чувствований; каждый волосок говорил мне и на мне о любви; я был так

счастлив и так несчастлив, вместе. Сердце разрывалось от полноты; но мне чего-то не доставало... Я умолял ее позволить мне произнести в последний раз *люблю* на свободе, запечатлеть поцелуем разлуку вечную... Это слово поколебало ее твердость! Тот не любил, кто не знал слабостей... Роковое согласие сорвалось с ее языка.

Только при конце танца заметил я мужа Полины, который, прислонясь к противоположной стене, ревниво замечал все мои взгляды, все наши разговоры. Это был злой, низкой души человек; я не любил его всегда как человека, но теперь, как мужа Полины, я готов был ненавидеть его, уничтожить его. Малейшее столкновение с ним могло быть роковым для обоих,— я это чувствовал и удалился. Полчаса, которые протекли между обетом и сроком, показались мне бесконечными. Через длинную галерею стоял небольшой домашний театр княжеского дома, в котором по вечеру играли; в нем-то было назначено свиданье. Я бродил по пустой его зале, между опрокинутых стульев и сгроможденных скамей. Лунный свет, падая сквозь окна, рисовал по стенам зыбкие цветы и деревья, отраженные морозными кристаллами стекол. Сцена чернелась, как вертеп, и на ней в беспорядке сдвинутые кулисы стояли, будто притаившиеся великаны; все это, однако же, заняло меня одну минуту. Если бы я был и в самом деле трус перед бестелесными существами, то, конечно, не в такое время нашла бы робость уголок в груди: я был весь ожидание, весь пламя. Ударило два часа за полночь, и зыблющийся колокол затих, ропща, будто страж, неохотно пробужденный; звук его потряс меня до дна души... Я дрожал, как в лихорадке, а голова горела,— я изнемогал, я таял. Каждый скрип, каждый щелк кидал меня в пот и холод... И, наконец, желанный миг настал: с легким шорохом отворились двери; как тень дыма, мелькнула в нее Полина... еще шаг, и она лежала на груди моей!! Безмолвие, запечатленное долгим поцелуем разлуки, длилось, длилось... наконец Полина прервала его.

— Забудь,— сказала она,— что я существую, что я любила, что я люблю тебя, забудь все и прости!

— Тебя забыть! — воскликнул я.— И ты хочешь, чтобы я разбил последнее звено утешения в чугунной цепи жизни, которую отныне осужден я волочить, по-

добно колоднику; чтобы я вырвал из сердца, сгладил с памяти мысль о тебе? Нет, этого никогда не будет! Любовь была мне жизнь и кончится только с жизнью!

И между тем я сжимал ее в своих объятиях, между тем адский огонь пробегал по моим жилам... Тщетно она вырывалась, просила, умоляла; я говорил:

— Еще, еще один миг счастья, и я кинусь в гроб будущего!

— Еще раз прости,— наконец произнесла она твердо.— Для тебя я забыла долг, тебе пожертвовала домашним покоем, для тебя презрела теперь двусмысленные взоры подруг, насмешки мужчин и угрозы мужа; неужели ты хочешь лишить меня последнего наружного блага — доброго имени?.. Не знаю, отчего так замирает у меня сердце и невольный трепет пролетает по мне; это страшное предчувствие!.. Но прости... уж время!

— Уж поздно! — произнес голос в дверях, растворившихся быстро.

Я обомлел за Полину, я кинулся навстречу пришедшему, и рука моя уперлась в грудь его. Это был незнакомец!

— Бегите! — сказал он, запыхавшись.— Бегите! Вас ищут. Ах, сударыня, какого шума вы наделали своею неосторожностью! — промолвил он, заметив Полину.— Ваш муж беснуется от ревности, рвет и мечет все, гоняясь за вами... Он близко.

— Он убьет меня! — вскричала Полина, упав ко мне на руки.

— Убить не убьет, сударыня, а, пожалуй, прибьет; от него все станется; а что огласит это на весь свет, в том нечего сомневаться. И то уж все заметили, что вы вместе исчезли, и, узнав о том, я кинулся предупредить встречу.

— Что мне делать? — произнесла Полина, ломая руки и таким голосом, что он пронзил мне душу: укор, раскаяние и отчаяние отзывались в нем.

Я решился.

— Полина! — отвечал я.— Жребий брошен: свет для тебя заперт; отныне я должен быть для тебя всем, как ты была и будешь для меня; отныне любовь твоя не будет знать раздела, ты не будешь принадлежать двоим, не принадлежа никому. Под чужим небом найдем мы приют от преследований и предрассудков людских, а примерная жизнь искупит преступление. Полина! время дорого...

— Вечность дороже! — возразила она, склонив голову на сжатые руки.

— Идут, идут! — вскричал незнакомец, возвращаясь от двери. — Мои сани стоят у заднего подъезда; если вы не хотите погибнуть бесполезно, то ступайте за мною!

Он обоих нас схватил за руки... Шаги многих особ звучали по коридору, крик раздавался в пустой зале.

— Я твоя! — шепнула мне Полина, и мы скоро побежали через сцену, по узенькой лесенке, вниз, к небольшой калитке.

Незнакомец вел нас как домашний; иноходец заржал, увидев седоков. Я завернул в шубу свою, оставленную на санях, едва дышащую Полину, впрыгнул в сани, и когда долетел до нас треск выломленных в театре дверей, мы уже неслись во всю прыть, через село, вокруг плетней, вправо, влево, под гору, — и вот лед озера звучно затрещал от подков и подрезей. Мороз был жестокий, но кровь моя ходила огненным потоком. Небо ясно, но мрачно было в душе моей. Полина лежала тиха, недвижна, безмолвна. Напрасно расточал я убеждения, напрасно утешал ее словами, что сама судьба соединила нас, что если б она осталась с мужем, то вся жизнь ее была бы сцепление укоризн и обид!

— Я все бы снесла, — возразила она, — и снесла терпеливо, потому что была еще невинна, если не перед светом, то перед богом, но теперь я беглянка, я заслужила свой позор! Этого чувства не могу я затаить от самой себя, хотя бы вдали, в чужбине, я возродилась граждански, в новом кругу знакомых. Все, все можешь ты обновить для меня, все, кроме преступного сердца!

Мы мчались. Душа моя была раздавлена печалью. «Так вот то столь желанное счастье, которого и в самых пылких мечтах не полагал я возможным, — думал я, — так вот те очаровательные слова я твоя, которых звук мечтался мне голосом неба! Я слышал их, я владею Полиною; и я так глубоко несчастлив, несчастнее чем когда-нибудь!»

Но если наши лица выражали тоску душевную, лицо незнакомца, сидящего на беседке, обращалось на нас радостнее обыкновенного. Коварно улыбался он, будто радуясь чужой беде, и страшно глядели его тусклые очи. Какое-то невольное чувство отвращения удаляло

меня от этого человека, который так нечаянно навязался мне со своими роковыми услугами. Если б я верил чародейству, я бы сказал, что какое-то неизъяснимое обаяние таилось в его взорах, что это был сам лукавый,—столь злобная веселость о падении ближнего, столь холодная, бесчувственная насмешка были видны в чертах его бледного лица! Недалеко было до другого берега озера; все молчали, луна задержнулась радужною дымкою.

Вдруг потянул ветерок, и на нем слышали мы за собой топот погони.

— Скорей, ради бога, скорей! — вскричал я проводнику, укоротившему бег своего иноходца.

Он вздрогнул и сердито отвечал мне:

— Это имя, сударь, надобно бы вам было вспомнить ранее или совсем не упоминать его.

— Погоняй! — возразил я. — Не тебе давать мне уроки.

— Доброе слово надо принять от самого черта, — отвечал он, как нарочно сдерживая своего иноходца. — Притом, сударь, в Писании сказано: «Блажен, кто и скоты милует!» Надобно пожалеть и этого зверька. Я получу свою уплату за прокат; вы будете владеть прекрасною барынею; а что выиграет он за пот свой? Обыкновенную дачу овса? Он ведь не употребляет шампанского, и простонародный желудок его не варит и не ценит дорогих яств, за которые двуногие не жалеют ни души, ни тела. За что же, скажите, он надорвет себя?

— Пошел, если не хочешь, чтобы я изорвал тебя самого! — вскричал я, хватаясь за саблю. — Я скоро облегчу сани от лишнего груза, а свет от подобного тебе бездельника!

— Не горячитесь, сударь, — хладнокровно возразил мне незнакомец. — Страсть ослепляет вас, и вы становитесь несправедливы, потому что нетерпеливы. Не шутя уверяю вас, что иноходец выбился из сил. Посмотрите, как валит с него пар и клубится пена, как он храпит и шатается; такой тяжести не возил он сроду. Неужели считаете вы за ничто троих седоков... и тяжкий грех в прибавку? — промолвил он, обнажая злой усмешкою зубы.

Что мне было делать? Я чувствовал, что находился во власти этого безнравственного злодея. Между тем мы подвигались вперед мелкою рысцою. Полина оставалась как в забытьи: ни мои ласки, ни близкая опас-

ность не извлекли ее из этого отчаянного бесчувствия. Наконец при тусклом свете месяца мы завидели ездока, скачущего во весь опор за нами; он понуждал коня криком и ударами. Встреча была неизбежна... И он, точно, настиг нас, когда мы стали подниматься на крутой въезд берега, обогнув обледелую прорубь. Уже он был близко, уже едва не схватывал нас, когда храпящая лошадь его, вскочив наверх, споткнулась и пала, придавив под собою всадника. Долго бился он под нею и, наконец, выскочил из-под недвижимого трупa и с бешенством кинулся к нам; это был муж Полины.

Я сказал, что я уже ненавидел этого человека, сдлавшего несчастною жену свою, но я преодолел себя: я отвечал на его упреки учтиво, но твердо; на его брань кротко, но смело и решительно сказал ему, что он, во что бы ни стало, не будет более владеть Полиною; что шум только огласит этот несчастный случай и он потеряет многое, не возвратив ничего; что если он хочет благородного удовлетворения, я готов завтра поменяться пулями!

— Вот мое удовлетворение, низкий обольститель! — вскричал муж ее и занес дерзкую руку...

И теперь, когда я вспомню об этой роковой минуте, кровь моя вспыхивает как порох. Кто из нас не был напитан с младенчества понятиями о неприкосновенности дворянина, о чести человека благородного, о достоинстве человека? Много-много протекло с тех пор времени по голове моей; оно охладило ее, ретивое бьется тише, но до сих пор, со всеми философическими правилами, со всею опытностью моею, не ручаюсь за себя, и прикосновение ко мне перстом взорвало бы на воздух и меня и обидчика. Вообразите ж, что случилось тогда со мною, заносчивым, вспыльчивым юношею! В глазах у меня померкло, когда удар миновал мое лицо: он не миновал моей чести! Как лютый зверь кинулся я с саблею на безоружного врага, и клинок мой погрузился трижды в его череп, прежде чем он успел упасть на землю. Один страшный вздох, один краткий, но пронзительный крик, одно клокотание крови из ран — вот все, что осталось от его жизни в одно мгновение! Бездушный труп упал на склон берега и покотился вниз на лед.

Еще насытый местью, в порыве исступления сбежал я по кровавому следу на озеро, и, опершись на саблю,

склонясь над телом убитого, я жадно прислушивался к журчанию крови, которое мнилось мне признаком жизни.

Испытали ли вы жажду крови? Дай бог, чтобы никогда не касалась она сердцам вашим; но, по несчастю, я знал ее во многих и сам изведаль на себе. Природа наказала меня неистовыми страстями, которых не могли обуздать ни воспитание, ни навык; огненная кровь текла в жилах моих. Долго, неимоверно долго мог я хранить хладную умеренность в речах и поступках при обиде, но зато она исчезала мгновенно, и бешенство овладевало мною. Особенно вид пролитой крови, вместо того чтобы угасить ярость, был маслом на огне, и я, с какою-то тигровою жадностью, готов был источить ее из врага каплей по капле, подобен тигру, вкусившему ненавистного напитка. Эта жажда была страшно утолена убийством. Я уверился, что враг мой не дышит.

— Мертв! — произнес голос над ухом моим. Я поднял голову: это был неизбежный незнакомец с неизменною усмешкою на лице. — Мертв! — повторил он. — Пускай же мертвые не мешают живым, — и толкнул ногой окровавленный труп в полынью.

Тонкая ледяная кора, подернувшая воду, звучно разбилась; струя плеснула на закраину, и убитый тихо пошел ко дну.

— Вот что называется: и концы в воду, — сказал со смехом проводник мой. Я вздрогнул невольно; его адский смех звучит еще доселе в ушах моих. Но я, вперив очи на зеркальную поверхность полыньи, в которой, при бледном луче луны, мне чудился еще лик врага, долго стоял неподвижен. Между тем незнакомец, захватывая горстями снег с закраин льда, засыпал им кровавую стезю, по которой скатился труп с берега, и приволок загнанную лошадь на место схватки.

— Что ты делаешь? — спросил я его, выходя из оцепенения.

— Хороню свой клад, — отвечал он значительно. — Пусть, сударь, думают, что хотят, а уличить вас будет трудно: господин этот мог упасть с лошади, убиться и утонуть в проруби. Придет весна, снег стает...

— И кровь убитого улетит на небо с парами! — возразил я мрачно. — Едем!

— До бога высоко, до царя далеко,— произнес незнакомец, будто вызывая на бой земное и небесное правосудие.— Однако ж ехать точно пора. Вам надобно до суматохи добраться в деревню, оттуда скакать домой на отдохнувшей теперь тройке и потом стараться уйти за границу. Белый свет широк!

Я вспомнил о Полине и бросился к саням; она стояла подле них на коленях, со стиснутыми руками, и, казалось, молилась. Бледна и холодна как мрамор была она; дикие глаза ее стояли; на все вопросы мои отвечала она тихо:

— Кровь! На тебе кровь!

Сердце мое расторглось... но медлить было бы гибельно. Я снова завернул ее в шубу свою, как сонное дитя, и сани полетели.

Один я бы мог вынести бремя зол, на меня ниспавшее. Проникнутый светскою нравственностью, или, лучше сказать, безнравственностью, еще горячий мстью, еще волнуем бурными страстями, я был недоступен тогда истинному раскаянию. Убить человека, столь сильно меня обидевшего, казалось мне предосудительным только потому, что он был безоружен; увезти чужую жену считал я, в отношении к себе, только шалостью, но я чувствовал, как важно было все это в отношении к ней, и вид женщины, которую любил я выше жизни, которую погубил своею любовью, потому что она пожертвовала для меня всем, всем, что приятно сердцу и свято душе,— знакомством, родством, отечеством, доброю славою, даже покоем совести и самым разумом... И чем мог я вознаградить ее в будущем за потерянное? Могла ли она забыть, чему была виною? Могла ли заснуть сном безмятежным в объятиях, дымящихся убийством, найти сладость в поцелуе, оставляющем след крови на устах,— и чьей крови? Того, с кем была она связана священными узами брака! Под каким благотворным небом, на какой земле гостеприимной найдет сердце преступное покой? Может быть, я бы нашел забвение всего в глубине взаимности; но могла ли слабая женщина отринуть или заглушить совесть? Нет, нет! Мое счастье исчезло навсегда, и самая любовь к ней стала отныне огнем адским.

Воздух свистел мимо ушей.

— Куда ты везешь меня? — спросил я проводника.

— Откуда взял — на кладбище! — возразил он злобно.

Сани влетели в ограду; мы неслись, задевая за кресты, с могилы на могилу и, наконец, стали у бычачьей шкуры, на которой совершал я гаданье: только там не было уже прежнего товарища; все было пусто и мертво кругом, я вздрогнул против воли.

— Что это значит? — гневно вскричал я. — Твои шутки не у места. Вот золото за проклятые труды твои; но вези меня в деревню, в дом.

— Я уж получил свою плату, — отвечал он злобно, — и дом твой здесь, здесь твоя брачная постель!

С этими словами он сдернул воловью кожу: она была растянута над свежерытою могилою, на краю которой стояли сани.

— За такую красоту не жаль души, — примолвил он и толкнул шаткие сани... Мы полетели вглубь стремглав.

Я ударился головою в край могилы и обеспамятел; будто сквозь мутный сон, мне чудилось только, что я лечу ниже и ниже, что страшный хохот в глубине отвечал стону Полины, которая, падая, хваталась за меня, восклицая: «Пусть хоть в аду не разлучают нас!» И, наконец, я упал на дно... Вслед за мной падали глыбы земли и снегу, заваливая, задушая нас; сердце мое замлело, в ушах гремело и звучало, ужасающие свисты и завывания мне слышались; что-то тяжелое, косматое давило грудь, врывалось в губы, и я не мог двинуть разбитых членов, не мог поднять руки, чтобы перекреститься... Я кончался, но с неизъяснимым мучением души и тела. Судорожным последним движением я сбросил с себя тяготящее меня бремя: это была медвежья шуба...

Где я? Что со мной? Холодный пот катился по лицу, все жилки трепетали от ужаса и усилия. Озираюсь, припоминаю минувшее... И медленно возвращаются ко мне чувства. Так, я на кладбище!.. Кругом склоняются кресты; надо мной потухающий месяц; подо мной роковая воловья шкура. Товарищ гаданья лежал ниц в глубоком усыплении... Мало-помалу я уверился, что все виденное мною был только сон, страшный, зловещий сон!

«Так это сон?» — говорите вы почти с неудовольствием. Други, други! неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле?

Благодарите лучше бога, как возблагодарил его я, за сохранение меня от преступления. Сон? Но что же иное все бывшее наше, как не смутный сон? И ежели вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте,— это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, может, кровавая месть мне или от меня — вот следствия безумной любви моей!!

Я дал слово не видеть более Полины и сдержал его.

1830. Дагестан

ОН БЫЛ УБИТ

От праха взят, ты снова станешь
прахом!
Но вечно ли? но весь ли я? Мой
взор,
Неведомым одолеваем страхом,
Таинственный читает приговор.
Ужели дух и мысли чада света
Не убегут тлетворного завета?

А. Б.

Он был убит, бедный молодой человек! Убит наповал! Впереди всех бросился он на засаду — и назади всех остался; остался в тесном кружке храбрых, легших трупом с ним рядом. Я знал его отвагу, я знал быстроту коня его и, удивленный, не видя его перед собою, проникнут холодом страшного предчувствия, оглянулся назад: в дыму, окровавленном выстрелами, сверкнуло мне лицо друга; железная рука смерти на всем скаку осадила разгоряченного бегуна его; задернут, он стал на дыбы, и пораженный всадник падал с него, качаясь. Я едва успел оборотить своего коня, едва успел сброситься с седла, чтобы принять на руки несчастного. Тихо опускаю его на землю, гляжу: глаза закатились, не слышит, не дышит он... Рву сюртук, раздираю на груди рубашку: нет надежды! Свинеец пробил сердце навыв-

лет, самое сердце! И еще около нас свистали вражеские пули, еще «ура» и гром стрельбы раздирали воздух, но уж того, кем было начато это «ура», кто вызвал эти выстрелы, не стало. Быстрее пули умчался он, исчез кратче звука. Но и пролетный звук оживает хотя на миг в отголоске; неужели ж ты, прекрасная душа, не оставила по себе никакого следа? Ужели нет тебе на земле ни эха, ни тени?

Я с горькой тоской смотрел на убитого и думал: «Разве тень или отголосок души — это гордое, выразительное лицо, с которого кончина не успела еще стереть пылкого боевого румянца, сорвать улыбки бесстрашия? Но пусть пролежит на нем одна ночь, пусть только вампир — тление — насосет на нем багровые пятна, сомнет его своими ледяными перстами, и кто узнает тогда в обезображенном облике вчерашнего товарища? Через три дня это стройное тело, в котором только что гаснет теплота жизни, замирает биение силы, будет пиршеством червей и ужасом взоров».

Я освободил из оледеневшей руки мертвеца рукоять шашки; на клинке было написано имя того, кто за миг владел им.

И брус неприметно источит этот булат, и ржавчина догрызет остальное. Нет пощады ни мечу, ни руке, возвращавшей его, ни имени того, кем был он страшен когда-то!

И потом, что такое имя? Павший лист между осенними листьями, волна между волнами океана, флаг тонущего корабля, который на минуту веется над бездною: мелькнул — и нет его! Забвение пожирает память, как смерть — существование; но смерть есть только переход из одного бытия в другое, возрождение феникса из пепла, а забвение — безымянная могила, свинцовый гроб, ничего не отдающий стихиям, бездонная и вечно насытая пасть ничтожества. В газетах напечатают: «Такой-то, убитый в сражении против горцев, исключается из списков». Товарищи когда-нибудь вспомнят о нем между трубкою и стаканом. Потом и память умрет в них о погибшем, или сами они умрут и сгинут: вот и все!

Безотрадная истина!

Впрочем, не все имена тонут в забвении. Конечно, не все! Что ж из этого! Звезды имеют лучи вместо крыльев, чтоб перелетать бездны неба; слава на воз-

душном шаре переносит любимцев своих через море веков, но только любимцев, только баловней, а слава прихотлива, как женщина, и у ней, как у фортуны, завязаны глаза: друг мой не попался ей под руку; он не выслужил у нее ни железного венца Чингисхана, ни петли Ваньки Каина. Не успел он взять ее за себя как награду или похитить как добычу. Он был только добрый, благородный, умный человек, каких мало, и храбрый офицер, каких много. Он умер, он умрет весь.

Что же значит имя, сорванное смертью на самом востоке? Имя, ни разу не написанное кровью на знаменах или лучами на скрижалях законов? Имя, которое не таяло песнию на устах красавицы, которое не заставляло биться сердце юноши, не давало важных дум старику? Имя, которое не летало перуном, не горело звездой путеводною, не было пригвождено к столбу изумляющего позора? Словом, имя, никогда не утомлявшее всесветной или народной молвы? Что, если не звук, не возбуждающий мысли, иероглиф без значения, погребальная урна, из которой самый прах разнесен ветром!

Итак, бедный друг мой, ты осужден судьбою на забвение, на всегдашнее забвение! На ничтожество, на вечное ничтожество! Тяжело говорить *прости* мертвецу, но прощаться даже с памятью умершего, предавать его не только тлению земли, на которой он цвел, но забвению мира, которому он был краскою,—о, это ужасно. Это несправедливо, сказал бы я, если б не веровал в будущую жизнь.

Правда, ничто не вечно на свете,—не вечен и самый свет. Постареет он и выживет из памяти, забудет знаменитых мужей давних времен. Одряхлеет, оледеет, наконец, сам и умрет после потомков своих: стихий, существ, деяний, мыслей, и долго будет спать сам без действия, одаян кладбищем природы, как саваном покуда голос бога живого не воззовет его из лона смерти и, очистив купелью вод или пламени, не благословит на новую жизнь.

Не все ли ж равно искать земной славы, что желать упрочить свой образ на зеркальной поверхности мыльного пузыря? Он лопнет, и прощай портрет наш; свет разрушится, и над его развалинами погибнут все мечты, все произведения людей. Все божеское и чело-

веческое сольется в одну неделимую, хаотическую толщу, над которою только око провидения прочтет надпись: «Припас для будущих миров».

И ты уже достиг до этого рокового равенства, погибший друг мой, равенства, которое как меч Дамокла грозит пасть на все живое. Миг или миллион лет — одно для мертвецов. Время существует только для того, кто существует.

Ты окончился для мира, и в тот же миг мир кончился для тебя, исчез со всеми своими радостями и обольщениями, — зато со всеми бедствиями и муками. Грезы счастья и величие не тревожат покоя могилы. Там есть черви, но нет змей; там разрушение совершается без терзаний.

Зачем же закинуто во все сердца желание продлить свое существование за черту смерти, повториться в детях, в деяниях, в мраморе, в бронзе, в подражании, в памяти друзей, в молве народной? Зачем ученый истощает жизнь свою над книгами, воин умирает на щите или святой отшельник самоубийствует в пустыне плоть свою? Для чего, если не для памяти, не для славы? Под тысячами различных предлогов кроется это желание, но оно врождено человеку и всеобщее всем народам, а и самые заблуждения человеческие непременно основаны на какой-нибудь затерянной, или неразгаданной, или худо понятой истине. Жажда славы есть потребность любви за гробом. Слава есть любовь настоящего к минувшему, любовь тем чистейшая, что она бескорыстна и справедлива, тем более дивная, что она оживляет своим дыханием пылинки пепла в искры вдохновения и рассыпает их с лучезарных крыльев своих в души потомков, как семена всего прекрасного, доброго и высокого. Чувствуете ли вы, сколько отрадной поэзии в этом томлении, в этой страсти человека к отдаленной, но дорогой взаимности не знаемых им поколений, родственных ему только по душе? сколько святыни в неподкупном поклонении этих поколений памяти человека, от которого они уже не ждут ничего, кроме примера? И почему знать: может, эта живая, электрическая вязь, соединяющая мир прошлого с миром грядущего, скуется до самого неба и каждый раз, когда провидение допускает дальних потомков прибавить несколько колец достойных подвигов или высоких мыслей к этой цепи воспоминания прежних достойных подвигов

и прежних светлых открытий,— может быть, говорю я, эфирная часть умерших виновников, зачателей всего этого, где бы ни витала она, чувствует сладостное потрясение, венчающее и на земле райский миг творения.

Лестная мечта!..

Но неужели одному величию дано две жизни на этом свете? Ужели звон трубы только долетает до того света? А тайное горячее чувство любви, а никому не ведомое самоотвержение дружбы, а не подслушанные светом новые мысли погибнут, и навсегда, потому что они не были славны, не были громки? не повторятся ни одними устами? не отзовутся ни в чьем сердце? О нет, верно нет! Прекрасное, сильное, светлое — прекрасно, сильно, светло во всех размерах! Ты не исчезнешь без следа, без тени, без отголоска, благородный, несчастный друг! Горы Кавказа отражают грохот перунов и говор соловья. В море так же ясно видится вечное солнце, как и перелетная искра. В сердце человеческого есть струны для Байрона и для тебя, есть слезы для удивления и для участия. Я брошу в вихорь света немногие листки, вырванные из твоего дневника, как невольную дань твою свету, и счастлив я, если эти небрежные строки хоть на миг приманят к себе взор и душу красавицы, извлекут хоть один, но глубокий вздох из груди влюбленного! Вдвое счастлив, если это безмолвное сострашие сердец, кипучих жизнью, с сердцем, давно истлевшим, порадует тень твою или заставит вспыхнуть твою душу в новом бытии сладким пламенем, как вспыхивает пламя, когда брызнут на него ароматным маслом!..

ОТРЫВКИ

...Хотят, чтоб я стал писателем! Но знают ли эти советники, как тяжело писать человеку с душою и для души? Знают ли, что дарование есть бытие автора и что он расточает для забавы света лучшие мгновения этого бытия, отравляя заботами остальные? пишут или из памяти, или из воображения; но что такое воображение, как не память, вскипяченная, улетученная пламенем сердца? А много ли красных дней насчитает в минувшем гордая, раздражительная душа любого писателя? Есть у него воспоминания-цветы, но есть и вос-

поминания-раны. И эти раны растрavляются, точат кровь, и опять горят, и мучительно поют, когда срываешь с них перевязку забвения или равнодушия, когда беспощадный сон любопытства проникает в их заветную глубину. Таковы раны, нанесенные рукою судьбы, жалом злобы или измены. Но легче ли раны от стрел любимых склонностей наших? Радостно ли вспомнить в беде об улетевших минутах блаженств, перегорать в одиночестве страстью к той, с которой уже давно разлучены и никогда не увидимся? Каково думать в жажде советов или утешений друга: «о, если бы он был теперь со мною!» и находить вместо его живительного взора в очах своих слезу о его гибели? Возьмись только за перо, вздумай только описать, что случилось когда-то с тобою или могло сбыться с другими,— и все воспоминания подымутся толпой, званные и незванные, желанные и неожиданные, и станут перед тобой как духи, вызванные неопытным чародеем, который уже не в силах с ними совладать. Озарены бледным месяцем минувшего, эти мертвецы начинают свою страшную, гальваническую пляску. Есть венки на их черепах, но они подернуты прахом могилы, они пахнут тлением. Есть улыбка, но она ползает как червяк по окостеневшим устам. Как заступ о гробовую крышку, звучит в живом сердце их голос; их ласки обливают морозом... И вы хотите, чтобы я играл костями и пел, подобно Гамлетовым гробокопам? чтобы я писал портреты с мертвецов? чтобы я из пепла строил великолепные замки, был весел, когда мне хочется плакать, рассыпался в роскошных описаниях, когда существенность моя так бедна, когда у меня нет насущной крупинки радости? Всесильно, разнообразно воображение, когда оно творит из настоящего; но мутен и слаб ключ его, если он течет сквозь могилу.

Я сказал, есть воспоминания-цветы, но эти живые цветы любимых заблуждений и невинных грехов юности росли на сердце. Отрывая их с корня, чтобы перенести на бумагу, мы разрываем сердце, и ни свои, ни чужие слезы не оживят этих цветов теплого края под холодом светским, не заживят ран осиротелой почвы.

И свет назовет эту тяжкую исповедь сказкою, если автор облечет свои страсти в вымышленные имена, и не поверит ей, если он признается в былине, под собствен-

ным. Свет так привык слышать и говорить ложь, что от него лучшая похвала гению — «как он мастерски прикидывается чем захочет! как искусно умеет скрывать или передразнивать все чувства!».

И свет думает, что писать историю сердца так же легко, как сплетать ябеды, как точить приветствия, как печатать ситец. О, если б люди могли, не говорю — почувствовать, не говорю — рассудить, но только разглядеть, что светильник тем скорее сгорает, чем более бросает искр и лучей вокруг, что сочинитель тратит душу свою в звуках, что, может быть, он пишет кровью и слезами и что на страницах, внушенных тоскою, еще трепещутся обрывки его сердца, как некогда трепетали куски Геркулесовой кожи, напропитанной ядовитой мазью одежды, присланной ему коварною любовницею, — то, как ни себялюбивы они, как ни любопытны, как ни безжалостны люди во всем, что сулит им новую забаву или чудное потрясение, а решились бы упросить поэта молчать, все еще жадничая его рассказов. Тяжело таить на сердце угли безнадежной любви и холодно улыбаться, внимать стону собственного сердца и в то же время слушать чужие нелепости, небрежно поправлять волосы, когда под ними кипят ядовитые думы, молчать, когда бушующие, воспламененные чувства готовы разорвать грудь и пролиться лавою признания; но еще тяжелее, гораздо тяжелее, ужаснее, выражать все это, с гневом, что не можем высказать души своей вполне, с опасением, что высказанное будет брошено в снег равнодушия или, что и того хуже, стоптано невежеством в грязь. И потом, чтобы говорить понятно людям, надо развешивать, соразмерять выражение своих чувств с их понятиями. Надо раболопствовать правилам языка, потворствовать моде, ползать у ног приличий, подбирать падежи и созвучия, когда бы я хотел выразить себя ревом льва, песнию вольного ветра, безмолвным укором зеркала, клятвою пожигающего взора, хотел бы пронзить громовою стрелою, увлечь бурным водопадом, — и чтобы эхо моей тоски роптало, стонало в душах слушателей, чтобы молния страстей моих раскаляла, плавила, сжигала их сердца, чтобы они безумствовали моею радостью и замерзали ужасом вместе со мною!

Не могу я так выражаться, а иначе не хочу: это бы значило пускаться в бег со скованными ногами.

Правда, бывают часы, бывают ночи, в которые полнота груди и головы душит, когда откровенность необходима как воздух, когда волею или неволею должен бываешь отдать тайны сердца и ума участию дружбы, сбросить их на ветер или на бумагу. Но пусть же пила и отвес правил никогда не касаются этих диких громад, в живописном беспорядке разбросанных, наваленных одна на другую! Как эти горы, изорванные волканами и потопами, рассеченные ущелиями и реками, возникают отрывчатые строфы невольной импровизации. Видите ли эту нагую, опаленную перунами, неприступную даже зелени скалу? Это печаль поэта: там гордая душа, как снежногрявая гора, скрывает в облаках чело свое! Там, в глубине, кипит живой ключ юного чувства! Там, во тьме пещер, сверкают очи и зубы алчной гиены,— это совести! Постойте: слышите ли, как пронзительно, как страшно раздается в этой пустыне одинокий и безответный вопль отчаяния?.. И сколько чудных, но диких, но и безыскусственных красот может представить слог, выброшенный прямо из души? Зато по нем нет стези для обыкновенного читателя. Его стремнины разлучены друг от друга на прыжок льва, на перелет орлиный. Такие руны разгадает лишь тот, кто начертал их. Лишь он может бродить мыслию по этим зубристым обломкам прежнего своего бытия — и душою отдыхать у надгробия собственного сердца!

Но сочинять для света!.. И еще для нынешнего света! Тяжкая служба. Имя сочинителя более требует личными, нежели дает в обетах. Знают ли те, которые с таким добродушием верят похвалам приятелей и собственному самолюбию, и те, которые думают, что для того, чтобы сделаться писателем, нужна только чернильница и перо,— ведают ли они, сколько надо испытать, перечувствовать, передумать, поглотить учености, чтобы написать несколько страниц, достойных века и человека, достойных духа, который соединил в себе всю причудливость младенца и взыскательность старика? Чтобы расшевелить притупленный вкус, который не знает сам чего хочет, но все знает и всего хочет? Угодить, удовлетворить жадной страсти к новому, к пронзающему, к потрясающему, к чудесному? Надо целые скалы дарования, чтобы насытить хотя на миг этого прожорливого великана. Надо слез, реки слез, крови, море крови, чтобы упоить его до веселья. Его должно поранить,

чтобы тронуть, испугать, чтобы убедить, поработить, чтобы ему понравиться. Надо быть невиданным зверем, или сверхъестественным лицом, или необыкновенным чертом, если желать увлечь за собой этого избалованного зеваку. Надо ограбить рай и ад, оборвать лучи с солнца и наслаждения с земли, стопить в одно все язвы Египта и все ужасы преступления, чтобы заманить и угостить его на славу. Но разве этот людоед птенец твой? брат твой? или друг он, что ты, как пеликан, разрываешь для него грудь и точишь кровь жизни? Нет, он твой враг природный, твой непримиримый враг. Он будет смеяться над тобой, поглощая твое же сердце, принесенное ему в гостинец, и выбросит собакам критикам обедки твоего полубожеского мозга.

Писать, печатать для света, предавать себя тиснению! Неужели не чувствуете вы предсказательного смысла этих слов? Тут в зерне таятся все мытарства, ожидающие дерзкого искателя людской похвалы. Вчерась он был властелином своих мечтаний, — потому что не пускал их в люди. Сегодня напечатал их — и стал рабом своих слов. Он трепещет уже глупого смеха невежды и пошлых острот какого-нибудь чесоточного журналиста; трепещет лукавых толкований на свои невинные выходки. Стрелы, брошенные в воздух, падают ему на голову; друзья бегут как от клеветника; враги становятся гонителями. Еще вчера он был отличный офицер, дельный чиновник, смысленный человек. Сегодня типографские тиски выжали из него все общественные достоинства. Он сочинитель! он поэт! Это значит: он никуда не годится. С этих пор благословение небес будет казнить его, как проклятие матери: на его блестящее имя станут вешать дурацкие шапки и черные небылицы. За милость разве будут звать его полоумным. Какие желчные мысли! Какие мрачные краски! Свет ветрен, но, право, не зол, — именно потому, что он ветрен, что ему некогда воспитать и взлелеять вражду. Более остры, чем колки, его суждения, и если он любит недолго, зато любит горячо. Пользуйся же его любовью, покуда не спала пена, будь халифом хотя на час, упивайся рукоплесканиями и похвалами, играй вниманием модников, ревностью прекрасных. Ты не искал, а нашел все это: почему же не взять процентов радостями жизни с долгих лет учения, трудов, страстей и лишений? Сдайся на приглашения — и ты баловень луч-

шего общества, ты званый, желанный гость за столом знатных и в гостиных большого света!

Знаете ли ж вы, милостивые государи, что поэт, гость вельможи, есть уже слуга его, что поэт, гость высшего круга,—его игрушка? Неужели думаете вы, что я довольно прост или столько самолюбив, будто возмечтаю, что меня позовут для моих достоинств, а не для чужой забавы? Знатным хочется прослыть меценатами за дешевую цену; им любо посмеяться со мной или надо мной, потому что смех способствует пищеварению: и я, второй Исаа, продам свое первородство за блюдо чечевицы? И я стану сыпать свой жемчуг под ноги зевающих невежд? Стану кувыркаться и служить на задних лапках и добиваться до ошейника с гербом того, чьи предки торговали оружием, когда мои были уже им славны? Подумали ли вы, что мне предлагаете? Не значит ли это — давать себя напоказ, как слона, откупоривающего бутылки,—с тою только разницею, что плату за это поднесут мне на фарфоровой тарелке, а не бросят в голову?

Правда, обаятельна атмосфера большого света; лепет гостиних игрищ, как музыка Россини. Но эти раззолоченные стены сложены из обломков Китайской стены самых вздорных предрассудков. Но этот скользкий паркет вылощен причудливыми условиями; этот потолок расписан картинками мод,—и горе тому, кто решится покормить своею особою лакомое любопытство исключительных обывателей этого мира! Смешна будет его роля для других, жалка доля его для самого себя. Что принесет он в жертву этому египетскому богу, крокодилу, кроме ранних морщин лица и запоздалого покроя платья? Он не поймет языка, которым говорит мода; он не знает тех важных мелочей, которые составляют жизнь столицы, которые требуют целой жизни на изучение,—для того чтобы умереть отсталым школьником. И вот наш поэт в гостиной. И вот его встречают благосклонные взоры и ласковые улыбки. Это все наживки удочек, чтобы зацепить авторскую болтливость. И вот его потчуют пережеванными приветствиями, сводят на спор с каким-нибудь шутком, мистифицируют в глаза, а чуть он за двери — давай расстреливать бедняжку вслед отравленными стрелками злословия.

— Какие допотопные приемы!

— Да-с, это древнее петербургского наводнения.

— Говорят, поэзия — язык богов, а вы из их семьи, графиня: удостойте перевести для нас, простых смертных, о чем говорил он.

— Я не химик, князь: не умею разлагать туманы.

— Мудрено ли, впрочем, графиня, что он так таинствен! *C'est une sommité littéraire*¹, а верхушки гор всегда облечены туманами.

— Но это не мешает видеть, что все почти маковки оканчиваются плоскостями.

— Если не видеть, по крайней мере испытать. Все путешественники доказывают эту истину в лад.

— Скажите, ради имени Виктора Гюго, к какой школе принадлежит этот господчик? к горной или к озерной?

— К болотной-с. Он родился на тундрах новгородских.

— Это и заметно. Он страх похож на водяную лилию, засохшую между листов латинского словаря.

— Вы ошибаетесь, барон: наш поэт вовсе не водян. Скажите лучше, он чересчур пылок, и вы скажете правду.

— Сухая трава быстро загорается; зато и гаснет вмиг.

— О нет, барон; поэт живет пламенем, которым сгорает. Если б послушали вы, сколько толковал он мне об искрах очей, о зареве страсти, о пожарах души!..

— Что я бы представил его в брандмайоры, не правда ли, княжна? Такой несгораемый человек, без противопожарного прибора, — находка для пожарной команды.

— Смейтесь, смейтесь, а все-таки огонь — его стихия, и вдыхать пламень для него приятнее, чем для нас духи «Капризов Валерии».

— В таком случае позвольте его причислить к породе двуногих саламандр, княжна!

— Вы предупреждены, барон: он давно состоит в списке редкостей и отпущен только в отпуск из кунсткамеры.

И это еще цветки модного злословия. Еще тут нет ядовитых ягод, которые зреют для тебя при лучах восковых свечей и лунном свете ламп. Погоди немнож-

¹ Это литературная вершина (фр.).

ко — и модный свет отнимет у тебя твой мирный уголок посещениями, твой вдохновенный досуг данью в альбомы, подточит веру во все прекрасное сомнением, отравит любовь твою догадками, ответе взаимность насмешками. А когда не удастся ему сделать тебя смешным, он ославит тебя опасным... и доведет до того, что ты, жадный прежде известности, станешь молить свет о полном забвении, как о самой драгоценной милости. И свет позабудет твое лицо, позабудет твои сочинения, позабудет все, кроме твоего имени. И это имя обратит он в укор. «Ведь читали же когда-то этого ***ва!» — скажет он; или: «слава богу, такой-то схоронен на одной полке с Вальтер Скоттом!».

И эти вздорные толки огорчат тебя — тебя, напоенного сладкой росой небес? И булавки изорвут твое сердце, не разбитое под молотом судьбы? Стыдись. Не тебя отдаю я свету, а свет тебе. Люди обыкновенные созданы для забавы умных: играй же ими в шахматы, выжимай из общества краски для палитры своей, собирай оброк с его странностей, с его нелепостей, с его причуд и пороков. Но если ты хочешь быть ровней с знатью и наслаждаться мелкими приятностями лучшего общества не в лице искателя, а в виде товарища, — единственное средство узнать таинства палат, услышать речи их жильцов без прикрас, застать лица без румян, а сердца без манжетов, — то стань богат.

Что слава? Яркая заплата
На бедных рубищах певца.
Нам нужно злата, злата, злата!
Копите злато до конца.

Проклятый металл, это золото, неутоляющий напиток ада! Напрасно промысл схоронил его глубоко: мы нашли средство вымучивать его у земли руками преступников для новых преступлений. Добытое каторгою из тьмы, оно каторга для света. Каждый раз, когда червонец касается моей руки, мне кажется, он сообщает ей свой гальванизм. Правда, на нем нет и не может быть ржавчины, — но сдается, будто он сыр тяжким потом, будто каплет кровью, мерцает, как зрачок лукавого. Не золотое ли было яблоко грехопадения? Не оно ли, разбившись в блестящие кружки, раскатилось по свету! Пусть судьба кидает их на драку толпе, как орехи мальчишкам: я не нагнусь ни за одним. Скажите, на что мне это золото? Я не богат, но любя роскошь,

умею и умерять свои прихоти, потому что легче стерпеть отказ от собственной воли, чем от чужого нехотения. Верю, что многие имеют много,— никто доволен; зато верую твердо, что богатство состоит более в желаниях, нежели в обладании. Вы говорите, золотом можно наместить дорогу куда угодно; им можно купить людей. Вы делаете слишком много чести людям, друзья мои: стоит ли покупать простую грязь за золотистую грязь? Стоит ли платить золотом, за что не дал бы я железного гроша? За улыбку, высиженную зевотою? За пожатие руки, привыкшей к взяткам? За поцелуй Иуды с рукавами *à la folle*? Люди готовы продавать, передавать друг друга и сами себя; жаль, что я не торгош и не покупатель тел и совестей, и, признаюсь, по самому верному расчету: тот, кто отдает себя напрокат за деньги, не стоит денег. О, я знаю людей! знаю до подноготной. Плюй им в лицо, только золотом, и они станут тебе кланяться. Да по мне уж менее презрителен тот, кто подличает из барыша, нежели тот, кому лести и ползание нужны как хлеб насущный.

А между тем золото — солнце большого света: только в его лучах замечают достоинства, только в его призме исчезают недостатки. Блесни оно, и ему навстречу все зачиликают, как птички, и лица красавиц распускаются улыбкою. Невольно увлекает сердца и головы вихорь золотой пыли. Золотой мешок — идеал красоты, колодезь ума, Протей любезности. У богача все мерзости — извинительные, все ошибки — образцовые, все дела достойны подражания, а слова — памяти. И постичь я не могу и ничего глупее в мире не нахожу уважения людей к богатству. Уважайте ум, любите остроумие: один учит, другое веселит вас. Уважайте силу, — это естественно: она может защитить или истребить вас. Но ради самого Маммона скажите, что даст вам богач за ваши униженные поклоны, и умильные облизни, и одобрительные усмешки? за все ваши поддакиванья и наглую лести? Что? Стол его без прибора для тех, которые целят пообедать, а не лакомиться. Круто его крыльцо для чахоточной груди искателей покровительства. Крепки затворы сундуков: кошелек завязан гордиевым узлом на ссуду. Сердца не размочить и слезами. Оно — глыба земли, из которой не высечешь огня, не источишь воды и не вырастишь макового зернышка. И пусть я стал подобным этому истукану — бо-

гачом; и пусть я топчу всю тяжестью золота прежних своих совместников; мне поклоны гордецов; мне ласки милых; для меня зажигаются лишние свечи на вечерах, лишние искры в глазах невест; для меня тратят, наконец, все ласкательства, приготовленные для гораздо важнейших случаев; но скажите, куплю ли я на звон денег вместе с чужими ласкательствами веру к ним? Я был, я жил в этом свете: он видел меня — и не заметил. Красавицы меня слушали — и не оценили. А я был тогда свежее умом и на лицо, был добрее, чувствительнее, пылче. Я готов был обожать, обоготворять их, отдать за их любовь не дрянное золото, а кровь сердца, покой души, самое небо.

И все это миновало! Не воскресить юности дождем Данаи. Прочь, змей-искуситель, прочь! Ты мог бы оболстить меня в моем раю, в моей юности; но теперь — уж поздно. Не верю я светской дружбе, — еще менее светской любви; дружбе, которая ступает с гривны на гривну; любви, прилетающей не иначе, как на бумажных крыльях из банковых билетов. Не верю и славе, которая разбегается врозь или улетает парами. Теперь дорылся я до грязи, которою питаются корни лавра и мирта, так гордо играющие в воздухе. Теперь я видел страшное лицо истины без покрова. Страсть к богатству, змей-искуситель, язви меня в пяту: она на голове твоей! До сердца моего тебе не достать.

Но неужели в этом мире нет ума, чье одобрение лестно поэту? Нет сердца, чей вздох тебе отраден? И поэт, ты схоронишь в землю дар небес, талант свой? И человек, ты выбросишь душу в пустыню без сочувствия? Неужели не одушевляет тебя мысль, что пылкий юноша за чтением твоих чарующих страниц забудет урок свой, светский человек — званый пир, красавица — час свидания? Что твои вдохновенные творения зажгут светлые мысли в голове еще самому себе незнаемого поэта, очистят огнем своим душу власто- или корыстолюбца, пробудят сладостные, святые чувства в груди невинной девушки?.. Может быть, она задумается над твоими мечтами, и ее прелестные томные очи наполнятся слезами, и она вспомнит тебя со вздохом, и тонкий жар, пронизывающий весь ее состав, вспыхнет на сердце мыслию: «Как страстно любит он! Как, должно быть, приятно быть так любимой?.. О!»

ВТОРОЙ ОТРЫВОК

Из дневника убитого офицера

Вы хотели этого, жестокие друзья,— и я увидел ее, да! я был с нею, я обворожен ею. Но разве не видали ее вы? Разве не было у вас очей, чтобы любоваться красотой Лилии, или ума — постичь, или сердца — полюбить ее? Счастливые слепцы! Хладнокровные... Нет, мало этого,— бескровные счастливы! Вы знаете Лилию давно и можете преспокойно, пребеззаботно спрашивать товарища: «Не правда ли, она недурна?» — точно так же, как вы бы спросили: «Не правда ли, что этот фазан недурно зажарен?»; можете произносить ее имя, не трепеща от удовольствия, не бледнея от ревности! И все равно для вас, скажет ли он *да*, скажет ли он *нет*, и как произнесет он свое *да* или *нет*; все равно, если тот и ничего не ответит. Недурна! Только *недурна*? Боже правды, можно ли так бессмысленно играть словами? Неужели прекрасное — лишь отсутствие недостатков? Неужели ангельскую прелесть можно заключить в эту грязную черту отрицания? Недурна! Жалкое наречие привычки!

И между тем где сам я найду слов девственное снежного пуху, еще не запятнанного прикосновением к земле? где возьму имен, достойных ее, не растленных еще дыханием человека? Что сделали мы из всех выражений удивления, страсти, нежности? Ожерелье распутницы! Ковер для вытирания ног! Поэты, поэты, сколько драгоценных жемчужин распустили вы в дрянном укусе! Сколько звезд утопили в луже!

Да если б даже слова были краски, а живопись была зеркало, мог ли бы я дать этому лицу жизнь и этой жизни душу? Нет, Лилия, ты невыразима! Тебя нельзя забыть и невозможно вполне припомнить.

Скажи, ровесница цветов, когда успела ты украсить свой ум такими здоровыми познаниями? как умела сохранить на сердце самый пух невинности от налета ранних птишек — обольщений? Эти воробьи расклеивают чувства светской девушки не в плоде, а в почке, распалая воображение пряностями похвал, слогом модных романов, вихрем танцев. Скажи, по какому счастью не разучилась природе в большом свете, который есть ложь и притворство во всем, начиная с нежности молодой маменьки, спешащей по Невскому, с эмалевыми часами

на руке, кормить грудью сына, до скорби знатной дамы по муже, вымеренной длиною траурного хвоста,— в свете, где приветы, и слезы, и улыбки выучены наизусть, примерены к лицу заранее? Ты не так, Лилия? Покорная влиянию минуты, ты смеешься от сердца, не прячешь и не выказываешь слез умиления, не запрещаешь себе краснеть от удовольствия. Ангел, сосланный на землю, чтобы убедить неверующих в добродетель с красотою, можно ли узнать твою душу и не полюбить тебя?

А я? Странно, непостижимо это, едва ли вероятно; мой первый взгляд, упавший на Лилию, был уже лучом любви, как будто я увидел ее сердцем, а не глазами! будто не зрение отразило ее милый образ в душу, а душа зажгла его на чувствах! Казалось, он очнулся во мне из магнетического сна и расцвел вдруг из неясной мечты в живую действительность. Не мое ли сердце было его отчищено? Так коротко знаком и родствен мне этот пленительный образ. Миг, в который я взглянул на Лилию, обдал меня всею свежестью первой встречи, всей отрадой желанного свидания. Он был нов и таинствен, как надежда, а между тем сладостен, как награда. «Увидеть» было близнецом «полюбить»,— но какое сравнение передаст неделимость, одновременность этого чувства?...

И тихо, отрадно, торжественно было это мгновение; да! тихо, отрадно, торжественно, как миг восхода солнца, когда оно каплей света чуть брызнуло на край востока. И ярче, каждый миг ярче растекается по небу эта лучезарная капля, блещет, зажигает небосклон, объемлет и пронзает землю лучами, топит ее в волнах тепла и света. Так взошла в моей душе роковая звезда этой страсти, не слышимая, чуть видная при восходе, светлая и пламенная потом. Теперь стоит она на своем бестенном полудне, и никогда, никогда не сойдет она с полудня. Одна смерть будет ее вечером; ее закат—могила; ее могила—вечность. Жизнь моя прервется ранее любви... Дайте мне уверовать хоть в это. Неужели и та жизнь обманчива, как здешняя?..

И зачем я так часто бывал, так долго беседовал с Лилией? Зачем вниманием крепил на себя чары ее слов, упивался огнем ее глаз—огнем, затепленным прямо на солнце? И сколько раз с орлиною дерзостью хотел я взглянуть в них,—хотел и не мог! А между тем

у ней очень кроткие взоры: они не пронзают, а только ласкают сердце, и, как ароматная слеза, капают в глубь его. Индейцы верят, будто жемчуг рождается от капель дождя, запавших в морские раковины; и почему ж нет? Я сам, как ревнивое море, берегу и лелею в тайнике души драгоценные для меня взоры Лилии. В них мое сокровище, в них единственный подарок милой, и могу ли ожидать, посмею ли требовать большего, когда я трепещу промолвиться роковым объяснением! И к чему послужило бы оно, что могу я высказать ей словами, если она не поняла моих взоров?

Мне казалось, однако ж, эта задумчивая грусть, этот летучий румянец, этот голос, прерванный вздохом... Нет, Лилия, нет; все это мечта самолюбия. Ты не должна, ты не можешь любить меня: природа разделяет нас гораздо более, чем судьба. Можно еще умолить людей, можно покорить себе обстоятельства, но самый огонь неба не силен спаять булата с амброю. Никогда любовь, какой я жажду, не зажжет твоего воздушного состава; не кровь, а свет льется в этих жилах; твоему сердцу не вместить и не вынести всех мук и восторгов страсти. О, не понимай моих взоров, Лилия, не угадывай моих желаний, и да сохранит тебя небо от роковой ко мне взаимности! Нежный цветок Севера, ты увянешь под моим знойным дыханием, я истерзаю тебя ревностью, истомлю своими бешеными ласками, сокрушу в объятиях, поцелуями выпью жизнь. Несбыточной мечтою была моя дума: будто я могу быть счастлив твоею безмятежною любовью, Лилия; будто моему усталому, разбитому бурями сердцу-горюну отрадно и сладостно будет забыться дремотою на груди подруги, зыблясь на ней, будто в колыбели младенец. Прислушиваясь к твоим мыслям прежде слов, любуясь душою твоей прежде лица, я воображал иногда, что мои мятежные чувства уникают под твоими ясными взорами, как злые духи под кропилом, что я дышу твоим спокойствием, вкушаю какую-то неведомую тихую негу. Тогда очарованный круг прелести, обнимающий тебя, горит мне венчиком святыни, перед тобою тогда я благоговею, как в храме. Но вдруг придавленная на время лава прожигает снег, увлекает, пепелит сердце. И отчего все это... отчего? От ресниц, стыдливо опущенных, от косынки, спянутой ветром, от колебания локона, который то гасит, то раздувает румянец щек, от ножки, бегляночки из-под пла-

тя. О, тогда кровь моя пенится и брызжет в голову, как шампанское, падучие звезды крестят в глазах, громко бьются все пульсы! Тогда я готов упасть к ногам твоим, как преступник, готов броситься, как зверь на добычу, и сжечь тебя поцелуями, задушить на сердце! И потом я впадаю в какое-то неизъяснимо сладкое изнеможение, в доброту без границ. Каждое дыхание принимаю я тогда как подарок; могу снести обиду без гнева. Ты говоришь мне, Лилия, и твои слова звучат словно родная песня на чужбине. Ты поешь, и я слушаю со слезами то, что поешь ты с улыбкою. Уходишь, и я гляжу вслед тебе с грустью, но без тоски. Ты здесь, и я чувствую твое приближение не слухом и не глазом, — нет! какой-то магнетический холод пробегает по телу, какая-то радость по сердцу; оглядываюсь — это ты, Лилия, легкая, прелестная, неуловимая, подобная видению прерванного сна поэта!..

Нет, Лилия, ты лучше всякого сновидения; я ненавижу этих чародеев, этих коварных Армид! Они бог весть куда заносят сердце в мыльном своем пузыре, мыкают его сквозь тридевять чудес и высаживают на берег, на котором все возможно, кроме полного наслаждения, где счастье убегает уст, как волны сураба. Добрая ночь! — говорила ты прощаясь? Но думала ль ты, Лилия, так невинно, младенчески произнося эти слова, что они падут семенами бури в грудь мою? Счастливица! ты не ведаешь, засыпая без тоски и пробуждаясь без сожаления, сколько раз твой милый образ прилетал возмущать мою душу! какие блестящие и ужасные мечты лелеяли и топтали мое сердце! То одеяло тяготело надойной как свинец, то постель волновалась как море, то изголовье дышало пламенем. И все ты, Лилия, носилась перед очами души неотступно по черной туче ночи и сквозь алый полусвет зари, ты, очаровательница, со своей холодною красотою, с кудрями, веющими около словно колосья северного сияния, с улыбкою словно луч месяца, играющий по льду, с голубыми вечно кроткими очами...

Но я пробужден жаждою, неутомимою жаждою неги... Куда ж ты скрылась, Лилия? Где ж найду ответ любви моей? Воля моя не сблизит с тобою; самый сон не может придать тебе пылкости. Внушать, а не делить любовь рождена ты, а я хочу целого Юга, целой Африки любви. Не для меня мерные ласки, не для меня счет-

ные поцелуи. Жажду пить наслаждения через край и до капли,—пить не напиться! О, дайте мне черных, бездонных глаз, которые поглощают сердце в звездистой влаге своей, дайте уст, которых ароматное дыхание упоет пламенем, дайте вздохов, освежающих лучше ветерка в зной лета, дайте слез восторга, сладких, как роса медвочная, и отрадных, как спасение друга, дайте поцелуев, которые расплавляют кровь в нектар, улетучивают тело в душу, уносят душу в небо!.. долгих поцелуев с трепетом страсти, с нежными угрызениями! Испытала ль ты, Лилия, всю сладость поцелуя, эту высокую поэзию чувств, это девственное, хотя не душевное наслаждение, не отравляемое ни страхом, ни раскаянием,—наслаждение, в котором сливаются все заветы и обеты любви, все надежды и воспоминания блаженства; миг, в который ощущение разнообразно, воздушно, как мысль, и сладостно, как самозабвенье; святыня, которою творец подарил одного человека? Да, Лилия! полюби меня, как я люблю, и ты разделишь со мной эту роскошную тайну, сердцем на сердце, сбросив прочь все украшения, кроме своей стыдливости. Новый Прометей, я передам тебе огонь, похищенный с неба, и каждая искра его вспыхнет на тебе новою прелестию. Второй Пигмалион, я...

Я безумствую. Скорее можно одушевить мрамор, чем лед!..

Впрочем, у полюса не бывает лета: зато есть вулканы!..

Тихие воды глубоки!

Что, если?..

Пустая надежда — родовое имение глупцов!

Молчи, молчи, бедный разум.

Сентября,— дня, 1834.

Крепко устал я. От ночи до ночи не слезал с коня. Фуражировка была очень удачна; мимоходом спалили три аула; раза два был в жаркой схватке. Застрелил одного шапсуга из пистолета; он кинулся на меня с шапкою, но заряд вместо пули прошил кольчугу и самого чуть не насквозь. Спасибо за эту выдумку кабардинскому абреку, Адли-Гирею. «Надо бить зверя, не портя шкурки», — говорил он; чертовская расчетливость!

Насилу дочел сейчас четвертую песнь Дантова «Paradiso»¹. Отчего так пышен твой «Ад» мучениями и так скучен твой «Рай» иносказаниями, padre Dante?² Не оттого ли разве, что имя Лилии вкрадывалось везде вместо Беатрисы и ее глазки сверкали между стихами твоими? Не хочу верить проклятому англо-итальянцу, который доказывал, что Дант под заглавными В son ICE³ подразумевал владычество Австрийской империи (ведь он был проповедником и пророком ее в своей родине!). Едва ли тот, кто написал:

Beatrice mi guardó con gli occhi pieni
Di faville di amor, così divini,
Che, vinta mia virtù diedi le reni,
E quasi mi perdei con gli occhi chini.

Беатриса глядела на меня очами, полными столь
божественных искр любви, что моя твердость
предалась бегству; даже потупленные взоры ее
меня мертвили!—

едва ли, говорю, он мыслил об отвлеченностях и посылал свои огнепернатые стрелы на ветер! Впрочем, воображение поэта всесильно: оно претворяет свечку в звезду утреннюю, кроит радужные крылья ангела из пестрого плаща. Не разрушайте хрустального мира поэта, но и не завидуйте ему. Как Мидас, он превращает в золото все, к чему ни коснется; зато и гибнет, как Мидас, ломая с голоду губы на слитке.

Вследствие сего я бы посоветовал одному человеку зарубить на носок,— а этот человек едва ли не сам я,— что обыкновенные котлеты гораздо выгоднее для смертного желудка, чем золотые котлеты, и что на земле милее кругленькая Ангелика, нежели недоступный неосязаемый ангел.

Кстати об аде: научите меня, почему география человеческих предрассудков заключила его в сердце земли? О самолюбие, самолюбие, где ты не повторяешь себя! в чем не находишь своего микрокосма и тождества. Однако ж и рай в сердце человека, а он ищет его над головою.

...Отдай мой рай, отдай мой ад,
Отдай мне молодость назад!

¹ «Рай» (ит.).

² Отец Данте (ит.).

³ «Б» с окончанием «иче» (ит.).

Кто мне даст голубиные крылья слетать на темя Кавказа и там отдохнуть душою? Не знаю сам, отчего к ним жадно стремятся мои взоры, по ним грустит сердце. Не там ли настоящее место человека?.. Там он не на земле, но уже выше земли, в природе, но уже обнимает природу сверху и широким обзором. Хребет гор — достойное подножие человеку, достойный порог небожителей. Но взгляните туда, — только в девственной ризе снегов дерзает земное величие всходить на небо: прекрасный иероглиф довечного завета, что только чистой душе дано вкусить неба, душе, которая смогла оледенить пары земных страстей священным холодом благоговения, убелила их раскаянием и молитвой и превратила твой тленный венок из земных наслаждений в лучезарное сияние мысли, в царственный венец, осыпанный молниями откровения!

Нет, я не достоин вас, главы Кавказа! Моя одежда не снег бесстрастия, а грозное облако..

Но орел ширяется выше туч, а он младший брат моей мысли: ей нет высоты недолетней.

Я ваш поклонник, если не гость, любимцы солнца! Вам дарит оно первый росистый поцелуй и последний прощальный взор свой. Вам и я посылаю приветы по заре и по сумеркам; вами люблюсь, когда золотое солнце и звезды серебряные горят на голубом щите неба.

Свежи цветы твои, Кавказ, живительны ключи, дубровы тенисты; но не одно величие твоих огромных, не одна прелесть растений, не только удалство твоих детей заманивает к тебе: нет, пылливый ум любит тебя как приют столь дивных тайн, столь высоких дум!.. Воображение силится понять рев водопадов и шепот пещер, разверзающих как сфинкс гортань свою, хочет выкопать из циклопических гробниц имена стлевших там героев, взглянуться, в туманном зеркале древности, в лица давно мелькнувших поколений, может быть предков наших, и жаждет прочесть на изломе скал, брошенных как надгробья над веками хаоса, чудную летопись мирозданья.

Гляжу на перламутровую цепь гор — и не могу наглядеться. Скажите, чего тут нет? Расскажите, что есть тут? Невозможно. Дно ада, опрокинутое на землю, обломки рая, одичалого беглеца с берегов Тигра. Холмы — бархат ковров хорасанских; ледники, граненные как хрусталь воображения; зубчатые, волнистые верши-

ны — прелестная корона земли, затаившая в себе все звезды ночи, все рубины зари, все золото солнца, сродненные во что-то неизъяснимо прекрасное, и это что-то сливается с синью небес, мерцает сквозь дымку отдаления, — и вот исчезло, и вот возникло опять бледной радугой облаков, — и не облака ль это столпились горами? не горы ли разлетаются подобно парам? Все так неясно, так неопределенно, так безгранично: высокий идеал романтизма!

Очень люблю Кавказ, люблю мою родину, люблю тебя, Лилия, — и как люблю! Но в созерцании гор, — не знаю, чем это делается, — сплавлено для меня все мое бывшее, настоящее и будущее. Вот кажется, бронзовый конь Петрова монумента гордо скачет передо мной по утесам, и звезды брызжут из-под копыт. Вот величавый Кремль вырастает из холма, и муравленные, узорчатые башенки его распускаются в высоте золотыми маковками. А там, а здесь, вблизи и вдалеке, перед глазами и в сердце, опять ты, очаровательница, — всегда ты!

Но печальны все эти образы, повиты крепом и кипарисом. Для меня вчера и завтра — два тяжких жернова, дробящие мое сердце. И скоро, скоро это бедное сердце распадется прахом: я это предчувствую; недаром бой часов по ночи стал будить меня иногда, словно стук заступа в гробовую кровлю. Заснуть навек, умереть? Так что же! Сейчас приди за мной смерть, и я подам ей руку с приветом... Обнаженная жизнь моя — такой же остов, как она сама; живой, я свылся уже с ночью и с сыростью могилы. Тому красна жизнь, у кого настоящий миг плавает всегда в радостях, как роза пиршества в благоуханном фалерне, у кого перед очами летает вереница надежд; а у меня одно забвение — наслаждение, одно сомнение — надежда. Провидение дает человеку в пору счастья удовольствия, а в пору злополучия — мечты; но судьба давно пожрала первенцев моего сердца, — а другие изменницы покидают меня сами. Нет услышания моим мольбам, на зов мой нет ответа! Разлука передо мной, и около, и за мною — горькая разлука с родиною, с радостями жизни, с милою душою.

И есть люди, что дивятся моей безрассудной отваге. Да разве не был я храбр, когда еще ценил жизнь, когда желал расцвести, увенчать ее? Что же остается мне делать теперь, когда я презираю существование более, чем сперва презирал гибель? Со всем тем пример само-

пожертвования и бесстрашия живет долго, заслуга — всегда. Пример — самое красноречивое убеждение и самый одушевительный приказ. Храбрые умирают скорее и чаще других, но память о них долго хранится в дружинах и увлекает в пыл боя, как обрывок знамени.

Грустно. Листопад не в одной душе моей, но повсюду. Блеклые листья роятся по воздуху и с шорохом падают в Абин... Мутная волна уносит их далеко. Замечательно, что листья осенью переходят по всем цветам радуги — из зеленого в голубоватый, потом в желтый, в оранжевый, в красный, и облетают. Не таково ль и воображение? Мало ему луча небесного; надобно, чтобы он отражался под известным углом.

В цветущее время Венеции суд и расправа гражданских дел свершалась там только по воскресеньям: пример, достойный подражания и уваженья, сказал бы я, если б не знал, что одна торговая жадность венецианцев была виной этой выдумки, если б надеялся, что чернила ябеды не запятнают святыни. В самом деле, можно ли достойнее почтить праздник бога правды, как не защитю слабого от сильного, как не карою вредного преступления? Суд не работа, а священный долг перед богом и людьми.

Несчастлива? Ты несчастна? Кто ж после этого поверит всем залогам и вероятностям? Кто бы подумал, что та, которая одним взором, одним словом может осчастливить каждого, не имеет сама крохи счастья! Я, однако, думал, подозревал это. У тебя вырывались слова, пронзающие душу. Среди резвого разговора находили на тебя мгновения невыразимой грусти: я уловил, я угадал это пролетное сдвижение бровей, это судорожное сжатие губ, это задумчивое колебание головы, — они отзывались во мне каким-то болезненным ощущением. Лилия несчастлива! Эта дума вырывает из груди сердце. О, если б я мог переплавить каждую каплю своей крови в минуты благополучия, я бы выточил ее для тебя безраздумно, бескорыстно, и последняя струя моей жизни пролилась бы в холод могилы с благословением судьбе. Может быть, ты украдкою плачешь теперь, и я не могу улеять тебя в радость, погасить лобзанием очи, горящие слезами, развеять вздохами печаль! Тяжело быть

самому несчастным, но видеть тоску того, кого любишь, и не мочь, не сметь разделить его горя — это просто мука! И пусть мы сблизимся, пусть ты полюбишь меня,— ведь сердца несчастливых легко отверсты взаимности, они жадны излиться одно в другое! — чем оплачу я за твою искренность и горячность, кроме лишних печалей? Какую надежду принесу тогда на зубок новорожденной любви?.. Пепел и грезы! Нет, Лилия, тысячу раз нет! Будь я даже уверен в тебе, я не возмущу тебя признанием. Твое спокойствие для меня священо. Я ли подарю тебя, взамен житейских горестей, мертвящею тоскою разлуки, я ль, который падаю под ее терновым венком, несокрушимый прежде под жезлом судьбы! Мне бы отрадно было подать, пожать тебе руку, отклонить, притупить собою шипы на пути твоей жизни, устлать ее любовью, укрыть, согреть тебя душою своею в зиме света,— и что ж? — раз только встретились дороги наши и бегут врознь навсегда. Да будет! Станьте ж непроницаемы, очи мои, как тюремные окна, уста безмолвны, как могила! Истлевай, сердце, без дыма и пламени!

Мило негует роза вешняя с тиховейными ветерками и в благоуханном поцелуе передает им свою душу; а между тем червяк уже подточил ее стебель. Драгоценный алмаз манит взоры красавиц и поклоны корыстолюбцев; но химик наводит на него свои зажигательные зеркала, и звезда земли — уголь! Высоко ширяется в поднебесье орел, купает крылья в радуге, хочет закрыть ими солнце,— и на земле уж все мое, думает он,— и вдруг откуда ни возьмись зашипела стрела, ветка, только что оперившаяся, на которой он отдыхал не далее как вчера,— и властитель воздуха, пробитый ею, издыхает в грязи, игрушкою ребятишек!

И вот символы трех идолов, трех летучих целей человека, за которыми он гоняется, ползает и скачет целый век, которым в гостинец приносит тело и совесть и самую душу, о которых мечтает в разгаре юношеских страстей и в бреду предмогильном. Люди совестливые зовут этих идолов собирательным именем — *счастье*; я буду откровеннее,— или подробнее,— я переведу слово *счастье* словом *наслаждение в трех лицах* — любви, богатства, власти. И каждое из них для нас то цель, то средство, и каждому из них имя — *легион*!

Коварный дух желаний уносит душу нашу на темя гор и говорит: «Смотри, любуйся, выбирай: мир богат и необозрим; поклонись мне — и все твое!» Какой смертный возразит ему: «Vade retro, Satana»¹. Мы падаем в ноги искусителю и ставим годы жизни на карту. Бесстрастная судьба с ужасною улыбкою на устах мечет банк свой. Роковой баламут подобран, но она хочет заманить неопытных. Сонико — и раз за разом падают валеты и дамы налево! Первый банк сорван.

Но во всем положен человеку предел, за который не перейти ему без казни. Прекрасно дерево наслаждений, сладки его яблоки, но берегитесь прокусить их до сердца: у них сердце — яд тлетворный, мучительный, убийственный яд! Распутник скормил душу и силы своей обезьяне, любви, и в цветень жизни чахнет дряхлый, бессмысленный. Он уже в самом себе схоронил чувственность, для которой пожертвовал всем. Рядом с ним любовник — мечтатель, который без боя дался в рабство преступной или несбыточной страсти, который забыл, что он человек и сын отечества, гибнет в келье умалишенных, угрызая цепь с жажды поцелуев своей Элеоноры. Винолюбец задыхается водяною. Богач-лакомка умирает на рогоже мучеником пресыщения и расточительности. Богач-скупец нищенствует с боязни обнищать и замерзает от холоду, от бессонницы, у сундука с деньгами. Но пусть в наш век самое сребролюбие роскошничает, дает пиры из барышей и, для покровительства, прячет лохмотья свои под батист, пакует себя в английское сукно; неужели ж вы думаете, что миллионер-откупщик менее скряга, чем миллионер-ростовщик? Напрасно! Вся разница в том, что один считает восковые, а другой сальные огарки. Поверьте мне: он мучится каждым куском стерляди, на которую звал вас; зубы гостей, отличаясь над страсбургским пирогом, жуют его сердце. Не шамбертенон он их потчует, а своею кровью; наливает — и следит каждый глоток и раскидывает на мыслях, как на счетах, сколько процентов принесет ему бутылка, а сам мечтами загребает золотые горы, хочет выпить весь Урал с его песками, собирается проглотить целиком всю Индию, — и что ж? — захлебнулся, глядишь, одним бочонком червонцев, подавился кораблишком, истек векселями — и лопнул, он банкрот! А там мятежный често-

¹ Изыди, Сатана (лат.).

любец гибнет под колесницею или на колесе. А там властолюбивый вельможа, захватывая власть над другими, теряет ее над собою, с ней доверие царя, затем даже наружное поклонничество толпы. Презренные орудия его прихотей становятся орудиями его казни, насмешки и проклятия провожают в опалу. А там завистливый царедворец сохнет на одной ножке, оттого что дождь милостей льется на тех, кто его достойнее; а на беду целый свет достойнее его. А там изнывает в забвении сочинитель, привычный дышать дымом похвал, с комическою горестью видя, что его прежние кадила коптят уже новых кумиров. Но кто исчислит все терзания желаний и обладания, начиная с полководца, читающего в газетах свои военные ошибки, доказанные яснее дня, и победы, смешанные с грязью, или в приказах повышения соперника, до бульварного любезника в отчаянии оттого, что у приятеля лучше его бекеш, а у него краснеет нос на морозе в решительную минуту встречи с графинею N? Добровольные мученики то славы, то моды, мы страстны к изобретению орудий на собственную пытку; мы страх любим поджаривать себя на малом огне прихотей, не замечая того, что раздуваем его в пламя раскаяния; и дивитесь в этом правосудию провидения: мы казнимся всегда и неизбежно тем же, чему предались без меры,— непременно тем самым.

А между тем есть цветы, девственные как розы денницы. Есть алмазы столь же ясные, как звезды небесные. Есть жезлы и венки власти и славы, цветущие благословением народов. Желать их искать, добывать и потом лица и кровью сердца мы стремимся природою, но чтобы они просияли нам радостями невозмутимыми, радостями, каплющими прямо с венца божия, надо самоотвержения для любви, благодетельности для богатства, того и другого для власти, а то и другое есть два слога любви, любви к ближнему, переливающейся из единства во всемирность.

Кто же посмеет сказать, что истинная любовь есть бrenная страсть? Напротив, она есть чувство бесчувственной, душа живой, бог одушевленной природы. Да, бог: это собственные слова спасителя. И можно ли иначе назвать эту разумную силу, которая заставляет цветок увядать от неги зачатия, велит влюбленному соловью отдавать свои поэмы дебрям, учит кровожадного тигра ластиться, стремится былинку к родной былинке и

произращает из них то кристалл, то деревцо, то животное, плавит металл с металлом ударом электричества, внушает неизменное постоянство магнитной стрелке? наконец проясняет души человеческие, созывает, мирит, роднит их, сливает в одно прекрасное, почти небесное бытие? наконец сгибает пути сфер в обручальное кольцо около перста предвечного!!!

И мне ли, существу в высшей степени раздражительному и пылкому, не покорствовать такому закону, выраженному пленительным голосом Лилии и ее небесным взором? О, встреча с нею — поцелуй огня с порохом! Я загораюсь тогда как существо и как вещество. Каждый волосок тогда оживает на мне отдельною жизнью, и все, начиная от самой ничтожной капли до высокой думы, отзывается во мне сладостью любви. Миллионы сердец трепещут в груди, миллионы звуков брызжут сквозь поры, и душа под перстами какого-то ангела звучит и ропщет дивною гармониею, будто огнеструнная лира!

Трансценденталисты находят в человеке сокращение всего мира. В тебе, Лилия, нахожу я, напротив, только изящную, возвышенную, прелестную природу. Не весна ли твое дыхание, не денница ли румянец, не горный ли снег белизна? Разве не отдало небо восточную синету очам твоим, а взорам звезды — звезды, каких не видал до сих пор «вдовый край Севера»¹. Станешь ли — и легкий стан твой зыблется как облачко! Ступишь — и будто зовешь на бег ветер! Губки твои, эти розовые, лучше, нежели розовые губки — полуразверстые и трепетные, словно чашечка цветка под первым лучом солнца, под утренним повею зефира! Они ждут, кажется, поцелуя, чтобы расцвести улыбкою, чтобы выронить, как росинку, слова отрады.

Прочь!.. Не смущайте меня, воспоминания; желания, не жгите! Вы так неодолимо прельстительны, покуда не помрачены обладанием, не убиты опытом — этим палачом воображенья! Долой с моего сердца, холодная его рука! Хочу любить и верить, и для того пусть умру мо-

¹ Settentrional vedovo sito. Dante, «Purgatorio» (Данте, «Чистилище» — ит.).

лодой; пусть мечты прекрасного закроют мне веки еще не поблеклым крылом своим.

Да! грустно сознаться в себе и убедиться на других, а надобно: с молодостью умирает в человеке все безотчетно прекрасное в чувствах, в словах, в деле. Какая ж радость слоняться по свету собственным гробом и рассказывать о добрых своих качествах, как о покойниках, всегда хорошо? Не пережил я своей молодости, а сколько уже схоронил высоких верований! Каждый день развязывает по узлу, крепившему к земле душу. Остаются только слабые путы дружбы и неразрешимые цепи любви; да и той я верю только в себе потому, что она томит, снедает, уничтожает меня. Зачем же не уничтожит скорее!..

2 октября. Ночь.

Нет, еще не умерло во мне сердце; ключи его не застыли до дна: порой, оттаянные дуною или звуками, они пробиваются наружу слезами и неслышной, но целительною росой падают на грудь. Сидя у палатки, я рассеянно глядел на лагерь наш, облитый пламенем и тенями заката. Предметы обозначались и опять исчезали передо мной сквозь глубокий дым трубки. Абин широким кольцом охватывал стан слева, и от него тянулась вереница коней с водопоя. Пушки прикрытия гремели цепями, въезжая на батарею; ружья идущей за ними роты сверкали снопом пурпуровых лучей. Там и сям кашевары несли по двое артельные котлы с водою, качаясь под тяжестью. Туда и сюда скакали, гарцуя, мирные черкесы или вестовые казаки. Огоньки зачинали дымиться, и около них густели, чернели кружки солдат. Все будто ожило отдохновением, и, уложив до завтра дневные труды, весело заговорило поле ржаньем коней, строевыми перекличками, нарядами в цепь, в караулы, в секреты, бубнами песельников, полковой музыкою перед зарею,— и под этот-то шум падало за горы солнце, залившись кровью, будто сбитое с неба дружинами огненных, багровых, золотобронных облаков. Они быстрым летом теснили, преследовали убегающее светило,— и постепенно померкали ряды их: изредка лишь вонзался в огромные их щиты луч, перестреленный через хребет,— и погасал. Наконец почернело все небо, исчезли и малейшие розовые следы запавшего солнца,— и никто в целом лагере

не думал о солнце. Солдаты ластились к огню, на котором кипел их ужин. Офицеры приветно улыбались самовару; кони рыли землю копытом, ожидая овса. Во мне только голод и усталость придавлены были грустным созерцанием. И вдруг раздалась в воздухе одна песня — заветная песня моей юности. О, сколько страданий и восторгов заключено было в каждой ноте, в каждом заунывном ее звуке!

In questi voci languide risuona
Un po' so che di flebile e soave.
Ch'al cor gli scende, ed ogni sdegno ammorza
E gli occhi a lagrimar gl'invoglia e sforza.

В тех звуках томных отзывалось, не знаю, что-то грустное и усадительное! Они проникали в сердце, они снимали с него всякое огорчение, охотили и неволили очи к слезам.

Данте

Плакал и я, невольно и охотно плакал. Слезы утешали душу, давно жаждущую гармонии и поэзии. Есть у меня часы, когда стихи и звуки необходимее для меня, чем в иное время питье и пища. В такие часы люблю я напевать задумчивые строфы Гете и Байрона, ямбы Пушкина, терцеты Ариоста, Муровы мелодии, даже стихи Вальтера Скотта из «Красавицы озера» или «Последней песни барда». В музыкальном отношении Вальтер Скотт едва ли не выше всех английских поэтов. Я читаю их вслух, и благозвучные рифмы льются тихо и стройно, льются как масло олив, подмывают сердце, и оно лебедем всплывает наверх, зыблется и дремлет, лелеемое волнами звука. Никогда никакая проза не заменит нам поэзии, но только для выражения мечты, а не действительности. Действительность так разнообразна, что ей не впору никакой размер. Там, где слово должно рифмоваться с мыслию, созвучие — ребяческая игрушка.

Ночь накрыла землю необъятными своими крыльями. Шипучая ракета взвилась высоко, прямо и с ударом рассыпалась блесками по облаку. За ней взревели зоревая пушка, и все ущелия откликнулись ей, стенающая. Затих последний перебой барабана, и все потонуло во мраке и тишине. Только порой вспыхивал кое-где огонек и на миг озарял белые полосы палаток и черные коновязей, или знамена, положенные вкось на барабаны,

или рогатки штыков да купы лиц, которые, как духи из Макбетова котла, улетали вместе с дымом и с искрами. Только мерный оклик: «слушай!» обходил дозором по цепи. Многозначительно и спасительно слово это,— и кто ему внимлет, кроме часовых? Враг подкрадывается под душу, а мы спим. Совесть или разум кричит «слушай», а нам лень поднять голову. Беда, наконец, застает нас врасплох,— и мы давай плакаться на судьбу! Воля у человека не часовой, а вестовой — вечно на побегушках для его прихотей, никогда или почти никогда для пользы.

Облака сомкнулись тяжелым сводом. Ни одной звездочки нигде; со всем тем ночь свежа и тиха; ночь, желанная для счастливых любовников. Не знаю, право, кому взшло в голову расхваливать одиночество ночи, когда она выдумана для взаимных радостей, для пирушек дружбы, для таинственных свиданий любви! Я согласен с Гете: подобно жене, данной человеку в лучшую ему половину, ночь для нас, право,— лучшая половина жизни. Разумеется, я прибавляю к этому небольшое условие *sine qua* ¹ *pop, за неявкой которого со вздохом опускаю голову на седло и поневоле делаю пушкинское воззвание к заштатному языческому богу:*

Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви!
Приди, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови.

Назавтра.

Грудь на груди мать сырой земли засыпал я вчера, и она тихо, тихо дышала мне свежестью, между тем как доброе небо растворяло воздух росой, готовя для смертного живительную атмосферу. Сладкий миг забытья сходил уже на меня. Какие-то безвидные, безымянные мечты-младенцы мило лепетали около моего сердца, карабкались на него, как на челнок, и перевернули его, шалуны: оно погрузило в сон глубокий, плотный, крепкий сон, каким могут спать одни праведники и солдаты.

И не знаю, долго ли, коротко ли спал я, только вдруг пробужден был содроганием и гулом земли. Прислушиваюсь, поднявшись на руку: так и есть — это быстрая прыть атаки! Скачут кругом, рассыпаются врознь,— ближе, ближе, вот стопчут палатку! У меня

¹ неперменное (лат.).

занялся дух: это черкесы! Я вскочил (ночуем мы всегда одетые) и вооружился. Бужу своего товарища: он спит как убитый.

— Валериян Петрович, слышите ли?

— Слышу,— отвечает он впросонках,— пора и нам, фуражировка сказана в три часа; верно, казаки собираются!

— Нет, это не казаки! Какой черт смел бы строить полки в галоп, и в такую темь, и в лагере, собираясь для тайного набега!

Говорю, а он уж храпит. Я выскочил из палатки... Сердце так и бьется. Все тихо, а ночь темнее, непроницаемее чугуна. И вот опять загудела, загрохотала земля, как бубен, под копытами тысячи коней. Ну вот, кажется, ринулись мимо: хвосты пашут холодом, пена летит в лицо с их удил, шашки сверкают в трех шагах; но почему ж нигде ни выстрела, почему нет дикого крика азиатского натиска, нет барабана тревоги? Неужели могли черкесы тихомолком вырезать часть цепи и решились железом изгубить сонных?.. Постойте! Там, кажется, крикнули: «В ружье!» Нет, это оклик: «Рунд мимо!..»

И тяжкий гром разразился над горами... Молния хлынула морем. А, понимаю теперь, это гроза! Но никогда обман не был так полон и вероятен: я жил долго в горах, а ни разу не видал и не слыхивал ничего подобного. И мог ли я вообразить себе грозу в октябре месяце? Да еще какую грозу? Ужас! С первого удара целый час не прерывался гром ни на одно мгновение. Он кипел и клокотал подобно аду, сливая в один лютый рев все отголоски ущелий, заставляя трепетать все долины как осенний лист. Когда ж над этим океаном мертвящих звуков и блистаний, раздирающих ночь по всем ветрам, сверкал еще ярче поток молнии, стрелял новый гром с оглушающим треском,— мнилось видеть пролет необъятного ангела разрушения с крыльями из туч, следить размахи жар-меча его, рассекающие Кавказ до сердца; мнилось слышать вещий голос его трубы, сокрушительницы мира, призывной трубы к Страшному, последнему суду. В самом деле, всякий раз, что взрыв перуна озарял заснеженные верхи гор, они про-являлись на миг, как толпы мертвецов великанов в белых саванах,— и потом точно стремглав падали в преисподнюю, отвечая ледяным кровью стенанием на гроз-

ный удар осуждения,—стенанием таким пронзительным, что лихорадочный трепет пробежал по всем жилам земли и скалы скрежетали от ужаса.

Постепенно холодело и во мне сердце; молнии зажигались снопами по теменам далеких гор и разгорались, как извержения вулканов; буйный вихорь крутил и бросал капли крупнее винограда, а потом воцарялась опять душная неподвижность в воздухе; земля колебалась и звучала под ногой будто пустая. Я невольно вспомнил о последнем дне Помпей... «Почему ж не погибнуть этому краю от землетрясения и лавы!» — думал я, и думал это не в шутку: гроза бушевала все ужаснее и ужаснее. Никогда и никому не расскажу про думы, которые волновали меня в этот час: люди мне не поверят, а бог меня видел сам. Скажу одно: в ту минуту, когда я убедился, что все меня окружающее должно через миг разлететься вдребезги и в искры, у меня было странное желание, дикое желание — погибнуть вместе с Лилиею, прижать ее в первый раз к сердцу и потонуть в пламени любви и землекрушения!..

К рассвету мы были уже с отрядом за пятнадцать верст от лагеря. Взяли с боя пропасть сена и просушились от проливного дождя, заключившего ночную бурю, у пожара сожженных нами аулов. Жаль: у меня убили лихого унтер-офицера.

12 октября.

Я тоскую, здесь горечь. Чувствую, что рука судьбы тяготеет на моем сердце, и нет друга, нет родного вблизи, кто бы снял с меня половину бремени. Это одиночество, этот воздух чужбины душат меня,—сегодня втрое, чем когда-нибудь,—необычайно!.. Шапсуги дрались на славу — отважно, упорно. Много храбрых пало с обеих сторон; много пролилось крови на каждую спорную скалу. Перестрелка на час умолкла: отряд остановился для разработки дороги сквозь неприступные прежде утесы. Задыхаясь, весь в поту, насилу вскарабкался я на круть и сел под дерево. Застрельщики мои, раскинутые цепью, улеглись за камнями и кустами, глаза настороже, и палец на курке. Солнце, больное осенью, лишь повременно бросало свои бледные лучи в глубину дикого, необитаемого ущелья, по обеим сторонам которого мы тянулись. Облака стадились по

хребтам Маркотча; горный ветер кружил иссохшими листьями; грустная дума запала мне в голову,— грустная и отрадная вместе она была: мне недолго жить, и зачем, в самом деле, разводить водой безрадостную жизнь мою? Я с раскаянием обращался к прошлому, с мольбою простирал руки к будущему: нет ответа, нет привета. Иногда на прежнее можно купить то, что будет: у меня бездна призывает бездну!..

Глубоко внизу стенал Атакваф, перебираясь по камням, ограненным внешними водоворотами. Прямо против меня на другой стороне реки, как погребальный ход, тянулся обоз по утесам; на него укладывали убитых и раненых. Взглянул вверх,— дикий кипарис, опахало мертвецов, простирал на меня венок из ветвей своих, и я вспомнил стих Вальтера Скотта:

O lady, twine not wreath for mee,
Or twine it of the cypress-tree! ¹

Везде зачатки смерти, везде кровь и траур... но почему я впервые заметил это?

Я бы желал отдать последний вздох тому краю, который внимал моему первому крику. Как все младенцы, я плакал, когда родился, но, как немногие люди, живучи узнал о нем. Отравленный напиток — воздух бытия, но в отчизне по крайней мере мы вдыхаем отраву без горечи. В отчизне я бы уложил свои кости рядом с прахом отца моего,— и мягче и легче была б для меня родная земля! Враг не сорвал бы креста с моей могилы; прохожий помолился бы за грешную душу мою по-русски. Если ж паду на чужбине, я бы хотел быть схороненным на берегу моря, у подножия гор, глазами на полдень,— я так любил горы, море и солнце! Пускай и по кончине согревает меня взор божий; пусть веет мне горный ветерок; пусть кипучие волны прибой напевают и лелеют вечный сон мой.

Дитя, дитя! Прах бесчувствен. В гробу снятся сны не из нашего мира!

Но неужели вы забьете, заклепете в колоду и это бедное сердце — сердце, которому тесно было даже в груди? Учились ли вы физиологии? Знаете ли, что сердце живет прежде всего в человеке и умирает гораз-

¹ Не вей, красавица, для меня венка или свей его из веток кипарисных! (англ.)

до после? Не вдруг погаснет оно и застынет нескоро. Смерть превратит взоры в лед, а язык в камень; но сердце долго, долго потом будет еще роптать страстию. Зачем же душить его гробовою доскою, зачем отдавать подлым червям на потеху благороднейшую частицу мою? Лучше выньте его и сожгите: пламень был его стихиею.

И развейте пепел по ветру: пускай летает в поднебесье!.. Оно уж привыкло летать в поднебесье.

И, может быть, какая-нибудь пылинка перелетит за моря и сольется с родной землею... О, тогда весело вздрогнут останки мои в земле чужой!

Ничто не гибнет в природе, умирая,— ничто! Не погибнет и лучшая половина меня самого — душа. Но я бы жаждал, чтобы она стала неразлучным твоим спутником, Лилия, твоим ангелом-хранителем. Как бы чисты были сны твои под моим крылом, как покойны чувства и думы! И почему ж нет? Я и теперь, одетый в мятежное тело, обуреваемый страстями, готов бы охранять, вести тебя бескорыстно и безупречно; готов купить так же дорого твою непреклонность, как иной твоё падение,— теперь, когда малейшая победа над собою мне наносит глубокие, горючие раны.

Когда ж не станет меня, не ранее как тогда, пусть узнает Лилия, что я любил ее; но где возьму я слов, чтоб выразить, где найдет она чувств, чтобы постичь, как я любил? Что я отказался от надежды на ее взаимность за ее позднее уважение, что я не хотел напрасными приветами и забегами ни на один миг возмущать ее равнодушия, ее домашнего покоя и для того не пытал в ней моего счастья,— а одно слово, один взгляд ласки мог бы меня осчастливить. Ненасытны, беспредельны были мои желания в жизни,— и я бежал тебя, Лилия; но если ты уронишь хоть слезу на мою память, прах мой будет утолен. Одну слезу, Лилия,— за все мои страдания,— как единственную усладу, единственную усладу, единственную награду моей тайной, нераздельной любви; и пусть за то будет вся жизнь твоя ясна, как эта слеза! Будь счастлива, Лилия... счастлива и за гробом!

Но кто спросит, кто расскажет про меня? Те, кто бы могли, не захотят, а кто бы желал, не может!.. Я сирота и в грядущем.

В один короткий, осенний день сколько разных ощущений! Они наподхват вырывали друг у друга мое сердце и забрасывали его то в тихую радость созерцания, то в горячку истребления, то в холод ужаса. Замечу мимоходом, что шапсуги сегодня в первый раз попытались передавить нас огромными камнями, скатывая их с крутин,— и напрасно; что я оцарапан стрелой в правый бок; что я был восхищен видом на обе стороны, взобравшись на хребет Маркотча, отделяющий приморье от закубанья. Позади тысячи долин и ущелий под чернотью теней от гор, под серебром речек, сверкающих от солнца. Впереди необъятное Черное море, со своими уютными заливами, с изумрудными волнами, с утесами, ворвавшимися в их середину. А кругом войны, бросающие победное «ура» на ветер Кавказа в привет знаменам нашего великого царя. И сами знамена шумели ему славу, играли радугой завета для Черноморья.

Теперь следует «зело любопытственное сказание о том, как имярек поражен бысть ужасию велиею, и якся бегу, и о прочем». Не шутя, сегодняшний вечер стоит быть вписан в мою памятную книжку.

Рекогносцировка для устройства дороги реями по крутой горе кончилась на теме Маркотча. Только три батальона назначены были открыть сообщение с крепостью Г-м и привести оттуда на выюках провиант. Полк наш возвратился; я был послан вперед для закупок. Крутой спуск, перестрелка, бездорожье задержали нас, так что к взморью у Суджукской бухты достигли мы в потемках. По словам проводника, оставалось еще версты четыре до Г-а, а ночь до того стемнела, что тропины в пяти шагах прятались от глаза. Овраги и рытвины беспрестанно пересекали дорогу; терновник закидывал ее своею колючею рогаткою. Отряд двигался медленно и осторожно: тем медленнее и осторожнее, что надо было побережь раненых, которых везли мы верхом, перевалиться за хребет с повозками не было никакой возможности. И вот мне страх наскучило идти с ноги на ногу и поминутно слушать однообразный гул рогов. «Застрельщики, стой». Все, что было у нас кавалерии, умчалось вперед, посланные генералом известить крепость о прибытии отряда, а голод, а жажда и усталость меня томили. Воображение рисовало вдали кипучий са-

мовар и вокруг его разгул стаканов, дымящихся китайским нектаром. Котлеты порхали «там, там в мерцании багряном», словно райские птички. Милочки летучие рыбы, про которых мне насказаны чудеса, танцевали на сковороде французскую кадрили на масле; как тут не соблазниться? Я подъехал к одному из оставшихся проводников.

— Тюрк-Абат, катнем вперед!

— Аллах койма сын (да не попустит бог)! — отвечал он. — У меня нет заводной головы. Ты лучше другого знаешь, черкесы невидимками выются около каждого отряда, и чуть удались кто за стрелков — цап-царап, да и на аркан раба божьего!

Я возразил:

— Натухайцы слабее других горцев, и в доказательство тому, что они убрались восвояси, нет ни одного выстрела ни по нас, ни по всадникам, которые уехали вперед, а уж, конечно, эти разбойники не упустили бы случая кого-нибудь из них застукать, если бы вблизи были.

— Будь их много, они бы, конечно, напали на горсть наших всадников, — отвечал Тюрк-Абат, — а что скажешь, если их какой-нибудь десяток для дозора?

В инструкции полковникам «О кареях против турецкой кавалерии», данной стариком Каменским, между прочими, чрезвычайно дельными замечаниями, сказано: «Пехота, которая вышлет стрелков далее восьмидесяти шагов от фронта, может исключить их из списков». Почти то же можно сказать о рассуждении всадников, выезжающих далее восьмидесяти шагов за цепь в сторону, в войне с черкесами. Кажется, их нет за пять верст, все тихо, а попробуйте остаться на полвыстрела от арьергарда, они налетят как вороны, выскочат из дупла как рысь, как гриб вырастут из-под земли. «Все это так, — думал я, — однако ж мне удавались и не этикие штуки. В такую ночь можно уйти от совести, не то что от черкеса».

Тюрк-Абат, как будто возражая на мои мысли, сказал:

— Нет, достум (нет, друг мой); теперь разве на птице можно перелететь до крепости; на лошади — нет.

Во мне загорело ретивое. Я потрепал по крутой шее своего буланого и сказал:

— Послушай, Тюрк-Абат, ваш Магомет был великий чудодей. Однажды он снял месяц с неба, разрубил его надвое, как пятак, и пропустил половинки сквозь рукава своего кафтана, и опять сложил их, и опять повесил месяц на небо. Слова нет, штука недурная. Однако наш падишах выкинул поудалее этой: он сорвал Магометову луну с этого неба и положил к себе в карман. Давно ли точил на нас рога свои полумесяц над здешними горами? А погляди-ка вверх, теперь ни четверть месяца не смеет выглянуть. Я русский. Я не барышня. Да и не раз изведаль, что и черкес не черт. У него ружье, и у меня не флейта; под ним конь, да и подо мной не собака. Еду один.

— Поехать легко,— возразил хладнокровный азиат,— но не проехать. Впрочем, у нас есть пословица: «Жизнь — любовница человеку. Кому она мила, тот ей раб; кому постыла, тот хозяин». Твоя воля!

*Le coquin a frappé juste*¹. Плеть хлопнула, и в три мига я был далеко, так что когда обернулся, мне уж не видно было огненной струйки дыма, слетавшей по времени с трубки проводника. Я то скакал, то сдерживал коня, чтобы прислушаться, нет ли шороха или топота. Ничего кругом: ни души, ни искры; только вдали за мной раздаются русские песни как неясное воспоминание. Легкий туман чуть подымался; зато безбрежная ночь чернела все пуще и пуще и, казалось, мигала мне тысячью огромных глаз своих. Не зная дороги, я ехал почти ощупью, вставал на стремянах: нет как нет крепости,— она завернулась, верно, в валы свои, прикурнула под какой-нибудь холмик и зажмурила все свои огоньки,— спит себе и не подаст голоса. И вот мне стало казаться, будто пни дерев шевелятся, перебегают дорогу, разрастаются великанами, все ближе и ближе и сбрасывают, наконец, свой оптический наряд леших, и давай подтрунивать надо мной, как баловни школьники. Иной щипнет за ухо, другой, подкравшись, тянет долой шапку, третий подставляет ногу коню моему, тот прыщет в лицо холодной росой, и в каждом дупле, казалось, пищит какой-нибудь Пук или Ариель, защемленный туда за проказы. Лес для меня ожил, наполнился, заговорил всеми созданиями Шекспировой фантазии и карикатурами Гетевого шабаша ведьм... И вдруг

¹ Плут нанес удар метко (фр.).

вдали передо мною брызнула синяя искра — верно, блудящий огонек.

— Эй, приятель! — закричал я ему словами Мефистофеля, — посвети-ка мне на дорогу, чем тебе маячить даром!

Нет, это не блудящий огонек, не светляк зажигает свою искру на листке, это не вечерняя звездочка на краю небосклона: она искрится, разбрасывает лучи, расцветает, — вспыхнула! Бог мой, как это прелестно! Это яркий фалшфейер на люгере в привет братьям русским.

Вообразите себе зажженный яхонт над прозрачною зеленью моря, озаряющий волнистым, дымным, голубоватым светом своим и корабль, на котором сиял, и волшебный круг из двух бездн — воды и воздуха, в которых плавал этот корабль. Казалось, все снасти нижутся дорогими камнями, а самое тело люгера вылиты из цветного хрусталя; казалось, весь он зыблется, трепещется, летит, тонет в пучине взор ласкающего света. И вмиг все погасло, все исчезло. Тьма поглотила берег и море и сомкнула над ними непроницаемую пасть свою. Расширяю глаза, чтоб уловить хоть след милого виденья, направляю туда бег свой, посылаю взор за взором в погоню, скачу; и вдруг конь мой стал, хряпая, и, фыркая, уперся, испуганный плеском моря, которого не видал он сроду. Роняю взоры вниз: новое очарование! Все побережье горело фосфорной пеной прибоя. Волны рядами тихо катились на плитный берег, сверкали зубчатыми гребешками своими, ударяли в грудь камней и рассыпались на них огнем и звуками, как поцелуй брата с братом. И каждая рыбка, всполохнутая мною, исчезала в огненном вьюне; и каждая капля, брызнутая с ее живого весла, освещала дно приморья, так что виднелись на нем раковинки, как видны все мысли в глубине души невинной девушки при блеске страсти. Невыразимо прелестным пламенем играли струи этого изумруда, растопленного в сердце природы, и какая-то отрадная свежесть веяла с них... Скажите, мог ли я в такую пору думать об опасностях? Я ехал вдоль берега на волю коня. Говорят, замерзающие, после грызущих мук, впадают в сладкую, неодолимую дремоту оцепенения. Со мной совершалось то же самое... Душа из ледяных объятий света падала на лono бесчувствия; все чувства растекались забытьем нич-

тожества. Будто сквозь дрему мелькали и хрустели под ногами белые камни, словно черепы на кладбище. Бледный фосфорический свет моря мерцал мне, как привычное озарение моего могильного мира, и говор воли отдавался в ухе, как понятная беседа собратий-мертвецов!

Не таков ли сон вечности? Дайте ж мне скорее морскую волну в изголовье; плотнее задерните полог ночи. Пусть даже бессмертные звезды, не только смертные очи, туда не заглядывают. Пусть не будит меня петух раным-рано. Хочу спать, долго и крепко, покуда ангел не разбудит меня лобзанием примиренья.

Но криком войны был пробужден я: как призраки, возникли передо мной черкесы и, восклицая: «Гяур! ай гяур!» — кинулись с обнаженными шашками наперерез. Я обомлел от ужаса: мысль попасть в мучительный плен к этим варварам пробила сердце. Но прежде чем успел я на что-нибудь решиться, мой перепуганный конь вернулся на пяте; я дал поводья, и он, ринутый ими, взвился как стрела с тетивы.

У римлян был закон для воинов: одного врага — победить, на двух — нападать, от троих — защищаться, от четверых — позволяется бежать. Я бежал от семерых по крайней мере; бежал не смерти, а позорного плена, — и в первый раз в жизни, — но все-таки бежал. Не хочу золотить того, что и полуды не стоит: это был явный пример самовластия тела над волею, и этим еще не кончилось. Я скакал целиком, сквозь терн, через камни и рывины; и вот, в сотне шагов от места роковой встречи конь мой перепрыгнул через ложе иссохшего потока, поскользнулся на голом камне — и я брык с ним через голову.

Несколько мгновений катясь колесом, я думал отчаянным усилием удержаться в седле. Никакого средства! Конь придавил меня под собою, а между тем крики: «Гяур! гяур!» жужжали за мной вместе с пулями. Лежа, взвожу курок; наконец удастся мне вскочить на ноги, и первым моим движением было приложиться навстречу врагам, чтоб продать им не иначе душу как за душу; но они медлят, они пешком. К счастью, я не выпустил из рук повод. Тороплюсь сесть! конь не дается, бьет, становится на дыбы. Вздор, ты не уйдешь от меня! Полмига после я уже несея во весь опор к отряду; но там ждала меня новая невзгода. Стрелки, по-

слышав конский топот, сочли меня за неприятеля и открыли беглый огонь. Штыки уже сверкали близко моей груди, прежде чем они расслышали мой оклик: «Стрелки, свой идет!».

Это было мое первое, надеюсь и последнее, знакомство со страхом.

Пишу эти строки под кровлею. Как нетерпеливо хотелось мне отдохнуть под кровлею! Удалось — и я жаляю о свежей палатке, о ночлеге под открытым небом. Стены душат меня, потолок гнетет; грудь просит раздолья и ветра. В гробу хорошо только мертвым, а эта комната — настоящий гроб.

Четыре дня потом.

Показалась кровь горлом — повестка адской почты! Зовут на получение савана... Не замедлю я, не замедлю! Мне бы не хотелось, однако ж, чтобы Лилия видела меня в таком наряде. Женщины очень любят мундиры, за исключением кирасирского мундира смерти: полотняный колет и сосновые латы не красят человека!

Хочу и не могу быть веселым. Нет сна на мое утомление; нет слез на тоску. Мысль о смерти гнездится в душе; порох пахнет ладаном. А мир прекрасен! На расставанье он, подобно коварной любовнице, удваивает нежность, осыпает ласками, является младенчески невинным, плачет неутешно, не хочет выпустить из объятий. Бессердечная прелестница, что сделала ты с моею любовью? А теперь хочешь возбудить мое сожаленье! Великолепная твоя гостиная была для меня пыточной. Не гостем, а мучеником скитался я на твоих пирах. Не для меня там кипели чаши радостей; все блага обносились мимо.

Voir n'est pas avoir¹.

Братья люди, братья Иосифа! Один завет вам: не продавайте своего меньшего ни за хлеб в час голода, ни за пряники в праздник. Тяжка ему работа египетская, но вы позавидуете ей на смертной своей постеле.

¹ Видеть не значит иметь (фр.).

...Едва ли не Наполеон отвечал на вопрос, какую смерть желал бы он себе: «Самую скорую и самую неожиданную!» Это значит — не надеяться ни на тело, ни на душу. Что за воин, который страшится долгого боя!

Кажется, 23 октября; рано.

Бьют поход! Шапсуги грозно скликаются по вершинам: быть горячей схватке; и я рад этому. Сегодня я бодр и весел необыкновенно. Луч утра стопил долой с сердца весь свинец горя; рука сама хватается за шашку. Вид — чудо: заря перебросила уже розовый шарф свой с плеча на плечо горы, а котел ущелия, в котором таится наш стан, все еще темен и дымен; люди бродят как тени по туманному берегу Стикса; обнаженные деревья будто вылезают из трещин, в которых спали ночь. Теснина, кажется, хочет задавить нас в объятиях. Утесы-великаны уперлись грудью с грудью, в плитных латах, заржавленных веками, спустили на нас сердитую реку, завалили все тропки обломками, набили частокол дремучего леса, — и все это вздор для русского. Захотели — и притоптали стремнины в широкую дорогу, накинули мосты на пропасти; и с хребта на хребет, с дива на диво пойдем, полетим на пробой. Догоним мы эти вершины: не спрятаться им в облаках! Мы сами будем сегодня второй раз в гостях у неба.

Никогда еще с таким томленьем не ждал я битвы, как теперь. Кажется, за этим хребтом ждет меня Лилия на условное свиданье; кажется, я куплю ее взаимность моею кровью.

Чего ж медлят? что ж не ревут и не прядают по скалам наши горные единороги? Пора, пора! Страстно хочу я кинуться в пыл схватки: только ее обаятельный вихорь может сравниться с упоеньем любви. Были минуты, когда, изнемогая от полноты счастья, прильнув устами к груди прекрасной, невольно роптал я: «теперь бы сладко умереть». Сладко умереть и на груди славы... умереть теперь же, в этот миг!.. Лил...

То была песня лебедя: его желание разразилось над ним его судьбою. Он был убит, убит наповал, и в самое сердце. Его тайны легли с ним в гроб; немногие цветки из венка его мечтаний отдаю я свету. Пусть

обрывает их злословие или участие лелеет: ни для друзей, ни для врагов не покажу я остального. Любовь и ненависть были ему равно гибельны в жизни; зачем же я брошу в их тревожение память друга? А сколько ума, сколько познания насыпано там! Какою теплою любовью к человечеству все это согрето! Но пусть все это не имело бы никакой цены для словесного богатства человека: его действительный быт был лучшим его творением. Душа общества в веселую пору, он не покидал изголовья больного товарища, не спал ночей, ухаживал за ним, как нежная мать, сносил все причуды, как сальный покорный служка. Его рука и кошелек были открыты для каждого: никто не удалялся от его порога с тяжелым словом нет! Кто вернее его служил государю словом и делом? Кто бывал впереди его в жаркой битве? Одним словом, кто был достойнее назваться человеком и кто носил это имя с большим благородством?

И мы схоронили юношу, возвратясь в Г-н, схоронили в чужую землю, в виду гор, на самом берегу Черного моря. Кровью залилось мое сердце, когда священник бросил горсть земли на гроб его, когда и моя горсть глухим прощанием отозвалась из могилы... Земля поглотила свое лучшее украшение и тихо сомкнула уста. Все кончилось! Все уж было пусто, когда я очнулся от бесслезных рыданий над могилою достойного друга: только море шумело; только ветер уносил к небу струйки фимиама с кадила вместе с облаком порохового дыма от почетной пальбы. «Вот жизнь и смерть его», — подумал я.



А. О. КОРНИЛОВИЧ

УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ

Исторический рассказ

Давно когда-то, в жаркое летнее утро, после обыкновенной прогулки своей по Петербургу зашел я в книжную лавку В. А. Плавильщикова. Василий Алексеевич мне давний знакомец, он взрос на моих глазах и, дай бог ему здоровье, никогда не оставлял старого своего приятеля. Я в этом мире сирота: без родных, без милых сердцу. Согнутый летами, изнуренный болезнями, едва двигаюсь с места, ноги мне не служат, и вот уже несколько лет вся прогулка моя ограничивается четырьмя углами моей комнаты. Он один, по милости своей, навещает иногда больного старика, и если сам не побывает, то пришлет книг, кои сокращают печальные часы моего одиночества. Почтенный человек! Меня уже не будет на свете, когда ты прочтешь сии строки, я из-за гроба благодарю тебя за твою дружбу! Но возвращаюсь к своему рассказу. Поздоровавшись с хозяином, я, чтоб не мешать ему, спросил один том «Собеседника Русского слова» и расположился у окна. В другом окне небольшой ростом молодой человек с бледным круглым лицом, в гороховой шинели, разбирал с большим, как казалось, вниманием «Деяния Петра Великого». Вдруг зазвенел колокольчик, с шумом растворилась дверь и вошел скорыми шагами, в щегольской венгерке, мужчина с цветным шелковым платком на шее, с тросточкой в руках и с большою датскою собакою позади.

Судя по бороде, которая чуть покрывалась пушком, ему едва ли было двадцать пять лет. Он слегка кивнул головой хозяину, бросил незначительный взгляд на меня и, обращаясь к юноше в гороховой шинели, вскричал:

— Что так, любезный, обложился книгами? Верно, готовишь какую-нибудь историческую статейку? Что это, Голиков? Тьфу, какая дрянь! Вздумалось же этому человеку с его варварским слогом наполнить тридцать томов глупостями. Я уже на своем веку изжег на трубки два экземпляра сих «Деяний» и если б был побогаче, то скупил бы все издание, чтоб по крайней мере избавить честных людей от охоты трудиться над вздором.

Мой юноша, который, по-видимому, совсем иначе думал о Голикове, но не смел обнаружить перед пришельцем своего мнения, был в самом жалком положении. Лицо его обтянулось; в замешательстве он измял лист бумаги, на коем, вероятно, делал выписки, уста его двигались, не произнося ни слова, которое, может быть, вырвалось бы наконец, если б противник дал ему время выговорить. Но он едва успел перевести дух и опять спросил:

— Чего ты здесь ищешь?

— Зашел справиться о Ромодановском, — тоненьким голосом отвечал юноша.

— О князе-кесаре, — возразил первый. — Сказать нечего, Петр был умный человек, но любил иногда странности. К чему это кесарство? И хоть бы поставил на сие место человека умного, а не Ромодановского.

Тут я невольно посмотрел на незнакомца, потом на Василия Алексеевича, который не сводил с меня очей, и принялся опять читать «Собеседник».

— Но полно толковать о делах важных, — продолжал говорливый щеголь, посмотрев на часы, — скоро двенадцать, брось это, пойдем со мною, я тебя накормлю славным завтраком.

Слово «завтрак» подействовал как магический прут на юношу: он поспешно положил бумаги в боковой карман, еще скорее взялся за шляпу, и оба, напевая французскую песню, вышли из лавки.

Я и хозяин несколько минут молча смотрели друг другу в глаза. Наконец, Василий Алексеевич сказал мне:

— Как это, Авдей Анкудинович, вы не вмешались в разговор, чтоб изобличить этого молодчика?

— ...Не мечите бисера...— отвечал я, закрывая книгу.

— Что пользы разуверять эдаких судей. Но жаль,— продолжал я, вздохнувши,— что есть люди умные одного мнения с этим молокососом; а все оттого, что не знают Ромодановского. Я расскажу тебе один случай из множества слышанных мною от покойного Андрея Константиновича Нартова. Ему можно поверить, потому что он был близкая особа к императору Петру I; после того суди сам, каков был князь-кесарь.

Василий Алексеевич, с большим вниманием выслушав мою повесть, в коротких словах рассказанную, заметил мне, что нехудо было бы ознакомить с нею публику. Следую благому совету.

Дом князя Федора Юрьевича находился в Москве, на Моховой, неподалеку от Каменного моста. На обширном дворе, огражденном с улицы железною решеткою, расписанною яркими красками, возвышались большие каменные палаты простой старинной архитектуры. Осененный венцом и мантиею большой щит лепной работы на столбах, поддерживавших ворота, с изображением родового герба Ромодановских — черного крылатого дракона в золотом поле,— означал, что владетель дома происходил от князей Стародубских. Из сих ворот, над коими по обыкновению наших предков висел образ Тихвинской божия матери, шла выложенная плитами дорожка на правый угол дома, к широкому крыльцу под железным навесом, которое вело прямо во второй этаж, где были жилые покои. В передней, с утра до ночи наполненной служителями, находилось двое дверей. Одна, вправо, вела в столовую избу; огромный покой с четырьмя сводами, кои, опираясь тремя концами об углы и стены, четвертым сходились посередине на толстом каменном столбе, уставленном сверху донизу разного рода золотыми и серебряными чашами, чарами, ковшами, кубками и пр. Стены сей комнаты покрыты были медвежьими и волчьими шкурами, на коих висели оправленные в серебре ружья и пищали, кривые турецкие сабли в богатых металлических ножнах, покрытых чернью или узорами, охотничьи ножи, рога, донские нагайки и кинжалы с ручками, усеянными жемчугом и дорогими камнями. На высоких окнах с мелким пе-

реплетом прибиты были для поддержания занавесок по три свиных клыка, а по сторонам, вместо стенных подсвешников, оленьи рога. Узкий коридор вел из столовой в домовую церковь, где золото, жечуг и каменья, блистая на иконах и в утвари, напоминали о набожности хозяев, которая в то время преимущественно обращалась на украшение святыни.

Другая дверь из передней отворялась в гостиную, которая также была со сводами. Потолок и стены, исписанные альфреско греческим письмом, подобно тому, какое видим на старинных иконах, придавали сей комнате темный вид. Сюжеты картин почерпнуты были из священного писания, на потолке представлялись наши прародители в земном раю, на стенах — Авраам, приносящий в жертву сына, сон Иаковлев, приключения Иосифа и, наконец, притча о блудном сыне. Мебель сей комнаты состояла из тяжелых канапе и стульев с вызолоченными спинками и ножками, обитых алым сукном, и разостланного на полу большого персидского ковра. Третья горница составляла род кабинета. Здесь бросались в глаза большая лежанка, на которой князь-кесарь обыкновенно отдыхал после обеда, портреты царей: Алексея, Феодора и Иоанна с бармами на плечах, с скипетром в одной и державою в другой руке; на письменном столе узенький жестяной футляр, в котором хранились необходимые вещи для письма, самозвонные цилиндрические карманные часы в картонном футляре и несколько столбцов бумаги, заключавших в себе, вероятно, какие-нибудь общественные дела. Над столом, на полке лежали в черных кожаных переплетах с медными застежками Библия, Писания святых отцов, Уложение и несколько разрядных книг, уцелевших от всеобщего их истребления в 1681 г. Сверх того, в углу находился большой короб, где лежал на соломе ручной медведь, исправлявший иногда у кесаря должность чашника. За кабинетом следовала спальня, отсюда узенькая каменная лестница с высокими ступеньками, имевшая вместо поручней веревки, обтянутые красным сукном, вела вверх, в терема, назначенные для женского пола. Нижнее жилье занято было кладовыми, в которых хранился за железными запорами домашний скарб. По сторонам дома, вдоль всего двора, тянулись два длинных флигеля, в левом заключались конюшня, в которой никогда не стояло менее 120 лошадей, псарня и птич-

ник. Правый флигель был назначен для жительства дворян, кои по тогдашнему обыкновению больших бар находились в услужении князя. За домом стояли амбары и службы для черного народа, а далее сад, где замечательна была черемуха, под душистую сень которой Ромодановский приходил иногда в жаркие летние дни искать покоя и прохлады.

Две смоляные бочки, горевшие на дворе у кесаря, освещенные окна, множество саней, собравшихся на улице против его дома, и несколько верховых лошадей, привязанных к медным кольцам у ворот и у забора, означали, что у князя праздник. Ромодановский пировал свадьбу крестника своего Горностаева с девицею Настасьею Полубояровой. Старики наши, справедливо мысля, что, принимая младенца от святой купели, они берут на себя ответственность перед богом в будущем его поведении, весьма строго исполняли обязанности, сопряженные с званием восприемников. Крестник до совершеннолетия находился под некоторым надзором своего отца по духу, мог обращаться к нему в своих нуждах и никогда не уходил без помощи или по крайней мере без благого совета. Ромодановский, бывши еще окольным, возвращался из Троицкой лавры от мощей св. чудотворца Сергия в Москву, и, застигнутый бурей неподалеку от с. Братовщины, принужден был остановиться в усадьбе боярского отрока Дементия Павловича Горностаева в то самое время, когда господь послал сему последнему сына. Мальчика тут же окрестили, и князь принял на себя заботу об его дальнейшем воспитании. Когда Сергею минуло десять лет, он отдал его в учение к архимандриту Андроньева монастыря, а после взял к себе в двор. Сергей носил звание спальника и исправлял должность домашнего секретаря. Однажды, находясь у обедни в соборе Спаса на Бору¹, он слышит, молодые парни шепчут позади: «Вот пригожая дочь Полубоярова». Сергей обратил взор, посмотрел раз, посмотрел в другой — и забыл про молитву. В старину, несмотря на заключение, в котором содержали женщин, редкий мужчина не находил способов переговорить с любимой девушкою. Было обыкновение, что девицы о всяком празднике выходили из домов в сопровождении нянюшек, мамушек или пожилых род-

¹ Собор в Кремле.

ственниц, гуляли за городом, плясали в хороводах, пели песни. В высшем классе общества мужчинам невольно было мешаться в их забавы; но любовь, говорят, хитра на выдумки. Сергей был малый сметливый. Заметив дом, в который Полубоярова воротилась из церкви, он на другой же день купил бисерное ожерелье, синий шелковый платок в золотых цветах и пришел поклониться ими Марье Патрикеевне. Услужливая няня, благодаря за вежливость, успела сказать ему, что Настасья Дмитриевна заметила у обедни стройного юношу в зеленом чекмене с серебряными кистями, намекнула, что в будущий четверг барышня пойдет гулять на Пресню, и прибавила добродушно, что они рады будут встретиться с их милостью. Любовники свиделись, но сие свидание нерадостно было для Сергея: старик Полубояров прочил дочь за другого. Юноша повесил голову, и, не умея пособить горю, решился в тот же вечер, раздевая князя кесаря, поверить ему свою печаль.

— У тебя все дурь в голове,— сурово отвечал князь; — но не кручинься,— прибавил, заметив печальное лицо крестника.— Мы завтра пошлем к Полубоярову Терентьевну; авось, она поправит дело и уговорит его переменить свое намерение.

Имя сей свахи славилось тогда по Москве, говорили, что она никогда даром не обивала порогов. Терентьевна, опытная в своем деле, порасспросила сперва у знакомых об отце Настасьи, потом, явившись к нему, намекнула, что, служа в Соляном приказе, он может найти себе в князе Федоре Юрьевиче знатного покровителя; называла предлагаемого жениха ясным соколом, невесту — дорогой жемчужиной; прибавила, что Сергей у князя как родной, и, наконец, довела до того, что старик распил с нею стакан меду, подал ей руку и произнес: «Дай бог в добрый час!»

В упомянутый нами день князь-кесарь праздновал, как сказано выше, свадьбу Сергея с Настасьей. Гости садились за пир. В тогдашнее время хороший обед зависел не столько от качества, сколько от количества подаваемых яств и напитков. Кривой стол, покрытый бранною скатертью, уставлен был блюдами. Кулебяка с визигою и яйцами, соленый журавль, полотки из поросенка, индейки и гуся, ветчина и буженина с чесноком — бросались первые в глаза. Далее, издавали душистый пар горячие похлебки с бараниной, с курицей в соро-

цынском пшене, с потрохами, и подернутая как бы золотом уха из стерляди, из налимов, из ершей. На другом конце стола — разварный осетр, донская форель и потом жареные: часть сочной говядины, ягненок с чесноком и разная дичь манили вкус и зрение пирующих. Посреди стола возвышалась башня из сахарного теста, подле расположены были блинцы, молочная каша с корицею, маковки, оладьи. Наконец, несколько корзин с миндалем, изюмом и винными ягодами и разного рода медовое варенье на блюдечках служили вместо десерта. Подле каждого прибора стояло по бутылке заморского вина и по три серебряных вызолоченных кружки с мартовским пивом, медом и наливкою; они никогда не осушались, ибо стоявшие позади слуги должны были всякий раз, завидя дно, дополнять их из бочек, которые для таковых случаев заранее выкатывались из погреба и ставились по углам столовой.

На первом месте находились молодые; в то время указ о перемене русской одежды на немецкую был уже издан, но еще не везде приведен в исполнение. Сергей сидел в светло-зеленом лундского сукна чекмене с серебряными застежками и спускавшимися по груди кистями, в алых шелковых персидской материи шароварах и в зеленых сафьяновых сапожках с золочеными каблуками. Рядом с ним Настасья, которой каштановые волосы, собранные под малиновый бархатный кокошник, не должны уже были пленять посторонних взоров. Жемчужные кружева на груди, подаренные ей женихом, соединялись с обтянутым около стройного стана голубым бархатным сарафаном, который обшит был широкими парчовыми тесьмами. Белоснежная ее рука покоилась в Сергеевой, лица их блистали радостью, но его взоры изъявляли нетерпеливость ожидания, в ее очах, которые от предчувствия неги подернулись легкою влагою, примешана была девическая робость. Подле новобрачной сидела посаженная ее мать, княгиня Ромодановская, урожденная Салтыкова. Величественный рост, стройный стан, гордая осанка и взор, исполненный огня и решимости, означали в ней с первого взгляда супругу царского наместника в России. Ее волосы, зачесанные по тогдашней моде вверх, переплетены были жемчугом и кораллами. Она имела на себе корсет и робу из белой штофной материи, шитой золотом, с кружевною бахромою в два ряда у грудной вырезки, на стану и на

коротких рукавах. За стулом княгини стояли кормилица в оранжевом платье с длинным ее веером и карла, который поддерживал ее шлейф, в пунцовом французском кафтане с золочеными пуговицами, в шелковых чулках и башмаках с пряжками. Рядом с княгинею находилась ее сестра, царица Прасковья, в собольей женской шапке с крупным алмазом на челе и в синей бархатной шубе, отороченной лебяжьим пухом. С другой стороны, подле новобрачного, сидел князь Федор Юрьевич, носивший в тот день опашень ¹ зеленого бархату, подбитый горностаем, с Андреевскою звездою на левом боку, а под опашнем кафтан алый штофной материи, плотно доходивший до шеи. Богатый литый пояс и золотая цепь с крестом, в несколько раз обходившая кругом шеи и полученная им еще от царя Алексея, довершала его наряд. Позади кесаря стоял также карла и шут, одетый в платье из разноцветных лоскутков, который, веселя собрание своими остротами, часто приводил в краску молодых. Означенные нами пять особ имели кресла; прочие гости сидели на лавках, обитых алым сукном. За столбом, стоявшим посреди комнаты, находились два немецких музыканта, которые должны были играть на трубах при всяком здоровье, и певчие, кои громким хором славили новобрачных.

Обед или, лучше сказать, ужин давно начался. Уже заздравная чаша несколько раз обошла пирующих, несколько раз уже, испивая кружки меду, они прокричали горько, и пламенный Сергей, запечатлев поцелуй на коралловых устах подруги, громко отвечал сладко. Исчезла принужденность, которая вначале несколько связывала собеседников; забыли о чинах и отличиях: все дышало братством и взаимною любовью. Зарумянились лица, посинели носы. Собрание сделалось шумнее, послышались чоканья стаканов, желания, обеты дружбы. Сам кесарь, всегда угрюмый, забыл обыкновенную свою важность и, повторяя сказанное древним мудрецом, вино веселит душу, словами и примером поощрял всех к скорейшему осушению кубков. Вдруг раздался стук на лестнице, дверь с шумом растворилась и вошел Петр. «Се грядет жених нежданный,—вскрикнул Ромодановский,—не ходите во сретение его», взял стопу с вином, чтоб поднести

¹ Род спанчи, похожей на старинный казачий зипун.

царю, взглянул на него и опустил руки. Обыкновенный пламень очей петровых потух, и в блуждающих взорах являлось необыкновенное беспокойство, вид его был мрачен, на лице, бледном, как полотно, изображалась резкими чертами борьба мужества и твердости с нерешимостию, близкою к отчаянию. Тот же беспорядок господствовал в его одежде, сертук в сене на лисьем меху, подпоясанный простым ремнем, на коем висела сабля, теплая шапка из калмыцких смушек и оленьи сапоги с приставшими к меху глыбами мерзлого снега, показывали, что государь только что приехал из дальней дороги. Это было вскоре после нарвского сражения. Никогда Петр в свое царствование не находился в столь сомнительном положении. Его войско и артиллерия, плоды тринадцатилетних трудов, и лучшие полководцы, призванные им из чужих краев, находились в шведских руках. Враги внешние, предводительствуемые королем молодым, предприимчивым, готовились вступить в его владения. К тому надлежало опасаться врагов другого рода, тем опаснейших, что они были не явные, людей, кои, взирая неприязненным оком на вводимые Петром перемены и на сопряженные с ними пожертвования, почитая нарушением святыни всякое отступление от старины, нетерпеливо сносили его новых обычаев и только ждали случая, чтоб безнаказанно возвратиться к прежней беззаботной жизни. Число их было значительно, ибо немногие в тогдашнее время могли постигнуть высокоую цель и благодетельные намерения Петровы. Для отражения сих зол не было видимых способов: казна истощалась, народ был изнурен. Но Петр не упал духом, надеялся еще, не изменив своему достоинству, отвратить опасность, однако же ни на что не решался, не посоветовавшись с князем Ромодановским.

— Что с тобою, государь,— встревоженным голосом спросил кесарь, приведши Петра в кабинет и посадив на черные кожаные кресла перед письменным столом,— откуда ты?

— Вчера из Новагорода,— быстро проговорил Петр.

— Но что ты так расстроен? — продолжал князь.— Я знаю тебя с колыбельки и никогда не видел на тебе такого лица, как нынче.

— О чем тут спрашивать,— возразил царь с некоторою досадою,— будто не знаешь.

— Что швед тебя разбил под Нарвою? Великая бе-

да! Воля господня. Грустью не пособишь горю. Да о чем тут горевать? Добро бы пришел уже на Поклонную гору¹.

— Да! Я думаю, скоро придет,— со вздохом отвечал государь.— Ты спрашиваешь, о чем горевать? Без армии...

— Ну что же? наберешь другую.

— Без пушек...

— Велишь наделать новых.

— Да откуда взять, из чего сделать? — прервал с нетерпением царь.— Я не камень, не дерево. Сердце у меня обливается кровью, как подумаю, сколько уже терпит этот бедный народ. Ведь они мои дети. Я за каждую их слезу, за каждый вздох должен отдать отчет богу. Подумаешь, голова кружится! Казань с пригородами приписана к Воронежу, Вологда и Устюг к Архангельску, не покинуть же строящихся там флотов. В Малороссии свои права, Смоленск сам умирает от голода, Псков и Новгород, может быть, уже заняты шведами. Остались одни москвичи, и ужели они не довольно несут тягостей? Нет! Я и слышать не хочу о новых налогах.

С сим словом Петр встал, несколько раз тихо прошел взад и вперед по комнате, присел опять и с решительным видом обратился к кесарю. На лице его изображалось спокойствие, но спокойствие, внушаемое отчаянием. Взглянувший на царя в сию минуту невольно привел бы себе на память мореходца, застигнутого бурей в утлом челноке посреди волнующегося моря, который после долгих усилий, видя, что нет надежды к спасению, бросает весла, и, сложив руки, ждет равнодушно своей гибели.

— Брат Карл,— тихо сказал государь,— называет себя вторым Александром, но он не найдет во мне второго Дария. Осенняя буря обвеивает с дуба пожелтевшие листья, ломает пень, но ветвистый корень неподвижен. Уверяю тебя, что прежде этот корень вырвется из земли, нежели Карл предпишет условия Петру. В отчаянных болезнях,— продолжал он, возвыся голос,— принимают отчаянные лекарства. Я издаю завтра указ, чтоб взять от церквей лишние колокола.

— Чтob попасть из поломя в огонь,— вскричал Ро-

¹ Гора в двух верстах от Москвы.

модановский.— Хочешь тушить пожар у соседа, бросив горящую головню к себе в дом. И без того уже народ ропщет на тебя за табак и за бороды: что скажут, если вздумаешь грабить церкви?

— Грабить церкви! — прервал Петр голосом, который привел бы в трепет и самого бесстрашного.— Князь Федор! — промолвил он после нескольких секунд, смягчившись,— я, право, едва ли спустил бы родному отцу, если б он меня назвал грабителем церквей.

— За что ты гневаешься, государь? — отвечал Ромодановский, перебирая между пальцами спускавшиеся из-за пояса кисти.— Ты знаешь, я не суевер и очень понимаю, что бог требует не золота и не камней, а покорности и любви. Если царю Давиду и его прислужникам не вменилось в грех, что они для утоления своего голода вкусили от хлебов предложения; то и тебе не грешно для защиты своих подданных перелить лишние колокола в пушки. Но поди, втолкуй это нашему народу.

— А какая в том нужда? — прервал царь.— Если рассудок говорит мне, что поступки мои клонятся к пользе царства, если вера и совесть им не противятся, то что мне до мнений народных? Чернь недалековидна, ее надобно как на помочах водить, трудиться для ее блага против собственного ее желания. Последуешь за слепым, попадешь в яму.

— Верь мне,— подхватил князь,— легче будет этим людям, которых ты так бережешь, понести вдвое более тягостей против нынешнего, нежели увидеть церкви, лишенные колоколов. Эй, послушай меня, старика. Делай все, что тебе угодно, но не трогай церквей!

Торжественный голос, которым князь произнес последние слова своего ответа, привел Петра в некоторое смущение. На лице его начали опять показываться признаки нерешимости. После некоторого молчания:

— Что же, не присоветуешь ли мне просить мира? — спросил он с презрительною улыбкою.

— Упаси тебя боже! — возразил князь.— Честная брань лучше студного мира, говорили наши старики. Мой совет: не кручиниться и оставить все до завтраго. Сколько тебе надобно?

— На первый случай по крайней мере полмиллиона,— отвечал Петр.

— Полмиллиона! Легко выговорить, а как их добудешь! Как бы то ни было,— продолжал кесарь, приняв

вид веселее, — пословица твердит: утро вечера мудренее. Ты, государь, переночуй у меня, а теперь пойдем в столовую. Там нас ждут. Положим молодых спать. Бедный Сергей давно уж, я чаю, как на шпильках сидит.

Петр с изумлением смотрел на спокойное лицо кесаря и, удерживая его, не мог не спросить, на что он надеется: но Ромодановский, таща его за рукав, повторял: утро вечера мудренее, и государь, зная, что если кесарь заупрямится, то ничем его не переломишь, решился терпеливо за ним последовать.

С появлением их в столовой, Настасья, приняв прощальный поцелуй и благословение от своего отца, находившегося в числе гостей, и от кесаря, ушла в сопровождении всех женщин в спальню. Пирушка возобновилась. Заздравная чаша опять пошла кругом стола. Ромодановский казался еще веселее, чем до царского приезда, и обратил все внимание на крестника, которого по тогдашнему обыкновению надлежало отпустить к молодой не иначе, как навеселе. Сам Петр, уверенный, что кесарь не пировал бы, если б не нашел способов вывести его из трудного положения, начал принимать участие в общей забаве, хотя на лице его приметны были следы сильного беспокойства. Наконец, женщины воротились в столовую, все встали, Сергей должен был дожждаться, пока гости выпили стоя последний кубок с желанием счастливого начала брачной жизни и, поклонившись в ноги крестному отцу и тестю, скрылся, сопровождаемый их благословениями. Обычай требовал, чтоб собрание не расходилось до зари, дабы успеть поздравить и отдарить новобрачных. Таким образом, пирушка продолжалась, кроме того, что государь ушел заранее, чтоб на свободе предаться размышлениям.

Петр, устав от дороги, лег в кабинете на лежанке, на коей постлана ему была постель, и, хотя мучимый неизвестностью, скоро заснул крепким сном. Около трех часов ночи слышит — кто-то его будит, говоря вполголоса: «Вставай, государь, и ступай за мною». То был князь-кесарь в собольей шубе, подпоясанный кожаным ремнем, к которому привешен был огромный ключ, в меховой шапке и держа в одной руке фонарь, а в другой два железных лома. Затворив кабинет от гостиной, князь, приставив палец ко рту, подал знак государю, чтоб он за ним следовал, пошел в спальню, отпер ти-

хонько дверь, выходившую на внутреннюю лестницу, которая прямо вела со двора в девичий терем, и спустился по ней на заднее крыльцо, где приготовлены были сани, заложенные в одну лошадь. Тут кесарь взял из рук доверенного гайдука своего вожжи и, приказав ему ехать с фонарем впереди, посадил с собою царя и отправился в Кремль.

Они приехали к Тайницким воротам. Сие название дано им от тайника или подземной галереи¹, которая отсюда тянулась под всем Кремлем и построена была еще при царях, вероятно, для того, чтоб в случае неприятельской осады или опасности другого рода можно было сим потаенным ходом выйти без помехи из крепости и спасти себя, сев на крытые суда, обыкновенно находившиеся на Москве-реке у означенных ворот. Главная галерея со сводами, аршина в два шириною, шла прямо ко дворцу; от нее боковые поуже тянулись вправо и влево к соборам, к Чудову монастырю и пр. Кесарь, отдав один лом Петру, с другим, взяв у гайдука из рук фонарь, вошел в тайник и вскоре очутился у потаенной лестницы, которая вела в церковь св. великомученицы Екатерины, составлявшей одну из внутренних церквей кремлевского дворца и коей следы видны до сих пор. Отсюда, миновав несколько коридоров, они прошли к замазанной наглухо железной двери, которую едва могли отпереть вдвоем и коей резкий скрип несколько раз повторился под сводами. Она вела их в низкий подвал, слабо освещенный сверху небольшим круглым окном, огражденным снаружи железною решеткою. Тут находилось всей мебели четыре больших кованых сундука и в углу несколько ломаной посуды. Поставив фонарь на пол и указав Петру рукою один из сундуков, князь Федор Юрьевич сел на другой и сказал государю с торжественным видом:

«Отец твой не так был боек, как ты, но держался старинного правила: береги копейку на черный день. Он не срамил меня перед людьми за чекмень, не смеялся мне за то, что стригу волосы в кружок и езжу тройкою, но, помяни господь его душу, жаловал иногда меня, верного слугу. Перед кончиною, он сказал мне об этих четырех сундуках, говоря: «Отдашь детям, но в таком только случае, если им крайне понадобится»

¹ Тайник сей оставался в целости до 1812 г. Подрыв Кремля Наполеоном повредил его во многих местах.

ся». С того времени, и вот скоро двадцать пять лет, моя нога здесь не бывала, и никто в мире, кроме меня, не знает не только о них, но даже о подвале. Вот тот,—продолжал он, указывая на один из сундуков поменьше,—который тебе надобен; тут найдешь столько, сколько запросил у меня, но о прочем и не заикайся; ты знаешь, что меня нелегко упросить». С сим словом кесарь встал, и держась за скобку указанного им сундука, промолвил: «Возьми за другой конец, вынесем его отсюда, чтоб нас здесь не видали».

Можно судить, с какими чувствами Петр выслушал его речь. Бросившись на шею к кесарю и прижимая к сердцу, «спасибо тебе, дядя Федор! — вскричал он с чувством.— Благодарю тебя за верность. Ты был честный слуга отцу и друг нелицемерный сыну».

«Благодари своего отца,—прервал князь,—за то, что он и по смерти хотел быть вашим покровителем. А меня за что? За то ли, что не украл?».

Слезы, брызнувшие из очей Петра, и сильноежатие руки послужили ответом благородному старцу. Спустя несколько времени оба, держась за руки, вошли в княжескую столовую и приняли участие в шумной беседе. Государь, восхищенный не столько тем, что получил без затруднения способы к отращению висевшей над ним грозы, но тем, что увидел новый опыт верности и бескорыстия в слуге, которого почтил своею доверенностию, был в самом веселом расположении духа. Вскоре Ромодановский, улыбаясь, предложил тост: у тро вечера мудренее, и Петр, бросив на него признательный взор, отвечал ему другим тостом: береги копейку на черный день!

Прибавление для господ критиков

По примеру покойного Мольера, который до представления писанных им комедий всякий раз читал их своей служанке и по ее физиономии судил об их успехе на сцене, я имею привычку сообщать свои повести почтенной моей хозяйке и по ее лицу заключаю о мнении, которым удостоит их публика при выходе из печати. Сегодня, когда девчонка наша, Кулюшка, пришла мне сказать, что время пить чай, я положил в боковой карман рукопись предложенной выше повести и с тор-

жественным видом побрел в гостиную. Проницательная Маланья Сидоровна, прочитав на лице мою мысль, поспешно наредила кипятку в чайник и, поставив его на канфорку шипевшего самовара, попросила меня, улыбаясь, ознакомить ее с новым произведением милого моего пера. Я по обыкновению склонил голову, чтоб скрыть свое удовольствие от столь лестного предложения, болтнул в извинение несколько невнятных слов, кашлянул раз, другой и, наконец, принялся за чтение, заранее восхищаясь одобрением, которое меня ожидало. Кончив, я несколько секунд не сводил очей с тетради, чтоб в самом начале не прерывать делаемых мне похвал, но не слыша ничего, поднял голову, и — судите о моем изумлении — увидел, что лицо моей слушательницы словно подернулось мглою и даже изъясняло некоторую досаду.

— Вам не нравится моя повесть? — спросил я с робостью.

— Нет, батюшка, — отвечала она довольно сухо, — она не дурна, только я не знаю, об чем вы писали?

— Как! разве вы не слышали того, что я вам читал?

— Я потому-то спрашиваю, что слышала. Позвольте спросить, какая у вас была цель: описать пир на свадьбе Сергея или поступок кесаря с государем Петром Первым?

— Разумеется, последнее. Свадьба Сергея — вещь посторонняя, эпизод.

— Я не понимаю, батюшка, что значит ваш эпизод. Мое простое рассуждение вот какое, — продолжала она, подняв обмоченный до половины в чаю сухарь и держа его перед моими глазами. — Если б мне вздумалось рассказать вам, каким образом испечены эти сухари, и я, протолковав час целый о лобазнике, у которого покупала сего дня муку, промолвила об их в конце несколько слов, будто ненароком; вы верно сказали бы, что я описала вам лавочника, а не приготовление сухарей.

Я почувствовал справедливость замечания моей хозяйки, закусил губы и, несколько помолчав, вскричал жалобным голосом: «Итак, прикажете выкинуть все касающееся до Сергея?».

— На что? Как можно? — отвечала она.

— Неужели уничтожить разговор Петра с кесарем? — спросил я, едва переводя дух от страха, чтоб приговор не пал на сию часть моей повести.

— Сохрани вас господи! — вскричала Маланья Сидоровна. — А вот что сделайте, любезный Авдей Анкудинович, — промолвила она с веселым видом и как бы стараясь дружеской улыбкой задобрить меня к исполнению ее совета. — Не ленясь, примитесь за дело и разделите эту повесть на две: одну посвятите для Сергея, опишите его крестины, ученье и прочее, но обстоятельно, не так, как здесь, точно будто скачете на курьерских. Особенно не забудьте подробностей о няне Патракеевне, о свиданиях Сергея с Настасьей, а более всего о переговорах свахи Терентьевны, потому что на них основывается благополучие главных лиц. В другой же повести поместите все, что касается до Петра.

Я, подобно юноше израильскому, который прискорбен бых и отыде, узнав, что для получения царствия небесного надлежит расстаться с богатством, положил рукопись в карман, привстал со стула, поклонился Маланье Сидоровне и, повесив голову, печально побрел в свою горенку.

Старожилов.

1820

АНДРЕЙ БЕЗЫМЕННЫЙ

Старинная повесть

Глава I

Была осень. Лес в окрестностях Валдая, верстах в двух от большой дороги из Петербурга в Москву, находился в оцеплении. Охотничьи рога, свист арапников, шум листьев от конских копыт, лай, визг, вой лягавых, когда несшихся по опушке, когда уходивших в глубину рощи, по мере того как след зверя гороховел, стыл, терялся, изумляли слух дикой смесью разнородных звуков. Везде деятельность, живость, быстрота. Поднимали зверя на поляну, где, держа на сворах неспокойных от нетерпения гончих, находились верхом на известных расстояниях охотники, окрестные помещики, полевавшие в угодьях окольного Ивана Семеновича Горбунова-Бердышева. Сам он в середине, окруженный доезжачими, на лихом аргамаке под турецкою сбруей, с неугасшим от лет пламенем в очах ожидал появления добычи.

Но вместо зверя показалась на дороге из лесу телега, в коей сидело двое мужчин. Едва въехала она на поляну, старший, в некрытом овчинном тулупе, остановил лошадей, соскочил с телеги, снял шапку и, будто занявшись поправкою хомутов, внимательно рассматривал лица охотников. Младший, по-видимому лет двенадцати, окутанный шерстяным платком, обратил взоры на погоню за выскочившими в это самое время из пороши двумя зайцами.

Лов был удачен. Между тем вечерело. Раздался звук рога, возвестивший конец охоте. Ловчие, сомкнув и со-сво-рив гончих, отправились вперед с тороками, тяжелыми от затравленных зайцев, лисиц; за ними в другом поезде владелец села Воздвиженского с деревнями и его соседи. С появлением барина высыпали на двор конюхи для принятия лошадей. Гости разошлись по своим комнатам, дабы, переодевшись, вздохнув, собраться снова и увенчать тревоги дня веселым ужином. Иван Семенович, прежде чем скинул охотничий наряд, подошел по обычаю к окну посмотреть, как проводят по двору коней, и видит, что телега, которую заметил еще на охоте, остановилась у ворот. Мужчину в тулупе, привязав вожжи к одному из колец, коими тогда усеяны были заборы наших барских домов, без шапки, держа за руку спутника, пробирался вдоль боковых строений к господским хоромам. Иван Семенович свистнул.

— Кто приехал? — спросил он у вошедшего на призыв слуги.

— Из Тихвина, от Александра Семеныча, Николай Федоров.

— От братца Александра Семеныча? — повторил с изумлением барин.

— Точно так-с, — отвечал слуга.

— Послать сюда Федорова.

Вошел рослый, плотный, румяный мужчина; коснулся челом земли и, по преимуществу людей дворовых, поцеловав руку господина, подал перевитый шелковинкою свиток с висевшей восковой печатью.

— Что скажешь, Николай Федоров?

— Александр Семеныч приказал долго жить.

— Братец скончался? — прервал Горбунов. — Упокой, господи, его душу! — промолвил, вздохнув и с крестом обратившись к образу. Затем развернул свиток и вполголоса прочел следующее:

— Государь братец, Иван Семенович! Десять лет ложный стыд удерживал меня от сознания, что я оскорбил тебя, и господь тяжко наказал медлившего. Наконец, ложась в могилу, готовый предстать перед судиею праведным, прошу тебя, отпусти мне вину; прости кающегося! Посылаю тебе своего Андрюшу, одно, что осталось от нашей Веры, потому что она была твоя сердцем, хотя мне принадлежала по закону. Ее именем, по ее последней заповеди, заклинаю тебя, будь отцом и матерью сироте: яви на сыне примирение с тенью родителя.

Горбунов кончил чтение письма, когда Андрюша, вошедший между тем в комнату, облобызал его руку. «Это она, это моя Вера! — вскричал старик, взглянув на племянника и утирая рукавом слезы. — Так! вы не обманулись в ожидании. Завет ваш святая для меня заповедь. Отныне, Андрюша, — продолжал он целуя его в голову, — ты мой сын».

Иван Семенович Горбунов служил в молодости в Москве, в дружине одного из знатнейших бояр царя Алексея. Узнал Веру у пожилой родственницы, которая приняла к себе бездомную сироту. Ее беззащитное положение пробуждало участие, красота и душевные качества привязали к ней юношу. Они полюбились всем пламенем первой любви. Между тем наступила война с Польшею. Иван, верный долгу, расстался с Верой, поручив ее надзору брата Александра. Прелесть лица, сладость речей очаровывали всех, кто ни встречал, ни слушал Веру. Александр находил удовольствие в ее беседе, не замечал закрадывавшейся в сердце страсти, когда же заметил, был уже не в силах ее побороть. Мысль, что Вера достанется другому, терзала ослепленного: он решил добыть ее преступлением. Является к ней с грустным лицом и вестью о кончине брата; плачет с горюющею, и когда миновались первые месяцы печали, предлагает ей вместе с рукою подпору и заступление. Между тем Иван, полный любви и отваги, подвизался на поле ратном. Бился под Смоленском, под Витебском; доходил до Вильны; наконец, по наступлении Андрусовского перемирия, богатый милостью царской и славой, с чином окольничего и почетным призванием Бердыш, которое получил, когда при вылазке врагов из Смоленска своеручно иссек польского военачальника, спешит в Москву с надеждой на отдых от трудов бранных в

объятиях Веры. Накануне его приезда Вера обвенчалась с Александром. Иван не хотел видеть брата, но не мог расстаться с Москвой, не упрекнув изменницы. Они свиделись и не на радость. Вера, вышедшая за Александра не по склонности, оставалась верною обязанностям супруги, но не могла уважать того, кого почитала рушителем счастья собственного и счастья существа, которое любила более себя. Томимая тихой грустью, тем более тяжкою, что скрывала ее от ревливой подозрительности мужа, чахла несколько лет и, наконец, истаяла, произведши на свет сына. По ее кончине Александр только и знал напасть. Строптивый нравом, поссорился с начальником и принужден был выйти из Приказа, в котором служил; вотчину его подле Тихвина отобрали на государя; наконец, доведенный до нищеты, не смея прибегнуть к брату, которого оскорбил, мучимый прошедшим, настоящим, будущим, слег в могилу, поручив опеке Ивана Андрюшу, с которым мы познакомились выше.

Глава II

Длинный, по обычаю, стол, уставленный яствами в серебряных судках под крышками, возвещал о наступлении времени ужинного. Впрочем, только умноженное число приборов и бутылок с винами в поставке позволяло догадываться, что собрание собеседников будет значительно. В хлебосольный век, к которому принадлежит наша повесть, истинно держались пословицы: Не красна изба углами, а красна пирогами. Не щеголяли убранством в домах: стены голые, иногда покрытые цветной бумагой или завешенные коврами; вместо диванов, кресел — лавки, обитые кожей или сукном. Но на столе не было пустого места. Мясо говяжье, свиное, баранье, все домашние птицы, дичь, рыба жареные или вареные, в похлебках, взварах, студнях, притом пироги, куличи, оладьи, коврижки, медовые варенья — всего вдоволь. Кушай, сколько душе угодно! Правда, не заботились об утонченностях вкуса: лук, чеснок и перец, необходимая принадлежность старинной русской кухни, слышались в каждом почти кушанье, но зато волей-неволей встанешь сыт из-за стола. Случались ли гости, все блюда разносили собеседникам; кушал ли

хозяин один или с домашними, яствами более обыкновенными, по примеру древних наших царей, жаловал слуг, которым хотел явить милость.

Гости, проголодавшиеся от воздуха и верховой езды, собрались в гостиной, нетерпеливо ожидая хозяина. Наконец, он явился, ведя за руку Андриюшу. «Извините меня, дорогие соседи, что замешкался,—проговорил он к собранию,—господь послал мне сына. Благослови сироту, отче Григорий! — промолвил, обратясь к священнику,—ты знал отца и мать».

В то время как Андриюша подходил к руке священника, вошли слуги, неся подносы, уставленные разноцветными плодовыми и травными водками. Когда гости, чтоб не оскорбить хозяина, отведали каждой, раздалось громкое восклицание: «кушанье поставлено», и все с шумом понеслись в столовую.

Долго слышался лишь стук ложек, ножей, вилок. Когда несколько обнесенных блюд поуспокоили первый позыв к пище, а усердно полнимые слугами медовые и винные кружки пробудили говорливость, хозяин, обратясь к соседу, молвил, глубоко вздохнув:

— Дожили мы до поры, Лука Матвейч! И детям рад не будешь! Волей-неволей посылай мальчика в школу, не то сам попадешь в опальные, да и молодца-то не женят, венечной памяти не дадут. Бывало, и нас учили: узнаешь грамоту, много — цифирь, и дело с концом! И живи, как дай бог всякому! Нет, вишь, хотят, чтоб дети были умнее отцов. Учат, мучат, а что-то будет проку? Не так ли, Лука Матвейч?

Лицо, к которому обращалась сия речь, мужчина полный, тучный, на щеках коего играло здоровье, некогда пятисотенный в стрелецком войске, был сосед Горбуну по деревне. Он безошибочно распознавал на бегу зайца — русака или беляка, с виду определял достоинство гончей, по вкусу — лета меда, но в делах, кои требовали некоторых усилий рассудка, соглашался со всяким, кто с ним заводил речь: не из угодливости, а потому что не имел своего мнения. Долго находился под властью родителей, потом жены, которые за него рассуждали. Наконец, овдовев в тех летах, когда учиться поздно, недоросль в сорок четыре года, почитал лишним труд, без которого столь долго обходился.

— Точно так-с,— отвечал Лука Матвейч.

— Мало того. Кончит ученье, посылай молодца на службу. Бывало, и мы ходили на войну, и мы бивали врагов,— продолжал Иван Семенович, гордо озираясь на стены, увешенные доспехами,— но то ли дело? В наше время боярин в суде, боярин в думе, боярин на поле ратном — везде боярин. Сядешь на коня, сотни, тысячи глядят тебе в глаза. Куда ни кинь оком, везде твои люди. А нынче? И дворянин, и холоп на одну статью: всем та же напасть! Поставят тебя в строй, дадут в руки ружье, и слушайся, кого же? Добро бы своего брата, православного. Нет! у нас-де, вишь, на Руси нет умных людей! Какого-нибудь, прости господи, выписного, заморского сорванца, нехриста, у которого ни кола, ни двора, что двух слов по-человечески промолвить не сумеет. Не правда ли, Лука Матвееч?

— Совершенная правда, Иван Семеныч,— ответил сосед.

— Да это ли одно? Ума, право, не приложишь, коли помотришь кругом себя. Затеяли строить город, где же? На краю земли, в болоте, где и лягушкам нет приволья, селят людей, словно куликов. И имя-то дали городу не христианское, что и вымолвить не сможешь. Губят народ, сорят деньги, а будет ли прок, про то ведает один бог.

Тут Иван Семенович окинул взором собрание, как бы желая прочесть одобрение на лицах собеседников, и, наконец, остановив очи на приходском священнике, спросил: «Что ты молчишь, отче Григорий?».

Отец Григорий, старик седой, как лунь, жил уже третье поколение. Природный ум, образованный чтением священных книг, многолетняя опытность и житие неукоризненное окружили его уважением. Большую часть века провел в Москве, наконец, в преклонные годы, по давней приязни к Горбуновым, перешел на отдых в приход села Воздвиженского.

— Мое мнение не ваше,— отвечал он, оправляя длинные, развевавшиеся по плечам волосы.— Ученье — свет, неученье — тьма. Царю ниспослана свыше мудрость, и нам подобает возносить мольбы ко господу, да поможет ему излить ее на свою паству! Иноземцы опередили нас в науке и всяком знании; нет стыда, подавно греха, перенимать хорошее; придет, может быть, время, что они в свою очередь будут от нас заимствоваться. Вы жалуетесь, что бояре несут одну

службу с холопами. Послушайте же. Лет двадцать назад случилось мне быть у священника села Коломенского под Москвою. Пора была осенняя, как нынче, на дворе холод, буря, дождь ливнем, непогодь, что на улицу и калачом не заманишь. Против нашего дома, у дворца государыни Натальи Кирилловны, стоял ратник лет шестнадцати, промок, сердечный, продрог, а выстоял под ружьем свое время, пока его не сменили. Кто ж, мыслите, был этот ратник! Государь Великий, Малый и Белый России, наместник бога на земли! Что же против царя ваш боярин, будь его имя на всех листах Разрядной книги? Санкт-Петербург, правда, перевел много православных, но послушайте, что бают в народе: «Коли-де сам государь-батюшка, с топором в своих царских руках, валит лес, по пояс в воде, долбней вбивает сваи, как же нам, рабам его, не терпеть? Сам-то он болеет за нас душой, да, видно, дело-то нужное. Не трудил бы, не мучил бы себя, коли б не видал нашей пользы». И порассудишь, увидишь, народ прав. Государь живут не для одних современников, а бросают семена, растящие плод, от коего снедят потомки, и внуки наши будут благословлять Великого за построение города, который вы нынче зовете болотным гнездом. Но зачем ходить далеко? Не видите ли кругом себя благотворных последствий трудов его? Слуги ваши ходят в сукне, какое, в мою память, кой-когда появлялось на боярах; в доме вашем убранство, какое только видали в царских палатах. Перейдите к другому. Вспомните Азов, Калиш, Лесное, Полтаву, имена, кои будут жить, пока живет Россия. Чем подобным похвалится ваша старина?

Иван Семенович привык с детства уважать своего духовника и позволял ему противуречить, но унижение старины, времен его славы, его подвигов почитал личным оскорблением. Не возразить было свыше его сил.

— Чем похвалится наша старина? — прервал он с запальчивостию. — Иной помыслит, батька, лета отшибли у тебя память. Чем похвалится наша старина? Этот бунчук, отче Григорий, — тут он указал на стену, — эта сбруя добыты мною у турецкого паши в поход Чигиринский, когда мы карали бусурман за Малую Россию; эта кольчуга принадлежала мурзе татарскому, которого полчища мы иссекли у порогов днепровских; лезвие этого меча рубило поляков под стенами Витебска, и, наконец,

этот бердыш, который еще багровеет запекшеюся кровию врагов, по коему блаженный памяти государь Алексей Михайлович, упокой господи его душу, изволил пожаловать мне, холопу своему, прозвание, этот бердыш есть памятник завоевания Смоленска, всей Литвы и в ней шестидесяти городов. Чем подобным похвалится ваше нынешнее, хваленое время?

Отец Григорий, не хотевший дальнейшим разногласием гневить хозяина, которого знал слабую сторону, помолчав немного, спросил вместо ответа: «Скоро ли чаете отвезти Андрея Александрыча в школу?»

— Я? Нет, отче! Я в Новгород не ездок. Туда являйся не иначе как в немецком платье, а мне на старость поздно рядиться скоморохом. Это твое дело, Терентьич!

Терентьич, к которому обращена была речь, мужчина малорослый, перебивавший в трех приказах, исчах над деловыми бумагами. В то время на Руси судов и судей еще не было: отдавали ее, матушку, на корм воеводам, кои в областях были как дома: вершили, рядили, никого не спросясь; катались как сыр в масле. Каждый помещик имел у себя в доме подьячего, наторевшего в законах, которого обязанность была отстаивать милостивца у воеводы.

Вотчина Горбунова окружена была поместьями, незадолго перед тем пожалованными любимцу Петра I, князю Меншикову. Князь неоднократно предлагал Ивану Семеновичу продать имение или взамен выбрать любое из его поместий: но Горбунову-Бердышу расстаться с селом Воздвиженским, которое получил в награду за многие верные службы, на коем основывал честь своего рода, казалось более чем преступлением. Отказ произвел неудовольствие и частые между соседями споры. Терентьич вел битву за Ивана Семеновича. И действительно, трудно было в околотке отыскать борца искуснее. Уложение и новоуказные статьи, притом все крючки, все натяжки, какие искони водились между приказными, были ему свои: приискать закон, перетолковать его в пользу или против, проволочить или ускорить дело, задобрить кого словом, кого мздою — никто лучше Терентьича не ведал. Пронырливый, изворотливый, неразборчивый в средствах к достижению цели, умея принять все личины, нередко самого Горбунова приводил в изумление и страх, чтоб клевет не сделался противником.

Терентьич, сидевший на конце стола, привстав, отвечал тоненьким голоском: «Как ваша милость приказать изволит». — «Вот настанет зима, и тогда с богом!».

Между тем самозвонные часы пробили восемь. Собеседники, усталые от охоты, чтоб к следующему дню собраться с силами для новых подвигов, осушив в заключение по братине меду, разошлись по своим комнатам на покой. Так миновался первый день пребывания Андрюши в селе Воздвиженском.

Глава III

Несколько месяцев спустя после вышеприведенной беседы, от раннего утра все было в движении в доме Горбунова. Перед крыльцом стояла большая крытая кибитка, на дворе несколько саней, тяжело нагруженных чемоданами, сундуками, кулками, кулечками. Старики наши были домоседы, ограничивали путешествия уездным, много областным городом, но и те совершали не иначе как обозом. Дело-де холопское пускаться в дорогу на одной телеге; дворянин, чтоб не уронить звания, вез с собою весь дом. По отслужении напутственного молебна посадили Андрюшу, укутанного между Терентьичем и дядькою Николаем Федоровым, и обоз потянулся к Новгороду.

В то время заря просвещения едва начинала проявляться на горизонте России. До Петра I воспитание у нас находилось исключительно в руках духовенства. Государь сей, до учреждения гражданских училищ, введши преподавание некоторых светских наук при архиерейских школах, повелел обучать в них детей всякого звания. В Новгородской школе, после Киевской и Московской важнейшей, было всего двое учителей. Дьячок Никандр, незадолго прибывший из Славяно-греко-латинской академии, обучал закону божью, чтению книг по старому и новому письму и церковному пению; воспитанник морского училища, что на Сухаревской башне, преподавал цифирь, географию и начала геометрии. В этом заключалась премудрость, к таинствам которой готовились приобщить нашего Андрюшу.

После четырехдневного пути Терентьич привез к новгородскому архиерею юного питомца с письмом, жи-

вою стерлядью и бочонком заморского вина от своего милостивца. Преосвященный, давний знакомец Ивана Семеновича, поручил Андриюшу надзору келаря, приказав ему поместить мальчика в своей келье.

Между школьными товарищами Андрей преимущественно подружился с Желтовым. Оба были одинаковых лет и способностей, дворяне, сироты; различествовали нравом и положением. Андрей, живой, резвый, отличался добрым сердцем и шалостями. Желтов, тихий, важный, прикрывал вялою наружностью редкую в эти лета решимость. Первый, без состояния, нашел дядю, тужившего об нем, как о сыне; второй, богатый наследник, попал к опекуну, который старался об удалении племянника, дабы в отсутствие юноши рачительнее править его именем. Дьячок Никандр, надзиратель и главный учитель школы, муж твердый в священном писании, особенно изучил два изречения: муж биет дитя не разумно и другое: иже щадит жезл, ненавидит сына своего; любяй же наказует прилежно. Дабы явить себя вместе мудрым и чадолюбивым, педагог весьма усердно следовал наставлениям царя израильского. Каждую субботу по окончании классов стены школы оглашались криком и визгом несчастных страдальцев его мудрости и чадолюбия. Андриюше доставалось реже: он жил в доме архиерейском, находился под покровительством преподобного отца келаря; притом Терентийч являлся в Новгород всякие три месяца с фурой разных запасов в поклон начальникам юноши, причем и на часть Никандра перепали когда кусок байки на сюртук, когда иной, другой рублишка. Но Желтов, без защиты, без покровителей, в конце каждой недели чувствовал тягость руки грозного наставника, когда за вину, чаще для примера. Долго мальчик переносил, крепился, наконец, увидев, что ни прилежание, ни скромность не избавляли от деятельного сердоболия дьячка, вышел из терпения. «Шали, не шали, все те же розги, пускай же хоть будет за что». В классе на возвышении находилась кафедра, над кою висело жестяное люстро, которое на лето снимали. Никандр, близорукий, полуглухой, взошел по лесенке на кафедру, имел обычай, наклонившись на лежавшую перед ним тетрадь или книгу, выслушивать уроки подходивших учеников. Желтов, забравшись в класс в часы отдыха, привязал к вделанному в потолок кольцу люстра

ры бечевку, в конце которой прикрепил загнутую крючком булавку, и когда подошел к кафедре для высказывания урока, осторожно зацепил крючком косичку строгого ментора. Пробоило одиннадцать. Учитель, сложив тетрадь, встает, сходит с лесенки, но едва ступил на вторую ступень, не тут-то было, хочет оборотиться, не может. Между тем от этого движения лесенка падает, и дьячок Никандр, гроза школы, за два дня до посвящения в дьяконы, повис между потолком и полом, при громком смехе тех, кои дотоле трепетали от одного шума его шагов.

Преступление было велико, и преступник недолго укрывался. Товарищ, которому неосторожный открылся, напуганный, назвал Желтова, и раба божия отвели в исправительную, дабы, продержав там до субботы, нещадно наказать в виду всех учеников и потом позорно выгнать из школы. Исправительную звали в отдаленной части архиерейского дома уголок, огражденный перегородкою в два человеческих роста. Там Желтов, на хлебе и воде, лежа на голом полу, со страхом в сердце, и днем и в ночных грезах видел перед очами роковой день. Вдруг ночью слышит сквозь сон, кто-то зовет его по имени. На отзыв тот же голос: «Вставай, времени терять некогда, не ждать же завтрашнего дня!». С сим вместе спустилась к нему с перегородки веревочная лестница. Желтов поспешил выбраться из тюрьмы. Встретил его Андрюша: «С помощью Николая Федорова мне удалось обмануть бдительность о. келаря. От тебя теперь зависит избежать мстительности Никандра. Вот тебе все, что теперь имею», — промолвил он, подавая Желтову одной рукою несколько серебряных рублей, а другою отпирая окно, выходившее на улицу, — поспеши до свету выбраться за город, чтоб нам обоим не попасть в беду, а там, господь тебя не оставит!» И не дав Желтову высказать благодарности, с братским поцелуем спустил его по веревочной лесенке, поднял ее и, заперши окно, без шума воротился в келью.

Недолго спустя после сего подвига кончился курс учения. Андрюша в четырехлетнее пребывание в школе бегло выучился русской грамоте, вытвердил большую часть псалтыри, твердо знал цифирь до правила товарищества, умел отличить квадрат от треугольника, параллелограмм от круга, назвать европейские государства

с их столицами и награжденный похвальным листом от преосвященного, со славою многоученого воротился к нетерпеливо ожидавшему его дяде.

Глава IV

Наступило время отправления героя нашего на службу, но Иван Семенович, привязавшийся к племяннику, как к сыну, со дня на день откладывал. «Он-де еще ребенок, куда ему мыкать горе, таскаться с ружьем», хотя ребенку, ростом вершков девяти, миновался уже двадцатый год. Андрей между тем полевал с дядей зайцев и лисиц, травил соколами журавлей, стрелял на близлежащем болоте гусей и уток. Когда ходил с рогатиной и ножом на медведя или гнался за быстрою ланью, когда умучивал диких коней дядина завода. Смелый, не зная ни страха, ни усталости, радовал старика Горбунова, которому подвиги юноши приводили на память собственную удалую молодость.

В одно летнее утро Андрей ехал лесом на борзом коне арабской породы, дотоле мало носившем седоков. Что-то шорохнуло в листьях, испуганный конь взвился дыбом и пустился молнией в сторону по случившейся просеке. Андрей хотел удержать его на поводьях, поводья оборвались. Тогда, схватившись за гриву, представил себя на волю ретивого. Сей, несясь через пашни и луга, примчался к пруду, обсаженному деревьями в два ряда. Между березами качались девицы под звук заунывной песни, которой вторила пожилая женщина в телогрее, сидевшая за пряжей подле, на берегу пруда. Поодаль стояло несколько мужчин, по-видимому, слуг. Вдруг одна из девушек при виде несомого стрелой всадника вскрикнула. Андрей, дотоле ездок внимательный, оглянулся; между тем конь в воду, и седока на нем не стало.

Пришед в чувство, он увидел себя в постели, укутанный одеялами. Подле сидела женщина преклонных лет, которую по шелковой фрязи и богатому платку на голове, принял за боярыню. Перед кроватью стол с огромной шашечницей, шашки в беспорядке и отодвинутые от стола к середине комнаты кресла показывали, что игра была недавно прервана... Стены, обитые цветною бумагой, развешенный по ним охотничий наряд, большая

печь с лежанкой, в углу киот с иконами в серебряных окладах — говорили Андрею, что он в незнакомом месте.

— Где я? — спросил он вполголоса.

— Насилу-то ты очнулся, батюшка, — ответствовала старушка. — Куда ты нас было перепугал! Ивановна! — продолжала она, обратившись к стоявшей в углу женщине, — попроси скорее Луку Матвейча. Что, каково тебе, мой родной?

— Слава богу! — отвечал Андрей, — только немного знобит.

— Как не знобить? — прервала незнакомка. — Легкое ли дело? Мало ли ты, голубчик, пробыл в воде? Да беда, что тебе здесь и пособить нечем. Я человек заезжий, а в доме брата, Луки Матвейча, такая безладница, что ничего не найдешь. Сейчас потороплю их, чтоб подали тебе чаю.

В дверях встретилась она с Лукой Матвеевичем.

— Ну, Андрей Александрыч, — сказал он, придвигая к кровати большое, обшитое черной кожей кресло, — перепугал ты нас порядком. Бог с тобой! уж мы тебя и раскачивали и оттирали; да спасибо надоумила сестра, княгиня Ирина Матвеевна, положить тебя в постель. Наказал тебя господь за удалство, не будешь вперед молодецествовать. Да и то сказать, лихого ты коня себе подобрал. Я теперь только смотрел его. Как ни в чем не бывал! Как ты это так оплошал?

— Поводья оборвались, Лука Матвейч.

— Поводья! Уж бы за это конюхов! Иван Семенович такой благодушный, по мне — всех бы до одного передрал.

— За что же всех? — возразил Андрей.

— Виновного за то, что провинился, а прочих в острастку, чтоб знали, каково провинившемуся, — отвечивал хозяин. — Так ведется у меня от дедушки. Ведь счастье, что моя Варвара очутилась на ту пору у Ольгины пруда; не то упаси чего боже, поминай, как тебя звали.

Между тем воротилась княгиня со слугою, несшим на подносе кипевший чай. «Покушай, батюшка! Согрейся и усни! Увидишь, как рукой снимет».

Предсказания старушки сбылись. Живительная влага действительно произвела благотворное влияние на оцепенелые члены Андрея, но сон не приходил ему на ум.

Почувствовав в себе довольно крепости, встал и оделся, чтоб поблагодарить хозяев за ласковую внимательность, поспешить домой успокоить дядю в долгом отсутствии. Прошед из спальни через несколько комнат, ступил в одну, в которой светлые бумажные обои, дубовая софа, явление в то время редкое, и несколько кресел, обитых кожно, большое зеркало в зеркальных же узорчатых рамах показывали, что то была гостиная.

Но убранство комнат не занимало Андрея. Все его внимание обратилось на окно, у которого за большими пальцами, в объяринном сарафане с золотыми пуговками, сидела девица, в коей он узнал незнакомку у пруда. Кто из вас, любезные читатели и читательницы, буде таковые найдутся, не испытывал на себе того изумления, той немоты чувств, какую ощущаешь при первой встрече с предметом, к коему что-то невольно влечет тебя? Когда, не понимая, что в тебе происходит, утратив память, мысль, язык, весь погружаешься в созерцание стоящего перед тобой существа? В таком положении был Андрей, когда Варвара подняла на него голубые очи, когда поразили взор юноши ее высокое чело, осененное светло-русыми кудрями, румянец, вспыхнувший было на белых как снег щеках, полная грудь, пробивавшаяся из-за ревнивой дымки. Варвара была не в меньшем изумлении. Уже при царе Алексее, подавно в правление Софии, женщины начали покидать у нас затворническую жизнь. Варенька, лишившись матери в детстве, от ранней юности привыкла быть хозяйкой в доме, и вид чужого мужчины был для нее не диковинкой. Но при воззрении на юношу взрослого, статного, который пожирал ее пламенными глазами, на черные усики, придававшие мужественную наружность его чистому, белому лицу, боязливая, как серна, румяная, как роза, то поднимала робкие очи, то опускала их в землю. Наконец, Андрей, приободрившись, первый прервал молчание.

— Я пришел извиниться перед вами, Варвара Лукишна,—сказал он заминаясь,— в испуге, который нехотя причинил вам.

— Благодарение богу,— отвечала она застенчиво,— что он вас сохранил.

— Благодарение богу и вам. Без вашего драгоценного участия я, может быть, доселе лежал бы на дне пруда.

Неблаговременный приход отца не дал Вареньке от-

вечать. «Исполать тебе, Андрей Александрыч! — вскричал он, ступив в комнату. — Дело говорит сестра, княгиня Ирина Матвеевна, в двадцать лет нет у людей недуга. Не прошло трех часов, как тонул, а опять молодец хоть куда, как ни в чем не бывало!».

Андрей, повторив извинения и благодарность перед стариком, хотел было раскланяться. «Нет, Андрей Александрыч, — возразил хозяин, — ты и то у нас редкий гость. Благо, заполучили! Видано ль, чтоб я тебя, охотника, отпустил, не похвалившись псарней, не показав тебе конского завода! Он хоть не чета вашему, да за себя постоит. О батюшке не беспокойся, спасибо, надоумила сестра, княгиня Ирина Матвеевна, я давно уже отправил к нему вершника сказать, что ты у меня ночуешь».

Горбунову было в эту минуту не до псов и коней; но он невесть на что бы согласился, чтоб видеть еще Варвару, провести ночь под одним с нею кровом.

— Пойдем же! времени терять нечего, — сказал Лука Матвеевич, таща Андрея за рукав, — до обеда успею еще кой-чем тебя потешить.

Вскоре привел он гостя к длинному сараю, у которого ловчие в зеленых куртках с изображением медного рога на груди ждали барского прихода. Внутренность псарни чистотой и порядком едва ли не превосходила жилых покоев. Каждый из множества псов имел свой короб, выложенный войлоком и устланный свежей соломой; в стенах вделаны были на равных расстояниях медные кольца, к которым их привязывали. При входе посетителей псы с радостным визгом бросились к своему милостивцу. «Прочь, негодные! прочь, Зарез! Стрела, на место! Эй, привязать их по местам! Вот, любезный Андрей Александрыч! — продолжал Лука Матвеевич, с торжествующим видом, — Сокол, который в одну погоню травит двух зайцев; Стрела, уж подлинно стрела, никому коню ее не обскочить! А Вихрь? весь околоток на него зарится; сосед Бегунов невесть что давал в обмен; да, небось, Лука Матвейич не даст промахал!».

Удержимся от дальнейшего исчисления достоинств и родословной собак, соколов, коней Луки Матвеевича, исчисления, которое, вероятно, столько же надоело бы вам, любезные читатели и милые читательницы, сколько Андрею. Крепя сердце, он нес муку, пока, после доброго часа, не отвела души весть, что кушанье поставле-

но. За столом Андрей сидел против Варвары. Несносно было слушать или притворяться слушающим рассказы хозяйина о подвигах его осенней охоты, отвечать на назойливые вопросы княгини, но, глядя на Вареньку, Андрей забывал скуку. Взоры их встречались редко и, словно по какому-то механизму, тотчас опускались вниз; но в сих мгновенных встречах юноши, еще неопытный и по слуху не ведавший любви, успел уже прочесть, что он не противен: так понятен и для начинающих язык очей.

После обеда, когда, по обычаю предков, старики ушли отдохнуть, они опять свиделись наедине. Не было между ними и помину о любви. Говорили — Варвара о поездке в Москву, из которой только что перед тем воротилась с теткой, Андрей — о жизни села Воздвиженского. Но в сих речах, по-видимому обыкновенных, внимание, с каким собеседники друг друга слушали, нескромности, мимо воли у обоих вырывавшиеся, обнаруживали скрываемую каждым из них тайну.

С сего дня Андрей ожил новою жизнью. Опостылели стрельба, скачки, охота. Из коней только и был ему дорог Араб. К соседу ездил он так часто, как лишь позволяло приличие. Лука Матвеевич приписывал сии посещения удивлению его псарне; княгиня, страстная до шашек, — желанию доставить ей удовольствие игрою; одна Варвара не ошибалась в догадках. Пылкость Андрея, бесстрашие, самая опасность, от коей она некоторым образом его спасла, заронили искру в сердце красавицы. Притом он имел у любезной усердного ходатая. «Уж куда как мил этот Андрей Александрыч! — говаривала вместо обычных сказок няня Ивановна, раздевая барышню по вечерам, — лицо — кровь с молоком, голос, словно соловей поет, глядишь, не нагладишься, слушаешь, не наслушаешься; и какой чтивый! Награди его бог. Меня, старуху, подарил объярью на телогрею: «Ты де, нянюшка, ходила за мной больным». Дал бы мне бог попировать на нашей свадьбе! Чем он тебе не жених, Варвара Лукинишна? Сродясь лучше не видала. И богат, и молод, и уж куда как тебя любит! Во всем околотке не найдешь пригоже». Такие и подобные речи вела няня, кладя барышню в постелю, и если верить источникам, откуда мы заимствовали сию повесть, Варвара, слушая их, не засыпала по обычаю.

— Ты сегодня, Андрей, останешься хозяином в доме, — говорил одним утром Иван Семенович племяннику. — Меня звал сосед Лука Матвейч. Сегодня минуло его дочке шестнадцать лет; выводит ее, вишь, в люди.

— Батюшка! — отвечивал Андрей, целуя руку старика. — Я люблю Вареньку, она меня любит, благословите, помогите нам!

— Как? — вскричал с удивлением дядя, глядя племяннику в очи. — Ты любишь Вареньку? То-то, бывало, спрошу — где Андрюша? Все одна песня — уехал-де в село Евсеевское. И Варенька тебя любит? Ай да сокол! Еще не оперился, а уже добыл добычу. Исполать тебе, Андрей! Чего же тебе хочется? Жениться? И меня берешь в сватья! Изволь! Быть делу так! Варенька девка разумная; одна дочь у отца, и приданое хоть куда! Только смотри, молодец, не ударить лицом в грязь! Дай мне потешиться на старости, поняньчиться с внуками!

В это время подвезли сани, и Горбунов-Бердыш в собольей шапке, обвязанный шерстяным платком, укутанный в медвежью шубу, отправился в село Евсеевское.

Там сарай и обширный двор уже несколько дней набиты были кибитками, саними, конюшни лошадьми. В людских и девичьих теснились толпы прибывших с баррами и барынями слуг, девок, карл, дур, дураков. В гостиных покоях, убранных по-праздничному коврами и завесами, собрались свойственники, родные по отцу и по матери и знакомцы Луки Матвеевича пожилых лет, съехавшиеся из ближних и дальних мест на праздник шестнадцатилетия его дочери. Ныне время первого выезда девицы в свет проходит почти без внимания; догадаешься разве только по локонам, небрежно опущенным за уши, и еще не вьющимся трубками кругом чела, что она не оставляла родительского дома. Но в первой четверти XVIII в., когда жизнь общественная начинала у нас проявляться, старики, справедливо полагая, что появление женщины в свет — важнейший шаг в ее жизни, считали обязанностью праздновать день ее совершеннолетия особнным торжеством. Вы, конечно, слышали о постригах, какие в старину совершались над юношами, когда их впервые облакали в оружие. Обряд введения девиц в люди имел с постригами некоторое сходство. Девица до шестнадцатилетнего возраста носила на за-

плечьях крылышки, видом похожие на бабочкины. Когда наступал ей семнадцатый год, по приезде родственников отправлялись в домашнюю церковь или за неимением церкви в одну из комнат поболее, где поставлен был нагой. Духовник читал громким голосом сочиненную на сей случай молитву, в которой, благодаря бога за сохранение именинницы, поручал святому его промыслу юную виновницу торжества. За сим все садились кругом, старшие на почетном месте, прочие ближе или далее, по летам. Наставало глубокое молчание. Отец или старший мужчина, с ножницами на серебряном подносе в одной руке, вводил другую дочь или племянницу в круг и после обычных во все стороны поклонов подходил с нею к самой пожилой из родственниц. Внучка кланялась бабке в ноги. Сия, привстав, обращалась к ней с поучением: что доселе, свободная, как бабочка, она беспечно предавалась движениям детской откровенности, но наступило время, когда, скованная приличиями, должна будет отказаться от прежней невинной веселости и подчинить себя тягостным требованиям света. От сего дня каждое ее слово, взор, поступь сделаются предметом толков, замечаний, пересудов; посему будь она чрезвычайно осторожной и всегда помни, что скромность — лучшее украшение, а доброе имя — самое драгоценное сокровище ее возраста и пола. За сим, взяв с подноса ножницы, при звуке труб, литавр, громких кликах присутствовавших и слезах внучки, обрезывала ей крылышки, сию красноречивую эмблему счастливого детства. Тогда отец представлял собранию дочь как совершеннолетнюю. Между тем являлись слуги с подносами, на коих стояли стопы, полные вина. Именинница подносила каждому из гостей, который, осушив кубок, оканчивал поздравлениями и поцелуем, последним, какой позволялось девицам давать или принимать от чужого мужчины.

По свершении обряда, когда Варвара, обошед всех собеседников, с пылавшим лицом и вздувшимися от поцелуев губами, поднесла последний кубок отцу, сей, выпив до дна, примолвил: «Дал бы господь, Варенька, также счастливо выдать тебя замуж, как мы вывели тебя в люди!».

— За этим дело не станет! — подхватил Горбунов-Бердыш. — Появись лишь Варвара Лукинишна в свет, а женихи прильнут, что мухи к меду.

— Каков жених, батюшка Иван Семенович! — молвила княгиня Ирина. — Бывало, у нас молодые не выдались, не слыхивали друг про друга до свадьбы, а нынче, православным на соблазн, родители ни про что не ведают, не гадают: сами слюбляются, сами берутся.

В другое время, в другой вещи Горбунов-Бердыш не преминул бы приобщиться к нареканиям на испорченность века, но, вспомнив, что сам некогда любил и был любим, удовольствовался ответом: «Не то время, княгиня, не те обычаи!».

— Стыда, право, не стало у людей, — продолжала Ирина. — Проезжала я намеренно через Москву. Завели там, вишь, по-немецки какие-то а с а м л е и. Своят дочек на показ: поплясать-де, повеселиться. И добро бы со своими. Нет! Сзывают, словно о масляной в собачью комедь, встречного, поперечного: всем гостям рады. Дочки обнимаются, шепчутся с незнакомыми мужчинами, а матушкам то и любо — глядят да похваляют. Далеко ли, прости господи, до греха?

— Нынче, вишь, народ больно умудрился, — молвил Иван Семенович. — Мы с вами, княгиня, не изменим старине. Что бы вы, например, сказали, если б мне вздумалось явиться к вам сватом?

— Милости просим, батюшка! — ответствовала княгиня Ирина. — Не так ли, братец Лука Матвееч?

— Прошу покорно, — промолвил Лука Матвеевич.

— Есть у меня жених на примете: молодец собой, не без достатка, словом, постоит за себя. Ваша Варвара Лукинишна с сегодняшнего дня невеста, и пара из них вышла бы славная.

— Кто таков-с, позвольте узнать? — с любопытством спросила княгиня Ирина.

— Ни дать, ни взять, мой Андрюша. Молодцу минует скоро двадцатый год. Хотелось бы на старости поняньчить внуков. Мы с тобой, Лука Матвееч, лет тридцать жили добрыми соседями, почему бы не кончить родством?

— По мне, — ответствовала княгиня, вспомнившая о готовности Андрея играть с нею в шашки, — благослови их господь! Андрей Александрыч умен, пригож. Вареньке лучше жениха не найти. Как ты думаешь, Лука Матвееч?

— Вестимо, вестимо, сестрица княгиня Ирина Матвеевна! Я одних с вами мыслей, — промолвил Лука Матвеевич.

— О чем же дале толковать? По рукам, да и дело с концом! — продолжал Иван Семенович, протянув свою к соседу. Старики скрестили ладони, княгиня разняла, восхищенный Горбунов-Бердыш назвал Варвару, еще более счастливую, дорогою дочкой.

Между тем в столовой ждал гостей богатый пир, заключение торжества. Все прихоти старинной русской и тогдашней полуюропейской кухни, все, что могла придумать затейливая изобретательность века, было тут собрано, начиная от жареных павлинов и фазанов до огромной литого сахара башни, под конец пира распавшейся по трубному звуку и открывшей удивленным зрителям старуху карлицу, которая, провизжав осиплым голосом свадебную песню, поднесла имениннице цветочный венок. Но ни в чем не явил хозяин более тароватости, как в винах. В тот век пир был не в пир, если гости могли встать из-за него без чужой помощи. Ни лета, ни здоровье не избавляли от участия в веселии. Закон беседы для всех один: старики и молодые, крепкие и слабые, осушай до дна круговую чашу. Отговорки, жеманство — оскорбление хозяину, неуважение собеседникам. Или совсем не приходи на пир, или, пришедши, пей, пока вино не отнимет ног, рук, памяти. Вдоль стены на брусках стояли выкаченные из погреба бочонки с романеи, мальвазией, бордоским, в течение нескольких лет береженные именно для сего торжества; у всякого бочонка — кравчий, цедивший вино в стопы, представляемые слугами. Каждый из собеседников предлагал свой тост; если он нравился, пили, изъявляя одобрение громким кликом, в противном случае молчали, а все-таки пили.

За сею шумною беседой последовало событие, сильно встревожившее собрание. Горбунов-Бердыш, который, почитая праздник собственным, и примером, и побуждениями побуждал пировавших к веселости, сильно занемог. Княгиня Ирина Матвеевна, по обычаю тогдашних женщин занимавшаяся целением недугов, поила больного чаем, ромашкой, мятой и доставила ему облегчение, но ненадолго: Бердыш потребовал священника и пожелал видеть Андриюшу. По приобщении святых тайн, изъявив желание остаться с племянником наедине, обратил к рыдающему следующую речь: «Я обещал праху твоих родителей, Андриюша, быть тебе отцом, и, бог свидетель, держал слово с верой. Ныне господь зовет

меня к себе. Оставляя тебе все мое, прошу одного, исполни мою последнюю заповедь. Знаешь, блаженные памяти государь Алексей Михайлович, ниспошли ему господь царство небесное,— промолвил он крестясь,— пожаловал в род наш мне, холопу своему, за бедную мою службишку, чин окольного, прозвание Бердыш и село Воздвиженское с деревнями. Есть у нас сосед сильный, который десять лет приступал ко мне, чтоб я продал ему поместье. Я пребыл крепок противу просьб, золота, угроз. Завещаю тебе ту же твердость. Обещай мне ее, не отдавай за корысть жалования царского, достояния родового, не уступай боязни! Ты молод, и не сегодня, завтра вступишь в царскую службу, да не прельстят тебя обещания, не страшат козни! Облечись в броню правды, стой крепко в вере богу и царю, и о щ и т е е пр и т у п я т с я р а з ж е н н ы е с т р е л ы л у к а в о г о , и с и л ы а д о в ы н е о д о л е ю т т я . Господь избавит праведного от руки нечестивых!». Когда Андрей, едва говоря от плача, уверил, что волю его почти священной, старец продолжал: «Я выполнил твоё желание и хочу, перед тем как лечь в могилу, видеть тебя сговоренным. Попроси сюда Луку Матвееча, княгиню и Вареньку». Едва Андрюша воротился с ними, умирающий, взяв со стола поставленный перед кроватью образ, дрожащими руками благословил юную чету. Молодые, положив земные поклоны пред ликом пречистой и запечатлев обет верности первым поцелуем, бросились было лобызать хладеющие руки старца, но его уже не стало, и счастье надолго закатилось звездою для обрученных.

Глава VI

Есть ли счастье на земле? Обратитесь с сим вопросом к сребролюбцу, копящему сокровища, к вельможе, алчущему чинов, почестей, вам скажут — нет. Спросите у любящих, верно получите в ответ — да. Так! сие счастье, несказанное, незаменяемое, предвкушение блаженства небесного, живет в сердцах, полных любви; с нею радость, радость двойная, напасть не в напасть! Согласен, оно кратковременно, преходчиво, как все земное; зарница во мраке ночи, на миг озаряющая вселенную и снова оставляющая ее в прежней темноте, но не менее

того существует, и любившие извели его. Горесть Андрея об утрате отца-благодетеля была сносной, потому что с ним вместе горевала, вместе плакала Варвара.

Миновались тягостные, нестерпимые для сердца чувствительного поминки покойника, в которых, по обычаю того времени, осиротевший, деля с другими радость и печаль, долженствовал угощать пиром провожавших тело и за чашей вина желать скончавшемуся царства небесного. Андрей занялся управлением доставшейся ему вотчины и отдыхал от дел хозяйственных в Евсеевском в обществе невесты. Одним утром известили его о приезде Степана Михайловича Белозубова. Белозубов, малолетний, плотный мужчина лет под сорок, был некогда сотником в Стрелецком войске. Расторопностью привлек на себя внимание князя Меншикова, который взял его к себе и за верную службу поставил управителем над новгородскими поместьями. Белозубов имел все пороки и одно доброе качество — безусловную преданность к своему милостивцу. Искусный в притворстве, дерзкий, решительный, не разбирая закона от беззакония, когда дело шло о выгодах вельможи, у коего находился в услужении, и в усердии к его пользе, уверенный в безнаказанности, часто без ведома князева, смело пускался на все неправды. Доверенность первого в России сановника стяжала ему большое уважение в околотке, но Андрей никогда не видал его в доме дяди, который, гордясь длинным рядом предков и внутренне ставя себя выше самого князя, оказывал явное презрение к его клевету.

После обычных приветов первого знакомства: — Знайте хозяйственные, — сказал Белозубов, — для вас, Андрей Александрович, новы и человеку ваших лет немного представляют веселого. Почему бы вам не избавить себя от этих хлопот?

— Нельзя же, — отвечал Горбунов, — имея вотчину, сидеть в ней спустя рукава.

— Вы меня не понимаете, — продолжал Белозубов. — Вам известно, село Воздвиженское словно чересполосное владение в поместьях князя Александра Даниловича. Он не раз предлагал себя в купцы покойному вашему дядюшке, но упрямый старик не хотел расстаться с именем. Не доставите ли вы князю этого удовольствия? Можете сами назначить условия продажи. Князь не постыдится за лишнюю тысячу или две рублей.

— Это имение родовое, и я не намерен его продавать,— возразил Андрей.

— Если слово «продажа» вас так пугает,— подхватил Белозубов,— не угодно ли вам выбрать взамен любое из княжих поместий? У него их много в Малороссии, около Москвы, во всех концах России. Уверяю вас именем князя, вы от сей мены не останетесь в накладе.

— Вы напрасно беспокоите себя, Степан Михайлыч,— прервал Горбунов.— Уже один пример дядюшки долженствовал бы служить мне правилом, но скажу более: умирая, он наказал мне оставаться при владении Воздвиженского, а воля покойного для меня закон. Я не расстанусь с вотчиной.

— Послушайте, Андрей Александрыч! — молвил с важностью Степан Михайлович.— Я для вашей же пользы не хотел бы, чтоб ответ сей был решительным. Извините откровенность, на которую лета и опытность дают мне право. Вы еще молоды, готовитесь вступить в свет. Вспомните, кто таков князь? Ваше согласие доставит вам могущественного покровителя, отказ — сильно-го врага.

— Врага? — вскричал, вспыхнув, Горбунов.— Хорошее же вы мнение подаете о князе Александре Даниловиче, грозя его враждой тому, кто в удовлетворение его прихоти не захочет расстаться с собственностью. Благодарение богу, мы живем в стране законов, рабы царя правосудного, в державе коего невинность найдет защиту от гонений сильного.

— Вы меня не поняли,— возразил Белозубов хладнокровно.— Я не мыслил грозить вам негодованием князя. Но точно ли вы уверены, что село Воздвиженское ваша собственность?

— Кто дерзнет в этом сомневаться? Оно досталось мне по наследству и укреплено за мною духовною записью покойного дядюшки.

— Очень верю,— продолжал Белозубов,— но могут случиться обстоятельства непредвиденные, кои дадут другой вид делу. Впрочем, это одни догадки. Повторяю: для вашей же пользы, Андрей Александрыч, прошу вас, не отпускайте меня с отказом. Не накликайте на себя неприятностей пустым упорством!

— Это упорство,— живо сказал Горбунов, оскорбленный последним выражением,— говорю вам, пустое в очах людских, для меня священная обязанность. Повто-

ряю раз навсегда: усыпай золотом князь Александр Данилович всю дорогу отселе до Новгорода, предложи мне все свои поместья за одно село Воздвиженское, я с ним не расстанусь.

— Итак,— отвечал Белозубов, взяв шляпу и раскладываясь,— мне остается пожалеть только, что вы не послушались благого совета. Искренно желаю, дабы после не раскаивались в упрямстве.

Едва он уехал, Андрей, встревоженный двусмысленными намеками о правах своих на вотчину, велел позвать Терентьича.

— Вы не очень ему верьте, Андрей Александрыч,— сказал в ответ дядька Николай Федоров.— Он, кажись, замышляет что-то недоброе.

— Как так? — спросил Горбунов.

— Бог его ведает! Вот уже недели две ездит к нему какой-то посадский человек. Запираются вместе, толкуют до поздней ночи. Илья же Иванов, дворецкий, говорит, гость этот в службе у Белозубова. Да и дивное дело: въедет на двор на пустом возу, а со двора — воз набит, словно фура.

— Ты что-то завираешься, Николай Федоров! — отвечал Андрей.— Однако ж пошли-ка Терентьича!

Но Терентьича не нашли. Занимаемая им изба была пуста, словно нежилая. Сей отъезд, походивший на потаенное бегство, еще более встревожил Андрея. Он открыл письменный стол дяди: жалованная грамота на село Воздвиженское, духовная запись покойного, все бумаги были на месте. «С этими свидетельствами,— сказал он про себя,— не страшны мне угрозы, пускай их делают, что хотят!»

Неделю спустя явился в селе Воздвиженском гонец из Новгорода. Андрею подали бумагу следующего содержания: «По указу его царского величества, самодержавца всея России, от воеводы новгородского недорослю из дворян Андрею Горбунову. Бил челом оному воеводе подьячий Прохор Терентьев, что в бытность его в Тихвине мещанка Палагея Тихонова, служившая в доме стольника Александра Горбунова в мамках, перед кончиной объявила на духу попу церкви Спасова преображенья отцу Петру, будто, быв беременной в одно время с Верой Горбуновой, женой Александра, и зная о желании последнего иметь сына, она подменила своим родившуюся в одно время с ним от Веры дочь,

которая вскоре у нее, Тихоновой, и умерла. Сын же ее, прослав за сына Александра Горбунова, перешел по его смерти под именем Андрея в дом брата Александрова, окольного Ивана Горбунова-Бердыша; и сие показание в присутствии его, Терентьева, и посадского человека Ефима Фролова подтвердила, за неумением грамоты, приложением собственноручного креста. Он, Терентьев, представив воеводе извет Тихоновой в подлиннике, движимый усердием к пользам казны, бьет челом: означенному Андрею название Горбунова воспретить и доставшуюся ему по смерти Ивана Горбунова-Бердыша вотчину, село Воздвиженское с деревнями, как имение выморочное, отобрать на государя. Воевода новгородский, извещая о сем недоросля из дворян Андрея Горбунова, предписывает ему представить немедленно доказательства, что он родился действительно от Александра и Веры Горбуновых; в противном же случае поступить с ним и вотчиной его по законам».

Андрей ожидал неприятных для себя последствий от отказа в продаже имения, но никогда не чаял, чтоб дерзость его противников простерлась так далеко. Изумление, гнев, негодование попеременно волновали его душу при чтении бумаги. «Понимаю! — молвил он наконец. — Не могли принудить меня силой к уступке Воздвиженского, надеются вымолить его у государя, как милость. Но я сорву личину лжеусердия, обнаружу коварство. Покамест, однако ж, надлежало удовлетворить требованию воеводы. Приглашает на совет о. Григория и Николая Федорова, кои оба знали его родителей. Извет Терентьича поразил и того и другого столько же, сколько самого Андрея. Особенно Николай Федоров, выросший в доме Горбуновых, всосавший вместе с молоком уважение и привязанность к господам и после бога и царя не знавший никого выше, оцепенел, словно ушибленный громом. «Господи, прости мое прегрешение, — вскричал он, крестясь, — кто лишь раз видал барыню и взглянет на вас, Андрей Александрыч, скажет, вы ее сын, как две капли воды схожи одна с другой. И Тихонова! перед смертью продала душу лукавому! Ела барский хлеб, была одета, пригрета, одарена и пустилась на такое беззаконие, стакалась с вашими врагами!».

«Боле грешный неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие. Ров изры и ископа, и падет в яму, юже содела», — промолвил священник.

— Это явный подлог! — вскричал Андрей. — За неделю поверенный князев предлагал мне невесть что за село Воздвиженское и вслед за тем оспаривает у меня право на владение. Будь иск справедлив, кто велел бы ему сулить мне золотые горы?

— Слова нет, Андрей Александрыч, — возразил отец Григорий, — но если нет других доказательств в законности вашего рождения, этого одного недостаточно. Истец не Белозубов, а Терентьич. Мы оба, знавшие Веру Петровну, готовы подтвердить присягой ваше с нею сходство, но в суде и этим свидетельством не удовольствуемся. Природа так играет наружностью человека, что иногда людей, друг другу совершенно чужих, творит похожими. Мой совет съездить вам самим в Тихвин. Исследуйте на месте весь ков. Николай Федоров пускай вам сопутствует. Отыщите отца Петра. Расспросите, что случилось с Тихоновной. Существой подмен действительно, надлежало б ей иметь помощников. Она была в то время родильницей и сама не могла встать с постели, а в извете упоминают об ней одной. Между тем попросите у воеводы отсрочку, и если не соизволит, перенесите дело в Сенат. Там, пока дойдет до него очередь, вы, может быть, успеете что разведать.

Горбунов пристал к мнению отца Григория. Велит дядьке приказать приготовить коней, чтоб на другой день отправиться в путь, вознамерившись заехать сперва в Евсеевское успокоить семью Луки Матвеевича. Несчастный! Не знал, что в это время дом нареченного тестя был уже для него заперт.

Глава VII

Белозубов, радея о выгодах своего милостивца, не пренебрегал собственными. Почитая брак с богатой наследницей верным путем к достижению независимости, давно метил на союз с будущей владычицей Евсеевского, но мыслил: «Окрестные помещики — или старики, для которых прошла пора женитьбы, или люди ничтожные, кон не посмеют простереть видов на дочь Луки Матвеевича, высокого рождения, владельца трехсот дворов. Варенька же еще ребенок, цветок нераспустившийся и добыча верная в глуши, где нет опасных соперников. Будет-де еще время объявить свое притязан-

ние». Можно посудить, каково ему было, когда узнал о помолвке Вареньки за Горбунова. «Ужели суждено,— вскричал с негодованием,— что этот щенок, мальчишка с не обсохшим на губах молоком, был мне во всем помехой?» Едва известился о решении воеводы новгородского на извет Терентьича, спешит в Евсеевское.

— Милости просим! — молвил Лука Матвеевич, когда Белозубов, приказав наперед доложить о себе, вошел в гостиную,— очень рады. Давно вас не видать, Степан Михайлович!

— Дела не позволяли мне навестить вас в день рождения Варвары Лукинишны,— отвечал гость.— Я провел все это время в Новгороде.

— Что нового слышно в Новгороде?

— Все старое-с, разве одно, о чем, думаю, вы уже сведомы; неприятный случай с нашим новым соседом Горбуновым.

— С Андрей Александрычем, моим нареченным зятем? — прервал с беспокойством хозяин.— Что такое, батюшка, Степан Михайлыч?

— Как? Вы сговорили за него Варвару Лукинишну? — спросил с притворным удивлением Белозубов.— Нелегкая же привела меня объявить вам столь печальную новость.

— С нами крестная сила! Уже не уголовное ли дело? — молвил Лука Матвеевич, час от часу в большем страхе.— Скажите, батюшка, что такое?

— Был у них в доме,— продолжал Белозубов,— какой-то подьячий, как бишь, Трифионов, Терентьев, не вспомню?

— Терентьич, батюшка Степан Михайлович! Знаю, он хаживал и по моим делам.

— Этот Терентьич, извольте видеть, бил челом воеводе, что Андрей Александрыч не сын Александра Семеныча Горбунова, а подкидыш: родился-де от мещанки, которая служила у них в доме в мамках; и на сем основании требует, чтоб его вотчину, село Воздвиженское с деревнями, отобрать на государя.

— Горбунов подкидыш! — сказал Лука Матвеевич, заминаясь и будто не смея выговорить,— Андрей Александрыч сын мещанки! Степан Михайлыч? уже не ошиблись ли вы?

— Я и сам бы тому не поверил,— отвечал Белозубов,— но поверенный мой в Новгороде прислал

мне вчера указ воеводы. Вот он,—продолжал гость, подавая хозяину бумагу.— Оставьте его у себя, если угодно. Впрочем, извет, может быть, ложен, и Андрей Александрыч успеет доказать его несправедливость.

В тогдашнее время в России почти не было дворянства по заслугам. При царях, в существование местничества, примеры людей, вышедших в люди из низкого звания, являлись чрезвычайно редко. Давность рода давала право на уважение; личные достоинства одни ставились ни во что. Имей иной все качества тела, ума, души; хватай звезды с неба—его презирали, если не поддерживал их длинным рядом предков. Посему можно судить, какое влияние имела речь Белозубова на Луку Матвеевича. Едва гость уехал, он с грустным лицом и сердцем побрел на половину сестры.

— Не в добрый час, сестрица, княгиня Ирина Матвеевна,— сказал он, вошедши,— сговорили мы Горбунова за Вареньку. Ведь он не из дворян!

— Что такое? — вскричала княгиня Ирина, глядя брату в глаза.— Андрей Александрыч Горбунов, сын стольника Александра Семеныча, племянник окольного Ивана Семеныча, не из дворян? В своем ли ты уме, батюшка?

— Вот то-то беда, изволишь видеть, сестрица, дело на поверку выходит не так. Андрей наш сын не Александра Семеныча, а какой-то мещанки. Был у меня Степан Михайлович Белозубов: он лишь только что из Новгорода; слышал об этом у воеводы.

— Не прогневайся, батюшка Лука Матвейч! — ответствовала княгиня Ирина, — а я плохо верю твоему Степану Михайловичу. Про него идет слава, что не больно стоек на правду. Долго ли обвести человека?

— Я и сам было усомнился, да бумаге-то нельзя не верить. Он оставил мне список с указа воеводы.— Тут Лука Матвеевич развернул указ и, прочитав, промолвил:

— Послушался я вас, сестрица княгиня Ирина Матвеевна! А нехудо было бы повременить сговором Варвары и Андрея.

— Ах, господи! — вскричала княгиня Ирина, — кто же его, батюшка, знал? С виду и умен, и красив, чем не похож на дворянина? И кому верить, как не родному дяде?

— Ахти мне! бедная моя головушка! — продолжал Лука Матвеевич.— Что мне прикажете теперь делать?

— О чем тут спрашивать? Отказ да и только! Беды великой нет! И из-под венца расходятся. Ведь не быть же Вареньке за холопским сыном.

— Да, изволишь видеть, сестрица! молодец-то ей полюбился. Опечалить мне ее не хочется.

— Разлюбит, коли узнает, что не дворянин,— отвечала княгиня Ирина.

— Я чай, горевать будет, бедненькая!

— Погорюет, поплачет и перестанет. Полюбился один, полюбится и другой! Что за баловство? Иной подумает, братец, ты не между людьми живешь. Нас выдавали не спросясь, и прожили милостию господней как дай бог всякому! Думать не о чем. Садись и пиши к Горбунову, что свадьбе не бывать!

Покорный велениям сестры, старшей летами, Лука Матвеевич присел за письменный стол: начинал, разрывал листы и, наконец, составил следующее послание:

«Государь мой, Андрей Александрович! Степан Михайлович Белозубов привез мне из Новгорода весть о неприятном случае, какой вас постиг. Сестрица, княгиня Ирина Матвеевна, полагает, что после того вам нельзя быть включенным в нашу семью. По ее воле, возвращая при сем подарки, учиненные вами моей дочери, покорно прошу вас считать все обязательства с нашим домом прерванными».

Письмо было кончено, но предстоял подвиг более трудный — надлежало известить Вареньку о происшедшем, истребовать ее согласия на разрыв. Лука Матвеевич любил дочь нежно и, должно отдать ему справедливость, охотно искупил бы лучшей собакой или конем малейшее ее огорчение. Но мысль, что нареченный его зять холопский сын, и боязнь гнева грозной сестрицы, к уважению которой привык с детства, придали ему бодрость. Медленными шагами потянулся в светелку Вареньки.

Женщины, существа, созданные, чтоб составлять с мужчинами одно, как истинно оправдываете вы свое назначение! Кто сравнится с вами в любви? С каким самоотвержением, с каким восторгом жертвуете вы богатством, почестями, всеми благами сего мира для услаждения участи того, с кем вы связаны! Как безропотно делите с ним все напасти! Для вас нет невозможного! От природы робкие, слабые телом и духом, вы, когда

гроза висит над предметом вашей любви, одолевая естество, изумляете силою, крепостью, бесстрашием.

Барвара встала в тот день с счастливым расположением духа, какое только встречаем у девиц-невест. В ее передней портнихи, башмачницы, швеи, свои или призванные от соседей, мерили, кроили, готовили приданое барышне. Тихий шепот раз или два в утро, прерванный появлением приехавших из Новгорода купцов с тканями, жемчугом, нарядами для новобрачной. Собственная ее светелка оправдывала сие название господствовавшими повсюду порядком и опрятностью. Вы увидели бы тут и кровать под пологом зеленого штофа, подобранного под тень узорчатых бумажных обоев; и лоснившийся уборный столик дубового дерева с круглым подвижным зеркалом в дубовых же резных рамах: и в углу кивот с иконами в горевших, как жар, вызолоченных окладах и теплившиеся перед ними лампадою; по сторонам столика большие сундуки, обитые светлой жестью, заключали наряды бабушки и матушки, перешедшие по наследству, дабы составить часть приданого; наконец, несколько увесистых стульев с высокими круглыми спинками дополняли убранство комнаты. Четыре сенных девушки за пальцами вышивали под надзором няни Ивановны, женщины дородной, румяной, взлелеянной в недрах барского дома, вскормленной на господском столе и по праву пестуна барышни пользовавшейся преимуществами, коих не имели другие слуги. Няня заведовала чаем и серебряной посудой, подавала голос в совещаниях о делах семейных, блюла за порядком, тишиной и нравственностью многолюдной женской челяди, была советником и поверенным барышни. Ивановна, в синем платке с золотыми цветами и штофной телогрее, сидела на низкой скамейке за пряслицей у ног Вареньки. Варенька у окна, перед коим вилась дорога в Воздвиженское, нарядная, как невеста, в узком кирасе и широком атласном роброне, с убранными *à la Fontanges*¹ волосами, горевшим от удовольствия лицом, закрепленным алмазной пряжкой жемчужным ожерельем на шее и запястьями сканого золота, подарком жениха, также за пальцами выводила серебром цветы по голубому бархату, в котором хотела, чтоб Андрей явился под венцом. Про-

¹ Убор волос, так названный по имени девицы de Fontanges, которая явилась в нем при дворе Людовика XIV.

било десять,— заглядывает в окно. Смотрит в него чаще, чаще. Наконец, иглолка покинута, работа брошена. Варенька с устремленными на дорогу очами — вся ожиданье. Как радостно билось сердце, когда, бывало, завидит издали черное пятнышко, потом отличает всадника, и Андрей, словно писанный, на вороном Арабе, то плавно несясь стройным лебедем, то, дабы выказать ловкость, поднимал коня на дыбы, и прежде чем Варенька успела от страха вскрикнуть, пустившись стрелой, становился будто вкопанный перед возлюбленной. Лицо ее то светлеет надеждой, то вдруг опять подергивается туманом, когда обманывала ожидания пыль, взметенная вешним ветерком или поднятая крестьянином, медленно тянувшимся на барский двор с возом снопов. Пробыло одиннадцать.

— Ивановна! что-то не видать моего Андрюши! Бывало об эту пору он давно тут.

— Эх, дитятко! что тут за диво? — возразила няня. — Вотчина у него не малая; дел полон короб. А нынче, вишь, он один. Терентьич ведь бежал от них.

Варвара взялась за иглолку. Прошло еще полчаса.

— Нянюшка, мне грустно! Сердце что-то вещает недоброе! Уж не занемог ли Андрюша?

— С нами крестная сила! Что тебе привиделось, моя родная? Мало ли что может прилучиться? Явись к Андрею Александровичу человек чужой, ведь не выгнать же гостя!

Миновалась пора обеденная; наступал вечер, а жених не показывался. Наконец, когда подали свечи, Варвара услышала в девичьей мужские шаги. Бежит навстречу и, увидев отца, — «батюшка, — говорит, — что это сделалось с моим Андрюшей? Я вся не своя. Выглядела все очи, а его нет как нет. Был бы занят делами, прислал бы сказать. Верно занемог!».

— Не быть тебе, Варенька, за Горбуновым! — с грустью молвил Лука Матвеевич. — Он не из дворян!

— Что вы говорите? — с изумлением спросила дочь, как бы не веря слышанному.

— Он не из дворян, сын мещанки, — повторил отец.

— Мой Андрюша? Кто взвел на него эту небылицу?

Отец вместо ответа подал ей указ новгородского воеводы.

— Откуда у вас эта бумага? — сказала Варвара, быстро пробежав указ глазами. — Кто ее привез вам?

Знаю, здесь был Белозубов. И вы ему верите? Неужели не знаете, что Белозубов искони враг Горбуновым?

— Враг ли он или нет, Варенька, и все-таки Андрей Горбунов не дворянин.

— Стыдитесь, батюшка! Вам бы следовало заставить молчать злые языки, а вы им потакаете, повторяете их нелепости! О мой бедный Андрюша!

— Сестрица княгиня Ирина Матвеевна говорит, Варенька, что тебе не бывать за холопским сыном. Я отказал ему от дома и пришел взять у тебя его подарки.

— Как? — прервала дочь. — Разве не вы сами благословили нас образом богоматери? Батюшка! — продолжала она с укором, — изменить в слове людям стыдно, изменить богу грешно!

— Сестрица княгиня Ирина Матвеевна говорит, что даже из-под венца расходятся.

— Батюшка! — медленно молвила Варвара. — Я ваша дочь и должна вас слушаться, однако ж есть предел родительской власти. Вы можете не выдавать меня за Андрея, но я перед богом была ему обручена и останусь его невестой до смерти. За сим, обратившись к няне, которая глядела на происходившее, смиренно сложив руки, повелительным голосом, словно давая знать, что не потерпит возражения, «Ивановна! — говорит, — завтра чем свет отправься к Андрею Александрычу, скажи ему, что я не верю клевете и хочу с ним сама проститься у Ольгина пруда».

Няня, изумленная решимостью барышни, не смея ни отказать, ни согласиться в присутствии барина, отвечала: «Как его милость молвить изволит».

Но изумление его милости было гораздо сильнее. Сам он не имел понятия о любви. Семнадцатилетнего привезли в церковь, поставили рядом с девицей, которой дотоле не видал в глаза, и, обведши три раза кругом налож, приказали ему любить жену, как душу свою. Он исполнил повеленное по своему разумению: в десятилетний брак и мыслю не изменил верности супружней. Когда же увидел, что Варенька, незадолго бросившая куклы, дотоле робкая, как серна, послушная, как ягненок, вместо вздохов и слез являет решимость и сопротивление его воле, совершенно потерялся: «Делай что тебе приказывают!» — сказал няне Лука Матвеевич.

На другой день, едва Андрей проснулся, вошел к нему Николай Федоров с извещением о прибытии гонца из Евсеевского. «Этого только недоставало! — вскричал Горбунов, прочитав письмо бывшего нареченного тестя. — Неужели и Варвара мыслит одно с отцом и теткой?». Еще раз взглянул на письмо: о дочери не упоминалось в нем ни полслова. Посмотрел на подарки, которые дядька выложил между тем на стол: лежали тут шелковые ткани, бухарские платки, жемчуг, румяны; не было одного золотого колечка, освященного прикосновением к персту св. великомученицы Варвары, которое Андрей получил в наследство от матери и наложил на палец возлюбленной в день сговора. «Так! — сказал он со вздохом, — ее принудили к разрыву, но сердцем она мне не изменила!»

Внезапный стук привлек его к окну. Одноколка въехала на двор, и няня Ивановна с видом торжественным, словно министр, идущий на переговоры, от коих зависит судьба государства, в шелковом шушуне и богатом платке ступила на крыльцо.

— Ох, нянюшка, нянюшка! — вскричал Андрей, бросившись к ней с распростертыми объятиями.

— Позвольте-с, батюшка Андрей Александрыч! — прервала с важностью няня, не подпуская его к себе рукой. Потом, сотворив молитву, продолжала, не переводя духу, как рядовой, когда, сменившись с часов, доносит старшему: Варвара Лукинишна изволила прислать меня к вашей милости доложить, дескать, что она не верит-с наговорам людским и хочет, дескать, сама протеститься с вашей милостью у Ольгина пруда-с.

— Я был уверен, — произнес с восхищением Горбунов, — что Варенька мне не изменит! здорова ли она?

— И! батюшка Андрей Александрыч! — ответствовала Ивановна, перешед к обычной говорливости, — не дай бог и врагу! Пришел вчерась барин, ни слезинки не выронила. Чуть он за дверь, бросилась на постелю и ну плакать! И к ужину не пошла-с, не изволит кушать, моя сердечная, на свет божий не глядит, все горюет. Уж я-то с ней примаялась: и кивот уставила свечками, и перед Спасом клала земные поклоны, и ей-то говорю: «Не губи себя и нас, дитетко! Не грешь против бога! Милость господня велика! Все переменится! Не дума-

ешь, не гадаешь, жених твой поведет тебя к венцу». Нет! ничего не помогло: мечется, родная, из стороны в сторону, только и молвит всего: «О, мой бедный Андрюша!» Не погневайся ваша, милость! Наконец, к свету, слава тебе господи, немного уснула.

Андрей, у коего при слушании сего рассказа, в котором каждое слово говорило о любви Варвары, навернулись слезы умиления и участия, молвил: «Присядь, няня! Ты, чай, натошак. Обогрейся, напьемся вместе чаю!»

— Покорно благодарим-с, батюшка Андрей Александрыч! но мешкать-то мне некогда-с. У девиц сон, изволишь видеть, недолог: барышня, чай, пробудилась и меня дожидается. Прощенья просим, батюшка Андрей Александрыч!

Вскоре после отъезда Ивановны подвели оседланных коней к крыльцу. Многолюдная челядь, старый и малый, столпились перед домом проститься с молодым барином. Андрей в дорожной однорядке с ружьем, прикрепленным к седлу, и парой заряженных пистолетов в чушках, предосторожность, без коей в то время не выезжали из дому, сопровождаемый Николаем Федоровым в широком плаще, по отслушании молебна, иных допустив к руке, иных приветствовав, кого милостивым словом, кого наклонением головы, при благословении отца Григория и желаниях счастливого пути от двора, оставил Воздвиженское. Вскоре показались березы, осенявшие Ольгин пруд. Горбунов ускорил бег коня, завидев между березами нечто белеющее. На сем самом месте он встретился с Варварой впервые, когда с веселой беспечностью красовалась как пава в толпе сверстниц. Накануне еще счастье играло на ее щеках: ласкавшие воображение мечты так были сладостны. Тут же, бледная, с впалыми от бессонной ночи очами, цветов, убитый морозом, представилась ему тенью прежней Варвары.

— Я хотела видаться с тобою, мой милый,— сказала она медленно, когда, соскочив с аргамака и бросив поводья Николаю Федорову, Андрей побежал к ней,— проститься с тобою, прежде чем нам расстаться.

— Злые люди разлучили нас, Варенька! Но ненадолго. Я обнаружу коварство, выведу на свет все козни. Прошу тебя одного: успокойся, крепись и надейся на бога! Враги мои сильны, но господь не попустит торжествовать неправде.

— Ах, дай бог,—промолвила Варенька со вздохом, набожно сложив руки.— Куда ты это едешь, друг мой?

— Теперь в Тихвин, потом должен буду отправиться в Санкт-Петербург.

— О да сопутствует тебе господь и пресвятая богородица! — вскричала она, бросившись к нему и обливая его слезами.— Друг мой! бабушка, умирая, благословила меня этим образом Иверской божией матери.— Тут надела она на него оправленный в золоте образок,— да сохранит он тебя от всякой напасти! Носи его в память своей Варвары, молись ему. И я с тобой буду молиться!

Они слились устами и несколько времени пробыли обнявшись. Наконец, Андрей, более твердый, с тяжелым вздохом отторгнулся от любезной. Медленно удалился, долго еще не покидал Варвары взорами. Наконец, образ ее становился час от часу меньше, меньше, исчез белым пятнышком в туманной дали, и Горбунов, болея сердцем, понесся по излучистой дороге.

На четвертые сутки, время было пасмурное, при въезде в дремучий бор, Николай Федоров, который, чтоб разогнать грусть барина, не раз уже заводил речь и не получал ответов, молвил будто про себя: «Слава тебе, господи! наконец доехали. Авось господь приведет сегодня ночевать в Тихвине».

— Разве мы недалеко от города? —спросил Андрей.

— Этот лес тянется под самый Тихвин,— отвечал дядька.— Здесь, бывало, в старые годы, Андрей Александрыч, не приведи бог, проезда нет ни днем, ни ночью. Только и слышать о разбоях. Иначе не отправлялись как обозом, и солнце еще высоко, а уж смотрят, как бы добраться до ночлега. Купец ли с товаром, крестьянин ли с запасом приедут в Тихвин, прямо с воза в церковь отслужить молебен пресвятой богородице, что её заступлением остались здравы и невредимы.

Едва он кончил, раздался выстрел. Николай Федоров повалился с коня. Андрей хочет броситься к дядьке на помощь; другая пуля просвистела мимо его ушей, и аргамак, почуяв опасность, взвился на дыбы и помчался вихрем. Горбунов опомнился только, чтоб услышать за собой погоню. Оглядывается, три всадника, с ног до головы вооруженных, скачут за ним во всю прыть. Мешкать было некогда, сопротивление невозможно. Поворачивает на вышедшую из леса тропинку и отдает себя

на волю коня. Под ним свидетели многих поколений, покрытые мхом и сросшиеся с землею пни звенят от копыт, листья хрустят, ветви хлещут, царапают лицо; впереди трущоба все чаще, чаще, темная и в ясное солнце, тогда же еще мрачнее; над головой носятся тяжелым полетом тетерева, испуганные необычайным шумом, и вороны карканьем приветствуют наступление сумерек. Но Андрей ничего не слышал, не чувствовал; мыслил только о сохранении жизни. Наконец лес стал редеть; конь умерил бег, и всадник перевел дух. Тут впервые пришло ему на память случившееся: вспомнил о дядьке и горько всплакался. Николай Федоров учил его ходить, лелеял его детство, ходил за отроком и потом служил ему так усердно, как только мог. Из многолюдной челяди, которая досталась ему в наследство после дяди, Николай Федоров был один предан ему душою, один знанием обстоятельств семейственных мог пособить ему в тогдашнем положении. Тяжело вздохнув, «да будет воля твоя, боже! — произнес он наконец, — дай ему царство небесное! благодарю тя, господи, что меня спас от руки злодеев». Между тем ночь спустилась на землю. Андрей очутился на небольшой поляне и, завидев вдаль огонек, чувствуя нужду в отдохновении себе и коню, тихой рысью пустился к одинокой в лесу избе.

Он въехал в околицу, привязал коня к изгороди. «Нельзя ли у вас, голубка, пообогреться и перекусить чего-нибудь?» — спросил у женщины, которая на стук в окно вышла к нему с горящей лучиной.

Незнакомка несколько времени смотрела ему в лицо, как бы удивленная, что видит странника в такой глуши, и наконец отвечала: «Взойди, кормилец!»

Изба, в которую ступил Андрей, ничем, кроме обширности, не отличалась от тех, какие видим ныне в деревнях. Но кровать под холщовым занавесом, заменявшая полати, окна, в которых вместо стекол были кусочки слюды, скрепленные выведенными в узор жестяными пластинками, и несколько медной посуды на полках показывали, что хозяин не простой поселянин. Между тем как странник с любопытством и сомнением осматривал место своего ночлега, хозяйка положила на стол каравай хлеба, поставила с солонкой вынутую из большой печи корчагу щей, горшок гречневой каши и, поклонившись, молвила: «Милости просим, батюшка! Кушай на здоровье! Чем бог послал!»

Утолив первый позыв к пище: «Неужели ты здесь, молодка, одна?» — спросил Андрей у хозяйки, которая приклонившись к печке и подперши голову рукою, на него глядела.

— Мать со мною, кормилец, живет — не живет. Злая немочь мучит сердечную: ноги не поднимет, рукою не пошевелит, языком не перемолвит. Хозяин уехал в Тихвин да замешкался. Чай, сегодня уж не будет.

— И тебе не страшно оставаться одной в таком захолустье? — продолжал Горбунов. — Кругом жилья не видать, а в лесу у вас беспокойно.

— Эх, родимый, — ответствовала хозяйка. — От лихого человека нигде не убережешься! Мы жили в городе, да и там злые люди подожгли избу. Ночью тревога, оборони бог! Все до тла сгорело; сами еле живы остались. Здесь же милует господь. Вот уже полтора года ничего не слышать!

— А далеко ли отсюда до города?

— А бог весть! Мы сами туда не ездим. Бают, коли до свету отсюда выедешь, приедешь в Тихвин к обеденной поре.

Скромный ужин кончился. Горбунов помолился и, бросив несколько копеек на стол, промолвил: «Спасибо, голубушка, за хлеб, за соль!».

— На здоровье, батюшка, — ответила молодича. — Что это? Деньги? Возьми их назад, кормилец! — продолжала она с неудовольствием. — Слава тебе, господи! И без твоих копеек есть у нас чем накормить проезжего!

Между тем в люльке, повешенной на длинном, прикрепленном к печи шесте, запищал младенец. Мать поспешила успокоить его грудью. Андрей, измученный дорогой и тревожностями дня, пустив коня свободно по двору, положил к себе в головы, в углу избы, под иконами, седло, протянулся на лавке и, пожелав хозяйке доброй ночи, скоро заснул глубоким сном.

Перед рассветом пробудил его внезапный блеск. Глядит, не верит глазам. Старуха, бледная, как мертвец, у коей лета и болезнь избороздили глубокими морщинами лицо, осененное длинными космами седых волос, в беспорядке ниспадавших из-под изорванной кички, в рубище, до половины прикрывавшем иссохшую грудь, держа дряхлую рукою горящую лучину, вперила в него серые, сверкающие очи. Невольный холод обнял Анд-

рея. С ребячества он слышал о ведьмах, колдуньях, леших, всех существах, коими досужее воображение наших предков населяло мир мечтательный. Существованию их тогда верили, и Андрей разделял заблуждения современников. Ободрился, однако ж, заметив, что старуха творит молитву: нечистая-де сила боится креста. Пристал и хотел было приветствовать мнимую колдунью, но она подала знак к молчанию и, схватив его окостеневшими пальцами за руку, вывела на двор.

— Что за нелегкая принесла тебя сюда? — сказала она осиплым голосом, между тем как Андрей седлал коня.

— Еду в Тихвин, бабушка, и сбился с дороги.

— А зачем тебе в Тихвин? — продолжала старуха.

— Долго рассказывать. Не слыхала ли ты про отца Петра?

— А на что тебе отец Петр?

— Послушай, бабушка, — молвил вместо ответа Андрей. — Жил здесь в Тихвине стольник Горбунов...

В это время послышался по близости конский топот. Старуха, вероятно от испуга, зашаталась и, как показалось Андрею, упала. Он сидел уже на аргамаке и, вообразив, что подъезжают разбойники, накануне за ним гнавшиеся, быстро понесся по тропинке, ведущей в Тихвин.

Глава IX

На берегах Невы красовалась новая столица России, возникшая по мановению Петра из болот финских и уже в то время, семнадцать лет после основания, обширностью и красотой изумлявшая иностранцев. Весь левый берег реки от Смольного двора, где ныне Смольный монастырь, до Новой Голландии был застроен. В длинном ряду зданий отличались бывший дворец царевича Алексея Петровича (теперь Гоф-Интендантская контора), Литейный двор, не переменивший тогдашней наружности, Летний дворец, деревянный дворец Зимний (где теперь императорский Эрмитаж), огромный дом адмирала Апраксина (сломан под нынешний Зимний дворец), Морская академия, Адмиралтейство, здание глиняное с деревянным шпиком и двуглавым орлом на вершине, окруженное валом и рвом; каменный Исааки-

евский собор, в то время еще не достроенный, и, наконец, на месте нынешнего Сената, австрия князя Меншикова. Вообще странная пестрота и разнообразие: дома каменные подле деревянных или мазанок, построенных из фашиннику и глины; крыши железные или муравленой черепицы подле тесовых; здания высокие с мезонинами, бельведерами, четвероугольными и круглыми; всеми затеями тогдашней причудливой архитектуры, обок низких лачужек. Великолепные ныне Малая Миллионная и обе Морские заселены были адмиралтейскими служителями, завалены лесами, канатами, смоляными бочками. Левую сторону Невского проспекта, и в то время уж обсаженного деревьями от мостов Зеленого (Полицейского) до Аничкова, занимали иноземные ремесленники: на правой виднелись Гостиный двор (ныне дом графини Строгановой) и деревянный собор Казанский божия матери. Пространство от Аничкова моста до Александро-Невского монастыря, тогда еще строящегося, занимали слободы Аничкова, заселенные солдатами его полка, и Ямская. Из прочих зданий в сей стороне замечательны были на левом берегу Фонтанки Итальянский дворец, в коем до вступления на престол жила императрица Елисавета, и дом графа Шереметева, еще не dokonченный. Впрочем, Адмиралтейская сторона, составляющая ныне главную часть Петербурга, почиталась тогда предместьем: центром города была так называемая Петербургская сторона. Там, кроме крепости, еще деревянной, с множеством ветряных мельниц на валу, и соборов Петропавловского и св. Троицы, красовались, между прочим, каменные палаты графа Головкина, Брюса, Шафирова, князей Долгоруких, Кикина и особенно дом князя-папы, Ивана Ивановича Бутурлина, замечательный по колоссальному Бахусу на бочке, занимавшему в крыше место фронтона. Впрочем, на нем не было ни колонн, ни фронтонов, никаких вообще украшений, которых требует от больших зданий изящная простота нынешней архитектуры.

Но все строения Петербурга превосходил великолепием и обширностью на Васильевском острове дворец владетельного князя Ингрии, Эстонии и Ливонии генерал-фельдмаршала князя Александра Даниловича Меншикова, составляющий ныне часть стороны 1-го кадетского корпуса, которая обращена на Неву. Сей любимец Петра, самый усердный, самый деятельный его сотруд-

ник в подвиге преобразования России, красавец телом, исполин духом и умом, на поле бранном отважный ратник, прозорливый полководец, в Государственной думе советник проникательный, дальновидный, исполнитель без медления, усталости и отдыха, по уставу природы, которая, дабы явить беспристрастие, не раздает доблестей великих без великих слабостей, имел главным недостатком непомерную, с каждым днем усиливающуюся алчность почестей и корысти. От сего покровитель щедрый, заступник ревностный своих приверженцев, гонитель непримиримый противников, стяжал себе в кругу первостепенного русского дворянства многочисленных врагов. Пока жил Петр, пока властвовала Екатерина, высокий, корнистый дуб смеялся бурям, бушевавшим у подошвы и не дерзавшим сягать до вершины, в державу Петра II рухнул, на высоте могущества не столь великий, как в падении, когда на крае земли, во льдах Сибири, некогда нареченный тесть императора, с духом покойным и ясным челом, полудержавными руками срубил церковь, в которой и покоятся останки Великого.

В отдаленной половине князева дома, в небольшой слабо освещенной комнате, сидели у круглого стола за кубками вина двое мужчин; один, развалившись в широких покойных креслах, другой против на стуле, являя в наружности середину между почтительностью и простым обращением.

— Ну, Терентьич,— сказал первый, полня кубок собеседника,— перестанешь ли, наконец, трусить? Ведь в Сенате решили и приговорили дело по нашему.

— Да еще не подписали, Степан Михайлыч! Не хвалятся о утрие, не веси бо что родит находяй день, гласит премудрый царь Соломон. По моему разумению, дело тогда кончено, когда увижу благодатную подпись исполнить. Горбунов здесь и завтра, изволите видеть, хочет подать новую челобитную в Сенат. А ведь он был в Тихвине, и кто ведает, не доискался ли следа?

— Полно тебе прикидываться! — возразил первый, в котором читатели наши, конечно, узнали Белозубова,— толкуй другим! Мне ли тебя не знать? Что ты завяжешь, того и сам лукавый не распутает.

— Молодец-то не таков, Степан Михайлыч, чтоб его легко провести,— молвил Терентьич.— С ним держи ухо востро. Но меня более беспокоит Николай Федоров.

Наши, как его повалили, до ночи гнались за барином: воротились, ан убитого на дороге нет. Справлялись в околотке, а там и видом не видали, и слыхом не слыхали.

— Вздор, братец! Все пустое мелешь,— прервал Белозубов.— Ну кому придет в голову, что это твое дело? Ты, вишь, виноват, что по дорогам грабят и убивают проезжих?

— У вас все вздор, все пустое,— сказал тоненьким голосом Терентьич,—и не диво, вы за стеной. Придет до расправы: Степан Михайлыч в стороне, а Терентьича, раба божия, потянут на дыбу. Степан Михайлыч ни о чем не знает, не ведает, Терентьич за все, про все отвечает!

— Ах ты, негодная приказная строка,— вскричал в гнев Белозубов.—Смотри, пожалуй, он еще недоволен. Много ли ты выслужил в десять лет у Бердыша? Явился ко мне оборванный, в истертом кафтане, гол, как ладонь. Посмотри же теперь на себя. Иной с виду и впрямь подумает, что ты человек порядочный!

— Да я не жалуюсь, Степан Михайлыч,— пропихивал подбачий.— Вы есть и были мой милостивец. Оно только так, к слову пришлось.

— Однако ж,—молвил Белозубов,—шутка плохая, если Горбунов успеет до подписи приговора подать свою челобитную. Съезди-ка завтра раненько к обер-секретарю.

— Да, изволишь видеть, Степан Михайлыч, народ-то у вас больно мудрен. У нас в воеводстве, будь лишь в дело замешана казна, она уж непременно выиграет, дари не дари. А здесь говорят тебе: царь-де не хочет неправосудия. Что казенное, то казенное, что обывательское, то обывательское. Намеднись нелегкая понесла меня намеркнуть обер-секретарю о благодарности, он взбеленился и так на меня напустил, что я не знал, куда деваться. Жизни не рад, что обмолвился.

— Бестолковая голова,— прервал Белозубов.— Тебе только и таскаться по уездным да воеводским канцеляриям. Велика завтра заложить в одноколку пару моих вятских. Когда будешь у обер-секретаря, постарайся в разговоре притащить его к окну, да невзначай заведи речь о лошадях. Он неравно спросит о цене. Я заплатил за них сто рублей; ты же скажи, они тебе стоят пятьдесят, а с него-де возьмишь половину. Он тебе даст обязательства, может быть, выложит чистые. Улики нет, он-

де купил и прав. А о деле уже не поминай и не беспокойся. Он не бит в темя, и не тебе его учить! Сам сумеешь все сладить.

— Век живи, век учись,— отвечал Терентьич, взявшись за шляпу.— Покорно вас благодарю, Степан Михайлыч!

— Выпей последнюю на сон грядущий,— промолвил Белозубов. Они осушили в заключение беседы по кубку вина и разошлись на покой.

Глава X

На другой день после приведенного нами разговора Андрей явился у сенатского обер-секретаря Приволгина. Немногим пособила ему поездка в Тихвин. Неопытный, утратив в Николае Федорове полезного советника, который помог бы ему в разысканиях, сам ничего почти не узнал. Отец Петр скончался за два месяца. Из дворовых людей его отца одни, поступив с имением в казенное ведомство, были усланы, другие сами разбрелись в разные стороны. О бывшей мамке Палагее Тихоновой не умели также сказать ему ничего верного. Жила в Тихвине, была больна и, как полагали, сторела во время пожара. Одно показалось ему замечательным: с Тихоновой жила девка, слывшая под именем ее дочери, меж тем как Терентьев в извете показывал, что ее дочь умерла вскоре после рождения, но и сие обстоятельство, одно, основанное на слухах, ни к чему не могло ему послужить. При всем том однако же решился обороняться, сколько мог. Изложив все подозрения свои в лживости извета со смелостию, внушенною чувством правоты и грозившей ему крайностию, явился с челобитною, как мы выше сказали, у обер-секретаря.

Приволгин, мужчина лет пятидесяти, важной, строгой наружности, принял Андрея с возможной вежливостию, снисходительно выслушал его объяснения, дал ему несколько полезных советов. Андрей, очарованный сею приветливостию, сообщил ему свою челобитную. Обер-секретарь, прочитав ее, похвалил бесстрашие юноши: «Государь наш,— продолжал он,— хочет правды, и не сомневаюсь, обратит внимание на ваше прошение. Долг службы воспрещает мне сказать вам, в каком состоянии дело, но, принимая участие в вашем беззащит-

ном положении, позволю себе присоветовать, повремените несколько дней. Люди не без слабостей, и, чтоб успеть с ними, надобно им несколько потворствовать. У нас же скопилось ныне множество дел. Вашу челобитную примут, потому что не могут в этом отказать, но примут с предубеждением. Впрочем, не принимайте совета за понуждение, я нимало не хочу стеснять ваших поступков, действуйте, как заблагорассудите, я сказал только вам свое мнение, основанное на знании лиц, от коих зависит участь дела». Андрей, рассыпаясь в изъявлениях благодарности, последовал совету столь благонамеренному, и чрез несколько дней, пришед в Сенат для узнания об успехе, получил от Приволгина обратно, к великому его сожалению, свою челобитную с надписью, что дело уже решено.

Знакомо ли вам, любезные читатели, состояние души после сильного непредвиденного удара, когда вся кровь поднимается к сердцу; вас что-то давит, душит, жжет; исчезают мысль, память, все чувства; минувшее, настоящее, будущее сосредоточиваются в гнетущее вас несчастье? Состояние убийственное, которого человеческая природа не могла бы выдержать, если б, по благодати провидения, оно не было кратковременным. В таком положении был Андрей, когда вышел из Сената. Ничего не помня, не видя, не слыша, он быстро неся из улицы в улицу, из переулка в переулок, куда, зачем? Сам не ведая. Солнце садилось. Он почувствовал усталость и, увидев перед собою открытое здание с надписью: «Австрия его царского величества», вошел туда для отдыха.

Образ жизни наших дедов был не тот, что ныне. В царствование Петра I присутствие в казенных местах начиналось летом в шесть часов, кончалось в двенадцать. Государь вставал в три часа утра, в четыре выходил для обозрения городских работ и возвращался во дворец около полудня; а дабы от девятичасового воздержания не ослабеть, повелел учредить в трех концах города трактиры, куда заходил перекусить: один в своем кабинете редкостей (ныне Музей императорской Академии наук), находившемся в то время у Смольного двора, другой неподалеку от тогдашней Канцелярии Сената, на площади собора св. Троицы (что на Петербургской стороне), а третий поблизости Адмиралтейства, где ныне здание Сената. Последние два трактира

назывались австери́ями — первая царской, вторая австерией князя Меншикова, потому что сей вельможа, переправляясь чрез Неву из своего дворца на Адмиралтейскую сторону, к ней всегда приставал. Обыкновенный завтрак Петра состоял из рюмки водки и куска ржаного хлеба с солью. Все люди, порядочно одетые, имели право на вход в австерию и на ту же порцию, которая и выдавалась им за счет государя. За прочие требования платили по таксе, подписанной самим царем. Петр поощрял собрания в австериях, полагая оные в числе средств к сближению сословий, дотоле разделенных местничеством.

Андрей вошел в обширную приемную. За решеткою, как в иностранных трактирах, стоял хозяин, толстый, румяный мужчина, впереди множество слуг, готовых к удовлетворению требований гостей. На столах в разных концах залы бутылки с винами, табак, голландские глиняные трубки, шашки и шахматы. Кругом в облаках дыма люди, высокие и низкие чином, военные, статские, шхипера, иностранные ремесленники играют, беседуют, шумят, спорят.

Андрей сел отдельно в углу и, подперши голову руками, погрузился в думу. Тут представился ему весь ужас его положения. Давно ль, вотчинник обширных поместий, он был одним из самых значительных лиц в округе, ныне — безродный, бесприютный сирота: ни кровных, ни друзей, никакой помощи, утешения, нечего терять, не на что надеяться. Одно существо во всем мире его любило, одно принимало в нем участие, и с ним он был разлучен, может быть, на всю жизнь. «Бедная Варенька, — помыслил он, — тебя ласкает теперь надежда, что твой Андрюша разрушит ковы злых людей; что станется с тобой, когда узнаешь, что он жертва их ухищрений? Изноешь, сердечная, от тоски!»

Погруженного в сии грустные мысли пробудил раздавшийся позади радостный клик: «Горбунов, любезный Горбунов!». И с сими словами высокий мужчина в мундире Преображенского полка бросился к нему на шею.

— Здравствуй, Желтов, — молвил Андрей медленно, оправившись от первого изумления, — но не зови меня Горбуновым, а то неравно обнесут тебя как преступившего царский указ.

— Что с тобой, любезный,— вместо ответа спросил с беспокойством воин, глядя собеседнику в очи,— ты не болен ли, мой милый!

— Ах, как бы я хотел, чтоб это был бред горячки,— сказал со вздохом Андрей.— К несчастью, говорю горькую истину: я более не Горбунов!

— Изъяснись, пожалуй! что такое?

— Тяжко говорить об этом,— ответил Андрей.— На, читай, все узнаешь,— и при сем подал ему из бокового кармана бумагу.

— Друг мой,— сказал Желтов, прочитав и возвращая Андрею челобитную,— дело твое, правда, не в завидном положении, но отчаиваться и грешно и стыдно. Уверять мне тебя в искренности лишнее. Я еще помню, что ты в Новгороде избавил меня от розог и позора. Послушайся же доброго совета. Рано ли, поздно ли тебе надобно служить: вступи к нам в полк. Царь, слова нет, доступен для всякого, но служа в полку, которого он шефом, ты будешь иметь более случаев лично с ним объясниться. Притом он любит людей грамотных. Я, помнишь, был в школе плохой ученик, а теперь поручик от того только, что поучение моих товарищей. А узнай он дело, так тебе и тужить нечего: он правосуден.

— Правосуден,— отвечал Горбунов, горько улыбувшись.— Помнишь ли, любезный Желтов, в букваре, по которому учил нас чтению дьячок Никандр, в изречениях греческих мудрецов выражение: «Правосудие — паутина, которая задерживает малых насекомых и рвется от больших»?

— Нет, уж воля твоя, голубчик, а за это я тебе ручаюсь, что никакие козни, никакое лицепрятие на него не действуют. Не спорю, он может погрешить, но от неведения. Расскажи же ему дело, как оно есть, и он, не стыдясь сознания в ошибке, сам переменит свое решение. Право, послушайся меня, запишись к нам в службу!

— Любезный,— молвил Андрей в половину убежденный,— и этого мне теперь нельзя сделать. Злодеи принуждают меня отречься от своего отца. Под каким именем явлюсь я к вам в полк?

— За этим дело не станет! Я представлю тебя под именем Безыменного. Да где ты здесь живешь?

— На постоялом дворе, который при въезде первый мне попался.

— Этому быть не должно! Я ведь у тебя в долгу, любезный! Ты меня ссудил в час нужды всем, что имел. Переезжай ко мне! Нечего совеститься! — продолжал Желтов, заметив, что Андрей хотел возражать. — Я не тот бедняк, что был в школе; с наступлением совершеннолетия уволил почтенного дядюшку от опеки и теперь, слава богу, не без достатка. Да полно тебе кручиниться! Увидишь, все кончится благополучно! Эй, бутылку иоганисберга! — закричал он слуге. — Обновим, друг мой, приязнь стаканом рейнского!

Нежданная встреча с Желтовым оживила убитого грустью. Согретый дружбой и вином, Андрей поуспокоился и вышел из австории рука об руку с приятелем, решив облечься на другой день в солдатский мундир лейб-гвардии Преображенского полка.

Глава XI

Внутренний быт владельцев села Евсеевского изменился после разрыва с Горбуновым. Княгиня, приехавшая ко дню совершеннолетия племянницы, задержанная ее сговором, воротилась в свою ярославскую родину. Лука Матвеевич делил время между псарней и конским заводом. Варвара была уже не Варварой-невестой. Тихая грусть сменила прежнюю живую, беспечную веселость: в гостиной являлась только перед столом, прочие же часы дня проводила или в своей светелке за пальями, или у Ольгина пруда, где впервые и впоследствии свиделась со своим Андрюшей. Но и тут качели висели в покое или колыхались разве только от ветра, не слышалось песен, какими бывало оглашался берег, не было, как прежде, резвой толпы девушек, коих невинные забавы обманывали время, одна или с Ивановной находила облегчение от тоски в воспоминаниях о былой счастливой поре.

Белозубов, по удалении соперника частый гость Евсеевского, был принужден отправиться по делу Горбунова в столицу, решил во что бы то ни стало убедить Луку Матвеевича к переезду в Петербург. «Пока я здесь, — мыслил, — Варвара моя, уезжай я, кто мне поручит, что не найдется новый Андрей, который похитит у меня и ее, и Евсеевское? К тому же тут все напоминает ей о прежней связи. В столице же, окруженная предме-

тами новыми, среди забав и рассеяния, скорее забудет возлюбленного и охотнее выслушает предложение о новой женитьбе».

Государь Петр I ходил сам в толстом сукне и запла-
танных башмаках, предпочитал щи, солонину и ржаной
хлеб блюдам утонченной французской кухни, но хотел,
чтоб окружающие его лица жили с пышностью, соответ-
ственной их звания. Князь Александр Данилович, но-
сивший титул владетельного, в угодность царю и собст-
венному честолюбию устроил дом свой по образцу мел-
ких немецких государей. На его половине пажы, камер-
юнкеры, камергеры; на половине княгини — фрейлины,
камер-фрейлины, вообще все придворные чины. Белозу-
бов в награду за отторжение у Горбунова села Воздви-
женского с деревнями исходатайствовал у князя для
будущей своей супруги звание фрейлины его двора.
Отъезд княгини Ирины Матвеевны способствовал его за-
мыслам. Уже издревле знатные бояре имели обычай дер-
жать у себя во дворе молодых дворян, мужчин и девиц,
под именем знакомцев и подруг, и сие звание нимало не
было унижительным. Но Меншиков вышел из низкого
звания — пятно неизгладимое в очах коренных русских
дворян. Княгиня, числившая между предками немало
бояр, вдова одного из знатнейших сановников при дво-
ре царя Алексея, не дозволила бы племяннице, в укор
своему роду, служить у вельможи, который обязан был
возвышением одному себе. Лука Матвеевич сам был не
без спеси, но покорный внушениям чужим, любя дочь
нежно, в надежде, что забавы столичные прогонят ее
тоску, не мог противустоять приглашению князя Алек-
сандра Даниловича. За несколько лет перед тем повеле-
но было дворянам, владельцам известного числа дворов,
иметь дома в новостроившемся Петербурге. В одно утро
Лука Матвеевич под предлогом обозрения своего дома,
сев с дочерью в старинную, веером сделанную колыма-
гу на цепях и низких колесах, со всею челядью, начи-
ная от няни Ивановны до шестидесятилетней дуры, за-
бавлявшей в молодости барыню бабку и на старости
разгонявшей грусть внучки, от толстого дворецкого до
карлы, со стаей псов и табунов верховых и цуговых ко-
ней, длинным обозом потянулся в Петербург.

Княгиня Мария Андреевна Меншикова, урожденная
Арсеньева, была из самых почтенных жен своего века.
Душевно преданная супругу, любила в нем не светлей-

шего, не генерал-фельдмаршала, а Александра Меншикова. Не ослепленная блеском почестей, ведая, с какими они сопряжены опасностями, проводила дни и ночи в страхе, чтоб чрезмерное его могущество не рушилось на погибель всего семейства. Но бессильная к обузданию властолюбивой души князя, в угодность ему несла бремя величия с притворным удовольствием. Предчувствия ее сбылись наконец, и когда чрез несколько лет гроза разразилась над домом Меншиковых, в рыданиях о муже и детях выплакав очи, вскоре за зрением утратила в ссылке и жизнь.

Княгиня, коей нетрудно было отгадать причину тоски новой фрейлины, обходилась с нею весьма ласково. Но сия снисходительность не возвратила Варваре веселости; тайная грусть грызла сердце. Любовь к Андрею, освященная религией, казалась ей долгом; измена жениху, и жениху, терпящему напасть,— смертным грехом. Посему-то покорная во всем воле родителя, в этом одном дерзнула ему воспротивиться. Частые посещения Белозубова, в коем видела гонителя Андрюши, внушили ей подозрения, кои утвердились при поездке в Петербург и вступлении в дом князев. Лука Матвеевич не смел говорить дочери ясно о новом женихе, но позволил Белозубову искать ее благоволения, и сей, мужаясь заступлением своего милостивца, уже не скрывал притязаний на ее руку. К тому же об Андрее — совершенное неведение или слухи более горькие, чем самая неизвестность. Наконец, даже Ивановна, дотоле поверенная в печали, переменила речь: «Не промаяться же тебе, мое дитяtko, весь век сиротой. Андрей Александрыч, нечего сказать, пригож, да если он и впрямь не дворянин, без рода, без дома: ни за ним, ни перед ним? Не таскаться же тебе с ним по миру. И Степан Михайлыч, чем не жених? Еще не стар, в чести у людей, а уж как тебя любит! Так и глядит тебе в глаза. Свыкнешься, влюбишься, моя родная».

Так Варвара, предоставленная самой себе, одному богу открывала свою горесть, мешая в молитвах со своим именем имя Андрея.

Одним утром, когда Варвара сидела за пядьцами в кабинете у княгини Марии Андреевны, явился паж с докладом о приезде царицы. Тотчас вслед за ним взошла и государыня, так что застала еще фрейлину в комнате. По ее удалении, «я никогда еще не встречала у вас

этой девицы», — сказала Екатерина, после того как княгиня облобызала ей руку.

— Она с небольшим неделя, как ко мне поступила, ваше царское величество.

— Кто она такая?

— Дочь соседа князева по имению; тиха, скромна, мастерица шить, и я ею очень довольна.

— Ее наружность меня поразила. Какое у ней бледное, жалкое лицо!

— Она действительно достойна сожаления, государыня! Ее, бедненькую, отторгнули от жениха, и, кажется, хотят против воли выдать за другого.

— И вы, княгиня, ужли не употребите своего влияния, чтоб тому воспротивиться?

— Ваше величество, — грустно сказала княгиня, потупив взор, — есть вещи, в которых Мария Меншикова не имеет голоса.

— Признаюсь, — продолжала царица, — ее наружность возбудила во мне большое участие.

— Государыня! Одно ваше слово может возвратить ей покой и радость.

— Пришлите ее завтра ко мне, — молвила Екатерина.

Глава XII

Рано испытанная превратностями рока, Екатерина, едва умея грамоте, из дома сельского ливонского пастора перешла на престол и явилась на нем достойною супругою русского царя. Величественная осанка, высокий рост, гордая поступь, взор живой, пламенный, всегда сохранявший должную важность, уже означали монархиню сильного народа. Но блестящая наружность исчезала при великих качествах души. С добросердечием неистощимым, с ангельскою кротостию Екатерина соединяла ум необыкновенный и дух, редкий даже в мужчинах. Ее одно старание — сохранить любовь супруга, постоянный закон — снисхождением, ласкою, даже потворством отвлекать его от слабостей и направлять ко всему великому, возвышенному. Сим неизменным поведением Екатерина приобрела над Петром влияние, которое удержала почти до самой его кончины. Властитель России, изумлявший мир железною волей и правом непреклон-

ным, становился агнцем перед слабой женщиной. И никогда не употребляла она во зло своего влияния! Казалось, само провидение ниспослало Екатерину для смягчения монарха, правосудного до суровости и грозного в гневе, для укрощения пылких, неукротимых его страстей. В приемных ее комнат непрестанно толпились матери, жены, дочери опальных: прибегали к заступнице несчастных, к матушке Екатерине Алексеевне. Она не всегда могла исполнить их просьбы, но всех отпускала с милостивым словом, иногда со слезою участия, проливавшего утешение в души страдалиц.

С 1711 г. Екатерина редко разлучалась с супругом. Весь турецкий поход проводила дни на коне, в мужском платье, впереди войск, ночи же под шатром или не раздеваясь на голой земле, под открытым небом; в сражениях находилась о бок государя. В минуты тягостные, когда Петр, усталый от борьбы с препятствиями, какие отовсюду предстояли его великим предначертаниям, искал в ее беседе отдыха, увещеваниями, поощрениями, упреком подкрепляла изнемогавшего, пробуждала мгновенно засыпавшую в нем твердость. Екатерина на берегах Прута спасла русское войско, сохранила Петра для России. Целя душу супруга, целила и тело. Известно, государь Петр I от отравы, данной ему в молодости, подвержен был припадкам истступления. В беседах, на пирах волосы его вдруг становились дыбом, глаза наливались кровью, изменившееся лицо подергивало в разные стороны, пена у рта, скрежет зубов, крики, подобные звериному реву, наводившие ужас на самых бесстрашных. В эти грозные минуты, когда никто не дерзал предстать перед больным, Екатерина, подошедши, склоняла его голову к себе на грудь и усыпляла иступленного, тихо водя по ней рукою. Сей род магнетического сна, длившегося не более четверти часа, возвращал государю здоровье и веселость. Но всего в ней удивительнее ничем не рушимый, ни в каких обстоятельствах не падавший дух. Однажды, незадолго до кончины, Петр, сильно разгневанный, влечет ее к окну и, ударив в окончину, в то время как окно с треском рухнуло, говорит, указывая на разбитые стекла: «Видишь ли,— это презренное вещество, облагороженное искусством человека? Оно потускло, и мне стоило только поднять руку для его сокрушения. Я, правда, окровавил руку, но его обратил в ничтожество». Сие мгновение было ре-

шительным. Екатерина знала, что стоит на краю гибели, и с ясным челом, с обычною на устах улыбкою отвечает: «Не гораздо ли достойнее вашего величества пощадить слабого и не являть могущества перед ничтожным?» Обезоруженный сим спокойствием, Петр обтер слезы и, обняв ее, сказал: «Бог тебе, Катя, судья, а не я. Тяжко мне на сердце, но... забудем прошлое».

Впрочем, кроме сего неприятного случая, нарушившего на время спокойствие высоких супругов в 1724 г., жизнь их представляла умирительную картину согласия, и Петр на престоле вкусил сладость счастья семейственного, редкий удел государей. Разведшись в молодых летах с Евдокией, искал развлечения от дел правительственных в обращении с женщинами. Случай свел его с Екатериной; ее качества привязали непостоянного. Это была первая, единственная его любовь. Тут он впервые стал скрываться перед приближенными. Екатерина жила в Москве, в небольшом домике подле Лефортова дворца. С наступлением вечера государь, улучив время, когда полагал, что никого не встретит, тайком выходил от себя и на другой день, еще с рассветом, возвращался во дворец, дабы являвшиеся по делам не подозревали его отсутствия. Потом, спустя уже долгое время, принимал у Екатерины немногих близких особ: Меншикова, Шереметева, Шафирова. Когда сия взаимная привязанность освятилась узами брака и плоды оно-го утешили счастливых родителей, внутренность государева семейства являла патриархальную простоту. В 1714 г. Петр, ограничив удельные имения и распределив оные между членами царского дома, назначил для собственных издержек доходы с 900 душ в Новгородской губернии, что, судя по тогдашней ценности имений, едва составляло 9000 рублей. Екатерина вела им расход с бережливостью, какую редко встретить в частном быту. Окрока, солонина, пиво закуплены в свое время, дрова на отопку дворца в зиму запасены летом, везде порядок, во всем самая строгая отчетливость. В разговоре, в письмах к супруге Петр не иначе называл ее, как друг мой Катя! Сии письма, полные чувства, дышат любовью, которая не ослаблялась годами, а напротив, с каждым днем становилась более пламенной, более романтической. Некоторые начинаются или оканчиваются словами: Катя! мне грустно. Тебя нет со мною!

Государь всегда почти кушал в семействе. В четыре часа утра, когда уходил, Екатерина с великими княжнами Анной и Елисаветой отправлялись в Царицын сад, потом известный под именем Малого Летнего и ныне принадлежащий к Александровскому дворцу. В сем саду был деревянный павильон, разделенный сквозными сенями на две половины, каждая в две комнаты. На половине великих княжен одна комната была их учебной. Сюда приходили давать им уроки: Феофан — закона божия и русской словесности, Остерман — языков немецкого и итальянского, истории и географии; для французского языка и приятных искусств выписаны были мадам и учителя из Парижа. Смежная с учебною комната заключала в себе птичник великой княжны Анны Петровны: канареек, попугаев, всех птиц стран южных, живых или в чучелах.

Вторую половину павильона занимала сама государыня. В то время вышивание было единственным занятием женщин высшего и среднего сословий. Мужья носили кафтаны, шитые шелками, серебром, золотом; лапок же модных еще не было, все приготавливалось дома. Посему во дворце, во всяком дворянском доме приемные, гостиные, спальни, девичьи уставлены были пеньцами; за ними просиживали по целым дням и царица, и самая бедная дворянка, и старуха, и носившая на запячьях крылышки. За пеньцами в широкой соломенной шляпке с заброшенным на тулью зеленым флером, в белой кисейной кофточке и широкой юбке зеленого атласа застала Екатерину представшая ее очам Варвара.

— Здравствуй, милая! — молвила государыня, стараясь ласковой улыбкой ободрить робкую. — На лице твоём написано страдание, и я хотела тебя видеть, чтоб узнать, не могу ли тебе помочь?

— Велика милость вашего царского величества, — отвечала Варвара, кланяясь в пояс.

— Тебя хотят выдать за человека, как я слышала, достойного. Для чего ты не хочешь идти за него?

— Матушка-государыня! Я перед богом была уже обручена; могу ли без греха изменить жениху?

— Суженый твой в милости у князя Александра Даниловича; можешь надеяться на чины, почести.

— Сердцу не прикажешь, ваше царское величество!

Будь он знатен и в чести, все-таки он мне не милее моего Андрюши!

— Но если выходит, что твой Андрюша, что ли? как ты его зовешь, не из дворян?

— Он мне жених.

— Слова нет! Но нельзя же быть тебе его женой. Ты сама не захочешь поступить противу воли родительской.

— Матушка-государыня! Знаю, что мне не бывать за Андреем, и несу безропотно свою участь. Молю об одном,— промолвила Варвара, бросившись на колени и залившись слезами,— не разлучайте меня с моим горем, оставьте при мне мое вдовство!

— Встань, милая,— молвила Екатерина, приподнимая лежавшую у ее ног.— Успокойся! Оботри слезы! Мне душевно тебя жаль! Я постараюсь сделать, что могу, хотя не ручаюсь за успех. Впрочем, господь милостив, молись ему! Он тебя не оставит.

Глава XIII

Кто из вас, петербургские мои читательницы, чтоб людей посмотреть и себя показать, с наступлением весны не кружил около полудни по тенистым дорожкам Летнего сада? Кто из вас, провинциальные мои читатели, не знает Летнего сада по слуху? Но ныне Летний сад не то, что бывал в старину. На месте настоящей, великолепной решетки на Неву возвышались три деревянных галереи, к которым приставали приезжавшие в сад, а правом сим пользовались люди всех знаний, порядочно одетые. Мостов на Неве в царствование Петра не существовало. Хозяевам домов повелено было, по достатку, иметь известное число лодок. Привязав суда к кольям, коими усажен был берег, посетители сада пробирались по деревянному наместу в галереи, где в дни гуляний встречали их рюмка водки, подносимая с поклоном государыней или великими княжнами, как хозяйками сада, и стол с закусками. Из галерей были выходы в аллеи, прорезывающие сад в длину. На площадках средней, главной аллеи, и в то время украшенной теми же статуями и бюстами, что ныне, с разницею, что они тогда еще сохраняли в целости носы, пальцы у рук, ног и пр., шумели фонтаны. Площадки сии, по званиям лиц,

кои собирались на них в праздники, назывались дамской, архиерейской и шхиперской; боковые аллеи уставлены были изображениями окрашенной жести из Эзоповых и Федровых басен: ворон, заслушавшись лису, выпускал изо рта сыр; волк пил из одного ручья с ягненком; цапля вынимала кость из пасти волчьей; а под изображениями, в науку добрым людям, заключались в четырех или шести стихах содержание и нравоучение басни. Пруд Летнего сада отдан был во владение царского карлы, который разъезжал по нему на раззолоченном челноке в четыре фута длиной. Посреди пруда находился островок, занятый беседкой, в коей за столом умещалось шесть человек. О воскресных днях, когда в саду собрания бывали, отправлялись туда самые отважные весельчаки по плувучему мосту, который вслед затем снимался. Когда, по осушении покрывавших стол бутылок, в беседке становилось тесно, пирующие — заметьте, по большей части люди высокого сана, первые государственные чиновники — в забаву себе и взиравшей на то публике выталкивали один другого в воду. Вправо от пруда находился грот, выложенный разного рода поростами, мхами и раковинами, с подробным описанием, где и как они добываются. Сей-то сад служил Петру I местом прогулок, забав и отдыха; здесь, отложив величие царского сана, отцом среди многолюдного семейства, гражданином среди сограждан, собеседником между пирующих, государь вместе с ликовавшим народом праздновал победы сынов России, им пересозданной, им вознесенной.

Между высокими качествами Петра особенно замечательна необычайная деятельность: ум его не ведал отдыха. Проникнутый святостию великой своей обязанности, царь днем и ночью, в трудах и забавах, в дороге и на месте, в беседах, на пирах изобретал, сочинял, обдумывал способы к возвеличению России. Когда ложился, дежурные денщики клали на стол у изголовья аспидную доску с грифелем; когда выезжал, брали с собой десть бумаги и чернильницу; в токарной, в кабинете редкостей, где ежедневно проводил по несколько часов, приготовлены были очиненные перья и бумага; даже не раз в прогулки по Петербургу останавливал прохожих и писал, опершись на их спины. Так дорожил он минутами вдохновения, гениальными мыслями своего творческого ума. Неподалеку от Летнего дворца, под

дубом, который посадил сам государь, находился стол с аспидною доской и чернильницей, на сей же предмет вделанными в крышке, и ящиком внутри с бумагой; подле кресла и особенный часовой для отклонения нескромного любопытства. Одним утром, недолго спустя по издании указа об учреждении двенадцати коллегий, Петр, уходивший из Сената в одиннадцать часов и проводивший дообеденное время в прогулке по саду, сидя за столом, излагал на бумагу предначертания об образовании областных судов. Когда кончил, восторженный мыслью о пользе сего нового постановления, полный благоговения ко всевышнему за видимую благодать его предприятиям, положил перо и, вознесши к небу признательные очи, громким голосом произнес следующую молитву:

«Благодарю тя, господи, что сподобил меня пожать плоды моих усилий! Сердцеведец! Ты зрел чистоту моих помыслов и благословил мои начинания. Свет наук начинает озарять тобою вверенное мне царство. Трудолюбие и довольство проявляются в хижине земледельца. Суд и расправа заменяют произвол. Боже, сыплющий щедрою рукою блага по земли, осени мя твоею мудростию на подлежащем мне пути, укрепи мышцы мои на труд, мне предназначенный, вознеси, возвеличь Россию! Да спеет народ мой на стезе просвещения, во славу пресвятого имени твоего! Да восторжествует истина, воссядет правда на суде!..»

— Молвишь о правде, а сам не творишь правды,— раздалось в ушах государя¹.

Гром, разразившийся над головою, не столько изумил бы Петра. Озирается, никого не видит, только часовой стоит неподвижно у ружья. Не веря своим ушам, спрашивает: «Что такое?».

— Молвишь о правде, а сам правды не творишь,— повторил часовой.

Изумление государя возросло еще более: «В своем ли ты уме? Помыслил ли о своей голове? На часах под ружьем, а говоришь дерзости неслыханные, и кому — мне, своему государю?».

— Пугай тех, кому есть чего бояться! — отвечал ратник. — Ты отнял у меня достояние. честь, имя, все.

¹ Обстоятельство о молитве и слова, вложенные в уста ратника, не вымышлены; любопытные могут в том удостовериться в «Анекдотах о Петре I» Голикова.

что привлекает к жизни... Что мне после того твои угрозы?

— Кто ты таков? Как тебя зовут? — спросил царь, весь пылая гневом.

— Звали меня Андрей Горбунов, ныне я Андрей Безыменный.

— Горбунов? Знаю. Твое дело недавно решено в Сенате. В чем же ты винишь меня? Осудил тебя не я, а закон.

— Закон, — с горькою улыбкою сказал Безыменный, — узда для слабых, а для сильных поощрение к беззаконию! держись ты закона, приговор мой не был бы подписан.

— Послушай, Горбунов! — молвил царь после некоторого молчания, — мне жаль тебя! Ты малый не глупый и, как я слышал, обучен наукам, а мне таких людей надобно. Доселе никто не слышал твоих дерзостей, кроме меня. Верю, что тебе горько, но не потерплю, чтоб ты продолжал поносить меня и господ Сенат, облеченных моею доверенностью. Говорю тебе, я рассматривал твоё дело, и оно решено справедливо. По закону ты уже заслужил смертную казнь, но перестань презорствовать, а я забуду слышанное.

— Велика милость твоя, государь, но я был бы её недостойн, если б тебя послушался. Мне перестать жаловаться? Отказаться от собственной крови, отречься от рода, опозорить предков, согласившись, чтоб их потомок прослыл холопским сыном? Робкая голубица боронит гнездо от насилия и бьет крыльями, которые господь дал ей для бегания от людей, а ты хочешь, чтоб молчал человек? Нет, государь! Урежь мне язык, поставь на дыбу, мучь, рви, терзай, а я до последнего издыхания не перестану твердить, что, осудив меня, ты сотворил неправду.

— Но чем же ты докажешь истину своих слов? — вскричал вспыхнувший снова Петр.

— Доказать не могу, потому что враг сильный отнял у меня все способы, но я указал тебе, государь, путь к истине, а ты им пренебрег, возвратил мне челобитную с надписью, что дело решено.

— Какую челобитную? Я ни о какой челобитной не ведаю.

— Вот она! — отвечивал Безыменный, вынув ее из бокового кармана.

Петр внимательно прочел поданную бумагу раз, другой, и, обратившись к часовому, молвил: «Есть тут обстоятельства, которых я не знал, но все одни догадки, ничего положительного. Ты винишь государственного сановника, мужа мне близкого, в злодейском умысле, и, не подтвердись твое обвинение, подвергаешься за это одно смертной казни. Впрочем, я еще раз рассмотрю дело с господами Сенатом, и если твой извет несправедлив, не прогневайся! Я тебя предостерег. Миша! — закричал он карле, который в это время находился у своего пруда, — пошли мне караульного офицера».

— Г. поручик, — продолжал государь, когда офицер предстал перед него, — этого часового сменить и содержать на гауптвахте до моего повеления! А завтра, при точном рапорте, напомните мне о деле Горбунова и накажите то же самое офицеру, которому сдадите караул.

При сих словах Петр отправился во дворец, а нашего Андрея отвели под стражу.

Глава XIV

— Орлов! — молвил государь на другой день одевшему его денщику. — После моего ухода отправься к князю Александру Даниловичу. Скажи ему от меня, чтоб он не ездил нынче в Сенат, а занялся делами в Адмиралтействе-коллегии. Сам же я туда сегодня не буду. — За сим Петр, сев на ялик, пустился грести к Смольному двору. Пробыв несколько времени в своем анатомическом кабинете, на обратном пути въехал в Фонтанку для обозрения воздвигавшихся на берегах ее зданий, осмотрел строившиеся в Новой Голландии суда, посетил крепостные работы и, наконец, пристал в виду Царской австерии, почти у нынешнего Троицкого моста. Подкрепив себя по обычаю рюмкой водки и куском ржаного хлеба с солью, отправился в канцелярию Сената.

Тогдашняя канцелярия Сената, каменное здание в два жилья, находилась между домиком государевым, что на Петербургской стороне, и собором св. Троицы. Нижнее жилье занимали служители и мелкие чиновники, в верхнем находились архив, арестантская, куда при-

водили преступников до выслушания приговора, три небольших покоя для канцелярской, и наконец судейская. Тут голые стены, всего убранства — портрет государев во весь рост, в раме простого дерева под стеклом статья из высочайшего указа, что сенаторам, в силу данной присяги, «творить суд и расправу честно, без лицепрятия, совестью и правдой», наконец, длинный, под красным сукном стол, за коим сидели сотрудники Петра в деле правления. На первом месте, в шитом французском кафтане и длинном напудренном парике, старший сенатор, восьмидесятилетний граф И. С. Пушкин, живая летопись трех царств, сороковой год бессменный в Верховной Государственной думе; против, в чекмене зеленого сукна, князь Ив. Фед. Ромодановский, наследовавший от отца титул кесаря, прямодушие, суровость и любовь к старине; подле них в генерал-кригс-комиссарском мундире, уже тогда маститый старец, князь Як. Фед. Долгорукий, прямой слуга и советник царский, коего имя соделалось у потомков знаменем бесстрашия и правоты, и вице-канцлер барон П. П. Шафиров, обширный умом и познаниями, сановник совершенный, если б умел обуздать пылкий дух; далее появлялись граф Б. П. Шереметев и граф Ф. М. Апраксин, сподвижники царя на поле ратном и по миновании войны служившие ему советом, граф П. А. Толстой, славный посольством в Константинополь, умный и честолюбивый князь Д. М. Голицын и, наконец, обер-прокурор П. Я. Ягужинский, которому Петр дал почетное имя друга правды.

Едва пробило девять часов, вошел государь и, чтоб не развлечь внимания присутствовавших, тихо вдоль стены пробравшись к президентским креслам, занялся рассматриванием лежавшего перед ним протокола. Когда прочтенное обер-секретарем дело было выслушано и по произнесении приговора готовились перейти к другому: «Господа Сенат! — сказал Петр. — Недели за три перед сем, по указу нашему, основываясь на извете подъячего Терентьева, при коем он представил показание, учиненное перед смертью мещанкой Палагеей Тихоновой тихвинскому попу отцу Петру, в присутствии его, подъячего Терентьева, и посадского человека Ефима Фролова, вы решили и приговорили недоросля, называвшего себя Андреем Горбуновым, признать сыном ее, мещанки Тихоновой, а оставшееся после мнимого дя-

ди его, окольного Ивана Горбунова-Бердыша, имение, село Воздвиженское с деревнями, отобрать у него, как вымороченное, в нашу государеву казну. Ныне Андрей Горбунов бьет мне челом, что поверенный князя Меншикова, Белозубов, за два дня до подания извета предлагал ему продать означенное имение, на каковую продажу Горбунов не изъявил согласия, и что в извете участвует посадский человек Ефим Фролов, который-де клевет Белозубова, из чего он, Горбунов, и выводит следствие о подлоге извета. Я рассматривал внимательно все обстоятельства дела и, признаюсь, нахожусь в большом затруднении. Отца Петра, перед коим Тихонова учинила сознание, нет в живых; сама она скончалась вскоре после показания; Николай Федоров, дядька Андрея Горбунова, на которого сей ссылался в челобитной к воеводе, убит на пути».

Вдруг прервал слова государевы необыкновенный стук и визг в канцелярской: «Пустите, пустите, я хочу их видеть; сам господь прислал меня к ним, я должна их видеть». Распахнулись двери судейской: предстала пред очи изумленных сенаторов старуха, бледная, как привидение, покрытая рубищем и морщинами, едва влачившая ноги, опираясь на толстого мужчину, больного лицом, по-видимому, едва оправившегося от недуга. «Что это за люди?» — вскричал Петр в негодовании на дерзость. Старуха с усилием произнесла — «мещанка Палагея Тихонова» и повалилась на землю. Подбежавшие подняли безжизненный труп.

Еще при жизни Бердыша, за два года перед сим, Терентьич продал себя его противникам. Ведая желание князя Александра Даниловича иметь в своем владении село Воздвиженское с деревнями и убежденный, что Горбуновы не соизволят на продажу имения, внушил Белозубову мысль о подлоге и предложил употребить для сего мамку Андрея. Белозубов подослал к Палагее Тихоновой клеветы своего Ефима Фролова, который под именем посадского вкрался к ней в дом и женившись на дочери, обещанием большой награды и возвышением дочери в дворянки, преклонил тещу к лжесвидетельству. Тихонова, притворившись больной, в присутствии Терентьича и Ефима Фролова показала священнику церкви Спасова Преображенья, отцу Петру, что она мать Андрею. Но цель заговора еще не была достигнута: надлежало скрыть существование дочери и

отклонить последствия от возможного раскаяния матери. Для сего Фролов, заранее приняв меры к спасению имущества, поджег в одну ночь ее дом и перевез старуху с женой за тридцать верст от Тихвина, в захолустье, где мы их видели. Тихонова, грызмая совестью, приписывая самый пожар каре господней, впала в болезнь, лишилась употребления рук, ног, языка, но сохранила память, слух и сознание в преступлении. Между тем Бердыш скончался. Белозубов, после тщетных усилий склонить Андрея обещаниями и угрозой к продаже имения, решил пустить в ход дело. Но, по сродному злодеям беспокойству, опасаясь, что, невзирая на все предосторожности, Андрей с помощью Николая Федорова, знавшего семейственные обстоятельства, успеет доискаться истины, поручил Фролову, подобрав двух негодяев, напасть на них в тихвинском лесу. Тихонова слышала, как Терентьич и ее зять, которого не беспокоило присутствие расслабленной, переговаривались о гибели Андрея, и когда он прибыл в следующую ночь в избу, влекомая каким-то любопытством, которого сама себе объяснить не умела, сделала усилие и к удивлению своему впервые почувствовала возможность встать и двигать языком. Сходство Андрея с матерью, коей образ она увидела в юноше, и немногие произнесенные им слова открыли, что то был ее вскормленник. Тогда решилась во что бы то ни стало обнаружить свое преступление. «Господь дал мне почувствовать раскаяние, дает силы явить его и на деле». С сей верой, воспользовавшись несколькодневным отсутствием зятя, вышла из дома и, слышав, что дело Горбунова производится в Петербурге, потянулась пешком в столицу. Прибыв туда, встретила на постоялом дворе больного Николая Федорова, которого подняли за мертво ехавшие в Петербург с припасами крестьяне и по его желанию повезли с собою. Николай Федоров, зная, что Горбунов перенес дело в Сенат, привел туда Тихонову.

Глава XV

Государь Петр I в предположении пересоздать Россию, связав нас с народами Западной Европы просвещением, торговлей, мыслил, что не вполне достигнет цели, если совершенно не изменит существовавших между

двумя полами отношений. До царя Алексея женщины вели у нас затворническую жизнь. При нем и особенно в правление Софии оне получили более свободы, но сия свобода была еще весьма ограничена. Стоило девице сказать несколько слов чужому мужчине, не родственнику, чтоб навсегда потерять доброе имя. Решительный переворот в положении женщин последовал с воцарением Петра. Узрев в посещениях заграничных купцов в Москве, какую прелесть уважение к прекрасному полу разливает на всю жизнь, как много оно способствует к очищению нравов, царь примером, увещаниями, угрозой старался доставить женщинам право гражданства в наших обществах. Наконец, для большего развития светской жизни и вместе для сближения сословий, с переездом двора в Петербург, когда низложение врага сильного позволило ему вполне предаться занятиям мира, особнным указом (1714) постановил еженедельные собрания мужчин и женщин, известные под именем ассамблей, и для поддержания сего нововведения сам принимал в них деятельное участие. Двадцати четырем государственным сановникам предписано было иметь у себя раз в зиму ассамблею, то есть осветить и отопить по крайней мере три комнаты, накормить и напоить гостей, иметь музыку для танцев и отдельный покой для слуг. Ассамблеи начинались с наступлением осени, оканчивались великим постом. Посещали их дворяне обоего пола по указу, купцы и ремесленники по произволу, под одним условием — быть порядочно одетыми; духовенство появлялось в ассамблеях в качестве зрителей, с правом не участвовать в забавах.

В один из первых дней сентября возведено было жителям Петербурга барабанным боем и прибитыми к фонарным столбам объявлениями, что будет ассамблея у генерал-фельдмаршала князя Меншикова, которого собраниями начинались и оканчивались зимние увеселения столицы. Безыменный, освобожденный из-под ареста, получил от государя, вместе с правом воспринять снова имя Горбунова, повеление явиться того вечера у князя. В шесть часов сел на ялик с Желтовым, оба без шпаг (для предупреждения дурных последствий от прилежного осушения бутылок строго было запрещено являться в ассамблеи при шпагах) и пустился ко дворцу Петрова любимца. Великолепно освещенная пристань, горевшие у крыльца смоляные бочки и яркие огни в

окнах уже издали возвещали, что у князя собрание. Пажи у пристани, камер-юнкеры у крыльца, скороходы на ступеньках лестницы, камергеры наверху, в синих livреях, улитых серебром, стояли для встречи царицы. У дверей находились два гайдука, великаны вершков в тринадцать, которым приказано было принимать всех и никого не выпускать прежде девяти часов. В приемной приехавшие друзья поспешили объявить имена свои полицейскому офицеру для избежания пени, коей подвергались пропускавшие ассамблею, если не оправдывали отсутствия достаточными причинами.

При входе в гостиные комнаты изумила Горбунова пышность, какой еще не встречал. Государь и весь двор жили чрезвычайно просто. Дворяне русские щеголяли столом, винами, лошадьми, псами. Князь же Александр Данилович стоял на том, чтоб во всем образе жизни сравняться с владетельными особами. Восемь больших покоев открыты были для посетителей. Везде штучные полы, гобеленовые или штофные обои, хрустальные люстры, бронза, мрамор, фарфор, венецианские зеркала, мебель, выписанная из-за границы. Комнаты были набиты людьми, но ни князь, ни княгиня не появлялись. Хозяева не заботились о гостях, гости о хозяевах. И те и другие заняты были своим делом. Хозяин угощал, потому что ему было повелено, и расточал великолепие в угодность государю и собственному тщеславию. Гости же, которым также приказано было веселиться, исполняли приказ с верноподданническим усердием и уж точно веселились от души. Основной закон ассамблеи — совершенная непринужденность. У каждой двери повешено было напоминание посетителям не чиниться, не беспокоить себя ни для какого лица, под опасением наказания осушить огромный кубок Большого Орла, который тут же под крышкой находился на мраморном пьедестале.

Горбунов изъявил желание обойти комнаты. Рука об руку два друга вошли в покой, назначенный для разговоров. Тут заметили Стефана Яворского, председателя Синода, первую духовную особу в России, являвшего в частной жизни строгое воздержание инока, фельд-маршалов Шереметева и Голицына, равно высоких доблестями воинскими и гражданскими, кои одни в этот пьющий век, когда не только у нас, но и при всех европейских дворах излишество в вине считалось если не

добродетелью, по крайней мере не пороком, когда, по свидетельству современников¹, в Берлине, Лондоне, Париже, Варшаве королевские обеды не раз кончались вытаскиванием собеседников из-под столов, одни, говорю, из обыкновенных посетителей бесед имели право отказываться от участия в попойках и освобождены были от наказания Большого Орла, которому подвергались сам царь, царица, все мужчины и замужние женщины, с тою разницею, что женский кубок был втрое менее против мужского: так справедливо, что истинное достоинство везде и всегда приобретает уважение! Далее являлись братья Долгорукие, князь Яков и Григорий, изумлявший парижан любезностью и образованием, Толстой и Шафиров, славные переговорами с Оттоманскою Портою, и, наконец, соперник последнего, засыпанный табаком, Анд. Ив. Остерман, обессмертивший себя договорами Нейштатским и Белградским, тогда еще мелкий чиновник, но уже уважаемый за тонкий ум и многостороннее образование. Все, за исключением последнего, были предметом ненависти для хозяина, который ни в чем не терпел соперников, но ненависти тайной, потому что явная не смела обнаружиться при Петре. Перед ними стояли группами молодые люди, с благоговением слушая, с жадностью ловя из уст сих мужей доблестных уроки мудрости, которой живые примеры видели в их жизни,— обстоятельство, достойное замечания при малообразованности тогдашнего поколения.

Перешед в следующую комнату, друзья очутились будто в другом мире: шум, говор, крик, чоканье стаканов, где обнимаются, целуются, где спорят и мирятся за кубками. Совершенное равенство. Иные, кои до вступления в залы ассамблей не смели взглянуть на соседей, тут словно свои: в рясах, в мундирах, в кафтанах; без различия чинов, званий, лет, без порядка, кто сидя выше, кто ниже, как кровные, как братья, с румяными от вина и веселости лицами — все пьют из одной круговой чаши. Полная свобода! Пир горой! Вино льется! Одно преступление — отставать от соседей. Тут Желтов указал Горбунову товарищей Петра в совете и веселии: знаменитого архиепископа новгородского Феофана, красноречивого оратора, глубокомысленного политика, историка и столь же усердного собеседника, затем Ягу-

¹ См. журнал Берхгольца, *Mémoires de la P-sse Sophie de Prusse, Mémoires sur la Régence.*

жинского, равно бесстрашного в Сенате и за чашей, далее князя-кесаря Ромодановского, в одном изменявшего старине, что предпочитал медам заморские вина, адмирала Апраксина, который со слезами радости осушал кубки, Ив. Ив. Бутурлина, получившего титул князя-папы за подвиги на пирах, и разгульных членов его общества.

Разительную противоположность представляла третья комната. На столах вместо вина — пиво и пунш. Осененные облаком, с глиняными трубками в зубах собеседники также пьют, но молча и отдыхая только, чтоб всасывать и выпускать из себя табачный дым. «Здесь, брат! — сказал Желтов Горбунову, — муха пролетит, услышишь, а если кто и обмолвится, то верно не по-нашему». Действительно, пировавшие тут были исключительно иностранцы: офицеры, служившие в нашей армии и флоте, шхипера, оставшиеся на зиму в Петербурге, иноземные купцы. Андрей заметил между ними герцога Голштейн-Готторского, перешептывавшегося с вице-адмиралом Крюйсом и не уступавшего в беседах ни одному из самых отчаянных наших весельчаков, так что, по словам его камер-юнкера Берхгольца, никогда не выходил из беседы своими ногами.

Обозрев четвертую комнату, где в разных концах посетители то стучали шашками, то двигали безмолвно шахматами, и заметив тут особенный стол и поставленные подле с раззолоченным на спинке орлом кресла для государя, обыкновенно игравшего в шахматы с графиней Пушкиной, Горбунов перешел на половину дамскую. Вдоль по стене сидели длинным рядом матушки, напудренные, в кирасах и широких робронах, глядя на дочек и повторяя про себя последние два стиха молитвы господней: и не введи их во искушение, но избави от лукавого; впереди дочки стояли строем, расчесанные, разряженные, перетянутые; против — молодые мужчины, также в строю. О разговорах с женщинами, этом обмене ума и любезности, который ныне составляет главное наслаждение в обращении с прекрасным полом, в то время не было и помину. Да и говорить было не о чем. «Грамота не женское дело», — твердили старики. Иные девицы не только не читали, да и совсем не видали книг, разве в церкви, когда дьякон выносил из алтаря евангелие. Пяльцы и одни пяльцы были их занятием, мастерство шить — лучшей похва-

лой. Притом умы находились тогда в каком-то ребячестве, которому ныне с трудом поверят. Герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, царевна Екатерина Ивановна, сестра императрицы Анны, жившая в России после развода с мужем, женщина лет тридцати, нрава веселого, в пребывание двора в Москве в 1722 г. принимала у себя, в селе Измайлове, раз в неделю дам и девиц. Чем же, думаете, они весь вечер занимались? Ни дать, ни взять, играли с кошками. И это чрезвычайно их забавляло. «Не поверишь, мой свет,— писала царевна к графине Авд. Ив. Чернышевой,— как нам вчера было весело; кошки смешили нас до упаду». А потому и в ассамблеях, до начатия танцев, только и дело было что глазели: мужчины глядели во все глаза на девиц, девицы украдкой на мужчин, и если встречались взорами, опускали, краснея, очи или закрывали платками лицо.

Горбунов и Желтов присоединились к толпе зрителей на сии живые картины, как вдруг внезапный блеск привлек их к окну. Великолепное представилось зрелище. Нева горела от разноцветных огней, коими освещены были буера, яхты, ялики, в стройном порядке двигавшиеся от противоположного берега к пристани: подъезжал царский двор. Вскоре раздались трубные звуки, и вошел в покои Петр, ведя под руку Екатерину, а за ними блистательный, многолюдных послед мужчин и женщин. Горбунов с удивлением взирал на величественную красоту русской царицы, ее высокий рост, казавшийся еще выше от длинных темно-русых волос, зачесанных по тогдашнему обычаю вверх, ее широкое чело, большие темно-голубые глаза, лицо чистое, покрытое румянцем стран полуденных, стройный стан и гордую поступь. Подле находились великие княжны: Елисавета, незадолго покинувшая крылышки¹, поразила его с первого взгляда: ее мягкие как шелк спускавшиеся до плеч локоны, большие голубые глаза, дышавшие негой, ослепительная белизна шеи и рук, полная грудь — останавливали самого равнодушного зрителя. Наружность Анны не имела ничего блестящего, отличного; но в чертах, во взорах, во всех движениях сияла душа чистая, нежная,

¹ Автор позволил себе несколько подвинуть эпоху совершенствования в. к. Елисаветы. Государь Петр I обрезал ей крылышки в день торжества о заключении Нейштатского мира, 21 ноября 1721 г.

исполненная любви ко всему окружающему. Желтов указал между прочим другу княжен Марию Александровну Меншикову и Катерину Алексеевну Долгорукую, кои потом обе, жертвы отцовского властолюбия, отторженные от женихов, чтоб одна за другой быть обрученными одному императору, кончили дни невестами-вдовами в заточении, графиню Нат. Бор. Шереметеву, последовавшую за женихом в ледяные дебри Сибири, гр. Матвееву, тогда невесту А. И. Румянцева, отца знаменитого фельдмаршала, и славных в то время любезностью графинь Головкиных и княжну Черкасскую.

Появление великих княжен оживило немую картину, какую являли покои, занимаемые прекрасным полом. Их снисходительное, милостивое обращение со всеми, без различия званий, и свобода с мужчинами служили образцом для фрейлин. Сии последние имели уже своих угодников: в числе роившихся кругом молодых людей проявлялись известные заслугами и саном в последующее время: Ив. Ив. Неплюев, славный посольством в Турцию и особенно управлением Оренбургского края, С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков и, тогда из первых красавцев, А. Б. Бутурлин, предводительствовавшие в Семилетнюю войну нашими армиями; наконец, знаменитый Миних, в то время еще генерал-майор, который со всею германскою неловкостью был самым страстным воздыхателем женского пола и сохранил сию слабость до преклонной старости, так что по возвращении из Сибири, утружденный летами и недугом, писал еще любовные письма к молодым графиням С. и В., составлявшим украшение двора императрицы Екатерины II. Впрочем, и сия угодливость была совсем не то, что ныне. В движениях самый церемонный этикет, в словах все изысканные выражения осмеянных Мольером умников *de l'hôtel Rambouillet*, не подходили без многократных поклонов, в танцах едва прикасались к пальцам дамы: какая непринужденность между мужчинами, такое жеманство в обращении с женщинами.

Обыкновенно по прибытии государыни начинались танцы, но тут медлили, потому что не было души собрания, того, по мановению коего оно двигалось. Петр, имевший обычай со вступлением в ассамблею тотчас обойти всех посетителей, прошел прямо в кабинет, повелев следовать за собою хозяину, который, привыкнув

читать на лице государевом происходившее в его душе, с трепетом ожидал последствий свидания.

— Данилыч! Долго ли ты будешь играть моим терпением? — строго спросил царь, садясь в кресла. — Что у тебя за дело с Горбуновым?

— Никакого, государь! — отвечал князь. — Я хотел купить у его дяди имение, но старик отказывался от продажи. По его смерти обратился к наследнику, и этот молокосос, не взирая на мои выгодные условия...

— И потому, — прервал Петр, — что этот молокосос, как ты его зовешь, не хотел удовлетворить твоей прихоти, ты решил злодейским умыслом лишить его собственности?

— Злодейским умыслом? — с изумлением возразил князь.

— Данилыч! — продолжал царь, не замечая восклицания. — Пока ты довольствовался похищением государственной казны, я, памятуя твои заслуги и, может быть, по слабости к тебе, чтоб не срамить тебя, разделялся с тобой по-домашнему и довольствовался наказанием тебя денежной пени, иногда же пополнял ущерб из своих доходов. Но если, издеваясь моим снисхождением, ты употребляешь свое могущество на угнетение беззащитных, если для достижения своих замыслов прибегаешь к подлогам, поджогам, убийству и прикрываешь сии преступные козни предлогом государственного интереса, Данилыч, — промолвил Петр, возвысив голос, — я, божий слуга; отмститель в гнев творящему злое, поставлен на то, чтоб карать преступление. Слезы невинно терпящих вопят на меня к богу, и тяжко мне придется отвечать за них, если не исполню долга; а ты лучше другого ведаешь, что я умею его выполнить.

— Государь! — отвечал князь. — Ваше величество изволите упоминать о подлоге, зажигательствах, убийстве, о коих я не имею понятия. Поверенный мой, Белозубов, писал ко мне, что бежавший из дома Горбуновых подьячий Терентьев открыл ему, будто наследник Бердыша подкидыш, а следовательно, владеет имением незаконно, и просил моего согласия повести о том дело у новгородского воеводы. Я соизволил, но что тут были злоумышление, козни — того не ведал и не ведаю.

Петр не спускал с князя очей. «Верю словам твоим, еще более лицу, — сказал он наконец, — но не менее стыда

тебе иметь клеветников, способных на такие злодеяния. Не погневайся! Я повелел Белозубова, Терентьева и Фролова предать суду. И горе тебе! если окажется, что ты тут сколько-нибудь замешан». Потом, встав, промолвил уходя: «Я приказал Горбунову быть сегодня здесь, хочу, чтоб ты перед ним извинился».

Едва лишь государь воротился в собрание, подали знак к танцам. В ассамблеях перед начатием бала хозяин подносил даме по выбору бронзовый, вызолоченный жезл, наподобие кадуцея, и перчатку в знак державства, как бы давая знать, что в светской жизни господство принадлежит женщинам. Дама, принимавшая затем название ц а р и ц ы б а л а, подзывала любого мужчину, заставляла его стать на колени и, посвятив в маршалы бала, по примеру древних рыцарей — приложением двух пальцев к его щеке, передавала ему с кадуцеем свою власть. Обязанность маршала была исполнять безропотно все, самые прихотливые повеления своей дамы и по ее наставлениям распоряжаться балом. В сей вечер князь Меншиков подошел к Екатерине и на коленях поднес ей знаки власти над собранием. Когда хотел встать, государыня, остановив его, молвила: «Позвольте, князь! Я намерена избрать вас в маршалы и по праву господства моего над вами хочу, чтоб вы исполнили требование, которого, верно, не ожидаете».

— Ваше величество! — возразил князь. — Для сего не нужно мне маршальского жезла. Я раб ваш, и ваша воля была и будет мне всегда непреложным законом.

— К вам недавно поступила фрейлина, не помню, как ее зовут, спросите о том у княгини Марии Андреевны. Я принимаю ее под свое покровительство. Употребите свое влияние, дабы ее не выдавали замуж против желания.

— Государыня! — отвечивал князь. — В угодность вам я сделаю более: и если ваше величество повелите, постараюсь соединить ее с предметом ее любви. Дворянство бывшего ее жениха доказано, и ничто не мешает их союзу.

— Вы мне доставите этим удовольствие, — сказала царица.

Между тем как судьба таким образом без ведома Андрея готовилась вдруг вознаградить его за все напасти, сам он с любопытством смотрел на мелькавших пе-

ред ним танцовщиков. Восхитила его прелесть, с какою двигалась в менуэте великая княжна Елисавета, ловкость в контрдансе графинь Головкиных, первых танцовщиц после великой княжны, умилило снисхождение царя, который то участвовал в пляске, то, положив одну ногу на другую, с трубкою в зубах беседовал за одним столом с архиереями о богословии или с иноземными мореходами об опасностях их плавания, то, наконец, вместе с пировавшими пил из круговой чаши. Но всего более поразил его танец, изобретенный Петром, трогательное доказательство благодушия царя и его желания видеть на всех лицах веселость. Это был род нашего гротеска. При игрании похоронного марша от шестидесяти до ста пар двигались погребальным шествием; вдруг, по движению маршальского жезла, музыка переходит в веселую, дамы покидают своих кавалеров и берут новых между нетанцующими, кавалеры ловят дам или ищут других, от этого кутерьма ужасная, толкотня, беготня, молодые танцовщицы хватают стариков, молодые мужчины тащат старух, те отказываются, отбиваются, шум, крик, все собрание, тысяча или полторы тысячи человек, поднято, словно играют в жмурки. И заметьте, Петр, Екатерина, вся царская фамилия тут же: за ними бегают, гонятся, сами они ловят, безо всякого от других отличия, словно в своем семействе. Наконец, новое движение жезла: все приходит опять в прежний порядок, и те, кои остаются без дам или кавалеров, осушают кубки Большого или Малого Орла, единственное наказание за все проступки в ассамблее.

Андрей едва оправился от суматохи, в которой волей-неволей принужден был принять участие, увидел перед собою того, кого почитал главным себе врагом. «Господин Горбунов! — молвил князь Александр Данилович. — Мне весьма больно было узнать о неприятном деле, какое навязали вам, и еще более, что при этом употребили во зло мое имя. Уверяю вас честью, что все против вас злоухитрения и козни, на какие дерзнул поверенный мой Белозубов, чинились без моего ведома и воли. Чтоб доказать, что не питаю к вам неприязни, предлагаю вам свою дружбу (тут князь протянул руку) и постараюсь явить ее на деле. Не угодно ли вам перейти со мною в боковую комнату?» Андрей в изумлении последовал за князем. Вдруг раздалось: «Андрюша! мой Андрюша!» — и Варвара очутилась в его объятиях.

Два месяца спустя после сей неожиданной и счастливой встречи обрученных, в два часа пополудни, несколько дрог четвернями, нагруженных сундуками, заказною в Петербурге мебелью орехового дерева, всем, что новобрачная приносит в дом супруга, покрытых богатыми персидскими коврами, медленно потянулись из села Евсеевского в село Воздвиженское. Впереди в карете веером, расписанной золотыми и серебряными городками в виде шахматной доски, покидавшей сарай только при торжественных случаях, гордая как пава, пышная как маков цвет, Ивановна в высоком чепчике, который принуждена была надеть со вступлением в дом князя Александра Даниловича и потом уже не снимала, и богатой штофной телогрее, открывала шествие цугом убранных перьями коней. Рослые слуги позади и вершники по сторонам умножали пышность поезда. Едва он показался в виду ярко освещенного дома Горбуновых, Андрей, испросивший дозволение уехать из Петербурга для женитьбы вместе с Желтовым, который также взял отпуск, чтоб быть шафером у своего приятеля, вышли на крыльцо встретить дорогую гостью. После первых приветствий, когда няня Ивановна заняла половину дома, назначенную для будущей владычицы села Воздвиженского с деревнями, и жених вместе с другом отправились к нареченному тестю благодарить за приданое, Николай Федоров, род первого министра у молодого барина, дворецкий Илья Иванов, малорослый, дородный, плешивый мужчина, и ключница Анна Васильевна, которую в силу сего звания и потому, что по догадкам пользовалась особенным благоволением покойного Бердыша, прочие слуги честили Анной Васильевной, как некогда наших бояр — с «вичем», — все, с детства кормившиеся от подачек господского стола и составлявшие высшую аристократию в многолюдной дворне Горбуновых, следуя приказу барина, угостили роскошным ужином нового товарища. Когда блюда одно за другим были разнесены между собеседниками, и сладкое вино развязало языки:

— Слава тебе, господи! — воскликнула Ивановна, — наконец привел бог дожждаться. — Прошел бы завтрашний день благополучно, а там и дело с концом.

— Уж тут далеко ли? — молвила Анна Васильевна. — Жаль только, что отец Григорий изнемогает. Уж куда как ему хотелось обвести молодых кругом налож. Да больно стар, сердечный! С постели, вишь, подняться не может.

— Я, чай, Маланья Ивановна, Варвара-то Лукинишна рада, — промолвил дворецкий.

— И, батюшка! — отвечала няня. — От радости света божьего не взвидит. И здоровье, и веселье, все мигом прикатило! Глядит, как наливное яблочко! А то, бывало, не дай бог и ворогу, только и ведала, что горе, особенно в Санкт-Петербурхе, словно свечка, истаяла, иссохла, как лучинка. И день и ночь то и дело, что то-скует. Слез нет, а только что вздыхает, да так тяжело, что не приведи господь! Уж я, ах ты, владыка небесный, и молитвы над ней творила, и сама плакать, и ей-то говорю: «Полно тебе, свет мой, кручиниться, господь милостив, не оставит тебя горемычной, не убивай себя и нас». Нет! Что прикажешь делать? Все грустит. А пуще всего, коли заговоришь о Белозубове. Да и он, душегубец, прикинулся влюбленным и ну свататься! А ей это пуще, чем нож в сердце.

— Мало того, — подхватила Анна Васильевна, — Андрей Александрыч чуть со двора, а он на двор. Прикатил сюда в Воздвиженское да и распоряжается, словно своим добром.

— Далеко кулику до Петрова дня, — прервал дворецкий. — Каково-то им всем теперь распоряжаться на каторге в Рогвихе, что ли?

— Да и поделом их! — молвил Николай Федоров. — Слыханное ли дело, пуститься на такое беззаконие!

— Мне жаль дочки Тихоновой, — сказала тут няня. — Она, бают, ни про что не ведала. Ан теперь без мужа, чай, горемычная, по миру пойдет.

— Не тревожьтесь, Маланья Ивановна! — отвечал дядька. — У нашего барина душа христианская: приказал отвести ей двор и пожаловал месячную дачу.

— Куда какой добрый! — промолвила няня. — Дай бог ему много лет здравствовать!

Тут Илья Иванов велел подать из поставца большую заздравную чашу, наполнил ее, и громко произнес: «Здравие и многолетие нашему барину и барыне!

Пошли им, господи, много чад и домочадцев! Да здравствуют на многие лета!» — осушил ее до дна.

Собеседники почли долгом, повторив тост, последовать примеру. Между тем пробило 8 часов. Николай Федоров, не без основания почитавший себя старшим и в постоянную бытность при господах получивший понятия о светскости, подал руку няне, для которой после дневных трудов и веселого ужина сия подпора не была лишней, и в сопровождении собеседников, доведши новую гостью до вверенной ее надзору половины, пожелал ей доброй ночи.

— «Прощенья просим-с, Николай Федорыч, Илья Иваныч, Анна Васильевна».

Прощенья просим, гг. читатели!

1832



ПРИМЕЧАНИЯ

В советское время неоднократно издавались собрания сочинений и избранные произведения писателей-декабристов. Однако форма антологии, позволяющая представить декабристскую литературу как сложное, но внутренне единое целое, не утратила своего значения по сей день. Наиболее обширной антологией такого рода является кн.: Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика. М.—Л., 1951 (издание подготовил В. Н. Орлов); сокращенное переиздание этого сборника—Декабристы. Антология. В двух томах. Л., 1975.

Настоящее издание не дублирует предшествующих антологий. Оно ставит своей задачей познакомить читателя с наиболее значительными и характерными образцами декабристской литературы; за его пределами остаются случайные фигуры литераторов-дилетантов. Наряду с поэзией и художественной прозой в двухтомник вошли важнейшие программно-политические документы и мемуары. Из обширной декабристской мемуаристики отобраны произведения, давно не переиздававшиеся, но имеющие большую историческую и литературную ценность. В книгу не вошли поэмы декабристов, включенные в изд.: Русская романтическая поэма. М., 1985 (издание подготовили А. С. Немзер и А. М. Песков).

Располагая материал по персональному признаку, составители в то же время старались, чтобы издание давало представление об эволюции декабризма. Сначала публикуются программные документы, характеризующие основные стадии и направления декабристской идеологии. Далее даны произведения литераторов, связанных с ранними декабристскими организациями, затем — произведения писателей круга «Полярной звезды», активно участвовавших в деятельности Северного общества, наконец — произведения авторов, чья творческая активность приходится на период после восстания.

Тексты печатаются по наиболее авторитетным источникам —

изданиям Большой серии «Библиотеки поэта», серии «Литературные памятники», собраниям сочинений и т. п.

История декабризма наиболее полно освещена в капитальной монографии: М. В. Нечкина. Движение декабристов. В двух томах. М., 1955 (в сжатом виде концепция монографии изложена в научно-популярной книге: М. В. Нечкина. Декабристы. М., 1982). Для первоначального знакомства с материалом полезна краткая, но весьма содержательная кн.: С. Б. Окунь. Декабристы. М., 1972.

В примечаниях к настоящему изданию приняты следующие сокращения:

БдЧ — «Библиотека для чтения».

ВД — «Восстание декабристов».

ВЕ — «Вестник Европы».

Воспоминания — Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. В двух томах. М., 1980.

ЛГ — «Литературная газета».

ЛН — «Литературное наследство».

ЛПРИ — Литературные прибавления к «Русскому инвалиду».

МТ — «Московский телеграф».

НА — «Невский альманах».

НЗр — «Невский зритель».

НЛ — «Новости литературы».

ОЗ — «Отечественные записки».

ПЗ 1823—1825 — «Полярная звезда...» на 1823—1825 гг. СПб.

ПЗ, I—VIII — «Полярная звезда», кн. I—VIII. Лондон. 1855—1868.

РА — «Русский архив».

РБ — «Русская беседа».

РИ — «Русский инвалид».

РС — «Русская старина».

СО — «Сын отечества».

Сор. — «Соревнователь просвещения и благотворения».

ССД — Собрание стихотворений декабристов. Лейпциг, 1862.

СЦ — «Северные цветы».

ПРОГРАММНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В настоящем разделе публикуются материалы, имеющие первостепенное значение для понимания декабристской идеологии: уставы тайных обществ и конституционные проекты. Для публикации выбраны прежде всего те главы этих документов, которые освещают культурную программу декабристов и раскрывают этические основы декабристской литературы. Все тексты печатаются по изд.: Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. В трех томах. М., Госполитиздат, 1951.

Законоположение Союза Благоденствия (с. 21).— Для выработки Устава Союза благоденствия (известного также под названием «Зеленой книги») в 1818 г. была создана специальная комиссия в составе С. Трубецкого, Михаила и Никиты Муравьевых. Трубецкой в работе комиссии практически не участвовал, а Н. Муравьев из-за разногласий с членами комиссии вышел из ее состава и был заменен П. Колошиным. «Зеленая книга» отразила позицию тех членов тайного общества, которые стремились свести деятельность Союза к мирной пропагандистской и просветительской деятельности. По имеющимся данным, члены Союза, не желавшие ограничиваться такими задачами, вели работу над второй частью «Зеленой книги» (до нас не дошедшей), которая должна была сформулировать «сокровенную цель» Общества — ликвидацию абсолютизма и крепостничества. Несмотря на сравнительно умеренное политическое содержание, сохранившаяся часть «Законоположения» ценна тем, что, во-первых, с исключительной яркостью воплотила характерные черты декабристской этики и, во-вторых, наметила отчетливые пути распространения декабристских идей в обществе. В программе создания передового общественного мнения «Зеленая книга» заметную роль уделяет литературе. Соответствующие положения Устава нашли прямое воплощение в творчестве многих писателей-декабристов. Кроме того, тактика Союза благоденствия предусматривала подчинение влиянию тайного общества ряда литературных организаций. Под воздействием идей декабризма оказались, в частности, Вольное общество любителей российской словесности (см.: В. Г. Базанов. Ученая республика. М.—Л., 1964), неофициальное литературно-театральное общество «Зеленая лампа» (см.: Б. В. Томашевский. Пушкин. Кн. 1. М.—Л., 1956, с. 193—234) и др. С положениями Устава Союза благоденствия, несомненно, связан и неосуществленный замысел литературно-политического журнала, вынашивавшийся Н. И. Тургеневым.

О «Законоположении Союза благоденствия» см.: С. Н. Чернов. Из работ над «Зеленой книгой». — В его кн.: У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960, с. 261—328.

«Русская правда...» (с. 45). — Важнейший документ декабристского движения, созданный его крупнейшим идеологом П. И. Пестелем. Основные положения «Русской правды» были обсуждены и единогласно приняты руководителями Южного общества на Киевском съезде 1823 г. Работа над «Русской правдой» велась в течение многих лет: документ должен был включать 10 глав, из которых в более или менее законченном виде было написано 5 (а окончательно отделаны 2 первые главы). Пестель считал неслучайным условием успеха революции диктатуру Временного революционного правления (устанавливаемую сроком на 10—15 лет). Руководством для этого Правления и должна была служить «Русская правда». Конституционный проект Пестеля имел отчетливо республиканский характер и открывал перед Россией путь буржуазного развития. Примечателен патриотический пафос «Русской правды», сближающий ее с другими декабристскими произведениями: уже само название документа, повторяющее наименование древнейшего законодательного памятника Киевской Руси, призвано было подчеркнуть связи с традициями древней «вольности».

«Русская правда» (все имеющиеся редакции) научно издана в кн.: ВД, т. VII; следственное дело Пестеля, важное для понимания «Русской правды», — ВД, т. IV. Новейшая сводка данных о Пестеле: Н. М. Лебедев. Пестель — идеолог и руководитель декабристов. М., 1972.

Правила Соединенных Славян (с. 82). — Написаны одним из руководителей Общества соединенных славян И. П. Борисовым. В этом документе отразилась связь с просветительской традицией (пп. 6—10) и в то же время романтически-утопическая мечта о грандиозной общеславянской федерации. В рукописи «Правил» вместо слова «оружие» всюду дано изображение солдатского штыка.

Присяга Соединенных Славян (с. 84). — Присяга составлена по образцу клятв итальянских карбонариев. Основным составителем присяги, видимо, также был И. П. Борисов.

Программу Общества соединенных славян разъясняет кн.: И. И. Горбачевский. Записки, письма. М., Изд. АН СССР, 1963 («Лит. памятники». Изд. подготовили Б. Е. Сыроечковский и др.). Некоторые исследователи считают автором «Записок» И. П. Борисова.

Проект конституции Н. Муравьева (с. 85).— Документ, в целом характеризующий позицию Северного общества. До нас дошло 3 варианта «Конституции»: первый (находящийся в следственном деле С. П. Трубецкого, 1821—1822 гг.), второй, хранившийся в бумагах И. И. Пущина (1824), и третий, по памяти написанный Муравьевым в конце 1825 г. в Петропавловской крепости. В настоящем издании воспроизводится «пущинский» вариант. Конституция Никиты Муравьева в отличие от «Русской правды» не была принята всем Обществом. Возражения сочленов вызвал ряд пунктов: согласно первоначальному варианту конституции, крестьяне освобождались без земли; лишь под давлением критики Муравьев разработал положение о наделении крестьян незначительными земельными участками. Муравьев ввел, кроме того, высокий имущественный ценз для избирателей и для избираемых на общественные должности. Предусматривалось немало других ограничений. Политическим идеалом провозглашается не республика (как у Пестеля), а конституционная монархия. В то же время конституция Н. Муравьева наносила ощутимый удар по феодально-абсолютистским институтам и предусматривала ряд буржуазных преобразований.

Публикацию всех редакций конституции, их научный анализ, а также характеристику автора конституционного проекта см. в работе: Н. М. Дружинин. Декабрист Никита Муравьев.— В его кн.: Избранные труды: Революционное движение в России в XIX в. М., «Наука», 1985, с. 5—304.

Манифест (с. 93).— Положения этого документа предполагалось объявить народу в день восстания. Текст «Манифеста» был найден при аресте у несостоявшегося «диктатора» С. П. Трубецкого, однако об авторстве его по сей день ведутся споры.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАТЕНИН (1792—1853)

Катенин родился в старинной дворянской семье (отец его был генералом), где получил основательное домашнее образование: современники единодушно отмечали его широкую эрудицию в различных вопросах, превосходное знание древних и новых литератур и языков. С 1806 г. Катенин служит в Петербурге, в министерстве народного просвещения, а с 1810 г. определяется в лейб-гвардии Преображенский полк. К этому времени относится начало его литературной деятельности: Катенин знакомится с Батюшковым, Гнедичем, начинает печататься в журнале «Цветник» — одном из лучших изданий тех лет. Уже первые опыты Катенина обратили на себя внимание оригинальностью и бесспорной неза-

урядностью. В 1812—1814 гг. Катенин участвует в ряде крупнейших сражений (при Бородине, Кульме, Лейпциге), с русскими войсками вступает в Париж. По возвращении из заграничного похода он включается в литературную жизнь с особой активностью: пишет и переводит ряд драматических сочинений (его трагедия «Андромаха» — заметное явление в истории русской драматургии), пытается сформировать национальную исполнительскую школу (среди прямых учеников Катенина — превосходного чтеца и тонкого знатока театрального искусства — выдающиеся актеры В. А. Каратыгин и А. М. Колосова); вокруг его поэтических произведений кипят схватки, что и неудивительно: Катенин дерзко бросал вызов нормам карамзинистской эстетики и пытался внести в поэзию дух «простонародности» и «национальности». В литературных боях принимал участие и сам поэт, отличавшийся кипучим полемическим темпераментом. В 1817 г. Катенин познакомился с молодым Пушкиным, на которого оказал в ту пору большое влияние; хотя отношения между поэтами отнюдь не были безоблачными, взаимный интерес и взаимное уважение оказались устойчивыми (Катенину принадлежат содержательные «Воспоминания о Пушкине»).

Очевидно, в конце 1816 г. Катенин вступил в Союз Спасения, а в 1817 г. возглавил одно из отделений Военного общества. В Союз благоденствия он не вошел (возможно, из-за разногласий с его руководством по тактическим вопросам) и в дальнейшем активного участия в политической деятельности не принимал. Тем не менее за Катениным до конца сохранилась репутация опасного вольнодумца: в 1820 г. он, уже полковник Преображенского полка, поссорился во время смотра с великим князем Михаилом Павловичем и был вынужден уйти в отставку. В 1822 г. Катенин был спешно выслан из Петербурга с запрещением въезда в обе столицы («поводом» послужил ничтожный проступок: шиканье в театре бездарной актрисе). Катенин поселяется в глухом костромском имении Шаево и лишь в августе 1825 г. получает разрешение вернуться в столицу. Там он застает декабрьские события, но никакого участия в них не принимает. Хотя имя Катенина не раз всплывало на следствии, к дознанию он привлечен не был как человек, давно отошедший от тайных обществ. В 1830-е гг. Катенин пытается вновь включиться в литературную жизнь: выступает в «Литературной газете» — органе пушкинского круга — с циклом «Размышления и разборы»; в 1832 г. выпускает свои «Сочинения и переводы» в двух частях (далее. — Соч.), на которые возлагает большие надежды. Однако книга была встречена более чем сдержанно; один только Пушкин посвятил ей сочувственную рецензию. В 1833 г. он вновь вступает в военную служ-

бу, принимает участие в боевых действиях на Кавказе; в 1836 г. в чине генерал-майора выходит в отставку. Последние годы Катенин жил в основном в Шаеве, печатался редко, хотя и не оставлял литературных занятий. Умер Катенин 23 мая 1853 г., став жертвой несчастного случая: он был сбит лошадыми. От исповеди и причастия отказался. Надгробие поэта украсила эпитафия, сочиненная им самим.

Основные издания: П. А. Катенин. Избр. произведения. М.—Л., «Сов. писатель», 1965 (БПБС; издание подготовила Г. Е. Ермакова-Битнер); П. А. Катенин. Размышления и разборы. М., «Искусство», 1981 (статьи и письма; издание подготовил Л. Г. Фризман).

Литература: В. Н. Орлов. Павел Катенин.—В его кн.: Пути и судьбы. Л., «Советский писатель», 1971, с. 127—178.

Грусть на корабле (с. 95).—Соч., ч. 1. Написано перед отправлением Преображенского полка морским путем из Франции в Россию.

Убийца (с. 95).—СО, 1815, № 23. Баллада вызвала ряд насмешек в карамзинистском лагере: в частности, грубым и «низким» представилось обращение убийцы к месяцу. По мнению Н. И. Бахтина, литературного единомышленника Катенина, «по смыслу» «Убийца» напоминает балладу Жуковского «Ивиковы журавли», однако по материалу «к нам ближе: мы видим в «Убийце» весь быт крестьянский...» Сюжет «Убийцы» имеет аналогии в русском и европейском фольклоре. Катенинская баллада показательна для решения проблемы народности одним из течений декабристской литературы. Пушкин считал «Убийцу» лучшей балладой Катенина.

Ольга (с. 99).—ВЕ, 1816, № 9. Вольный пер. баллады немецкого поэта Г. А. Бюргера «Ленора». Стихотворение, полемически соотнесенное с балладой Жуковского «Людмила» (в свою очередь, восходящей к бюргеровской «Леноре»), было новым опытом создания «национальной» поэзии: показательна последовательная русификация материала, отнесение действия ко времени Северной войны (нач. XVIII в.), «простонародная» «нагота» и грубоватость изложения. Баллада Катенина вызвала в 1816 г. ожесточенную полемику: против автора «Ольги» выступил Н. И. Гнедич, отдавший предпочтение Жуковскому, в защиту — А. С. Грибоедов, иронически оценивший балладу Жуковского и карамзинистскую школу в поэзии как таковую (об этой полемике см.: Н. И. Мордовченко. Русская критика первой четверти XIX века. М.—Л., 1959, с. 148—152).

«Отечество наше страдает...» (с. 105).—Ф. Ф.

Вигель, Записки, ч. 6. М., 1892. Отрывок. Полный текст неизвестен. Согласно воспоминаниям Вигеля, мемуарист слышал эту песню в 1820 г. в обществе оппозиционно настроенных офицеров и по памяти воспроизвел запомнившиеся строки. Источник песни — «Гражданский гимн» (1791) Буа, любимая песня французской революционной армии. Гимн Катенина пользовался большой популярностью в среде декабристов и часто исполнялся ими уже в годы сибирской каторги.

Мстислав Мстиславич (с. 106).— СО, 1820, № 1, под названием «Песнь о первом сражении русских с татарами на реке Калке, под предводительством князя Галицкого Мстислава Мстиславича Храброго». В основе стихотворения — летописный рассказ о битве русских войск с монголо-татарскими ордами Чингисхана на р. Калке (1223); галицкий князь Мстислав Мстиславич Удалой был инициатором сражения и командующим русским авангардом. Катенин несколько отошел от исторического материала, о чем сообщал в письме Н. И. Бахтину от 26 февраля 1823 г. (П. А. Катенин. Размышления, с. 232). Стихотворение замечательно как образец полиметрического произведения (использован ряд различных стихотворных размеров). Опыт Катенина вызвал сочувственный (хотя и не лишенный критических замечаний) отзыв Кюхельбекера и резко отрицательную оценку А. Бестужева.

С. 107—108. *И три раза, вспыхнув желанием славы... Он лежит.*— Как установлено В. Э. Вацуро, эти стихи восходят к поэме Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим».

Старая быль (с. 111).— СЦ на 1829, с цензурными пропусками. Стихотворение имело явственный «второй план»; изображая события «древности», Катенин в то же время метил в Пушкина, чью позицию после 1825 г. (выразившуюся, в частности, в стихотворении «Стансы») он ошибочно расценивал как измену прежним идеалам. Стихотворение было препровождено Пушкину для публикации в СЦ вместе с адресованным ему поэтическим посланием (напечатано в альманахе не было). Пушкин откликнулся на послание полемическим «Ответом Катенину»; косвенная полемика со «Старой былью» содержится в стихотворении «Анчар» (о поэтическом споре между Катениным и Пушкиным см.: Ю. Н. Тынянов. Пушкин и его современники. М., 1969, с. 73—85; В. В. Виноградов. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 422—426).

С. 111. *Победой в Херсоне венчанный...*— Владимир Святославич взял г. Корсунь (Херсонес) в 988 г.

...брачную связь...— По преданию, примирение Руси с Византией было достигнуто с помощью женитьбы Владимира на византийской царевне Анне Романовне.

...Августа-брата...— Август — титул римских императоров; подразумевается византийский император Василий II.

С. 112. *Князь вымолвил слово златое...*— Реминисценция из «Слова о полку Игореве».

Цимискиев дар...— дар византийского императора Иоанна I Цимисхия.

С. 113. *Наш среднего роста...*— намек на самого Катенина.

С. 114. *Когда б воспеть хотела ты...*— по словам Катенина, песня грека, прославляющая царя и самодержавие, есть «род пародии» на Ломоносова и «всех наших лириков» (П. А. Катенин. Размышления..., с. 280). Ломоносов, конечно, упомянут здесь иронически. В действительности Катенин метил в современных поэтов.

Причтен ты к роду Константина...— намек на аналогию в пушкинских «Стансах»: Николай — Петр (у Катенина: Владимир — Константин).

С. 115. *Два льва, неувядающее древо* — символы власти византийских императоров, предметы дворцового убранства.

С. 118. *Всемила* — намек на умершую невесту Катенина.

Храбрый — Святослав; возможно — намек на кого-либо из погибших или сосланных декабристов.

А. С. Пушкину (с. 118).— Соч., ч. I. Мотив «замерзшего кубка» восходит к поэме Л. Ариосто «Неистовый Роланд», на что указывал сам Катенин.

С. 118. *...исторьбограф почтенный* — Н. М. Карамзин, имевший официальное звание исторнографа.

С. 119. *Один ученый...*— по предположению А. А. Формозова, А. Н. Оленин.

С. 120. *Ринальд-паладин* — герой «Неистового Роланда» Л. Ариосто.

Элегия (с. 120).— СЦ на 1830. Катенин считал «Элегию» одним из лучших своих произведений. Стихотворение, насыщенное густым античным колоритом, в то же время имеет отчетливый автобиографический характер: Евдор, как и Катенин, участвовал в воинских походах, пережил смерть горячо любимой невесты, испытал немилости царя и был вынужден «укрыться в наследие предков»; автобиографичны и литературные неудачи Евдора. Смысловая двуплановость сохраняется на протяжении всего стихотворения.

С. 121. *С смертью в когтях орел...*— Согласно легенде, Эсхил умер оттого, что орел уронил ему на голову черепаху.

Старец Софокл! умирай!— В судьбе Софокла Катенин видел параллель своей литературной биографии; им написано стихотворение «Софокл».

С. 122. *Полимах-вождь* — отец Катенина был генералом.

...между Додонского вещеого леса.— Шаево было окружено глухими лесами.

Дети и внуки их были ратные люди.— Ближайшие родственники Катенина были военными.

Сам Александр... на пире вечернем...— Александр I в мае 1816 г. смотрел представление «Эсфири» Расина в переводе Катенина и пригласил переводчика на ужин к «высочайшему столу».

Клита убив, за правду казнив Каллисфена...— Намек на резкий поворот Александра I от либерального курса к реакции.

С. 123. *Жестким и грубым казалось им пенье Евдора.*— Обычные обвинения Катенину со стороны карамзинистов.

Град Птолемся.— Александрия (проекция на Петербург — град Петра).

Плеяда — кружок знаменитых александрийских поэтов; намек на поэтов пушкинского круга.

Феокрит — знаменитый поэт-идиллик; подразумевается А. С. Пушкин (см. письмо Катенина к Пушкину от 4 января 1835 г.).

...младой Эгемоны...— намек на невесту Катенина, умершую в молодости.

Сонет (с. 126).— РА, 1881, № 1. Стихотворение содержит автобиографические мотивы,

ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ ГЛИНКА (1786—1880)

Глинка родился в небогатой дворянской семье, воспитание получил в 1-м кадетском корпусе. С 1803 г.— в военной службе. В 1805 г. он назначается адъютантом гр. Милорадовича и принимает участие в войне 1805—1806 гг. Затем по болезни Глинка выходит в отставку и всецело отдается литературе: им создается тираноборческая трагедия «Вельзен, или Освобожденная Голландия», ряд стихотворений. Начавшаяся Отечественная война заставляет Глинку вновь взяться за оружие: он сражался при Бородине, проделал весь заграничный поход, проявив редкостную отвагу. Патриотический подъем, связанный с антинаполеоновскими войнами, способствовал расцвету творчества Глинки: написанные в те годы «военные песни», и в особенности «Письма русского офицера», прославляющие героизм и душевную красоту простых русских воинов, с жадностью читались по всей России.

В 1816 г. Глинка был принят М. Н. Новиковым в Союз спасения; с 1818 г. он активнейший участник Союза благоденствия,

член его Коренной думы. Хотя политические взгляды Глинки отличались умеренностью (его симпатии склонялись к конституционной монархии), мало кто из литераторов-декабристов сделал столько для пропаганды идей Союза в русском обществе. С этой целью он пытался использовать личную дружбу с Милорадовичем, свое видное положение в популярной среди оппозиционно настроенных дворян масонской ложе «Избранного Михаила», в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств (куда Глинка был принят 14 декабря 1816 г.), в Вольном обществе любителей российской словесности — этом своеобразном «филиале» Союза благоденствия (Глинка был избран его членом 5 декабря 1816 г. и вскоре делается помощником председателя), в Вольном обществе учреждения училищ взаимного обучения (Глинка — первый помощник председателя) и т. д. По-своему прав был доносчик Грибовский, называвший Глинку «членом всех видимых и невидимых обществ», который всюду, «как и в разговорах, так и на письме кстати и некстати приплетаает политику». Но основным средством пропаганды оставалась поэзия: стихотворения Глинки 20-х гг. — от шарад до «Опытов священной поэзии» (СПб, 1826; ранее печатались в различных журналах) являются чрезвычайно ярким выражением самого духа Союза благоденствия в литературе, с его культом гражданственности и «общего блага».

Хотя Глинка не состоял членом Северного общества, он посещал квартиру Рылеева накануне восстания и знал о плане готовящегося переворота. За прежнюю активную деятельность в декабристских организациях Глинка был привлечен к суду, заключен в Петропавловскую крепость (в 1826 г.), а затем сослан в Олонецкую губернию (1826—1830). Впоследствии Глинка получает разрешение жить в Твери (где он женится на Е. П. Голенищевой-Кутузовой), а позже и в столицах.

Произведения Глинки 30-х гг. — своеобразные и по-своему значительные явления в русском романтизме. Со временем в творчестве Глинки все более усиливаются консервативные тенденции; его поэзия иронически воспринимается представителями новых литературных поколений. Выпущенное в 1869—1872 гг. «Собрание сочинений» Глинки в трех томах прошло незамеченным. Последние годы жизни Глинки связаны с Тверью. Он умер 11 февраля 1880 г. и был похоронен с воинскими почестями, как герой Отечественной войны 1812 г.

Основные издания: Ф. Н. Г л и н к а. Стихотворения. Л., «Сов. писатель», 1961 (БПБС; издание подготовил В. Г. Базанов); Ф. Н. Г л и н к а. Письма русского офицера. М., «Московский рабочий», 1985 (издание подготовили С. Серков и Ю. Удерецкий).

Мемуары: Воспоминания, т. 1.

Литература: В. Г. Базанов. Поэтическое наследие Ф. Глинки (10—30-е гг. XIX в.). Петрозаводск, 1950.

Военная песнь, написанная во время приближения неприятеля к Смоленской губернии (с. 127).—Сб. «Подарок русскому солдату». СПб, 1818. Стих. написано в «высоком» одическом ключе (отсюда—использование одической строфы, славянизированной лексики и т. п.). «Военная песнь...» — яркий образец преддекабристской поэзии: и стиль, и комплекс основных понятий («слава и свобода», «к отечеству любовь», «рабство и ярмо») будут развиты в творчестве ряда поэтов-декабристов.

Солдатская песнь, сочиненная и петая во время соединения войск у города Смоленска в июле 1812 года (с. 128).—Сб. «Подарок русскому солдату». СПб, 1818. Стих. стилизовано под солдатскую песню; предназначалось для распространения среди «нижних чинов» и тем самым предвосхищало опыты декабристских «агитационных песен».

Партизан Давыдов (с. 129).—Славянин, 1827, № 18.

Опыты двух трагических явлений в стихах без рифмы (с. 130).—СО, 1817, № 44. Печатается только явление первое. Прим. Глинки, подчеркивающее формально-экспериментальный характер «Опытов...», призвано было затушевать тираноборческую идею стихотворения.

К соловью в клетке (с. 132).—Сор., 1819, № 7.

Призывание сна (с. 134).—СО, 1819, № 50.

К Пушкину (с. 135).—СО, 1820, № 38. Стих. было напечатано уже в пору южной ссылки Пушкина и является, таким образом, смелым актом поддержки опального поэта. В стихах: «Судьбы и времени седого // Не бойся, молодой певец!» звучал прямой намек на жизненные обстоятельства Пушкина. В 1820 г., накануне пушкинской ссылки, Глинка пытался лично помочь поэту.

Шарада (с. 136).—Сор., 1820, № 1. Отгадка шарады — «пре-стол». Читалось на заседании «Зеленой лампы». Стих. Глинки, в котором форма литературной «безделки» использовалась для пропаганды идей Союза благоденствия, вызвало восторженную оценку Кюхельбекера, назвавшего шараду «прекрасной».

Судьба Наполеона (с. 136).—СО, 1821, № 41. Отклик на смерть Наполеона. В последних строфах речь идет о Греции, восставшей в 1821 г. против турецкого владычества. Грече-

ское восстание было восторженно встречено в декабристских кругах.

Осенняя грусть (с. 138).— СО, 1817, № 42.

Новый год (с. 139).— Сор., 1825, № 4.

Хата, песни, вечерница (с. 139).— Избранное, Петрозаводск, 1949. Стих. отражает интерес Глинки к украинскому фольклору.

Буря (с. 141).— Это произведение, как и четыре последующих, входит в тетрадь стихов, написанных в Петропавловской крепости.

С. 141. 9 марта — 31 мая 1826 г.— крайние даты в перечне стихотворений, составленном самим Глинкой. Произведения, написанные в заключении, отмечены общностью тем и мотивов и весьма показательны для понимания настроений части декабристов вскоре после разгрома восстания.

Узник к мотыльку (с. 143).— Русский зритель, 1828, № 5—6.

Песнь узника (с. 143).— Венера на 1831 г., ч. I (анонимно). Приписывалось Рылееву и А. Полежаеву. Стих., обобщавшее мотивы тюремной лирики Глинки, стало популярной народной песней.

С. 143. *Заневские башни* — Петропавловская крепость.

Сравнение (с. 144).— Северная пчела, 1827, № 53.

С. 144. *Скучна страна, // Куда меня замчали бури...*— Речь идет об Олонецком крае, где Глинка находился на поселении с 30 июля 1826 г.

А ветер выл (с. 145).— НА на 1828 г.

Летний северный вечер (с. 146).— Царское Село на 1830 г.

К лугу (с. 146).— НА на 1830 г.

Грусть в тишине (с. 147).— Комета Белы на 1833 г.

Песнь бродяги (с. 148).— Избранное. Петрозаводск, 1949. Стихотворение отмечено «двуплановым» построением: речь в нем идет и о судьбе несчастного простолюдина, и о психологическом состоянии ссыльного декабриста.

К почтовому колокольчику (с. 149).— ЛПРИ, 1831, № 97.

Ранняя весна на родине (с. 150).— Альциона на 1831 г. Написано в связи с посещением в 1831 г. с. Сутоки Смоленской губ.— родины поэта.

Воспоминание (с. 150).— ЛПРИ, 1831, № 43.

Сельская вечеря (с. 151).— Одесский альманах на 1831.

Первый снег (с. 151).— ЛПРИ, 1832, № 43.

Москва (с. 152).—Москвитянин, 1841, № 1. В стихотворении отразились славянофильские симпатии поэта. Однако несомненная искренность патриотического чувства и художественная выразительность произведения обеспечили ему широчайшую популярность.

Ф. И. Тютчеву (с. 153).—Ф. Н. Глинка. Собр. соч., т. I. М., 1869. Стихотворение характерно для умонастроений «людей 1820-х годов», оказавшихся в новой социально-культурной ситуации.

<Стихи о бывшем Семеновском полку> (с. 154).—РА, 1875, № 12. Стихотворение записано и сообщено В. Д. Давыдовым. Написано в связи с возвращением в 1856 г. из ссылки И. Д. Якушкина. О восстании Семеновского полка см. «Записки» И. Д. Якушкина (наст. изд., т. 2). Глинка расценивал выступление Семеновского полка как начало серьезных перемен; по свидетельству современника, он встретил его словами: «У нас начинается революция».

С. 155. *Давая обществу примеры...*—Поведение семеновских офицеров осмысливается в ключе норм, прокламированных Уставом Союза благоденствия.

Новинки—имение Ивана Николаевича Толстого на окраинах Московской губ.

С. 156. *...благородный Муравьев...*—Матвей Муравьев-Апостол.

...у семьи благословенной...—в имении И. Н. Толстого, бывшего семеновца, нашли приют некоторые амнистированные декабристы, которым было запрещено жить в столицах.

Что делать? (с. 156).—Ф. Н. Глинка. Собр. соч., т. I. М., 1869.

Элегия (с. 156).—РА, 1886, № 2. Вольный пер. элегии И. М. Муравьева-Апостола, написанной на древнегреческом языке.

Три юные лавра...—три сына-декабриста И. М. Муравьева-Апостола: Матвей, Сергей и Ипполит. Двое последних погибли в 1826 г. Матвей вернулся из ссылки в 1869 г.; в связи с его возвращением и написано стихотворение Глинки.

Две дороги (с. 157).—Избранное. Петрозаводск, 1949.

КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ (1795—1826)

Рылеев родился в небогатой и незнатной дворянской семье. С 1801 г. воспитывался в Первом кадетском корпусе. Первые опыты в стихах связаны с войной 1812 г. В феврале 1814 г. Рылеев выпущен прапорщиком, в составе 1-й артиллерийской бригады

участвовал в заграничных кампаниях. В конце 1815 г. возвращается в Россию, командирован с конноартиллерийской ротой в Острогожский уезд Воронежской губернии, где пробыл до 1818 г. Знакомство с дочерью острогожского помещика М. А. Тевяшова — Натальей Михайловной — окончилось счастливой женитьбой (январь 1819 г.; незадолго до этого Рылеев вышел в отставку). Вскоре он переезжает в Петербург, быстро сближается с рядом известных литераторов, печатается в «Благонамеренном» и «Невском зрителе». Поворотным пунктом в литературной судьбе Рылеева стала публикация сатиры «К временщику» (1820): если ранние стихотворения Рылеева не выходят за рамки подражательной поэзии, то сатира заявила о рождении поэта-гражданина. С января 1821 г. Рылеев — заседатель С.-Петербургской палаты уголовного суда, на этом «непрестижном» для дворянина поприще он проявил себя как на редкость дельный и честный чиновник (по сути, выбор такой формы служения вписывается в этические нормы Союза благоденствия; ср. аналогичный поступок И. И. Пущина). В апреле 1821 г. Рылеев по рекомендации А. А. Дельвига принят в Вольное общество любителей российской словесности. В мае 1822 г. сближается с А. А. Бестужевым, совместно с которым издает в 1823—1825 гг. три тома альманаха «Полярная звезда», ставшего центром декабристской литературы. В первой половине 1823 г. принят в Северное общество Пушкиным. В марте 1825 г. избран в Думу — руководящий орган общества. В обществе Рылеев занимает радикальную позицию, последовательно отстаивает идею республики; несомненно, Рылеев более близок к П. И. Пестелю, чем большинство руководителей «северян» (С. П. Трубецкой, Н. М. Муравьев), при этом в апреле 1824 г., во время визита Пестеля в Петербург, Рылеев решительно оспаривал идею личной диктатуры, видимо, разделяя распространенное в кругу умеренных «северян» подозрение о «бонапартистских» замыслах Пестеля.

В подготовке восстания 14 декабря Рылееву принадлежит одна из ведущих ролей, он выходил на Сенатскую площадь, а вечером 14 декабря был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В заключении Рылеев трагически переживал случившееся, подчеркивал собственную «вину» и стремился оправдать товарищей, возлагал надежды на милость императора, которым не суждено было оправдаться. Рылеев наряду с М. П. Бестужевым-Рюминым, П. Г. Каховским, С. И. Муравьевым-Апостолом и П. И. Пестелем был осужден «вне разрядов» и казнен 13 июля 1826 г.

Основные издания: К. Ф. Рылеев. Полн. собр. соч. М.—Л., «Academia», 1934 (издание подготовил А. Г. Цейтлин), К. Ф. Ры-

леев. Полн. собр. стихотворений. Л., «Советский писатель», 1971 (БПБС; издание подготовили А. В. Архипова, В. Г. Базанов, А. Е. Ходоров).

Мемуары: Воспоминания, т. 2, см. также воспоминания Н. А. Бестужева — наст. изд., т. 2.

Следственное дело.—ВД, т. I.

Литература: В. И. Маслов. Литературная деятельность Рылеева. Киев, 1912; А. Г. Цейтлин. Творчество Рылеева. М., 1955.

К временщику (с. 159).—НЗр, 1820, № 10. Подзаголовок отсылает к литературной мистификации М. В. Милонова—автора стихотворения «К Рубеллию. Сатира Персиева» (1810); у Персия сатиры с таким названием нет. Начало сатиры Рылеева прямо ориентировано на Милонова; ср.: «Царя коварный лстец, вельможа напыщенный, // В сердечной глубине таящий злобы яд, // Не доблестями души — пронырством вознесенный, // Ты мешешь на меня с презрением твой взгляд!» и т. п. Стихотворение Милонова применялось современниками к Аракчееву. Рылеев усилил политическое звучание текста, введя ряд конкретных намеков (лицемерие «временщика» — ср. нарочитую скромность Аракчеева, формально не занимавшего правительственных постов; мотив военных поселений и др.). Об обстоятельствах создания стихотворения и реакции на него общества и адресата см.: Н. А. Бестужев. «Воспоминания о Рылееве» (наст. изд., т. 2).

А. П. Ермолову (с. 160).—РС, 1877, № 2. Стихотворение написано в связи с распространением слухов о том, что русское правительство готово поддержать восстание греков против турецкого ига (1821) и направляет в Грецию армию во главе с Ермоловым. Греческое восстание было встречено декабристами с большим энтузиазмом, пользовался популярностью среди декабристов и Ермолов, намечавшийся даже в члены Временного правительства. (См.: А. В. Семенова. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982, с. 103—141.) То же, что у Рылеева, соединение тем свободы Греции и культа Ермолова см. в одноименном стихотворении Кюхельбекера (наст. изд., т. 2).

К К<осовско>му (с. 161).—РС, 1872, № 1.

<А. А. Бестужеву> (с. 162).—РС, 1870, № 7.

С. 162. ...сделавшись жрецом Фемиды...—Имеется в виду служба Рылеева в С.-Петербургской палате уголовного суда.

Драгун ты...—Бестужев служил в лейб-гвардии драгунском полку.

С. 163. *Один пигмей литературный...*— Имеется в виду полемика Бестужева и П. А. Катенина вокруг «Опыта краткой истории русской литературы» Н. И. Греча.

Гражданское мужество (с. 163).— ПЗ, II. Предназначалось для ПЗ на 1824 г., но не было пропущено цензурой. Традиция прославления Мордвинова задана одой В. П. Петрова (1796). Об отношении декабристов к Мордвинову см.: А. В. Семенова. Временное революционное правительство в планах декабристов, с. 61—102.

С. 164. *Дерзал оспаривать Петра...*— Подразумевается предание об указе Петра I Сенату, разорванном Долгоруковым. Позже использовалось Пушкиным («Стансы», 1826; «Мордвинову», 1826).

На смерть Байрона (с. 166).— «Альбом северных муз», СПб, 1828, с цензурными искажениями; опубликовано чиновником Следственной комиссии А. А. Ивановским. Неожиданная смерть Байрона 7 апреля 1824 г. в Миссолунгах, куда он прибыл для участия в освободительной борьбе Греции, была воспринята современниками трагически. На смерть Байрона откликнулись русские поэты И. И. Козлов, В. К. Кюхельбекер, Д. В. Вeneвитинов, тема эта занимала П. А. Вяземского. Одический склад соответствующих стихотворений Кюхельбекера и Рылеева вызвал пушкинскую пародию—«Оду его сиятельству графу Д. И. Хвостову» (подробнее см.: Ю. Н. Тынянов. Пушкин и его современники. М., 1968, с. 113). Всерьез Пушкин сказал о смерти Байрона в стихотворении «К морю» (1824).

«Я ль буду в роковое время...» (с. 168).— ПЗ, II (не точно), под загл. «Гражданин». О создании стихотворения см. «Воспоминания о Рылееве» Н. А. Бестужева (наст. изд., т. 2).

Стансы (с. 169).— ПЗ, 1825. Написано под влиянием монолога Иоанны из трагедии Ф. Шиллера «Орлеанская дева» в переводе В. А. Жуковского (1824).

К Н. Н. (с. 169).— ВЕ, 1888, № 12. Стихотворение приписывается к циклу любовных элегий 1824—25 гг., связанному с некоей Теофанией Станиславовной К., которой был в это время увлечен Рылеев (см. об этом в «Воспоминаниях о Рылееве» Н. А. Бестужева).

Вере Николаевне Столыпной (с. 170).— Северная пчела, 1825, 12 мая.

Бестужеву (с. 171).— РС, 1871, № 1. Пушкин скептически оценил «Думы» Рылеева, что стало известно последнему от Дельвига. В 1825 г. между Пушкиным, с одной стороны, и Рылеевым и А. Бестужевым— с другой, идет оживленная переписка-спор (проблемы историзма, назначения поэта, сущность поэ-

зии. О содержании полемики см.: Н. Я. Эйдельман. Пушкин и декабристы. М., 1979, с. 286—305).

А. А. Бестужеву (с. 171).—Посвящение к поэме «Войнаровский» (отд. изд.—М., 1825).

Исповедь Наливайки (с. 172).—ПЗ, 1825, отрывок из неоконченной поэмы «Наливайко» (1824—начало 1825). Сохранилось еще 12 фрагментов.

С. 173. Униаты — сторонники объединения (унии) католической и православной церквей под руководством римского папы с сохранением некоторых православных обрядов.

Сарматы — поляки.

ДУМЫ (с. 174).—Отд. изд. (М., 1825). Предварительно отдельные думы публиковались в журналах. «Думы» как памятник огромного политического значения были переизданы в 1860 г. в Лондоне А. И. Герценом и Н. П. Огаревым с предисловием последнего. В ходе работы над думами (1821—1823) выявился интерес Рылеева к славянской общности (отсюда обращение к польской и украинской традициям в «Предисловии»). Источником большинства дум служит «История государства Российского» Н. М. Карамзина. В отд. изд. не вошли думы «Голова Волинского», «Владимир святой», «Яков Долгорукий», «Царевич Алексей в Рождестве».

Олег Вещий (с. 174).—НЛ, 1822, № 11.

С. 175. Евксин — Черное море.

С. 176. Потомки Брута и Камилла...—Византия считалась «наследницей» Рима.

С. 177. Прибил свой щит с гербом России.—На ошибку Рылеева (во времена Олега у России не было герба) несколько раз указывал Пушкин.

Ольга при могиле Игоря (с. 177).—НЛ, 1822, № 12.

Святослав (с. 180).—Сор., 1822, № 7. Действие происходит во время русско-турецкой войны 1773 г. 24 июля 1773 г. в битве у деревни Кучук-Кайнарджи погиб русский генерал Вейсман фон Вейсенштейн.

Святополк (с. 183).—СО, 1821, № 47.

Рогнеда (с. 184).—ПЗ, 1823.

С. 186. Скания — Скандинавия.

Кривичи — славянское племя.

С. 188. Нейстрия — часть Франции.

Альбион — Англия.

Б о я н (с. 192).—Сор., 1822, № 3.

С. 192. *Пантеон Росс. Авторов* — издание, содержащее сведения о русских писателях, подготовленное Н. М. Карамзиным. Первые четыре тетради вышли в свет в 1802 г.

С. 193. *И персты веющие, по золотым струнам // Летая, славу рокотали!*—Цитата из зачина «Слова о полку Игореве».

Мстислав Удалый (с. 194).—ПЗ, 1823.

Михаил Тверской (с. 196).—НЛ, 1822, № 19.

Димитрий Донской (с. 199).—СО, 1822, № 40. Монолог героя написан под воздействием статьи И. Ламанского «Речь Димитрия Донского на Куликовом поле» («Русский вестник», 1812, № 6).

Глинский (с. 202).—Сор., 1822, № 9; НЛ, 1822, № 14. Подражание одноименной думе Немцевича. Рылеев послал Немцевичу 11 сентября 1822 г. текст «Глинского» с комплиментарным письмом; Немцевич в письме от 30 октября 1822 г. благодарил Рылеева и давал высокую оценку его думе (см.: К. Ф. Рылеев. Полн. собр. соч. М.—Л., 1934, с. 467, 775).

Курбский (с. 206).—СО, 1821, № 29. Первая дума Рылеева.

Смерть Ермака (с. 208).—РИ, 1822, 17 января; Сор., 1822, № 4. Дума стала народной песней.

Борис Годунов (с. 211).—ПЗ, 1823. Внимание кличности Бориса Годунова было стимулировано выходом т. 10 «Истории государства Российского».

Димитрий Самозванец (с. 214).—НЛ, 1822, № 2. Представление о Лжедмитрии I как о последовательном злодее было сформировано еще в эпоху Смуты, в этом ключе он изображался в трагедии А. П. Сумарокова «Димитрий Самозванец» (1771) и в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Трактовка эта не вполне справедлива.

Иван Сусанин (с. 217).—ПЗ, 1823. Источник — костромское предание об Иване Сусанине, введенное в литературу А. Щекатовым в «Словаре географическом Российского государства» (М., 1807). Дума получила высокую оценку Пушкина (см. его письмо Рылееву от мая 1825 г.). Не без воздействия Рылеева обратился к сюжету об Иване Сусанине М. И. Глинка.

Богдан Хмельницкий (с. 220).—Сор., 1822, № 6; РИ, 1822, 1 марта; СО, 1822, № 23. Сюжетная основа восходит к повести Ф. Н. Глинки «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия» и к «Песне о Богдане Хмельницком» Л. Рогальского (пер. О. М. Сомова — «Благонамеренный», 1821, № 7). При первых публикациях вторая строка думы читалась: «Куда лишь в полдень проникал...», что вызвало ироническую

реплику Пушкина в письме брату от 4 сентября 1822 г.: «у вас пишут, что луч денницы проникал в полдень в темницу Хмельницкого». Рылеев исправил стилистическую неточность в книжном издании. В последние месяцы 1825 г. Рылеев работал над трагедией о Хмельницком.

Артемон Матвеев (с. 223).—РИ, 1822, 7 февраля. Исторический источник — «История о невинном заточении боярина Артемона Сергеевича Матвеева...» (СПб., 1776; издана Н. И. Новиковым).

Петр Великий в Острогожске (с. 226).—Сор., 1823, № 3; НЛ, 1824, № 15. Историческая основа — «История Малой России» Д. Н. Бантыш-Каменского, ч. 3. М., 1822. В 1822—1823 гг. была написана заметка Рылеева «Об Острогожске». «Окончательные строфы «Петра в Острогожске» чрезвычайно оригинальны», — писал Рылееву Пушкин во второй половине мая 1825 г. Отголоски рылеевской думы слышны в стихотворении Пушкина «Пир Петра Первого» (1835).

С. 227. Где напрасно Брюховецкой // Добрых граждан возмущал.— Имеется в виду попытка Брюховецкого отделиться от России и предаться власти Турции, окончившаяся его гибелью.

Волинский (с. 228).—НЛ, 1822, № 16. Источники — «Записки кн. Я. П. Шаховского» (1821) и «Манштейновы современные записки о России» (перевод с фр., 1810). Трактровка Волинского как тираноборца принадлежит Рылееву; оказал воздействие на изображение Волинского в романе И. И. Лажечникова «Ледяной дом» (1835).

Наталия Долгорукова (с. 231).—НЛ, 1823, № 30. Источники — записки Н. Б. Долгоруковой («Плутарх для прекрасного пола», ч. 6. М., 1819) и повесть С. Н. Глинки «Образец любви и верности супружеской, или Бедствия и добродетели Наталии Борисовны Долгорукой» («Русский Вестник», 1815, № 1). Дума оказала воздействие на поэму И. И. Козлова «Княгиня Наталия Борисовна Долгорукая» (1828). В образе Долгорукой предсказан подвиг декабристов, последовавших за мужьями в Сибирь.

С. 232. Мне друг прекрасный и молодой // Был дан, как призрак, на мгновенье.— Свадьба Н. Б. Шереметевой и И. А. Долгорукова состоялась 6 апреля 1730 г., а 9 апреля Долгоруков, потерпевший поражение в борьбе придворных группировок, был сослан в Березов.

Державин (с. 233).—СО, 1822, № 47.

С. 234. Над хутынским монастырем...— Хутынский Варлами-

ев Спасо-Преображенский монастырь на реке Волхов, где был похоронен Державин. Ныне прах Державина в Новгородском Кремле.

К. Ф. РЫЛЕЕВ и А. А. БЕСТУЖЕВ

АГИТАЦИОННЫЕ ПЕСНИ (с. 237).— Вопрос об авторстве отдельных песен весьма сложен в силу отсутствия автографов. Традиционно агитационные песни связываются с Рылеевым и Бестужевым. Вопросы происхождения и текстологии песен рассмотрены в работах: М. А. Брискман. «Агитационные песни декабристов».— В кн.: Декабристы и их время. М.—Л., 1951; В. Г. Базанов. «Спорное в декабристской текстологии».— «Русская литература», 1960, № 2.

«Ах, где те острова...» (с. 237).— ПЗ, V, объединено с песней «Ты скажи, говори...» и стихами Пушкина «Как в ненастные дни...» (эпиграф 1-й главы «Пиковой дамы»). Песню цитировал Пушкин в письме брату от января 1824 г., что заставляет датировать ее 1822—1823 гг. Песня явно возникла в литературных кругах и не преследовала прямых агитационных целей.

С. 237. «Pucelle».— Поэма Вольтера «Орлеанская девственница» (1775), в России запрещенная из-за своего антиклерикального и фривольного содержания.

Святцы — церковный календарь.

Бестужев-драгун — А. А. Бестужев.

Князь-чудодей — Константин Павлович.

Танта — тетка жены Булгарина.

С. 238. *Где не думает Греч, // Что его будут сечь...*—В 1820 г. Греч был безосновательно обвинен в составлении воззвания к восставшему Семеновскому полку (о восстании см. в «Записках» И. Д. Якушкина — наст. изд., т. 2), в связи с этим ходили слухи, что его выпороли в тайной полиции.

Измайлов-чудак...— традиционная в литературных кругах репутация Измайлова, не вполне соответствующая действительности.

«Царь наш — немец русский...» (с. 238).— ПЗ, V (неполно). Датируется осенью 1823 г. по служебным перемещениям персонажей: П. М. Волконский был начальником штаба до декабря 1823 г., А. А. Закревский был назначен генерал-губернатором Финляндии 30 августа 1823 г., в тот же день стал дежурным генералом Главного штаба А. Н. Потапов.

С. 238. *Царь наш — немец русский...*— Имеются в виду засилье иностранцев при дворе и страсть Александра I к прусской системе парадов.

С. 239. *Трусит он масонов.*— Масонские ложи были запрещены в России с 1822 г., до этого ряд лож служил «филиалами» декабристских обществ.

Голубые ленты — ленты высшего российского ордена — св. Андрея Первозванного.

«Ах, тошно мне...» (с. 240).— ПЗ, V (неполно). Песня была признана Рылеевым на следствии за свою (см.: ВД, т. 1, с. 176). Рылеев записал ее текст, который был уничтожен по приказу Николая I. Сохранилась копия, сделанная чиновником Следственной комиссии А. А. Ивановским. Написана как подражание очень популярной песне Ю. А. Нелединского-Мелецкого, начинающейся теми же словами. В августе 1824 г. Рылеев передал список текста М. И. Муравьеву-Апостолу, видимо, для распространения среди членов Южного общества.

С. 241. *Синюха* — пятирублевая ассигнация.

«Ты скажи, говори...» (с. 242).— ПЗ, V, как часть песни «Ах, где те острова» (неполно). В песне идет речь о государственных переворотах 1762 г. (свержение Петра III) и 1801 г. (убийство Павла I), которые должны восприниматься как прецеденты, позволяющие посягнуть на императорскую фамилию.

«Подгуляла я...» (с. 242).— Русская потаенная литература XIX столетия, Лондон, 1861. Текст есть в показаниях М. Муравьева-Апостола (ВД, т. 9, с. 249), считавшего песню сочинением Е. А. Баратынского. Эта версия опровергнута А. Осокиным (см.: ЛН, т. 59, ч. 1, с. 268—272). Метрически песня восходит к романсу «С неба чистая...», приписываемому Баратынскому.

С. 242. *Раввяжу язык // У сенаторов...*— намек на предположенный манифест Сената к народу.

ПОДБЛЮДНЫЕ ПЕСНИ (с. 243).— Декабристы и их время. М.—Л., 1951 (публикация М. А. Брискмана, атрибутировавшего тексты Рылееву и Бестужеву); Песня 7 — Русская потаенная литература XIX столетия, Лондон, 1861, как сочинение Рылеева. «Подблюдные песни» упоминаются в показаниях С. И. и М. И. Муравьевых-Апостолов (см.: ВД, т. 1, с. 210; т. 4, с. 289). Рылеев отрицал принадлежность ему песни «Вдоль Фонтанки-реки...» (см.: ВД, т. 1, с. 176). Подблюдные песни — песни, исполнявшиеся во время святочных гаданий.

С. 243. *...мужик из Новгорода...*— военный поселянин.

Бестужев родился в большой и талантливой семье. Его отец — Александр Федорович — видный русский просветитель, издатель (совместно с И. П. Пниным) «Санкт-Петербургского журнала» (1798), отличавшегося философским и социально-политическим радикализмом. О семье Бестужевых см. подробнее в воспоминаниях М. А. Бестужева (наст. изд., т. 2). Учился Бестужев в Горном корпусе. В 1816 г. поступил юнкером в лейб-гвардии Драгунский полк. В 1822 г. — адъютант главнокомандующего путями сообщения генерал-лейтенанта Бетанкура, в 1823 г. — адъютант принца Александра Вюртембергского, в январе 1825 г. произведен в штабс-капитаны. Литературная деятельность Бестужева начинается не позднее 1817 г. В конце 1818 г. он подает просьбу о разрешении издавать журнал «Зимцерла», в которой было отказано. С 1819 г. Бестужев — один из самых заметных критиков, отстаивающих карамзинистские принципы в литературе. С начала 1820 г. — член Общества любителей словесности, наук и художеств, а с 15 ноября 1820 г. — член Вольного общества любителей российской словесности. 1821 г. — дебют Бестужева-прозаика («Поездка в Ревель»). Главным делом Бестужева в 1822—1825 гг. являются разнообразные по тематике повести и критические статьи; и на практике, и в теории Бестужев выступает как яркий романтик. Критические обзоры, помещаемые в «Полярной звезде», — наиболее отчетливое выражение декабристского романтизма (о Бестужеве-критике см.: Н. И. Мордовченко. Русская критика первой четверти XIX в. М.—Л., 1959, с. 314—375). В конце 1823—начале 1824 г. принят в Северное тайное общество Рылеевым. Бестужев активно действует накануне декабрьского восстания, а 14 декабря выводит на Сенатскую площадь Московский полк. После поражения Бестужев сам явился на гауптвахту Зимнего дворца. В ходе следствия Бестужев пишет письмо Николаю I, где четко проводит мысль о нетерпимости тогдашнего положения России и исторической неизбежности восстания, аналогичного декабристскому. При этом Бестужев раскаивался в содеянном и проявлял чистосердечие в ответах Следственному комитету. Осужден на 20 лет каторги, затем по воле Николая I срок уменьшен до 15 лет. С августа 1826 г. — заключение в форте «Слава» (Финляндия), в 1827 г. по повелению императора отправлен на поселение в Якутск. В сентябре 1829 г. (после ходатайства на имя начальника Генерального штаба И. И. Дибича) определен рядовым на Кавказ в 41-й Егерский полк. В 1833 г. произведен в унтер-офицеры, в 1835 г. — в прапорщики. Находясь в Сибири и на Кавказе, Бестужев систематично ведет борьбу за

право печататься. Его стихотворения, а затем и повести публикуются анонимно, под криптонимами, затем «маркой» Бестужева становится псевдоним «Александр Марлинский» (Марли — название деревушки близ Петербурга, где начиналась служба Бестужева; псевдоним использовался и до декабря 1825 г.). Повести Бестужева-Марлинского — высшее достижение русской романтической прозы — завоевывают весьма широкую аудиторию; Марлинский в 1830-е гг. один из самых популярных писателей в России, чему способствовала поддержка влиятельных критиков и издателей — Н. А. Полевого, а затем и О. И. Сенковского. С 1835 г. выходят «Русские повести и рассказы» А. Марлинского, постепенно перерастающие в полное собрание сочинений, завершенное в 1839 г. Одиннадцатый том этого издания содержал стихотворные и критические произведения (далее — ПСС, т. 11). 7 июня 1837 г. Бестужев был убит во время высадки русских войск на мыс Адлер.

Основные издания: А. А. Бестужев-Марлинский. Полн. собр. стихотворений. Л., «Советский писатель», 1961 (БПБС; издание подготовили Н. И. Мордовченко, М. А. Брискман); А. А. Бестужев-Марлинский. Соч. В двух томах. М., «Художественная литература», 1981 (издание подготовил В. И. Кулешов); А. А. Бестужев-Марлинский. Повести и рассказы. М., «Советская Россия», 1979 (издание подготовил А. Л. Осповат; вст. ст. В. И. Гусева).

Мемуары: Воспоминания, т. 2, см. также наст. изд., т. 2. Следственное дело — ВД, т. 1.

Литература: Ф. З. Канунова. Эстетика русской романтической повести (А. А. Бестужев-Марлинский и романтики-беллетристы 20—30-х годов XIX в. Томск, 1973. Бестужеву посвящена биографическая повесть: В. Кардин. Минута пробуждения. М., 1984 (сер. «Пламенные революционеры»).

Подражание первой сатире Буало (с. 245).— Литературный архив, № 1, М.—Л., 1938. Бестужев устранил начало сатиры Буало и переложил ее «на русские современные нравы».

С. 246. Обуховская больница — сумасшедший дом.

Персий наш — не исключено, что имеется в виду бедствующий М. В. Милонов (см. о нем прим. к «К временщику» Рылева).

...русский Тит <...> Наш Август...— Александр I, с именами Августа и Тита связывалось представление об образцовом монархе — победителе, миротворце и покровителе искусств и просвещения.

Дельфийские оливы — символ мира (оливы) и искусств (Дельфы — древнегреческое святилище Аполлона).

Михаил Тверской (с. 248)).—СО, 1824, № 3, подпись: Б...в. Атрибутировано Бестужеву Б. В. Томашевским (1955). Ср. одноименную думу Рылеева.

Саатырь (с. 250).—СО, 1831, № 18.

Череп (с. 254).—НА на 1830 г., СПб, 1829. Эпиграф—Фауст (ч. I. Ночь). Наряду с монологом Фауста в стихотворении ощутимо влияние раздумий Гамлета над черепом Йорика («Гамлет», д. V, явл. I).

Из Гете (с. 255).—ПСС, т. 11. Бестужев проявлял интерес к творчеству Гете и до 1825 г., предпочитая, однако, Шекспира и Байрона. (См. его воспоминания «Знакомство с Грибоедовым», где описывается спор, в ходе которого апологетом Гете выступил Грибоедов.—«Воспоминания Бестужевых». М.—Л., 1951, с. 524—525.) Внимательно читает Гете Бестужев в 1828 г. в Якутске, на это время приходится девять его переводов из Гете, преимущественно из «Западно-Восточного дивана», из которых публикуются два. (Подробнее см.: В. М. Жирмунский. Гете в русской литературе. Л., 1981, с. 118—119.)

Всегда и везде (с. 256).—СО, 1831, № 22.

Финляндия (с. 256).—СО, 1829, № 20. В 1826—1827 гг. Бестужев отбывал заключение в Финляндии, в форте «Слава»; генерал-губернатор Финляндии А. А. Закревский сочувственно относился к узнику.

С. 256. ...граниты вековые...—реминисценция из стихотворения Е. А. Баратынского «Финляндия» (1821).

Тост (с. 257).—НА на 1830 г. СПб, 1829.

Разлука (с. 259).—ПСС, т. 11.

Е. И. Б <улгари> ной (с. 259).—ПСС, т. 11.

Часы (с. 261).—ЛГ, 1830, № 27.

С. 261. ...письмен, // Начертанных пред Валтасаром.—По библейскому преданию, последний царь Вавилона — Валтасар увидел во время пира огненные слова на стене, которые пророчили гибель ему и царству.

С. 262. Десница — правая рука.

Оркан — ураган.

К облаку (с. 262).—ПСС, т. 11.

Дождь (с. 262).—СО, 1831, № 24.

Оживление (с. 263).—СО, 1831, № 22.

«Еще ко гробу шаг...» (с. 263).—Декабристы. М., 1907 (публикация М. П. Головачева). Обращено, вероятно, к де-

кабристу М. А. Назимову, с которым Бестужев встретился в Витиме, проезжая из Якутска на Кавказ.

Шебутуй (с. 264).—МТ, 1831, № 12. В стихотворении сказалось влияние элегии Е. А. Баратынского «Водопад» (1821).

Осень (с. 265).—СО, 1831, № 17. В стихотворении варьируются мотивы русской народной песни «Уж как пал туман на сине море» и «Стансов», некогда обращенных Рылеевым к Бестужеву. Связь со стансами поддерживается единством метрико-интонационного рисунка.

«Я за морем синим...» (с. 266).—ЛПРИ, 1838, № 12.

Изменник. Повесть. (с. 267).—ПЗ, 1825. Повесть строится по законам романтической поэмы: отчуждение центрального персонажа ведет его к предательству и преступлению; используются типичные описания «байронического» героя и «ангельской» героини, ходовые мотивы («сон» Владимира). Повесть вызвала двойственную оценку Пушкина в письме Бестужеву от конца мая—начала июля 1825 г.: «Твой Владимир говорит языком немецкой драмы, смотрит на солнце в полночь (ср. с. 272 наст. изд.—Сост.), etc. Но описание стана Литовского, разговор плотника с ча-с<овым>—прелесть; конец так же. Впрочем везде твоя необыкновенная живость». Эпиграф—из трагедии У. Шекспира «Отелло» (1604, акт 3, сц. 3—слова Отелло, обращенные к Яго, обвиняющему Дездемону).

С. 269. ...кличет к себе из Польши царей...—Имеется в виду приглашение на русский трон московскими боярами королевича Владислава (1610), на московский престол претендовал и отец Владислава—Сигизмунд III.

...сказание об осаде Тр.-Серг. лавры...—Имеется в виду труд Авраамия Палицына (закончен в 1620; впервые напечатан в 1784 г.). Сапега осаждал Троице-Сергиевскую лавру—крупнейшую подмосковную крепость—в 1608—1610 гг.

С. 277. Контуш—верхний кафтан.

Гультай—гуляка, пьяница (польск.)

С. 279. Рында—молодой телохранитель московских царей.

Испытание (с. 286).—СО, 1830, №№ 29—32. Первая повесть, опубликованная Бестужевым после декабря 1825 г. «Испытание» полемически ориентировано на «Евгения Онегина», первая глава которого не удовлетворяла Рылеева и Бестужева. Отрицался сам тип героя—человек скучающий, неспособный противостоять светским нормам, разочарованный. Антагонистами Онегина выступают герои «Испытания» Гремин и Стрелинский, счастливая развязка противопоставлена трагическому исходу VI главы «Евгения Онегина»—смерть Ленского на дуэли. Не толь-

ко герои, но и героиня (Ольга — ср. Ольгу Ларину) оказывается способной на своего рода подвиг — срыв дуэли. Декабристский комплекс представлений развернут в монологе Стрелинского перед Алиной (наст. изд., с. 326.) (Подробнее о полемическом подтексте повести см.: В. Г. Базанов. Очерки декабристской литературы. Публицистика. Проза. Критика. М., 1953, с. 406—418.) При описании светского общества Бестужев опирается на последние («лондонские») главы «Дон-Жуана» Байрона и традицию русской комедиографии первой четверти XIX в. Комедийные истоки имеет сюжетная основа повести — взаимное «испытание» возлюбленных, мотивы светской комедии развиты в диалоге Стрелинского и Алины в маскараде. *Эпиграф гл. I* — из стихотворения Бестужева «Тост», остальные неподписанные эпиграфы также принадлежат Бестужеву.

С. 286. ...*в день зимнего Никола...* — 6 декабря.

...*Клеопатрина жемчужина.* — По преданию, Клеопатра, желая поразить Антония, растворила в уксусе драгоценную жемчужину и выпила уксус.

С. 288. «*Фрейшиц*» — русифицированное написание немецкого названия оперы К. М. Вебера «Вольный стрелок» (1821).

...*апликатура V. C. P...* — Апликатура — металлическая накладка на горлышке бутылки; V. C. P. — сорт шампанского.

...*покойтесь на лаврах своих до радостного утра.* — Перефразировка эпитафии, сочиненной Карамзиным: «Покойся, милый прах, до радостного утра» (1792).

С. 289. *Рутировать* — ставить подряд на одну карту, увеличивая ставки.

С. 290. *Репетилов* — персонаж «Горя от ума».

...*обломок Логовой жены.* — По библейскому преданию, жена праведника Лота в нарушение запрета бога обернулась на преданный каре город Содом. Увидев его, она превратилась в соляной столб.

С. 291. ...*убрался в Елисейские?* — умер.

Альнаскар — герой стихотворной сказки И. И. Дмитриева «Воздушные башни» (1794), мечтатель, тип был подхвачен в комедии Н. И. Хмельницкого «Воздушные замки» (1818), где герой носит фамилию Альнаскар.

С. 294. *Эпиграф* — из «Дон-Жуана» Байрона (песнь III, строфа 96).

...*гуси, забыв капитольскую гордость...* — По преданию, зафиксированному Плутархом в жизнеописании Камилла, гуси предупредили римлян гогом о приступе галлов; в дальнейшем гуси почитались в Риме священными птицами и содержались на Капитолии.

С. 295. ...угнетенная невинность, или поросенок в мешке...— Обыгрывается название лубочного романа А. А. Орлова «Страждущая невинность, или Поросенок в мешке» (1831).

С. 297. ...гирлянда с цветами из «Потерянного рая»...— видимо, имеется в виду какое-то роскошное издание поэмы Д. Мильтона «Потерянный рай».

...покрывалом Изиды...— знак непроницаемой тайны.

...*Pour le mérite*...— обыгрывается девиз прусского ордена.

С. 302. ...разбирающий... фразу Окена...— Выпад против возросшего во второй половине 1820-х годов увлечения немецкой философией.

С. 303. ...ничему не выучился и ничего не забыл...— Перефразировка слов Наполеона о Бурбонах в прокламации от 1 марта 1815 г. (период «Ста дней»).

С. 307. ...лавка Петелина...— Петелин — модный портной.

С. 311. ...и Наполеон не казался героем своему камердинеру и Клеопатра была не более как женщина в глазах ее наперсницы.— Сентенция г-жи А. Корнуэль (1605 — 1694): «Не существует героев в глазах их лакеев и отцов церкви в глазах современников», ставшая расхожей, подкреплена отсылками к многочисленным свидетельствам о частной жизни Наполеона и «Антонию и Клеопатре» (акт IV, сц. 13) Шекспира (1607), где Клеопатра говорит своей служанке: «Нет, не царица; женщина и только. // И чувства так же помыкают мной, // Как скотницей последней».

С. 313. ...в мае одно мгновение...— Реминисценция из стихотворения Мицкевича «Первоцвет» (1820—1821).

С. 315. Мизогин — женоненавистник.

С. 319. ...под Прутом...— Прут — река в Молдавии, где в 1711 г. Петр I потерпел поражение от турок.

С. 323. ...образы без лиц...— Реминисценция из «Шильонского узника» Байрона в переводе В. А. Жуковского (1822).

С. 327. Эпиграф — из трагедии Шиллера «Мария Стюарт» (1799, д. IV, явл. 3).

С. 328. ...роль Криспина...— Персонаж комедии А. Р. Лесажа «Криспен, соперник своего господина» (1707).

С. 332. Мы не Дафнис и Меналк...— То есть не пастухи из идиллии, нередко строящейся на диалоге соперничающих влюбленных.

С. 334. Кухенрейтер... Лепаж — оружейные фирмы.

С. 335. ...со инеллерами...— То есть с приспособлениями, облегчающими спуск курка.

С. 338. ...подобно Мемноновой статуе...— Египетская статуя, издававшая звук при восходе солнца из-за перепада температуры.

С. 346. Начиная со слов «Он умчался при радостных приветах», текст, опубликованный в СО, расходится с рукописью. Публикацию по рукописи см.: А. А. Бестужев-Марлинский. Повести и рассказы. М., 1976, с. 146 (подготовка текста А. Л. Осповата).

Страшное гаданье (с. 347).— МТ, 1831, №№ 5—6. Эпиграф сочинен Бестужевым.

С. 355. ...канун-то Нового года чертям сенокос.— По народным представлениям, святки — промежуток между рождеством и крещением — время, когда нечистая сила особенно активна. Святки одновременно праздник и опасность, в это время предполагаются возможными гадания, гульба и другие отклонения от поведенческой нормы. (Временной промежуток может «сжиматься» в сознании писателей; ср. предновогодний вечер у Бестужева, «Ночь перед рождеством» у Гоголя, «крещенский вечерок» в «Светлане» Жуковского.)

С. 361. «Красавица озера» — поэма В. Скотта (1810).

С. 362. ...собранного на Иванову ночь.— Ночь с 23 на 24 июня, т. н. ночь Ивана Купалы; народный праздник (с той же двойственной окраской, что и святки).

...ветхая... церковь...— заброшенная церковь — «нечистое», «выморочное» место, где возможны контакты с нечистой.

С. 371. Напрасно расточал я убеждения...— С этого момента усиливается тема вины героя в противовес прежде выдвинутой теме права героя на любовь. Подобная «двуплановая» трактовка характерна для романтической повести. Вне фантастических мотивов эта проблема предстает у Бестужева в повести «Фрегат "Надежда"» (1833).

С. 376. ...над свежевырытою могилою...— Превращение брачного ложа в могильное — отголосок известного фольклорного сюжета о визите мертвого жениха.

Он был убит (с. 377).— БдЧ, 1835, т. XII — первый отрывок; БдЧ, 1836, т. XV — второй отрывок. Эпиграф сочинен Бестужевым.

С. 378. Я ...думал...— Дальнейшее рассуждение соотносится со стихотворением Бестужева «Череп» и имеет те же источники.

С. 379. ...он умрет весь.— Так как в дальнейшем выясняется, что герой «отрывков» поэт, то высказывание звучит полемически по отношению к классической формулировке посмертной судьбы поэта, данной Горацием в оде «К Мельпомене»: «Нет, не весь я умру, лучшая часть меня // Избежит похорон», в русской традиции представленной «Памятникам» Ломоносова и Державина.

...не вечен и самый свет.— Старение мира — один из любимых романтиками мотивов, ср. лирику Баратынского 1830-х гг.

С. 382. ...подобно Гамлетовым гробокопам...— Шекспир, «Гамлет», акт V, сц. I.

С. 383. ...«как он мастерски прикидывается...» — Отголосок стихотворения Пушкина «Ответ анониму» (опубликовано в 1831 г.): «Смешон, участия кто требует у света! Холодная толпа взирает на поэта // Как на заезжего фигляра...»

С. 386. ...поэт, гость вельможи, есть уже слуга его...— Имеется в виду пушкинское «Послание к К. Н. Б. Ю ***» (ЛГ, 1830, № 30; в современных изданиях — «К вельможе»). Пушкин обратил стихи к кн. Н. Б. Юсупову, что вызвало ряд жестких выпадов со стороны Н. А. Полевого. Позиция Полевого сочетала антиаристократизм (в социальном плане) и ультраромантическую трактовку поэта, которую и поддерживает Бестужев.

...древнее петербургского наводнения.— Имеется в виду наводнение 1824 г. Упоминание этого события накладывает на антитезу поэт — свет дополнительный оттенок: Бестужев ощущает себя чужим в новом поколении, среди людей 1830-х гг.

С. 387. ...к горной или к озерной...— намек на английскую «озерную» школу (поэты-романтики В. Вордсворт, С. Т. Колридж, Р. Саути).

С. 388. «Что слава? Яркая заплатка...» — неточная цитата из «Разговора книгопродавца с поэтом» (1824) Пушкина, высоко оцененного Бестужевым еще в 1825 г.

С. 394. Армида — героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580), волшебница.

С. 396. Не хочу верить... англо-итальянцу...— Подразумевается «Аналитический комментарий к «Божественной комедии» (1826) ит. поэта и революционного мыслителя Габриеля Россетти (1783—1854), с 1824 г. жившего в Англии. В этой книге поэма Данте толковалась в аллегорическом ключе.

Беатриса глядела на меня.— Данте, «Божественная комедия», «Рай», песнь IV.

...Отдай мой рай, отдай мой ад...— вариация слов Поэта из «Пролога в театре» (Гете «Фауст»).

С. 401. Бесстрастная судьба... мечет банк свой.— Далее развивается характерная для романтической культуры метафора: судьба — азартная карточная игра.

С. 403. Трансценденталисты находят в человеке сокращение всего мира.— Имеется в виду один из аспектов философского учения Ф. В. Шеллинга.

С. 405. Муровы мелодии.— «Ирландские мелодии» Т. Мура. «Последняя песнь барда». — Неточный перевод названия поэмы В. Скотта «Песнь последнего менестреля» (1805).

С. 406. «Морфей, до утра дай отраду...» — цитата из стихотворения Пушкина «К Морфею».

С. 412. «О кареях...». — Карея — устарелая форма слова «каре», строй войска квадратом.

С. 413. ...Пук или Ариель, защемленный... за проказы. — Герои пьес Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1595—1596) и «Буря» (1611), фантастические существа; Ариель был защемлен в дерево.

...карикурами Гетевого шабаша ведьм. — Имеется в виду сцена «Вальпургиева ночь» («Фауст», ч. I), следующее далее обращение Мефистофеля к блуждающему огню — в той же сцене.

С. 414. Фалифейер. — Устройство, подающее световые сигналы.

С. 415. Полуда — оловянная оболочка на медной посуде.

АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ КОРНИЛОВИЧ (1800—1834)

Корнилович родился в польской дворянской семье. В 1815 г. окончил Одесский благородный институт и поступил в Московское училище колонновожатых. С 1816 г. прикомандирован к военному историку Д. П. Бутурлину для архивных разысканий по военной истории России. В 1821 г. переведен в Канцелярию генерал-квартирмейстера Главного штаба с зачислением в гвардию. Дослужился до чина штабс-капитана. Член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств и Вольного общества любителей российской словесности с 1821 г. С 1822 г. постоянно публикует исторические сочинения в журналах и альманахах, в том числе и в «Полярной звезде» Рыльева — Бестужева. Корнилович — автор «Жизнеописания Мазепы», предпосланного поэме Рыльева «Войнаровский». В 1824 г. издает совместно с историком донского казачества В. Д. Сухоруковым альманах «Русская старина», где помещает четыре очерка об эпохе Петра I, привлёкшие внимание Пушкина. Принят в Южное общество в мае 1825 г. в Киеве С. И. Муравьевым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым. Участвовал в совещаниях накануне восстания на квартире Рыльева, занимал умеренную позицию, однако говорил о возможной поддержке «южан». 14 декабря находился среди зрителей; арестован в ночь на 15 декабря. Приговорен к каторге на 12 лет, затем срок смягчен до 8 лет и поселения в Сибири. С марта 1827 г. Корнилович в Читинском остроге, в начале 1828 г. — отправлен в Петербург. Причиной вызова Корниловича была версия о контактах декабристов с австрийскими дипломатами, возникшая в результате доноса Ф. В. Булгарина. Корнилович опроверг эту версию, после чего был оставлен в Петропавловской крепости; находясь в

крепости, подал ряд записок А. Х. Бенкендорфу и Николаю I, в том числе о положении заключенных в Читинском остроге. В крепости Корнилович переводит Тацита и Тита Ливия, пишет повесть «Андрей Безыменный». В ноябре 1832 г. определен рядовым в пехотный графа Паскевича-Эриванского полк (Грузия), в декабре 1832 г. прибывает в Тифлис, а затем на место дислокации полка в село Царские Колодцы. По свидетельству декабриста В. М. Голицына, Корнилович работал над пока не обнаруженным сочинением по истории политической мысли. 30 августа 1834 г. во время похода полка в Дагестан заболевший лихорадкой Корнилович умер.

Основные издания: А. О. Корнилович. Сочинения и письма. М.—Л., Издательство АН СССР, 1957 (серия «Литературные памятники», издание подготовили А. Г. Грумм-Гржимайло и Б. Б. Кафенгауз).

Следственное дело — ВД, т. XII.

Утро вечера мудренее (с. 419).— «Альбом северных муз», СПб, 1828. Альманах был издан А. А. Ивановским, знакомым с Корниловичем до декабря 1825 г., затем чиновником Следственного комитета. Ивановский, видимо, поддерживал контакты с Корниловичем в пору его заключения в Петропавловской крепости. Рукописи «Утро вечера мудренее», а также опубликованного в том же альманахе рассказа «Татьяна Болотова» могли попасть к Ивановскому после ареста Корниловича. Петровская тема постоянно занимала Корниловича как историка и писателя, ей посвящены его наиболее важные труды. Источник рассказа почерпнут из книги А. К. Нартова «Достопамятные повествования и речи Петра Великого» (1727).

С. 419. «Собеседник Русского слова» — неточное название журнала «Собеседник любителей Российского слова» (1783—1784); журнал был задуман Е. Р. Дашковой, в нем принимали участие Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, Я. Б. Княжнин, Екатерина II.

«Деяния Петра Великого» — сокращенное название труда И. И. Голикова (12 томов, 18 томов «Дополнения», М., 1788—1797).

С. 421. *Моховая* — ныне проспект Маркса.

С. 422. *...несколько разрядных книг...* — Разрядные книги были уничтожены в связи с ликвидацией местничества.

С. 427. *...после нарвского сражения.* — В 1700 г. русская армия потерпела поражение под Нарвой, что вызвало ряд военных и экономических реформ Петра I.

Андрей Безыменный (с. 434).— Отд. изд., СПб, 1832, без указания имени автора. 25 ноября 1831 г. Корнилович обратился к А. Х. Бенкендорфу с просьбой о публикации романа, в тот же день он пишет брату Михаилу, сообщает, что роман посвящен ему, и оговаривает анонимность публикации. Деньги, вырученные за роман, должны были быть переданы сестре Корниловича — Жозефине (см.: А. О. Корнилович. Соч. и письма, с. 295—296). «Андрей Безыменный» был известен Пушкину, входил в его библиотеку (см.: ЛН, т. 16—18, с. 1000).

С. 436. *Андрусовское перемирие*.— Перемирие, завершившее русско-польскую войну (1654—1667) за украинские и белорусские земли. Было заключено в 1667 г. на 13,5 лет, в результате к России отошли Смоленск, Левобережная Украина, в конечном счете — Киев и ряд других городов и земель.

С. 439. *Затеяли строить город, где же?* — Вопрос о целесообразности постройки Петербурга актуализировался в первой половине XIX в. Ср. «Записку о Древней и Новой России» Н. М. Карамзина (1811; долгое время была известна очень узкому кругу) и «Медный всадник» (1833) Пушкина.

С. 440. *Азов, Калиш, Лесное, Полтава...*— Имеются в виду победа над турками в 1696 г. и победы в Северной войне 1707, 1708, 1709 гг.

С. 496. *...договоры Нейштатский и Белградский...*— Нейштадтский мир со Швецией — итог Северной войны (1721). Белградский мир (1739) завершил русско-турецкую войну (1735—1739).

С. 499. *Семилетняя война*.— Война 1756—1763 гг. между русско-французско-австрийской коалицией и Пруссией.

...умников de l'hôtel Rambouillet...— В комедии «Смешные жеманницы» (1659) Мольер высмеял аристократический кружок, группировавшийся в салонах Е. де Рамбуйе и М. де Сюдери.

А. Немзер, О. Проскурин.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Немзер. Первенцы свободы	3
---------------------------------------	---

ПРОГРАММНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Законоположение Союза Благоденствия	21
Русская Правда	45
Правила Соединенных Славян	82
Присяга Соединенных Славян	84
Проект конституции Н. Муравьева	85
Манифест	93

П. А. КАТЕНИН

Грусть на корабле	95
Убийца	95
Ольга. Из Бюргера	99
«Отечество наше страдает...»	105
Мстислав Мстиславич	106
Старая быль	111
А. С. Пушкину	118
Элегия	120
Сонет	126

Ф. Н. ГЛИНКА

Военная песнь, написанная во время приближения неприятеля к Смоленской губернии	127
Солдатская песнь, сочиненная и петая во время соединения войск у города Смоленска в июле 1812 года	128
Партизан Давыдов	129
Опыты двух трагических явлений в стихах без рифмы	130
К соловью в клетке	132
Призывание сна	134

К Пушкину	135
Шарада	136
Судьба Наполеона	136
Осенняя грусть	138
Новый год	139
Хата, песни, вечерница	139
Буря	141
Луна	142
К луне	142
Два счастья	142
Узник к мотыльку	143
Песнь узника	143
Сравнение	144
А ветер выл	145
Летний северный вечер	146
К лугу	146
Грусть в тишине	147
Песнь бродяги	148
К почтовому колокольчику	149
Ранняя весна на родине	150
Воспоминание	150
Сельская вечеря	151
Первый снег	151
Москва	152
Ф. И. Тютчеву	153
<Стихи о бывшем Семеновском полку>	154
Что делать?	156
Элегия	156
Две дороги (Куплеты, сложенные от скуки в дороге)	157

К. Ф. РЫЛЕЕВ

К временщику (Подражание Персиевой сатире «К Рубел- лию»)	159
А. П. Ермолову	160
К К<осовско>му в ответ на стихи, в которых он советовал мне навсегда остаться на Украине	161
<А. А. Бестужеву>	162
Гражданское мужество. Ода	163
На смерть Бейрона	166
«Я ль буду в роковое время...»	168
Стансы. К А. Б<естуже>ву	169
К N. N.	169
Вере Николаевне Столыпиной	170

Бестужеву	171
А. А. Бестужеву	171
Исповедь Наливайки	172
Д у м ы	
Олег Вещий	174
Ольга при могиле Игоря	177
Святослав	180
Святополк	183
Рогнеда	184
Боян	192
Мстислав Удалый	194
Михаил Тверской	196
Димитрий Донской	199
Глинский	202
Курбский	206
Смерть Ермака	208
Борис Годунов	211
Димитрий Самозванец	214
Иван Сусанин	217
Богдан Хмельницкий	220
Артемон Матвеев	223
Петр Великий в Острогжске	226
Волынский	228
Наталия Долгорукова	231
Державин	233

К. Ф. РЫЛЕЕВ и А. А. БЕСТУЖЕВ

А г и т а ц и о н н ы е п е с н и

«Ах, где те острова...»	237
«Царь наш — немец русский...»	238
«Ах, тошно мне...»	240
«Ты скажи, говори...»	242
«Подгуляла я...»	242

П о д б л ю д н ы е п е с н и

1. «Слава богу на небе, а свободе на сей земле...»	243
2. «Как идет мужик из Новгорода...»	243
3. «Вдоль Фонтанки-реки квартируют полки...»	243
4. «Сей, Маша, мучицу, пеки пироги...»	243
5. «Уж как на небе две радуги...»	243
6. «Уж вы вейте веревки на барские головки...»	244
7. «Как идет кузнец из кузницы, слава!...»	244

А. А. БЕСТУЖЕВ

Подражание первой сатире Буало	245
Михаил Тверской	248
Саатырь (<i>Якутская баллада</i>)	250
Череп	254
Из Гете (<i>Подражание</i>)	255
Всегда и везде (<i>Из Гете</i>)	256
Финляндия (<i>А. А. З<акревско>му</i>)	256
Тост	257
Разлука	259
Е. И. Б<улгари>ной (<i>в альбом</i>)	259
Часы	261
К облаку	262
Дождь	262
Оживление	263
«Еще ко гробу шаг — и, может быть, порой..»	263
Шебутуй (<i>Водопад станового хребта</i>)	264
Осень	265
«Я за морем синим, за синею далью...»	266
Изменник. <i>Повесть</i>	267
Испытание	286
Страшное гаданье. <i>Рассказ</i>	347
Он был убит	377

А. О. КОРНИЛОВИЧ

Утро вечера мудренее. <i>Исторический рассказ</i>	419
Андрей Безыменный. <i>Старинная повесть</i>	434
Примечания	506

Д 28 **Декабристы.** Избранные сочинения. В двух
томах. Т. 1 / Сост. и прим. А. С. Немзера и
О. А. Проскурина; Вступ. ст. А. С. Немзера.—
М.: Правда, 1987.— 544 с.

Первый том антологии «Декабристы» открывается публикацией программно-политических документов, раскрывающих идеологию, цели и задачи дворянских революционеров. В книгу входят также избранные стихотворения П. А. Катенина, Ф. Н. Глинки, К. Ф. Рылеева, стихи и проза А. А. Бестужева-Марлинского, повести А. О. Корниловича.

Д $\frac{4702010100-1114}{080(02)-87}$ 1114-87

84 Р 1

ДЕКАБРИСТЫ
ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

В двух томах

Том 1

Составители
Андрей Семенович
НЕМЗЕР
и
Олег Анатольевич
ПРОСКУРИН

Редактор Н. А. Галахова
Оформление художника И. А. Гусевой
Художественный редактор Е. М. Борисова
Технический редактор Л. Ф. Молотова

ИВ 1114

Сдано в набор 27.11.85. Подписано к печати 02.03.86.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 28,56. Уч.-изд. л. 29,97.
Тираж 500000 экз. (2-й завод: 250001 — 500000).
Заказ № 1600. Цена 2 р. 70 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва.
А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва «Кировская правда»
Кировского обкома КПСС.
610601, г. Киров, ГСП, ул. К. Маркса, 84.



26

UPPER
MOUNTAIN
PREPARED
FOR

1

6888